ЕН 1231
0978 Р

ИМЛ — Библиотека
Зак. 182

МИХАИЛУ
БАКУНИНУ
1876 — 1926

EH1231
0978 P

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА"
МОСКВА 1926.

МИХАИЛУ БАКУНИНУ

1876—1926

ЕН1231
О 978 р

ОЧЕРКИ
ИСТОРИИ АНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

СБОРНИК СТАТЕЙ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
АЛЕКСЕЯ БОРОВОГО

Книгоиздательство „ГОЛОС ТРУДА"
МОСКВА 1926

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2008

ЕН1231 р
0978

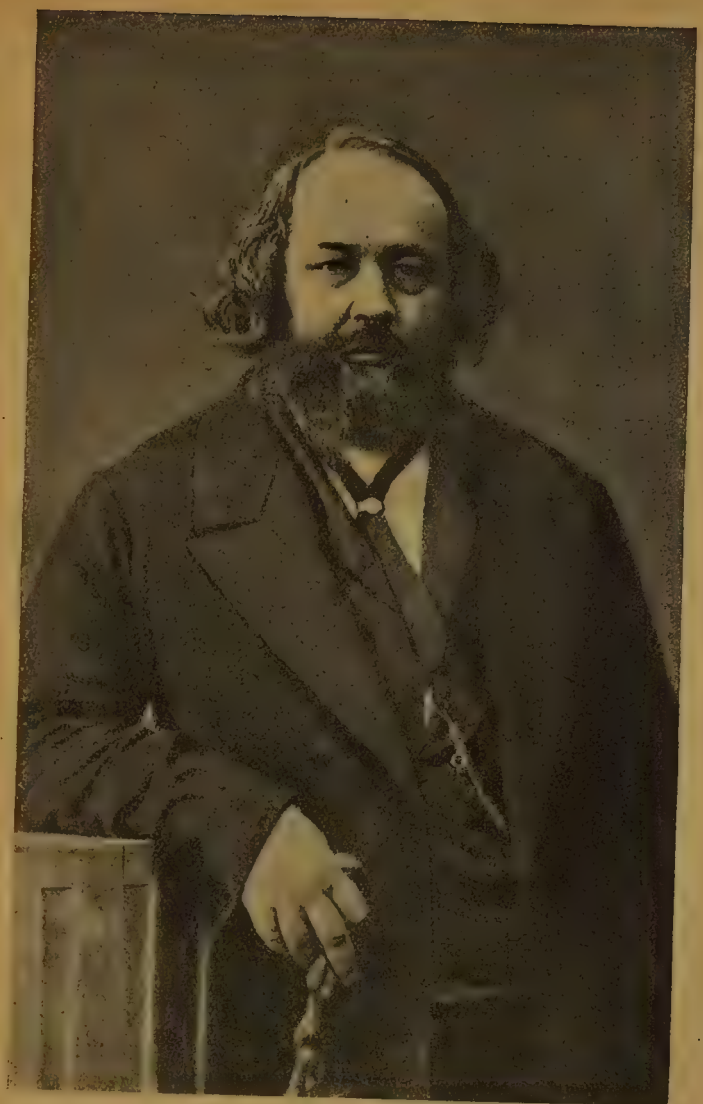
27 типография
„КРАСНАЯ ПЕЧАТЬ"
при
изд-ве Ком. Академии.
Москва, Остоженка, 10.
Главлит № 59.548.
Тираж 3.000.

Библиотека
Института Ленина
при Ц.К. В.К.П. (б.)
10/77 331773

БАКУНИНУ

Гениальному мыслителю и борцу, великому основоположнику анархического мировоззрения в день пятидесятилетия его смерти
1 июля 1926 г.

АНАРХИСТЫ



М. А. Бакунин
1814 — 1876

От редакции.

Редакция «Очерков истории анархического движения в России» дает себе полный отчет в многочисленных недостатках выпускаемого издания.

Уже при выработке основного плана Сборника — редакции были ясны чрезвычайные трудности, связанные с его осуществлением. К сожалению, действительность превзошла худшие ожидания.

Значительное число товарищей, взявших на себя работу по выполнению намеченной программы, в силу разнообразных причин, обещанного материала к требуемому сроку доставить не могли. В одних случаях пробелы удалось заполнить, но чрезвычайная спешность работы не могла не отразиться на ее качестве; в других, при отсутствии архивов и достоверной документации под руками, пришлось мириться с вопиющими пробелами в надежде устранения их уже при повторении издания.

Особенно пострадала часть книги, посвященная непосредственно истории движения. Здесь выпадение отдельных статей сводилось не только к потере их, но и к некоторому обесцениванию статей, стоявших рядом, ибо каждой из них было определено строго мотивированное место в общем плане.

Однако и при наличии указанных недостатков, редакция считает «Очерки истории» книгой нужной и важной. Она — первый опыт систематического изложения судеб анархического движения в России. Отдельные беглые характеристики, имевшиеся доселе в общих исторических обзорах анархизма или самостоятельных очерках, страдают не только бедностью и случайностью, но нередко тенденциозностью и даже крайней недоброкачественностью материала. Не может почитаться предшественником «Очерков» и «Альманах. Сборник по истории анархического движения в России», изданный в Париже в 1909 г. под редакцией тов. Н. Рогдаева и представляющий из себя, по преимуществу, собрание сырых материалов, относящихся к 1903 — 1907 гг.

Редакция считает необходимым обратить внимание читателя также на следующее.

В настоящих условиях было невозможно выдержать последовательно на пространстве всего издания точку зрения какого либо одного течения анархической мысли. Давая место в сборнике представителям различных направлений современного анархизма, редакция берет на себя ответственность лишь за доброкачественность фактического материала, положенного в основу издания, ответственность же за общие оценки и характеристики событий, актов и деятелей движения возлагает на самих авторов.

Алексей Боровой.

Анархические устремления в русском сектантстве XVIII—XIX вв.

1. Русское сектантство как движение религиозно-общественного протеста.

Привычно мужичку русскому — былинному Микулушке Селяниновичу — нести «тягу земную», от которой в землю угряз Святогор-богатырь, нипочем Микулушке «орать» от края по край землю-матушку, а на отдых бросить сошку в ракитов куст, даром, что сошку эту сам Вольга с дружиной хороброй ворохнуть не могли. Да не под силу, не по нутру оказалась ему другая тяга, что принесла ему московско-петербургская власть. Татарский восток, византийский юг и немецкий запад попеременно, каждый по-своему, дали руководящее влияние в построении русского государства, и вместе с ним характерное для них, воспринятое ими из одного источника, централистическое начало. А меж тем, по справедливому замечанию Щапова, «одно из отличительных свойств русского народа — это жизненно-практическая, непосредственно-бытовая, общинная, мировая выработка общих начал, принципов житейской мудрости, общинно-народного саморазвития», т.-е. чисто федеративное начало.

Централизующее государство с его непомерными аппетитами и цивилизаторскими затеями, с его всевидящим оком всенародного шпионажа, вроде знаменитого «Слово и дело», с его огромным бумажно-канцелярским аппаратом, пытавшимся заглянуть во все уголки народной жизни и искромсать их на свой манер, по казенному «закону», с его учреждениями расправы, в роде опричнины, армии, полицейской службы, — не только не соответствовало строю народной жизни, но и раззор и раздор и крепостное рабство принесло народному «миру».

Но народ, расколотый распрями «меньших» (бедных) и «лучших» (богатых) еще в далеком от совершенства общинно-вечевом строе вольных городов, разоренный удельной междоусобицей, парализованный татарским игом, не в силах был противостоять жестокому и упорному наступлению государственного строя, подержанного авторитетом церкви [1]), капиталом и не лишенного талантливых организаторов. Больна была общинно-федеративная Русь несовершенством своей, как земской, так

и городской организации, и должна была или выработать более совершенную форму своего исконного строя, или — уступить. И она уступала, с боем, с бунтами, с слезными челобитными, с массовым убегом в незаселенные местности, унося в «пустыню» от правительственного глаза свой общинный мир. Пал Государь Великий Новгород..., подавлена «Смута»..., разбиты Разин, Пугачев..., нарушена казацкая вольность... разрушены раскольничьи общины... И характерно, что все эти попытки выдвигают одну основную организационную форму: федерацию общин и их сходов, земских и городских советов и всенародного собора, совета всей земли. Но она выявлялась только ощупью, инстинктом строющего свою общественность народа. А меж тем для успеха всякого массового общественного строительства необходимо, чтобы народ — строитель имел перед своим сознанием что-то такое, из чего для него ясно и последовательно, путем простого размышления, развертывались бы все необходимые части, детали строительства. На одном инстинкте далеко не уедешь. Нужна была простая, увлекающая и четкая постройка, могущая захватить сердца и умы народа с силой религиозного экстаза. Чистых социальных теорий тогда народ не знал и не мог знать: они или умерли в далеком прошлом, или еще только обещали расцвести на западе. Но у народа была его религия, его христианство, одна из тех удивительных сокровищниц духа, которые время от времени наполняются религиозными гениями, и, раскрываясь самым невежественным массам, живут в них среди суеверий тысячелетиями и неожиданно дают новые прекраснейшие ростки. В несколько маленьких книг и несколько апокрифов включена невероятной мощи энергия, через тысячелетия взрывающая творческие силы народов.

Откуда впервые к России пришло христианство—неизвестно. Но несомненно, что Россия, как путь оживленной, хотя часто и опасной, торговли Скандинавии, прибалтийской неметчины, Византии и Востока, испытала на себе влияния всех вер, подточившие ее примитивную религию рода и сил природы. Огонь и меч бояр Владимира призвали к устроительству земли русской византийское церковное христианство, а энергичная деятельность колонизаторов — монастырей и покровительство татарских ханов закрепили за ним эту роль. Но чувствуются прочной нитью в народном христианстве глубокие и сильные мотивы и буддизма, и парсизма, и древнейшей религии рыбобога Оаннеса (ИОАННА), и особенно различных ветвей христианского гностицизма. Эти-то мотивы и здесь повторили по-русски то, что было ими сделано в средневековом Западе.

Церковь, слишком занятая «просветительными», колонизационными и землеустроительными задачами, а также борьбой с явными врагами, не замечала, да за отсутствием вычеканенных форм и не могла заметить, что она не что иное, как федерация разных толков, а зачастую и просто имеет в лице

своих «духовных» лиц развращенных ремесленников или даже колдунов на новый, церковный лад, да при том почти всегда невероятно невежественных. Только изредка она наталкивалась на резко выраженную критику ее деятельности и догматов и жестоко с этой критикой расправлялась. Так тех, «которые не грабят, имений не собирают», отказавшихся от мздоимной церковной иерархии во имя перво-христианства,—«стригольников», бросали в Волхов, и т. д. А меж тем до вершины церкви все чаще и чаще доносились слухи, что народ презирает и ненавидит ее слуг—за ее сотрудничество с властью, за прислужничество богатству, за жадность и ограбление народа; что народ на своих игрищах издевается над нею, ее обрядами, ее служителями. Наконец, внутри нее самой поднялись из недр народа «ревнители» благочестия, с требованиями моральной реформы церкви, с требованиями, чтобы она встала на сторону бедных, обиженных. Но разве церковь делала когда-либо моральные реформы? Ее дело — инквизиция за букву, костры и дыбы за муки исканий.

Никон — сильная и, когда этого требовало его дело, жестокая личность (черта характерная для русских реформаторов сверху). Он с громадной энергией, под знаком исправления книг и обрядов (канона), ускорил другую реформу церкви, окончательно скрепившую ее с государством: он централизовал ее. Но, тем самым, откалывая от господствующей церкви целую федерацию толков, он дал знамя протесту накопленных, но неимевших оформленного выхода общественных страданий. И вот мы имеем с тех пор огромное и длительное движение религиозно-общественного протеста, давшее потом идейное подкрепление широким народным бунтам, и которому было дано имя—«раскол».

Звериной жестокостью пыталось двуглавое сообщество церкви и государства остановить это движение. Самое умеренное крыло «раскола», вчерашние друзья Никона по кружку «ревнителей», по реформаторской работе, по правке книг — Аввакум и иже с ним, — отправляется на пытку, в ссылку, на костер. Все долголетнее царствие черносотенного «православия» и Романовых было непрерывной Голгофой для народных исканий. Расправы бывали столь ужасны, что народ принужден был освятить самосожжение при приближении правительственных войск, только бы не попасть в их руки. Но гонения давали движению апостолов, пытки и казни—мучеников. Нетерпимость господ веры и права превращала часто самые лойяльные секты в резко протестующие. Движение росло.

Оно росло не только внешне, количественно, отрывая все новые массы народа от пьяного казенного «православия», но и внутренно, по качеству. Оторванный от западной культуры вмешательством правоверного государства, позволявшего только себе «цивилизовать» Россию, лишенный государством не только

свободы мысли, но даже и возможности образования, не только общественных, но часто даже и казенных школ, народ в своих исканиях наметил вехи собственной, глубоко-проникновенной культуры. Каких невероятных жертв ему это стоило! Во тьме невежества, ощупью в дебрях тысяч толков, еретическими считающих друг друга, в дебрях буквы Писания и мелочей обрядов, в дебрях конспирации, часто на поводу ловких обманщиков, разоряемый налогами и всякими поборами, в кабале у помещика, у кулака, у заводчика, травимый попами и полицией,— разыскивал «серый» народ свои более ясные и более совершенные и жизненные формы одухотворенной, и потому свободной, общественности. Демократический федерализм поповского и беспоповщинского раскола и заимствованного у «протестантов» баптизма не удовлетворял более глубинно, более проникновенно ищущих. И там же, где чувствуются семена гностических исканий, там же проглядывает первая зелень анархических устремлений, анархических форм общежития.

Каждый, кто знаком с сущностью религий, знает, что во всякой религии каждому имени, каждой букве Писания, каждой части обряда и целым обрядам, каждому кусочку быта и всему быту приписывается особый смысл—его духовное значение, которое определяется существом религиозного мировоззрения. Таким образом и писание, и обряды, и вся жизнь одухотворяются, приобретают некий духовный смысл. Знание истины такого смысла—это и есть гнозис, а искатели его во времена перво-христианства назывались гностиками. От новгородских икон, непонятных для церкви, и от новгородских же «стригольников» до сект последнего времени русский народ искал по-своему эту истину, истинный гнозис.

Поэтому-то признание некоторого определенного канона, т.-е. совокупности «правильного» писания и «правильных» обрядов, часто весьма существенно для того или иного религиозного (так и общественного) течения. В каноне мировоззрение приобретает чеканную форму, и для людей, по выражению немоляков и духовных христиан, «земных», в младенчестве сущих», канон дает опору и ясность. Для них изменение буквы писания, детали обряда будет ломкой целого мировоззрения, что нелегко переносится даже в случае внутреннего роста. Казенная реформаторская горячка Никона со стороны буквы и обряда, а Петра I со стороны быта — лишь подчеркнули это созданием и укреплением раскола [2]).

Значит и здесь, по существу, дело было не в букве, не в двуперстии, а в разумении, что и доказала дальнейшая история беспоповщинского крыла раскола, давшего целый ряд т. наз. рационалистических толков. Разумение, «понятие» было движущей силой раскола, и потому-то, как справедливо отмечают все ненаемные исследователи раскола, раскольничья семья оказалась гораздо культурнее обычной «православной». Но для ра-

боты этого разумения были раскрыты только книги писания: двуглавый призрак плетью полицейщины отгородил его от западной культуры. И это разумение после кропотливых толкований и раздумья докопалось до «правды» писания, которую вкладывал в него галилейский плотник и тот перво-христианский гнозис, из которого он вышел, и который принял его, как Христа [3]). А слишком чувствительный нажим государства и церкви, нуждавшихся в деньгах, солдатах и рабочих руках для своих затей, лихоимство их слуг, несправедливости закона, урезка воли и земли, наконец, рост капиталистических отношений, разлагавших даже крепкие взаимной поддержкой раскольничьи общины — все это резко тревожило мысль мужичка, недоумевавшего: и откуда же это на бедного Макара столько шишек валится, да правильно ли, да по божьи ли это. И вдруг там, где он только и мог искать «правду», он нашел ясные, раньше незамеченные, слова: «Цари царствуют и вельможи господствуют, но между вами да не будет так, а первый из вас да будет всем слугой», «Кесарю-- кесарево, а божье—Богу», «И сотворил нас царями и священниками», «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный», «Где Дух господень—там Свобода»... Читал он там о Вавилоне-граде блуднице и о новом грядущем граде, об анархических коммунах первохристиан, вникал в смысл Тайной Вечери, «чуда» насыщения пятью хлебами .. И пытливый разум и чуткая совесть вскрывали возмутительное противоречие меж тем, о чём говорило писание, и тем, чему служила церковь, о чем говорили горькие факты жизни. Противоречия быта будили думу, мысль; мысль вскрывала религиозные противоречия, а эти последние вели к общественному протесту, к исканию новых форм жизни. Так, напр., в 40—60-х годах прошлого столетия выросли секты немоляков, неплательщиков и других сходных разветвлений одной идеи.

Навстречу этому развитию раскола шло и развитие церковной и внецерковной мистики народа, тоже давшее, как и на Западе, свои характерные штрихи в направлении к анархизму. Православие, как известно, своеобразно между прочим тем, что резко разделяет мирское (земное) от духовного (небесного), при чем это характерно для таких даже крайних ветвей раскола, как немоляки, и для внецерковной мистики скопцов. Мы уже говорили выше, что рационализм пытается найти истину посредством толкования, уразумения буквы и быта. Мистик хочет непосредственно «видеть» откровенную истину, иметь с нею живое общение, и, как бы в форме образов — намеков открыть виденное миру. Образцом такого «видения» являются Апокалипсис и новгородские иконы. Перед глазами такого подхода к миру, к жизни, к быту все это, как они утверждают, раскрывается, как деятельность неких живых духовных сил и существований. Кесарь, власть земная, созданная насилием, перед таким взглядом оказалась злой силой, пришедшей вслед-

ствие греха, вышним попущением, существующей только во зле и для злых. Все кесарево, как греховное, вредное в жизни, должно быть отдано Кесарю, и люди, ставшие чистыми духовно, должны войти в новую жизнь без власти и попов, т. к. все сами «цари и священники», в жизнь, прообразом которой была жизнь перво-христиан. В этом окончательном разделении и ожидался «Страшный Суд» [4]). Но, ожидая этот желанный исход, христианство по писанию должно было ждать Духа истины, обещанного Христом, ждать Антихриста — этой концентрации зла и обмана, ждать второго пришествия Христа и его тысячелетнего царства. В западном средневековьи целые столетия стоят под знаком такого напряженного ожидания, жуткие трагедии вырастали на этой почве. Нечто похожее произошло и в России в дни возникновения раскола. Близился конец седьмой тысячи лет по библийскому счислению, наростала волна ожидания конца мира [5]). Византия пала и передала свое духовное наследие Москве. Стоглавый собор отметил мерзость и в церкви и в жизни выступили ревнители и обличители, и вдруг — Никон... Ну, чем не апокалиптическая картинка. И вот Антихрист найден: это — Никон. 1666-й год оказался роковым [6]). С этого момента история русского сектанства это — развитие идеи Антихриста, наиболее тонко разработанное у бегунов, и получившее своеобразное завершение у немоляков. Антихрист—Никон, Антихрист—Петр I, Антихрист — царь, власть вообще, Антихрист—хозяин. От Антихриста бегут в леса, в горы, скрываются по подпольям. И безысходным отчаянием звучит исповедание Спасова согласия:

„В восьмую тысячу нет спасения".

Навстречу этому, из глубин вне-церковных, раздается проповедь о Духе. Мир раскалывается на двое: на плотских, земных, еще ходящих во зле, и чистых духовных, готовых принять в себя Духа. Для последних, „рожденных в Духе и Истине", земная история с ее преходящими законами мира, Отца и Сына — окончена, осталась вне их для земных, для земли — плоти. Вся „история", начиная от Бытия и до Апокалипсиса включительно, получает второй смысл, духовный: она, так сказать, вырывается из собственного, исторического времени и перемещается в каждого человека, становясь вневременным „законом" развития души человека. Этот мотив звучит в неканонической литературе всегда, но, как и на Западе, становится творческим началом массовой мысли именно в эти моменты взрывов религиозно-общественного протеста. Горе общественной и личной жизни и боль исканий обесценияи „землю-плоть", нарекли ее источником зла, Антихристом [7]). Но мерещится искателям иное „царство", обещанное в Евангелии и в Апокалипсисе, в которое войдут все, „рожденные в Духе и Истине". Усиливаются посты, домашние и общественные моления, нервное напряжение доходит

до крайних пределов, до восторженного „осенения", „рождения в Духе", когда брызжут с уст „пророчества" и даже беспорядочные звуки „иных языков". Это — „сходит Дух". Возрастающее (равномерно или волнами) напряженное сосредоточение на одной и той же идее иногда при этом оказывается столь сильным, что переходит в экстатическое состояние и тогда перестраивает всю психику человека, всю взаимозависимость его рефлексов, так сказать, „по образу и подобию" этой идеи. В этом последнем случае сектанты говорят, что этот человек стал „Христом", если речь идет об идее духовного спасения и искупления человечества. Каждый новый „Христос" несет таким образом в себе, в своих речах, в своей деятельности „увиденное им в откровении" в момент экстатического „озарения", глубоко продуманный и прочувствованный, так сказать, план путей переустройства жизни. Это уже не инстинкт народа, но творческая деятельность его маленьких или больших гениев [8]).

И здесь опять заявляют о себе анархические мотивы. Для духовных, получающих откровения прямо от Духа, от самой Истины, что может значить чей-то внешний авторитет. Ни церковь, ни царь (видимые, земные) не авторитет для тех, кто вошел в церковь невидимую, внутреннюю, духовную, кто имеет царя „небесного". Законы, приказы видимых и их слуг, конечно, будут выполнены, если... совпадут с велениями Духа, с внутренним голосом. Но, если они окажутся противными, — бесполезны насилие, пытки, казни; ничто не может заставить духовных подчиниться: они доказали это своей историей. Она залита их кровью, слезами и муками сплошь, благодаря „благочестивейшим" государству и церкви.

И вот по „откровениям Духа", закладываются кирпичики нового внегосударственного „царства". Анархическая взаимопомощь пронизывает весь быт духовных, там и тут делаются попытки общей жизни по типу коммун. Таковы попытки „общих", малеванцев и т. д. Но только духоборцам, под влиянием их „Христа", вождя П. Веригина, удается создать крупную, существующую до сих пор коммуну, в известном смысле, анархического характера.

Таковы (вкратце) основные линии развития анархических устремлений русского сектантства. Цельность некоторого одного основного направления, по разному отражающегося в разных сектах, для меня вне сомнений. Перед нами живое историческое единство, части которого, отраженные в разных сектах, растут одновременно и, сравнительно, равномерно. Поэтому, изучение отдельных сект будет анатомией, а не изучением исторической жизни. Следовало бы не оставлять втуне также т. наз. „интеллигентные" секты, затем такие движения, как масонство, отметить влияния протестантских исканий Запада и, наконец, чисто общественные движения. Но для этого нет ни места, ни времени.

Дальше мы попытаемся раскрыть характеристические черты этого живого исторического целого. Мы рассмотрим развитие его внутренней закономерности в тех зародышах, в которых оно было в истории.

2. Неприемлющие мира.

„Убо в настоящия последния дни сея Антихристовы прелести, кий путь спасительный сущим в вере прообразовася. Пространный ли, о жене, о чадах, о торгах и стяжаниях, или же тесный, нуждный и прискорбный, еже не имети града, ни села, ни дому"—так в своем разглагольствовании от 28 марта 1784 года остро и четко ставит вопрос Евфимий, первый, известный нам, учитель и организатор страннического согласия [9]).

Мы видели, что такая постановка вопроса не была фантазией изувера, но имела глубокие корни в общественном и религиозном положении народа. Некуда было деться. Ревизия душ, введенная Петром 1-м, окончательно прикрепляла трудовой народ к земле, к заводам, к приходам и монастырям, к государству, отдавала его в полное распоряжение владельца, попа, чиновника и полиции. А дни Екатерины II-й принесли под маской „просвещенного" абсолютизма полный разгул этих четырех китов самодержавия.

Пишет Евфимий в своем „Цветнике" обличение: „. . . при описи раздроби народ на разные чины и расположи дань подушную, потом же и землю размежева . . . и сим разделением яко язычников содея, друг на друга ратоборствовати, межи бо яко границы чуждым землям устави, аже коемуждо глаголет с в о е: сей же глагол св. Златоуст п р о к л я т ы й и скверный нарицает, глаголя: м о е от диавола, рече, введеся; в с я в а м о б щ а я сотворил есть Бог. Отнеле же, егда тако удержаны врагом человецы при имениях своих, яко же мравия неусыпно тщание возымеша, как большая собрати и сего ради оттоле начаша бывати обманы, . . . междоусобные брани до свирепства, обиды до грабительств, все сие ради оного запрещения и разделения: кому оный император надели много, кому мало, иному ничегоже дав, токмо едино рукоделие повеле."

И мы, кому ведом опыт еще 140-ка лет с тех пор, видим, что в этих строках переяславского крестьянина (м. б. мещанина), уже заложены зародыши тех социальных теорий, что пышным цветом распустились через 70 лет после его смерти (1792 г., 20 июля). Роль власти в создании крупной собственности, монополий, пролетариата и вообще в разложении общества на нищих, бесправных, и богатых, господствующих, роль собственности в этом разложении, влияние права и экономики на нравственное состояние масс и наконец, производственный коммунизм, как нормальное состояние общественной жизни,— здесь коротко и ясно затронуты.

Института Ленина 331713 при ЦК ВКП(б)

Потому-то, что Евфимию ясно значение государственной власти в распадении и распрях общества, и потому, что «оный зверь» осрамил правильное древлее исповедание названием «раскол», «а свою еретическую церковь святу богохульно рече быти», и потому, что «посылал в пустынные места оных властей своих губительных искати безмолвных работающих Господеви . . . иде же обретая их грабленник им сотворися . . . . мучаше и смерти предаяше», — резко-непримиримо отношение Евфимия к существующей в то время государственной власти:

«. . . зде же о самом сатане по числу его (666) состоит слово и не в покорение к нему святии верных утверждают, но на брань побуждают: сице бо кто слышится силен быти да борется с сатаною. . .»

Наконец, в послании к московским старцам 1787 г., Евфимий в недопускающих по ясности сомнений словах дает следующее определение:

«Апокалипсичный (гл. XIII) зверь есть Царская власть; икона его—власть Гражданская, тело же его—Духовная».

Большей полноты и разрушительной силы, по отношению к господствовавшему строю, слов не существует. Крестьянские массы в то время в возраставшем ужасе ждали завершения Антихристова пришествия, т. к. в нем они видели последнее наивысшее сгущение мук своих, ждали конца мира, т. к. в нем они чаяли конец страданий своих. Апокалиптические видения были для них историей их жизни, таили в себе их надежды.

В Апокалипсисе нашли они осуждение и грядущую гибель своих мучителей, и радость будущей свободной жизни. Евфимий подчеркнул [10]) земное, житейское значение этих видений, и тем самым обращал все напряжение народных ожиданий, проклятий и надежд на силы быта, общественной жизни. А мы знаем из истории религиозных движений, какой колоссальной силой является умело направленная религиозная стихия. Но . . . удар этот, Евфимием лишний раз повторенный, был чересчур силен: он уничтожил смысл земного, открыв на нем «печать Антихриста». И его согласие, вместо накопления сил для прямой «брани» с державцами мира сего, ушло в проповедь «бегства», «скрывания», «пустынножительства», аскетизма, постыдно покинуло землю во владычестве «зверя» — ради искания «невидимой правильной церкви», ради встречи чистыми в чистых лесах Страшного Судии. А прочий народ попрежнему «мертвая трупия оказуется».

Такой результат естественно, хотя и неожиданно, вырос из учения и дела самого Евфимия. Уже и раньше практиковался, в качестве протеста и спасения одновременно, убег от ока государева и его слуг, неплатеж податей и т. д. Евфимий, повидимому, выдвигает это своеобразное «прямое действие», как подготовительный путь к прямой «брани» и усугубляет его. Возводится в догмат бойкот всего, что имеет какое бы то ни

было отношение к государственной власти и церкви, к Антихристу. Мало того, Евфимий знает, как обрезывает крылья имущественное и семейное положение. И вот, чтобы отрезать («оскопить») все, что может помешать в готовящейся борьбе, выдвигается догмат о «спасительном пути» — «еже не имети града, ни села, ни дому», т.-е. о странстве, об уподоблении первопустынникам гонимой «крыющейся» церкви. Отныне последующие учению сему, по их выражению: «Христиане есмы на земли, а места и отечества не знаем, но грядущего взыскуем, странники есмы».

Задумано сильно. Брошено в крепкое крестьянство — верно [11]). Если бы удалось широко и правильно развернуть это движение, — государство и церковь остались бы без денег, без граждан и прихожан, без пушечного мяса, с действующей, но бесполезной системой, т.-е. — пало бы. Что так и имелось в виду, говорит «Разглагольствие Тюменского странника»: «братися с Антихристом до времени нельзя; но когда придет время, тогда всякий, записанный в книге животныя, должен ополчиться на Антихриста», и что близко то время, когда „Спаситель на белом коне приидет с небеси, сотворит брань с Антихристом и что в это время все странники будут в рядах его воинства, а по свержении Антихриста приимут часть в первом воскресении и будут иереи Богу и Христу и воцарятся с Ним тысячу лет. Новый Иерусалим для жилища странников спущен будет Богом с небеси на то место, где мир несть к тому».

Так религия, нашедшая воплощение своих образов и ожиданий в силах и формах общественных стихий, сама становится общественной силой, получает плоть и кровь. До 2-х миллионов трудового крестьянства пошли в странство, скрываясь по лесам и подпольям. Но . . . на этом согласие и застыло . . ., не нашлось в нем сильных личностей, которые бы развили эти зародыши религиозно-общественной задачи, напомнили бы о ней массам.

И однако, по словам популярнейшего после Евфимия наставника Никиты Семенова (Киселева), исповедуемая согласием вера Христова «ничто же старое имать, но присно юнеет». Искания в согласии не прекращаются, талантливые наставники создают новые и новые толки. Пусть одни из толков еще ищут «правильную» церковь, где и цари есть благочестивые, правильные, но где то сокрытую. Но вот толк «Безденежников», возникший вскоре после смерти Евфимия и обосновавшийся в Ярославск. и Костр. губ. Здесь уточнили положения Евфимия: денег не берут—на них печать Антихриста, все имущество сносят «к ногам наставников», в общину; как перво-христиане, личной собственности не имеют, но живут вольно-коммунистической федерацией. С другой стороны, вот крестьянин Прокофий Царев, пойманный в 1841 г. в Н.-Новгороде и на допросе заявивший, что государя императора, учрежденных им властей, законов духовных и гражданских, судебных мест и самых помещиков не признает и не повинуется им, т. к. на небеси есть царь цар-

ствующих, а на земле он сам себе царь и иерей. Еще интереснее воззрения известного Тимофея Бондарева, изложенные им в сочинении: «Истинный и неложный путь...»

Развертывается тот самый процесс, который во всем «расколе» приводит к появлению т. наз. немоляцких толков. Авторитет отцов церкви уничтожается сознавшим свою силу разумом. «Чувственное» историческое воззрение преобразуется в «духовное», систематическое.

В 1837 г., уже старый летами, предстает пред судом за «странные толкования» житель Федосеевской станицы войска Донского—Гаврила Зимин, снимает с груди пожалованный ему георгиевский крест и отдает его начальству—по принадлежности. Это—«немоляк». Для идущего по пути «Христова совершенства», по завету «Будьте совершенны...», мир вступил уже в «зимнее время века», в «Век Духа» для «совершенных». Все видимое в мире, как подпавшее Антихристу, уже осуждено, если не приобрело высший духовный смысл. Второе пришествие уже было, и спасение возможно только «в духе» в жизни духовной. Власть и церковь, как мирские учреждения, для идущего по «пути совершенства» не имеют смысла, и требования их, противные этому пути, не могут быть выполнены. И не ради воздаяния идут по этому пути: за смертью уже нечего ждать, там ничего нет. Духовное, иносказательное, применительно к жизни человеческой, понимание писания, духовное исполнение обрядов отметают в человеке последнее мирское, плотское, Антихристово: букву и дьяволов быт. Непринятие, отвержение мира, его учреждений, его быта и беспримесный идеалистический анархизм достигают здесь крайнего, хотя и своеобразного развития.

В 60—70 годах прошлого столетия эта форма сектантства сразу обнаруживается чуть ли не по всему лицу России.

В эти годы широких крестьянских волнений, в связи с реформами времени Александра II, вновь воскресает религиозно-общественная задача Евфимия о «брани» с Антихристом, но обвеянная немоляцким духом времени.

Горнозаводским крестьянам мастеровым до реформы 19 февраля для развития горного дела, были даны некоторые права по сравнению с остальным крестьянством. Реформа эти права уничтожила, давая право заводчику заключать с крестьянами «уставную грамоту», низводящую их на общее положение. Крестьяне отказались подписать такой «договор». Тогда была образована партия штрейкбрехеров, «конторских» крестьян, а к остальным было применено «пристрастие». А тут еще земская реформа наградила крестьян новыми налогами. И, как встарь, под лозунгом «постоять за прежнее справедливое горное положение» развертывается новый религиозно-общественный протест. Крестьяне отказались платить налоги, повиноваться властям, итти в солдаты. Их, этих крестьян—мастеровых, еще недавно бывших ревност-

ными православными, нажим власти и заводчиков убедил, что «правда с земли ушла». Попробовали поискать ее в церкви, но там приобрели только лишнего врага и доносчика. И решили они, что «наступили последние времена, надобно избегать соблазна и готовиться к смерти». А тут еще круговая порука озлобила односельцев-штрейкбрехеров до того, что нашим «неплательщикам» стало опасно показываться на улицах: их ловили, сдирали с них всю одежду в уплату за недоимки. На сторону на заработки—не давали паспортов. Приходилось прятаться и тайком ремесленничать. Обиженная мысль работала, ловила веющие кругом толки, рылась в писании и—убедилась, что мир—царство Антихриста, что давать подати, рекрутов, слушать властей и попов, даже снимать перед ними шапку, ходить в церковь и кланяться иконам, значит—поддерживать Антихриста. Развернулась неравная «брань»...

17 ноября 1874 года были приняты и зачислены на военную службу без жеребья 38 человек крестьян Красноуфимского уезда. От присяги отказались, от работы отказались, от строевых занятий отказались и т. д. Каждый из них говорил: «Я человек истинного Бога... Града настоящего не имею, града грядущего взыскую... От горного истинного штата не отступаю и отступить не желаю... Новых правил и властей не признаю, а за веру и Бога готов принять мученический венец... Я странник на аминевой земле...»

За все это их били смертным боем, издевались, мучили. Более активных ссылали.

В результате дум и мук «неплательщики» пришли к сгущенно-коммунистическому образу мыслей, к полному обращению всего в общественное пользование, стремясь в то же время стать «сынами человеческими», этими вершинами земли, ни людей, ни животных не порабощающими, но животворящими своей любовью.

Не развернулось шире и это движение. Неплатеж податей, отказ от повинностей и от повиновения и т. д., другими словами отказ поддерживать неправое дело власти, характерно видоизменяется в зависимости от местности, от своеобразия путей мысли крестьян «немоляков», но общий тон один.

Однако сам характер образования немоляцкого движения в высокой степени индивидуализирует массы, анархизирует их, уничтожает в них исконную стадность, привычное—«как мир скажет» и тем самым подготовляет еще более глубокие основы для анархизма. Такие явления, как «сам по себе», «не наши», если в смысле общественных движений и малозначительны, тем не менее глубоко симптоматичны. В самом деле, вот перед вами «сам по себе» П. В. Таскин (сапожник):—«Я сам по себе... ни у кого нет настоящей, полной правды. У всех есть немножко правды.., силой вы людей не к вере приведете, а только в тяжкий соблазн введете..., к упорствующему человеку идите с любовью, с хри-

стианским духом, а не с силою, с диавольским духом... только христианский дух и победит... и будет едино стадо и един пастырь, будет всяческая и о всех Господь». Вот «не наш» ссыльно-каторжный (1869—1874) Егор Рожков, так дико истязуемый за убеждения, что волосы встают дыбом, когда только читаешь о них, говорит:—«Я сам по себе, ты сам по себе, т.-е. я живу по-своему, как сам хочу, как думаю, так и живу, а не как прикажет кто-либо другой, посторонний—не я... Сам Бог повелел так жить людям издревле... не повелел он поклоняться, подчиняться другому... Я вольный душою и телом... ты вот наемник,—не делаешь «сам по себе», а что тебе прикажут... Доброты мало, надо делать так, как думаешь... Я не ваш, а ты не наш... Я не обманываю, говорю, делаю, что думаю,—вреда никому нет... Им надо подати, паспорты... им надо работу,—работа не моя,—пусть они и работают... что им надо,—мне не надо,—кому тут вред? Они заперли меня под замок, бьют, заковали,—их сила. А все-таки они сами по себе, а я сам по себе... Моего им не отдавал и не отдам...» Всегда прекрасные духом в отношениях к другим, «не-наши» замкнуты, резки и «не снимают шапок» перед властями, чиновниками и попами. Они отвергли с презрением этот бесстыдный мир, который мстил им за это истязаниями в «мире отверженных».

Развитие идеи идет дальше: от покинутого авторитета через самостоятельность разума к мудрости единения в интуиции, в откровении. На границе нашего века бывший «сатанист», студент А. М. Добролюбов вдруг порывает с прошлым и уходит в народ, в Олонецкую губернию, к «странникам» или «скрытникам», о которых мы уже говорили, и возвращается оттуда в мир преображенный. Его—«чайки научили». Безмолвие, странничество, простота и любовь раскрываются в нем в новой красоте. «Брат Александр — сказал один 80 летний крестьянин,—это великий пример». Среди крестьянства, и рационалистического в особенности, его слово и жизнь встречают глубокое внимание и... последование. Об абсолютной анархичности этой формы сектантских исканий говорить не приходится: она здесь лежит в основе самого существа исканий.

Скажу еще об одном закрытом для изучения явлении. Безмолвие—граница, непроницаемая для него. Те же 60—70 годы дали пример, как и этот путь отрешения от мира, путь очищения и укрепления души, путь искания озарений оказывается в дни движений формой протеста. В Саратовский окружный суд—силой ввели, силой усадили подсудимых—мещан посада Дубовки—А. Р. Богатенкова и супругов Киселевых. Молчание было ответом на все потуги суда, красноречивое молчание. При Екатерине II таких же молчальников пытали. Генерал губернатор Сибири Пестель велел капать горящий сургуч на их животы. Но перед отухотворенной волей человека бессильны все пытки—ни слова не узнали палачи о сущности их секты.

3. Социальный миф.

Есть два типа понимания истории. В антиподах нравственного облика и революционного действия—в М. А. Бакунине и К. Марксе история дает нам ярких представителей этих типов. К. Маркс «упрощает» историю, сводя ее к ряду схематических моделей, утопий, построенных на началах «прибавочной стоимости», «борьбы классов» и т. д. М. А. Бакунин берет историю во всей ее живой осязательности, и ключом к ее пониманию для него служат не понятия и схемы, но часто еще неясные, и тем не менее ярко-жизненные, томления, искания, надежды и действия творящих свою историю и свободу порабощенных трудовых масс. Его гениальные провидения—результат такого «интуитивного» подхода к истории.

Массы, в своем развитии, в своих исканиях сами дают ключи к пониманию своей жизни, прошлой, настоящей и будущей, к пониманию своих устремлений. Это заметил еще Платон, это знали еще до Платона, это в последнее время заметил Сорель, этот странный «марксист». Вокруг обыденных бытовых слов сгущается целая атмосфера ярких, трепещущих жизнью образов, заставляющих откликаться на них самые усталые сердца и впитывающих в себя всю суть устремлений этих масс. Вот из этой атмосферы засверкала ясная неотразимая идея этих устремлений, и массы, еще вчера не знавшие, что делать, сегодня в непоколебимой уверенности идут на горе, на смерть, осуществляя этот свой «социальный миф». «Социальный миф»—ведь это то, что «видят» в себе, что хотят «видеть» в себе делающие свою историю массы. Он, как магнитное поле, развертывает силовые линии, по которым направляются и действуют живые магниты—люди.

Рабочие Запада раскрыли себя в социальном мифе Всеобщей Стачки; рабы, рабочие и бедняки Римской Империи—в социальных мифах Апокалиптики христианского гнозиса—в чем непреходящее общественное значение этих мифов, и т. д. Русское крестьянство ушедших столетий в своих религиозно-общественных движениях на фоне апокалиптических видений дает свои своеобразные образцы социального мифа.

Эти образцы в равной мере отражены во всех сектах; каждая из сект могла бы служить источником выявления этих образцов. Но разумно наблюдать их там, где они наиболее ярки, наиболее развиты.

Мы уже видели, как социальное положение русского крестьянства разрешалось в непринятие мира, в религиозно-социальный миф о пришествии Антихриста. Но крестьянство не только отрицало, оно искало, оно создавало.

Любимыми строчками в стихах русского сектанства были между прочим такие:—„Душа своей пищи дожидается, душе надо жажду утолити,—потщися душу свою гладну не оставить“...

Немил семейный уют, ни к чему нажитое добро, постыл белый свет тому, кто почувствовал голод души, кто сознал свою духовную нищету,—горше ему, чем голодному телом, чем измученному сильными.

Забредшая в русские степи, рассыпавшаяся по раскольным лесам десятками стихов об Иосафе-царевиче, история Будды, покинувшего дом свой ради отыскания «скрытой тропы», как нельзя более соответствовала такому состоянию выросших из стен «своей» веры, «своей» церкви, обманутых ею в своей религиозно-общественной правде, крестьян. Не зря пелось в бегунских стихах:

Скушно жить в стране безбожной
без святого алтаря,
где кумир и бог подложный
и власть надменного царя...

На основе этого мотива выростает уверенность в существовании источника утоления. Недаром западно-европейское рыцарство дало выражение таких же настроений в известных прекрасных религиозно-социальных мифах о Граале. Русский «стих Иосафа-царевича», столь любимый «странниками», говорит об этом же так:

Из пустыни старец в царский дом приходит.
Он принес с собою
прекрасный камень драгий.
Иоасаф царевич просил Варлаама:
— Покажи сей камень,
я увижу и познаю цену его.
— Удобь ты можешь солнце взять рукою,
а сего не можешь
оценити во вся веки без конца.
. . . . . .
Остался царевич после Варлаама,
завсегда стал плакать:
— Не хощу я пребывати без старца,
оставлю я царство и иду во пустыню,
взыщу Варлаама,
и я буду светозарен от него.
Пустыня любезная, доведи меня до старца.
. . . . . .

Многие бросали свой дом и отправлялись искать этот камень, эту жар-птицу русских сказок. Бродили от одной веры к другой, смешиваясь на дорогах с беглыми, с бродягами, с апостолами разных вер, с народными ходоками, с нищими, с паломниками по мощам и угодникам, с трудниками (русские йоги), непрестанно повторяющими Иисусову молитву (вм. индусского «Ом») на ходу, со взявшими на себя обет странства, с поднявшими «крест странства» и т. д. До того разнокалиберна была эта перехожая Русь, что еще в былине об Илье-Муромце к Илье, тридцать три года сиднем сидевшему, прихо-

дят такие «калики-перехожие», что «тремя ковшами воды» поднимают его на великую службу—на защиту страны, заказывая в то же время «не обидеть в чистом поле христианина, не помыслить злом на татарина». Секта Евфимия самым удивительным образом сливает эти разнороднейшие мотивы к странству в гениальный миф о «спасительном пути», о «пустыне», а толк Никиты Семенова уже считает крест странства выше креста Христа. Наконец, немоляцкие веяния придают и этому мифу значение «духовного странства»: «Я—странник на аминевой земле».

Как для анархиста—революция, для синдикалиста—всеобщая стачка, так и для странников странство—не только разрушение силы Антея (простонародное название антихриста), но и путь к иной желанной жизни. Высокие, доходящие до аскетических крайностей, нравственные требования всех сект, имеющих в себе анархические зародыши, накладывают строгую печать на их подготовку к этой иной жизни, но тем напряженнее, сгущеннее у них ее ожидание.

В 7-й главе «Сутры чистого Лотоса» написано об одном из Будд, как он вел людей в страну драгоценностей (Нирвану) и, заметив их усталость, создал «Град-Чудо»—марево. Люди напрягали все силы, стремясь в этот город. Так Будда довел всех до страны драгоценностей.

Буддийская легенда красивым мазком рисует здесь процесс создания социального мифа. Творчество масс, руководясь высочайшими побуждениями, часто смутно брезжущими в жизни их незаметных гениев, идет к освобождению всех своих духовных сил и возможностей, к освобождению их от пут этой нищенской и рабской жизни. Чтоб яснее, чтоб ярче была направленность всех сил народа в сторону грядущей свободы, его творчество развертывает пред собой прекрасный и сильный образ грядущего, может быть только слабый намек на него, но—в этот момент—будящий восторг и порыв. Русское сектантство использовало, как миф, библейскую историю исхода из Египта и странство Израиля в землю обетованную, в землю, текущую млеком и медом (целое движение назвало себя Израилем), а также естественно восприняло апокалиптический миф о грядущем граде—Новом Иерусалиме. На этой основе оно построило свои картины. Религиозно-социальное строение жизни, отображенное в ряде образов-мифов, становится ясным наглядно, без мудреной теории.

Странство оказывается тогда не только исходом из распутного и рабского Вавилона в грядущий град, не только лестницей испытаний и совершенства, но и основой еще более грандиозной картины, замыкающей весь ряд сектантских мифов в одно удивительное целое, шагнувшее за пределы известных мне социальных теорий. Если странство—лестница, одна из ступенек которой «эта земля», а завершение—«земля» гряду-

щая, совершенная, то вся жизнь—спор, диалог вокруг этой лестницы, диалог различных противоположных сил, наполняющих жизнь. Это не Гегелевская игрушка самозарождающихся антитезисов, но естественная диалектика истории. На одной стороне слуги Вавилона, антихриста, чувственные беси-попы, власти и развращенные ими отступники преграждают подъем людей к «будущей жизни» соблазнами, богатством, насилием, гонениями. (Ср. «Государство и его роль в истории» П. А. Кропоткина и «Кесарь и Галилеянин» Г. Ибсена). С другой стороны—«мал собор» верных, эти хранители драгоценного камня, в долгом подвиге испытанные и очистившиеся, и теперь готовые итти служить людям помощниками и проводниками в их исканиях, указать им найденный путь, это символическая гора—Сион. Построение, как видите, тожественное с социальной мифологией всего мира. Вспомним затерявшиеся два чистых колена Израиля, «потерянный рай», который искал Колумб, «Гималайское братство» Теософского О-ва, прекрасные мифы рыцарства о Граале и о горе Монсальват, легшие в основу музыкальных драм Вагнера и Гетевского стихотворения «Тайны», вспомним также поиски «истинного масонства», так волновавшие время Екатерины II, наконец, воскресшую теперь перед лицом науки Атлантиду, из которой по В. Брюсову вышли учителя учителей, и т. д. Таких примеров не исчерпать, так как творчество народов—неиссякаемый их источник.

Между этими двумя мирами—меж Вавилоном и Сионом—мятутся бедные слабые люди, не знающие или бессильные выбрать путь. Стихи страннические напоминают:

Бежи душа Вавилона,
постигай спешно Сиона,
тецы путем к горню граду.

И «оглашенные», еще не готовые «войти» на Сион, проходят свой искус под руководством опытных наставников прежде чем быть принятым и в ряды верных.

А по народу слухом гуляет надежда, что есть где-то «чудо-град», где все правильно, где нет ничего от неправедного Вавилона, куда не могут проникнуть никакие «беси» с данями и муками. «Место называемое беловодье и озеро Лове, а на нем 100 островов, а на них горы, а в горах живут о Христе подражатели Христовой церкви... А там не может быть антихрист и не будет...». Ходит слух о скрытом в далекой Индии царстве старца Иоанна. И, наконец, «чудо-град» оказывается совсем, совсем близко: стоит он на озере Светлояре; под Иванову ночь, когда и «папоротник зацветает», собираются к нему взыскующие, но... зрим он только для удостоенных, слышим только для праведных..; кто имеет очи видеть, да видит. Это—невидимый град-Китеж.

Здесь миф достигает наивысшей напряженности. В граде-Китеже (или подобном ему) сгущается вся суть построения. Здесь идеальное встает над существующим, образ грядущего над настоящим,—и бьет и будит противоречием усталый в заботах о налогах, в страхе перед солдатчиной народ, и нудит его держаться на высоте нравственных требований, зовет его к возможности увидеть, войти и жить среди праведных в граде теперь же.

Все это разрешается удивительным образом в мифе о Духе, озаряющем людей.

В одной из своих статей, напечатанной в органе русск. рабоч. кол. Канады и С.-А. С. Ш., я писал: «Наша задача—непрерывной инициативой сделать творчество масс непрерывно возрастающим творческим экстазом истории. Это и будет—Анархия в ее бесконечном смысле». Творческое озарение «Духом», как мы уже видели в первой главе, перестраивает все строение озаренных, вводит, как руководящее начало их жизни (всех рефлексов), то, чем они «озарены». В религиозно-социальной области это—напряженное стремление «увидеть» идеальный град. Образы мифа, завладевшие с момента озарения сознанием, становятся планом, по которому начинает строиться реальная жизнь. Навстречу грядущему идеальному граду на земле вырастает новый град, стремящийся стать подобным мифологическому образу, мареву—«чудо-граду», и через это в конце-концов слиться с идеалом. В Апокалиптике, как известно, миф завершается окончательной картиной «преображения мира»: «и увидел я новое небо и новую землю».

Социальный смысл этой мифологии ясен. Анархические устремления обнаружатся в попытках воплощения мифа в действительность, в характере построения земного града, растущего «навстречу» грядущему идеалу, становящегося, так сказать, его «воплощением».

4. Строители.

Заря XX века—годы общественного безвременья, годы, когда под натиском государственного террора остатки русского народнического движения перестраивались на лад политическо-партийной борьбы. В эти годы будущая революция теряла те общественные корни, которые пыталось развить в глубине народных масс бакунистско-народническое ядро. Культурно-бунтарская работа в массах, создающая жажду свободной деятельности, и потому—сознательную борьбу против всякого гнета, сменялась политической борьбой во имя куцых программ и жалких «идеалов». При этом в самой организационной работе воспитание свободной психологии самодеятельности заменялось своего рода централизованной солдатской дисциплиной, что едва ли могло приготовить работников свободного общества.

В эти годы русский анархизм, увлеченный общим потоком, ударился в другую крайность: в политически-террористическое разрушение, раздробил свои силы и терял серьезное массовое значение, терял, вместе с глубиной культурной укорененности в массах, в их «нутре», и понимание своих строительных задач, свой реализм, не оставил нам никаких традиций. Мы — анархисты, знаем эту, общую и партиям, ошибку, и не повторим ее.

Задача общественного строительства — глубинная задача. Люди — не глиняные кирпичи; составить проект и применить силу — здесь значит только разрушить постройку и надолго отбить охоту строить. Изучите внутренние организующие силы масс, разбудите их для самостоятельной работы, разбудите в них искания и строительные идеи, — и «кирпичи» сами, свободно, будут складываться в соответствующее им «здание».

3 февраля 1895 года, в одном из хуторов юго-востока Европейской России, в присутствии 800 человек, состоялось «содействие — оказательство народу построения града великого Иерусалима, сошедшего на землю». Содействием руководил крестьянин Б. С. Лубков, Христос ново-израильского течения секты духовных христиан.

Идея строительства нового града на земле по идеальному духовному плану естественно выросла в самом насыщенном религиозными и религиозно-общественными мифами движении народа — в секте духовных христиан. Против течения государственной церкви вынесли они на своих «кораблях» общинах эту удивительную идею Апокалиптики сквозь всю историю России, сквозь самые дикие гонения.

Болезненные увлечения «сдвиганием горы — плоти» посредством беганий, верчений и прыганий, физическим оскоплением, «говорением на разных языках» и т. п., время от времени находившие место в истории секты, особенно, как выражаются многие из самих «духовных», в детские времена секты, — все это затемняло сущность и задачи этого движения. История всех религий также знает, как для поддержания экстатических состояний употреблялось: где — вино, где — танцы и пляски, где — публичные самоистязания, где — даже половые раздражения, где — даже публичные казни, и т. д. Общественные и политические движения знают аналогичные способы поддержания своих экстатических состояний.

Но, несмотря на эти увлечения, время от времени среди «духовных христиан» загорался настоящий творческий экстаз, и, вместе с другими, оживала ярче, становилась богаче и идея строительства. Недаром они считают — называют себя «купцами русскими», скупившими — скопившими «всех земель товары» (духовные, конечно) и плотничками:

Сидят плотнички московские,
московские, петербургские.

Они думу думают за едино:
уж как нам быть,
по синю морю плыть
супротив волны..., —

поют они про себя на своих кругах — соборах.

Сопоставьте с этой песней вот это понимание стиха о Плакун-траве из знаменитой Глубинной или Голубиной (голубь — символ духа) книги, понимание, данное духоборческим течением духовных христиан:

„Плакун — трава, это те народы, когда Господь сеял семена и упали на удобную землю и выросла трава и та трава могла плыть напротив воды. Эта вода — учреждения человеческие, которые протекают к затмению народа; а чады, которые нарождены от Господа, плачут об вечной жизни и идут напротив власти".

Присоедините к этому понимание тем же течением другого стиха той же Голубиной книги, стиха об Естрафил-птице, бросающего свет на обще-гностическое значение кельтских и мексиканских мифов об Атлантах, выходящих из моря и основывающих культуры:

„Страфиль-птица, которая сидит на море, на камне яйца несет, из моря детей ведет. — это пришедший сын человеческий для возобновления пророчества и для утверждения закона. Он утвердил в народе закон; и как камень в море не может размыться или соржаветь, так и закон, утвержденный Христом в людях, не может исчезнуть. А яйца несет на камне, — это Христос принес дела и собрал апостолов и утвердил их на законе и послал в мир проповедывать, чтобы нарождались чады Божьи".

Перед нами, в этих немногих строчках, развернуты основы религиозно-общественного мировоззрения духовных христиан, странный миф о Голубиной книге становится живым и глубоко осмысленным. В песне перед нами плотнички строители думу — думают, как им строить новую жизнь «супротив волны». Стих о Плакун-траве разъясняет: вопреки течению мира и его учреждений, против власти. И стих об Естрафил-птице говорит: по внутреннему свободному закону, который пробуждается в людях влиянием одухотворенных личностей, «Христов», «пророков» и «апостолов», при чем сами люди духовно перерождаются. Не о том же ли, только на другом, на обычном, нерелигиозном, языке говорит и анархизм.

История знает два основных типа исканий. Ф. М. Достоевский в гениальной легенде о «Великом Инквизиторе» и Г. Ибсен в мировой исторической драме «Кесарь и Галилеянин» удивительно художественно рисуют их столкновение. Один тип — авто-

ритарный — выдает своих главарей за преимущественно-обладающих тайной «божественного» — Бога, народа, класса и т. д.— и потому исключительным правом диктовать остальным пути их жизни. Другой — анархический — считает, что нет никаких «тайн», что каждому открыты пути «божественного», т.-е. истины, братства, свободы и т. д.,— пути совершенства, если он действительно захочет испытать их, — и потому авторитет может бытьпризнан самим искателем лишь как временная помощь, руководство, пока не окрепли свои силы, но ником образом не как власть. «Первый да будет всегда слугой».

Авторитарный тип силен, гипнотизируя всевозможными способами чувства и инстинкты еще не развитых, еще не анархизированных масс. Анархический тип приобретает силу, лишь будя сознание самостоятельности разума и, еще больше, сознание свободы творческой интуиции людей.

К какому типу развертывается устремление духовных христиан, из предыдущего ясно. А мистицизм (мистика, мистический экстаз — это интуиция в области религиозных представлений; ее обычно смешивают с мистификацией, основанной на иллюзиях чувств и мысли) и рационализм, исторически переплетающийся в этом движении, говорят за большую самостоятельную духовную работу в нем, работу, несомненно подготовляющую почву для анархизирования масс. Аналогичную роль в самом сердце господствовавшей церкви выполняли последователи Нила Сорского, левые ветви славянофильства и некоторые другие.

Характерна реалистичность даже самых аскетических, самых, казалось бы, отдаленных от житейского мира, самых «мистичных» групп духовного христианства. Так «скопцы Царства Божия, белые голуби», — эти девственники силой воли и 30 и 40-дневные постники при полном отказе от пищи,— оказывались прекрасными работниками и культурными хозяевами в своих пасеках, усадьбах, ремеслах и промыслах. Плыли они в своих «ковчегах спасения»-общинах по «скрытой тропе спасения», оставляя сзади начало зла и направляясь к другому основному началу мира—добру. В борьбе этих двух начал они, подобно иоаннито-сабеям средневековья и древности, видели весь смысл мира. Государство, церковь, все религии, наконец, даже плоть вообще,—все это—зло, торжество зла. Не терпеть зло нужно, но напряженно бороться с ним. Аскетизм в отношении всего «злого», всеобщее братство, подобное перво-христианским вечерям любви, и общение с Духом, дающее им «книгу—Родослов», которую держит райская Стратим-птица, т.-е. написанную в сердцах «животную книгу»,—эти элементы, общие всему духовному христианству, доведены в скопчестве до возможно крайней степени развития. Характерна их терпимость, в силу которой они каждого, идущего духовным путем, считают скопцом, как и они. Но они ограничили себя задачей «Иоаннова крещения», понимаемого, как указание на руковод-

ство по «скрытой тропе спасения», и потому отрешились от забот непосредственного строительства новой жизни в народных массах.

Любопытно, однако, что известному фанатику физического оскопления, Кондратию Селиванову, увлеченные им «пророки» говорили: «и дастся тебе образ спасительный: вилы, цеп и пила». Это говорит за то, что и там, где аскетизм доводился до физической крайности, не терялась идея духовного домостроительства.

У «Серых голубей», «Ищущего Израиля» эта идея, как более близкая народным массам, чем личное спасение, расцветает с большой силой. Остановимся на тех ветвях духовного христианства, которые наиболее характерно выявили эту идею в смысле нашей статьи.

Донос Екатеринославского губернатора от 1792 года, открывший эру гонений на духоборческую ветвь, между прочим говорит что «ересь их особенно опасна и соблазнительна для последователей тем, что образ жизни духоборцев основан на честнейших правилах и важнейшее их попечение относится ко всеобщему благу; и спасение они чают от благих дел».

Записка 1805 года, кроме прочих духоборческих добродетелей обнаруживает, что

> „У них нет меж собой собственности; но каждый имение свое почитает общим. По переселении их на Молочные воды они доказали сие на самом деле, ибо они сложили там все свои пожитки в одно место, так что теперь у них общая денежная касса, одно общее стадо и в двух селениях два общих хлебных магазина. Каждый брат берет из общего имения все, что ему ни понадобится".

В 1886 году, в связи со спорами об общественном имуществе, выдвигается среди духоборцев 22-летний П. В. Веригин, вскоре общепризнанный «Христос» главной части духоборчества. 15-летн. ссылка (с 1887 г.) в Архангельск, а потом в Сибирь только укрепила его влияние. Началось «брожение умов». Часть (большая), об'единившаяся вокруг Веригина, решает: уничтожить совершенно частную собственность, сжечь оружие и отказаться от военной службы, не творить никому зла и насилия, а тем более никого не убивать, и не только человека, но и других тварей, даже до самой малой птицы, и принимает характерное наименование: «Христианская община всемирного братства».

Преследования усилились до такой степени, что смерть стала казаться избавлением. Но в это время, с помощью «шекеров» (секта, близкая к духоборцам по сути, но возникшая на Западе), спасшихся в свое время в Америку из Англии, а также Л. Н. Толстого, П. А. Кропоткина и др., удалось

устроить на заре этого века их переселение в Канаду. Здесь они создали образцовую коммуну, несмотря на естественные трения с Канадским правительством.

Мы не будем описывать известные из других исследований историю и быт этой коммуны, т. к. это относится уже к XX-му веку.

Отметим лишь начала, положенные в основу жизни «Христианской общины всемирного братства», написанные П. В. Веригиным:

1. Члены общины уважают и любят Бога, как начало всему существующему.

2. Уважают достоинство и честь человека, как в самом себе, так равно и в себе подобных.

3. Члены общины смотрят на все существующее любовно и с восхищением. В этом направлении стараются воспитывать детей.

4. Под словом Бог члены общины разумеют силу любви, силу жизни, которая дала начало всему существующему.

5. Мир состоит из движения; все стремится к совершенству и через этот процесс старается соединиться со своим началом, как бы возвратить созревший плод семени.

6. Во всем существующем нашего мира мы видим переходные ступени к совершенству, как, например, начинается с камня, переходит к растениям, потом животным, из которых самым крайним можно считать человека в смысле жизни, в смысле мыслящего создания.

7. Уничтожать, разрушать что бы то ни было члены общины считают предосудительным. В каждом отдельном предмете есть жизнь, а следовательно и Бог, в особенности же в человеке. Лишить жизни человека ни в каком случае непозволительно.

8. Члены общины в своем убеждении допускают полнейшую свободу всему существующему, в том числе и существованию человека. Всякая организация, установленная насилием, считается незаконной.

9. Главной основой существования человека служит энергия мысли. разум. Пищей вещественной служат: воздух, вода, фрукты и овощи.

10. Допускается общинная жизнь в человеках, держащаяся на законе нравственной силы, правилом которого служит: чего себе не хочу, того не должен желать другому.

В 60-х годах прошлого столетия, отчасти под влиянием брожений в евангелических течениях немецких колоний, а главным образом в силу общего оживления в Духовном христианстве, на юге России обнаруживается широкое духовно-христианское движение, окрещенное миссионерами «штундизмом».

В 90-х годах, под влиянием неграмотного колесника города Тараща Киевской губернии, перекрещенного из православия

в баптизм, Кондратия Малеванного, возникает удивительное по одухотворенной жизнерадостности новое течение духовного христианства — «малеванщина». После случайной встречи со «штундистами», Кондратий принялся с четырьмя друзьями усиленно читать библию, пришел в экстаз и об'явил себя Первенцем-Спасителем, бичуя общественное зло и призывая всех возродиться к новой жизни. Последовавшие гонения, избиения и издевательства только укрепили движение. Правительственные психиатры, Сикорский и Бехтерев, не постыдились определить его сумасшедшим, а правительство позаботилось его упрятать.

«Человек, говорят малеванцы, должен найти в самом себе обетованную землю, сам должен отыскать, и когда он познает обетованную землю, он все будет знать, он будет управлять своей плотью; это и есть его удел, участок обетованной земли, где он может устраивать благоустройство, и тогда в собрании он делится с братьями словом, чтобы братья питались к новой жизни».

Здесь строительство имеет своеобразный смысл. В Апокалипсисе говорится о грядущем граде: «Храма же я не видел в нем; ибо Господь Бог Вседержитель-храм его и Агнец». Строительство малеванцев целиком сосредоточено на создании каждым из себя здания грядущего града, достойного быть носителем «божественного», и, таким образом, на стремлении к слиянию всех в единстве совершенства: «будет одна любовь, все иное будет, у всех будет одна душа, для всех будет светить одна истина и правда».

Попытались и они жить анархической коммуной, но, сознав по опыту, что еще не готовы к такой жизни и послушавшись разумного совета самого Малеванного, возвратились к обычной форме жизни, удвоив готовность притти на помощь, усилив дружеские любовные отношения.

В 1886-м году в ветви духовного христианства, называемой «Новый Израиль», дается толчок к еще новой форме строительства. На торжище гор. Боброва Воронежской губ. выходит семнадцатилетний крестьянский мальчик, пришедший в экстаз, но непонятый и выгнанный отцом, и «говорит слово» народу. Испытавший затем тюрьму и оковы, сосланный в Закавказье, он скрывается оттуда в виду новых преследований. В 1894 году (год смерти Христа «Нового Израиля» В. Ф. Мокшина) в г. Воронеже, на тайном с'езде «представителей» «Нового Израиля» В. С. Лубков (так звали нашего мальчика) об'являет, как новый Христос, «новое домостроительство по новому плану»:

«По вступлению моему в страну чудес и в небесный Ханаан было мне откровение от Бога, Духа пресвятого, новый план небесного града Иерусалима, сходящего с неба от Бога на 21 век . . . .» пишет он в своем послании (век считается по смене вождей с начала эры, знаменательного по особому событию).

Мы не даем, за малостью места, картин и разъяснений мифологии плана, а также «картин» и «содействий», в которые воплотил свои идеи этот религиозно-социальный художник. Особо интересны: «Горняя проповедь», «Преображение», «Тайная вечеря» и т. д.

В предисловии к резолюции С'езда представителей в 1906 г. в г. Таганроге в составе 450 чел. так говорится о характере строительства движения: . . «новоизраильская община в духовном смысле будет именоваться «Новый христианский союз» на началах христиан первых дней, первоначальной христианской истины, правды Божией и любви».

Заключительные замечания.

Мы видим, т. о., что все элементы массового анархизма, вплоть до строительства, но исключая методы революционного наступления, в русском сектантстве налицо, правда в весьма своеобразных формах.

Для меня, однако, более, чем для кого бы то ни было, ясно, что это маленькое исследование является только первым приближением к пониманию предмета исследования. С точки зрения моего понимания истории и ее метода следовало бы вскрыть все вышеизложенное в самом быте сектантства, в мелочах бытового обихода и взаимного поведения, в статистике быта и в том их влиянии, которое несомненно сказалось и в общественных движениях и в своеобразии развития других форм общественности России. Но такая глубокая и серьезная работа, к тому же нуждающаяся в более тонком анализе самих форм анархических устремлений, потребует годы изысканий и систематизации, тем более, что материалы истории России в этом смысле историками почти не разрабатывались, истории России в этом смысле мы еще не знаем. А литература о русском сектантстве, за немногими счастливыми исключениями, в этом смысле исторически весьма малоценна [13]).

Русское сектантство, в силу гонений и натравливания темных масс, а отчасти и потому, что некоторые его формы могли быть восприняты лишь прошедшими некоторый искус, некоторое воспитание (по поговорке: не мечите жемчуга . . .), создавало часто весьма тонко законспирированные организационные формы. Один тот факт, что часто видные деятели сект до конца жизни вели работу под носом усердно разыскивавших их полиции и священнослужителей, что создавались новые крупные организации, происходили с'езды по нескольку сот человек, и полиция об этом не знала,—говорит за довольно высокий уровень конспиративных навыков сектантства. А «общество» и историческая наука к тому же мало интересовались жизнью «серого» народа.

Высота нравственных требований и молчание — эти средства сектантского совершенства — хотя и часто нарушались слабыми людьми, но, тем не менее, имели несомненно колоссальное воспитательное значение, и, тем самым, облегчали конспирацию и взаимную поддержку.

Для нас имеет большое значение то обстоятельство, что анархические устремления характерно совпадают с наиболее оживленными, с наиболее культурно-прогрессивными течениями сектантства. Встает, однако, вопрос: какую историческую ценность имеет строительство сектантского анархизма. Будет ли это строительство действительным решением «проклятого» социального вопроса. Прав ли был М. А. Бакунин, утверждая, что дело анархиста — разрушение, т.-к. народ для строительства найдет в себе все; что нужно.

Вместо ответа на этот вопрос укажем лишь, что мы в своих изысканиях не нашли ни в учении, ни в мифах сектантства ясного понимания динамики и эволюции общественных стихий, выростающих внутри общества из разнородности человеческих сил, стремлений и возможностей. Эта разнородность создает статистические закономерности и силы, умелое использование которых для своих целей составляло всегда привилегию власти. Уменье так внести в жизнь масс свою инициативу, чтобы стихии гармонизовались не только без нарушения свободы масс, но именно в процессе культивирования этой свободы, — вот чего требует от своих инициаторов, анархизм. Но раз так, анархисты должны глубоко понимать ход образования и развития общественных стихий, а не быть подобными фетишистам, обрушиваясь на мертвые вещи, вроде денег и бумаг.

Здесь перед анархизмом стоят серьезнейшие строительные задачи, о которых народ, даже сектантство, еще и не загадывали.

Но и в том, что сектантством уже испытано, — опыт сектантства шел и идет в большой степени так сказать на глаз — опыт этот неизмеримо ценен. Он давно уже приступил к непосредственному осуществлению анархизма. Но с нашей точки зрения он недостаточен.

Задача анархизма — учесть и понять этот опыт народа во всей его глубине и развернуть свои внутренние богатства так, чтобы народ увидел впереди своих исканий дальнейшие глубины анархизма, и слил с ним, в конечном счете, свои пути.

Примечания.

1) Здесь, как и дальше, под словом церковь, если нет оговорки, я разумею историческое учреждение, а не духовный союз. Лежачих, говорят, не бьют. Но я все же считаю своим долгом еще раз напомнить о гнусностях, творившихся господствовавшей церковью. Помнит ли она это перед народом или же готовит новые Голгофы?

2) Я здесь не говорю о неинтересном для нас, оставшемся от религии стихийных сил природы, магическом значении буквы и обряда, как заклинаний, в которых ни черты де нельзя изменить, не разрушая их силы. Я не говорю здесь также и о неинтересном для нас консервативном крыле раскола.

3) Матф. 16, 15—16.

4) Любопытно, что, если перевести это и дальнейшее на язык общественных наук, то окажется удивительное совпадение с некоторыми теориями анархизма и марксизма.

5) Творение инока Саввы Сенного острова — на жидов и на еретики послание. Лета 6996.: «Дети. Последняя година есть: якоже слышасте, антихрист грядет, и ныне антихристи мнози бышя...»

6) Челобитная об антихристе, еже есть Петр 1-ый.: «... егда исполнися число зверя 1666 лет, в то лето царь Алексей Михайлович с Никоном отступи от святой православной веры ...»

7) В раскольнической литературе, по мере приближения к немоляцким толкам, эти мотивы также становятся преобладающими, а у этих последних — вытесняют все другое.

8) Нечто сходное дают и безрелигиозные общественные движения.

9) Франциск из Ассиз, основатель католического ордена францисканцев, искал «путь спасительный» в «обручении с Нищетой».

10) Евфимиево учение о чувственном Антихристе было создано до него, а также и его любопытная философия истории, как последовательного, после Р. Х., осуществления Апокалиптических образов. Интересно, что 1-е воплощение Антихриста он видит в Римской власти, 2-е — в Никоне и 3-е в Петре 1-м и его наследниках. Сравните известную формулу старца Филофея: «Два Рима падоша, третий (Москва) стоит, а четвертому не быть».

11) Фабрично-заводского пролетариата, в котором после анархисты и марксисты нашли уже осуществленным этот «путь спасительный», — тогда еще почти не было. А беглая голытьба — эта зачинщица и ядро всех прежних бунтов — все таки в массе своей содержала не мало анти-общественных элементов.

12) Любопытно поведение Тверских (Калязинского уезда) «немоляков» — «христовых учеников веры Христовой кафолической». На увещания начальства и духовенства они отвечали: «мы никого не признаем, кроме Отца небесного; ... только Он за нас заступится». ... «Когда же посадили» вожаков «в острог, все остальные толпами пришли и потребовали посадить и их вместе, так что «места для всех нехватило».

13) Даю перечень литературы, из которой взяты мною все цитаты текста:

1. Материалы к истории и изучению русского сектантства и старообрядчества. Под ред. В. Бонч-Бруевича. Вып. 1 — IV.

2. Кельсиев. Сборник правительственных сведений.
3. Щапов. Земство и раскол. Бегуны.
4. Щапов. Умственные направления русского раскола.
5. И. К. Пятницкий. Секта странников и ее значение в расколе.
6. Пругавин. Религиозные отщепенцы.
7. Пругавин. Неприемлющие мира.
8. П. Бирюков. Духоборцы.
9. «Что такое «сектанты» и чего они хотят». Вып. 1.
10. Ясевич—Бородаевская. Сектантство в Киевской г.

Брошюра К. Н. Медынцева: «Неплательщики» «Духоборы» (Материалы по истории анархизма в России) может, пока, служить некоторым пополнением и «коррективом» к моей статье.

П. А.

Анархические элементы в Славянофильстве.

(*Историческая справка*).

Откуда начинать историю анархических идей в России. Некоторые считают первым русским анархистом чуть ли не Феодосия Косого. Несомненно, что в низовых религиозных течениях русского народа, среди различных сектантов, давным-давно возникли мысли, которые можно назвать анархическими. Но все это были плохо осознанные представления, не связанные друг с другом в одно целое, скорее анархические настроения, нежели анархические идеи. Впервые точное и глубоко продуманное отношение к государству в анархическом духе мы находим у наших ранних славянофилов, в лице их „передового бойца" Константина Аксакова...

После его смерти в черновых бумагах нашлись короткие заметки на двух листах, написанные повидимому, в конце пятидесятых годов. В печатном издании они занимают одну страничку. Однако эта страничка представляет собою вполне законченное и определенное выражение анархических идей, уже давно продуманных до логического конца их автором. Познакомившись с сочинениями Прудона, или с книгой Макса Штирнера, К. С. Аксаков встретил в них только подтверждение своим собственным мыслям.

Эти замечательные заметки К. С. Аксакова есть первый литературный документ русского анархизма. Уже в достаточной мере зараженный этими аксаковскими идеями, уехал Бакунин за границу. В одном из своих поздних писем он сам вспоминал, что К. С. Аксаков, глава славянофильской школы, еще в 30-е годы, вместе со своими друзьями, уже был „врагом петербургского государства, и вообще государственности, и в этом отношении он даже опередил меня"...

Вот эти заметки К. С. Аксакова полностью:

„Человеку, как общественному лицу и как народу, предстоит путь внутренней правды, совести, свободы, или путь правды внешней, закона, неволи. Первый путь есть путь общественный, или лучше, земский; второй путь есть путь государственный. Первый путь есть путь истины, путь вполне достойный человека.

— Все имеет только цену, во сколько, что делается искренно и свободно. Благо народу, который хранит веру в такой путь. Здесь же возникает община. Но удержаться на этом пути

человеку трудно. Не всех может остановить одна совесть, и люди бессовестные вносят тревогу и смущение в общество человеческое; оно видит, что для тех, которым совести мало, мало суда внутреннего, нужен суд и наказание внешнее. Человек прибегает к другому пути.

Заманчив путь этот, гораздо, повидимому, более удобный и простой; внутренний строй переносится во-вне; свобода, источник которой внутри человека, понимается только, как порядок, наряд, как устройство, институт; основные начала жизни понимаются как правила, совесть понимается, как закон. Этот путь не внутренней, а внешней правды, не совести, а закона. Начало, лежащее в основе такого пути, есть начало неволи, начало, убивающее жизнь и свободу. Прежде всего формула, какая бы то ни была, не может обнять жизни; потом, как бы ни была она истинна, налагаясь извне, уничтожает самую главную силу, силу внутреннего убеждения, свободного ее признания. Далее, давая таким образом человеку возможность опираться на закон, она усыпляет склонный к нравственной лени дух человеческий, легко и без труда успокаивая его исполнением готовых определенных требований и избавляя от необходимости внутренней нравственной деятельности, нравственного бодрствования. Таков путь Государства. Как бы широко и, повидимому либерально ни развивалось Государство, хотя бы достигло самых крайних демократических форм, все-таки оно, Государство есть начало неволи, внешнего принуждения; оно есть данная форма, оно есть учреждение. Чем более развито Государство, тем сильнее заменяет учреждение внутренний мир человека, тем глубже и теснее обхватывает оно общество, хотя бы повидимому соответствовало всем его требованиям.

Путем Государства пошла Западная Европа и разработала великолепно государственное устройство, с чрезвачайными оттенками, доведши его в Америке до высокой степени либерализма. Но этот либерализм Государства есть все-таки неволя, и чем шире ложится оно на народе, тем более захватывает оно народ в себя и каменит его духом закона, учреждения, внешнего порядка. Если либерализм государственный дойдет до крайних пределов, до того, что каждый человек будет чиновником, квартальным самого себя (здесь К. Аксаков как бы повторяет выражение М. Штирнера: каждый пруссак носит в груди своего жандарма. Н. Р.), тогда окончательно убьет государство живое начало в человеке. Передовые умы Запада начинают сознавать, что ложь лежит не в той и не в другой форме Государства, а в самом Государстве, как идее, как принципе; что надобно говорить не о том, какая форма хуже и какая лучше, какая форма истинна, какая ложна, а о том что Государство, как Государство, есть ложь".

К. С. Аксаков, в своих заметках, ссылается на передовые умы Запада. Но, собственно говоря, вышеприведенные взгляды

К. Аксакова органически вытекают из славянофильского учения и были высказаны им уже в 30-е годы прошлого века, когда не появлялись еще ни памфлеты Прудона, ни книга Штирнера.

Славянофильство, как миросозерцание, своеобразно заключает в себе и патриархальные и революционные элементы.

Идея живого общественного организма, а не мертвого государственного механизма лежит в самой основе собственной социальной философии славянофилов. Герой славянофильской общественности — народ, а не государство; самая идея самодержавного царя у славянофилов антигосударственная; славянофилы не только не поклонялись идолу государственной власти, но всем сердцем отвергали его и противились ему; сами славянофилы были своеобразными анархистами и в этом отношении считали себя выразителями русского „духа", не государственного, не формалистического, мало склонного к государственному строительству. Высшее религиозное призвание русского народа, его духовное делание требует освобождения от бремени государствования; по учению славянофилов, русский народ отрицает юридические гарантии, не нуждается в них, отвергает всякий формализм, которые нужны лишь в отношениях завоевателей и завоеванных, но не нужны там, где власть государственная органическая, народная по своему происхождению; отсюда отрицание механики количеств, принципа большинства голосов, отрицание того, что общественная правда может рождаться из арифметического подсчета голосов, т.-е. механически. Народ понимает власть не как право, а как обязанность. У славянофилов было безмерное отвращение к бюрократии; бюрократия не органична, она чужда русскому духу, заимствована (при Петре I) с Запада, бюрократия—болезнь русской жизни. Славянофилы были противниками бюрократического монархизма, империализма.

По утопическому и чисто теоретическому определению славянофилов, самобытно-русское самодержавие, в своей идее, по своему идеальному назначению, не имеет ничего общего с государственным абсолютизмом. В представлениях славянофилов, решения самодержавно царской власти должны быть связаны пределами народного понимания и мировоззрения, только внутри которых власть чувствует себя свободной. По определению одного из славянофильских писателей: „Самодержавие государя не только может и должно уживаться с церковною и гражданскою свободой народа и с самым широким и полным его самоуправлением; но без такой свободы и самоуправления истинное самодержавие и невозможно". (Аф. Васильев).

Славянофилы понимали политическую власть, как обязанность, как бремя, и когда власть начинает самоутверждаться и сознавать себя, как право и привилегию, тогда власть разлагается; народный уклон к абсолютизму, к империализму западного образца начался у нас, как доказывали славянофилы, со времени Петра I и восторжествовал в петербургско-бюрократи-

ческий период. Политическая точка зрения Хомякова и прочих классических славянофилов была внутренне-революционна по отношению к тогдашней исторической действительности, к фактическим формам и содержанию русской монархической государственности; славянофильское самодержавие было идеалом, никогда еще в жизни не осуществлявшимся; эта идейная революционность не могла быть достаточно выражена славянофилами прямо и открыто, по чисто внешним цензурным причинам, но никогда славянофилы не были идейными сторонниками исторического русского абсолютизма и еще менее его практическими приспешниками. Как известно, царское правительство вплоть до 1905 года систематически преследовало и закрывало славянофильские журналы и газеты.

Первый Рим и второй Рим соблазнились властью государственной и потому пали; третий Рим—Россия—не государственный, она не тянется к политической власти над народами, к империализму, она смиренна и потому избрана Богом, но подобная концепция слишком красноречиво противоречит нашей истории. Русская императорская власть двигалась именно духом завоеваний, полная гордости и самоутверждения. Славянофилы сами на себе испытали, как мало общего имела власть историческая с их идеологией.

Ошибкой славянофилов было то, что они вопрос о назначении и судьбах России связывали с определенными (но существовавшими лишь в идее) формами государственной жизни, точно так же, как они связывали ее с сельской общиной.

Новейший исследователь политической доктрины славянофильства совершенно верно утверждает, что не стоит даже труда опровергать учение славянофилов, даже критиковать эту концепцию. Все же цитатами из Ключевского и Соловьева он вскрывает фальшь их исторических ссылок; выявляет всю наивность идеализации Московской Руси, этой прямой наследницы татарщины; твердо устанавливает „фантастичность этой парадоксальной теории анархического самодержавия....“

Однако значение первых славянофилов в истории русского анархизма опирается не на эту теорию „анархического самодержавия“, а на их основные и общие взгляды на значение государства в жизни народов, воспринятые молодым Бакуниным.

Иным было отношение первых славянофилов к анархическому индивидуализму. Они отвергали его основания и его выводы из религиозно-этических побуждений. Мы имеем отзыв А. С. Хомякова о книге М. Штирнера, которую он прочитал один из первых. Он писал о ней еще в 1849 году следующее:

„Приговор (над Западно-европейской цивилизацией. Н. Р.) произнесен несколько лет назад, в книге нелепой по своей форме, отвратительной по своему нравственному характеру, но неумолимо-логической, в книге Макса Штирнера (Der Einzelne und sein Eigenthum). Эта книга, от которой с ужасом отступилась школа,

породившая ее, о которой без глубокого негодования не может говорить ни один нравственный (sittlicher) немец, имеет значение историческое, незамеченное критикою и, разумеется, еще менее известное самому автору, значение полнейшего и окончательного протеста духовной свободы против всяких уз произвольных и налагаемых на нее извне. Этот голос души, правда, безнравственной, но безнравственной потому, что ее лишили всякой нравственной основы, души, беспрестанно высказывающей, хотя бессознательно, и возможность, и разумность покорности началу, которое бы было ею сознано и которому бы она поверила, и восстающей с негодованием и злобой на ежедневную проделку западных систематиков, не верящих и требующих веры, произвольно создающих узы и ожидающих, что другие примут их на себя с покорностью. Современная история есть живой комментарий на Макса Штирнера...."

Однако, и А. С. Хомяков, наравне с автором „Der Einzige" отвергает „призраки самодельных духовных начал"....

Проблема личности и общества в учении первых славянофилов, разрешается скорее в духе анархизма — коммунизма.

У К. С. Аксакова говорится: „Личность в Русской общине не подавлена; она только лишена своего буйства, эгоизма, исключительности.... Личность поглощена в общине только эгоистическою стороною, но свободна в ней, как в хоре.... Замечательно очень, что крестьянин, не имея собственности, часто продает свой участок. Он говорит: земля моего владения. Здесь продает он не собственность, а только право своего владения, свое место, свое положение в общине, и отношение к земле, он передает за деньги свое право, как можно передать подряд и проч. Частной собственности нет....."

Социальные воззрения славянофилов носили те же патриархально-революционные черты, которые роднят их с анархистами. Для их характеристики достаточно привести яркую цитату из статьи одного из правоверных учеников Ивана Аксакова, написанной на рубеже XX века, в 1900 году:

„Великие идеи, поднимавшие когда то человечество и сообщавшие несокрушимую силу его носителям, сменились траттою, биржевым бюллетенем, котировкою той или иной бумаги. На крестовый поход никого не соберешь, теперь дерутся из-за золота, угля, хлопка, торгового договора, того или иного тарифа. Здесь силен только тот, кто дешево производит для мирового рынка и умеет, если нужно, пушками и штыками поддержать свою торговлю, заставить у себя покупать, заставить заключить с ним торговый договор. Из тираний старых монархий человечество попало в еще худшие виды рабства, сполна принадлежащие 19 и 20 векам: парламентаризм, бюрократизм и милитаризм. Личность, с ее волей, совестью, духовностью и праведностью, исчезла в огромном мертвом механизме, где верховною правдою и совестью стал простой арифметический подсчет голосов... Прошло

всего несколько десятилетий, а из-за парламентаризма показался новый владыка человеческих масс, шедший покорять и порабощать освобожденную от старой единоличной власти Европу. Цивилизация завершила свой круг, и к исходу XIX века новый владыка торжественно воссел на упраздненных или обращенных в пустой призрак тронах Европы. Имя этому новому владыке — Биржа. Говорят, что XIX век характеризуется развитием точных наук и необыкновенными успехами техники, совершенно изменившим все условия общежития. Но такая характеристика будет далеко неполна, если мы упустим из виду, что эти чисто служебные вещи, не только не сделали человека более счастливым сравнительно с его предками XVII и XVIII веков, но послужили орудием нового и самого тяжкого рабства, которое когда-либо знавало человечество: рабство человека у мертвого и безличного начала голой наживы, бездушных процентных бумажек, всех этих акций и облигаций. В этом рабстве и состоит великое дело последнего фазиса европейской буржуазной цивилизации. Паровые железные дороги, огромные быстроходные суда, тысячи разнообразных приложений электричества, телеграфа и телефона, а завтра, быть может, и отчетливое зрение на расстоянии, все это встало не на услуги свободному и счастливому покорителю природы—человеку, а наоборот, ополчилось на последние остатки его свободы, увлекло его сполна в круговорот наживы, корысти и борьбы всех и со всеми. Уйти из этой борьбы, позабыть о ней, сохранить свободу своего духа в этой неистовой скачке стало немыслимым. Уничтожилась нравственная связь между людьми: исчезли общины, цехи, сословия, городские корпорации, но тем крепче опутала всех связь денежная, биржево-деловая. Человек должен ежеминутно стоять во всеоружии экономической борьбы, так как всякому виду его труда или имущества угрожают самые неожиданные опасности, и подкопы самые смелые ведутся со всех сторон. Как пролетарий-работник, я ежеминутно трепещу перед увольнением с работы вследствие „перепроизводства“, как земледелец или промышленник, я дрожу перед всякими кризисами, даже как капиталист я ежеминутно могу потерять все состояние от прихоти первого биржевого короля. Под моими ногами ни в одной точке земного шара нет истинно твердой почвы; мне некуда уйти, не на что упереться, негде искать защиты. Я или хищник, или жертва, так как третьего положения нет. В сложности это составляет такой ужасный вид духовного рабства, перед которым пустяки рабство материальное.... Стремление каждого государства к мировой роли и к мировому господству и окончательное преклонение перед всемогущим Золотым Тельцом империализма, с одной стороны, тресты и синдикаты,—с другой, золотая валюта, создающая всемирную власть международной биржи, — вот тот капиталистический мир, та якобы свободная цивилизация, которая должна сгнить изнутри и рассыпаться в прах под нашим напором или мы готовим себе зияющую яму общей гибели“.

Под этой страстной филиппикой славянофила, думается, не дрогнуло бы подписаться и перо анархиста.

Зачинатели анархизма и отцы славянофильства одинаково отрицали буржуазную (мещанскую) западную культуру с ее безнравственным капитализмом, беспощадным милитаризмом и бесплодным парламентаризмом во имя свободного и счастливого человечества—братства....

Литература.

1. К. С. Аксаков. Полное собрание сочинений. Том первый. Изд. второе. М. 1889 г. Стр. 241, 592, 593, 596...

2. А. С. Хомяков. Полное собрание сочинений. Том первый. Изд. второе. М. 1878 г. Статья „По поводу Гумбольдта".

3. И. С. Аксаков. Полное собрание сочинений. Том второй. Изд. второе СПБ. 1891 г. Славянофильство и западничество. Статьи: Ответ. г. Градовскому на его разбор „Записки" К. С. Аксакова (стр. 495-508) и О взаимном отношении народа, государства и общества (стр. 26—59).

4. Теория государства у славянофилов. Собрание статей И. С. Аксакова, К. С. Аксакова, Аф. В. Васильева, А. Д. Градовского, Ю. Ф. Самарина и С. Ф. Шарапова. СПБ. 1899 г.

5. Д. (А). Х(омяков). Самодержавие. Опыт схематического построения этого понятия. Харьков 1906 г.

6. Иванов-Разумник. История русской общественной мысли. Том первый. СПБ. 1907. Глава VI. Западники и славянофилы.

7. В. Богучарский. Активное народничество семидесятых годов. М. 1912 г. Глава II. Источники идей и настроений активного народничества. Стр. 6—24.

8. Н. А. Бердяев. А. С. Хомяков М. 1912 г.

9. И. Кириллов. Третий Рим. Очерк исторического развития идеи русского мессианизма. М. 1914 г. Глава VIII. Идея русского мессианизма в учении славянофилов. Стр. 66—68.

10. Н. Н. Русов. Критики анархизма. М. 1918 г.

11. Н. Отверженный. Достоевский и Штирнер. С предисловием А. А. Борового. М. 1925 г.

12. Н. В. Устрялов. Политическая доктрина славянофильства. Известия Юридического факультета. Т. I. Харбин. 1925 г.

Н. Н. Русов.

Петрашевцы.

Мы не знаем ни одного дня истории, в который бы остро и напряженно не заявляла о себе задача общественного переустройства. Неисчислимые жертвы приносило и принесет человечество, чтобы найти сегодняшнее, частичное разрешение—утоление общественных мук. Как безумно-любящая мать, подносят народам свои сладкие и, в конце-концов, мучительно-жестокие знахарские лекарства слепые вожди слепых людей. И каждый день истории все болезненнее заявляет о нерешенной общественной задаче. Устаревшие формы рабства сменяются новыми, а возрастающие аппетиты превращают рабство в бедствие даже для рабов по натуре. И вот весь мир встает на неотвратимый путь одной—социальной-революции.

История критикует себя сама. Делом поэтов и мыслителей было вложить эту критику в образы и системы. Дело общественных деятелей и эксплоатируемых масс—превращать эту критику в действие. Такой основательной критикой была в свое время Великая Французская Революция. Однако она только обнажила безумие основ общественной жизни, но... не поставила вместо них другие.

За кровавыми якобинскими масками Великой Французской Революции П. А. Кропоткину удалось подсмотреть раздавленное террором подлинно-анархическое лицо трудовых масс, пытавшихся осуществить свое творческое призвание и свободу человечества. Но анархизм рождается не только в великих нравственных подвигах масс в дни революций. Он, как вечно-юная революционно-общественная идея, может расти и реализоваться даже через головы казалось бы практически чуждых ему движений, крыться в их незаметных уклонах, чтобы затем, найдя себе, наконец, носителя-новатора и общественно-психологическую почву, резко отмежеваться и, обогащенным своеобразием этих движений, развернуться во всей массовой творческой мощи.

Поэтому, чтобы видеть пути и возможности анархического движения, мы вскрываем их и там, где нет строго очерченного анархического лика, но внутренние глубины исканий томятся жаждой его. Таковым, в своей основе, и было маленькое общество Петрашевцев, одна из первых ласточек революционно-народнического движения прошлого века.

Фурье—имя и мировоззрение, вокруг которого собралась эта небольшая, но яркая плеяда будущих общественных деятелей, мыслителей и литераторов России. Само это имя уже говорит о каких то глубинных симпатиях к анархическому мироощущению, к анархическим формам жизни.

На похоронах Революции зазвучало его гениальное слово, предлагающее пройти мимо кровавых путей насильственных переворотов и мимо бесплодных частичных реформ, пройти сразу к новому, совершенному, гармоничному строю жизни. И слово это было все же глубоко родственно духу Революции.

«...Я не переставая буду стараться внушать отвращение к полумерам, необходимость итти прямо к цели, закладывая фундамент для прогресса, который, дав наглядное доказательство Гармонии Страстей, приведет все народы—цивилизованные и дикие, без исключения—ко всемирному единству».—в 1808 г. в «Теории четырех движений» пишет Фурье.

«Гармония страстей»—в этой основной формуле выражен весь Фурье—и основная аксиома его резкой и яркой критики цивилизации и начало, определяющее возможности и формы его «Совершенного Строя», и внутренний организующий закон общественности, с точки зрения его мировоззрения.

Тонкий анализ основных движущих сил («страстей» по терминологии Фурье) души человека служит для Фурье окончательным доказательством возможности свободной гармонической общественности. И дело «социальных инженеров», дело их науки—на основе детального изучения материальных и духовных потребностей человека и лучших средств их удовлетворения разрабатывать формы гармонической общественности, управляемой только умелым направлением движущих сил человеческих душ, т.-е. «гармонией страстей». Невольно вспоминаются боги Платоновского «Крития», управлявшие также Атлантидой.

Это чисто-анархическое решение социального вопроса было так заманчиво; так легко казалось подойти к нему совершенно мирным путем, не разрушая насильственно исторически-сложившихся форм жизни, но заменяя их через обращение к разуму их сторонников, через опытное доказательство в фаланстерах преимуществ «Совершенного Строя» Фурье.

Для нас теперь так детски наивна эта вера во всеисцеляющую мощь такого обращения. Но ведь тогда только-что пережили выдвинутый Революцией культ Разума, тогда еще только расцветало такое по-детски свежее, хотя еще и наивное, доверие к этой могучей стороне человека. Фурьерист Консидеран, манифест и некоторые теории которого легли потом в основу известного манифеста Маркса, пытался даже парламентским путем осуществить фурьеристские эксперименты.

Русское студенчество, в том числе и то, которое потом составило ядро Петрашевцев, знакомилось впервые с учением Фурье между прочим на лекциях политической экономии и ста-

тистики В. С. Порошина, одного из самых любимых студентами профессоров С.-Петербургского Университета. Это был характерный тип новой, неказенной, гуманитарной профессуры, сделавшей потом Университеты рассадником «крамольных» идей.

То было время первого пробуждения широкой российской общественности, время, по меткому слову Аполлона Григорьева, «борьбы мысли с фактом»—с фактом николаевской эпохи. Назрела потребность в реформах, но не было людей, способных выполнить их. Умный, но «по-отечески деспотичный» Николай сковал своим казарменным порядком жизнь столиц, не доверяя ни общественной самодеятельности, ни бюрократии, и в то же время быть-может, чувствуя свою унизительно-рабскую зависимость от этой насквозь прогнившей, трепещущей его слова бюрократии. Ибо такова судьба всякого вершителя судеб, который боится вольного ветра свободы: он делается рабом своих собственных химерических созданий.

Общество замкнулось в клетки, жившие своими бытовыми интересами и чуждые друг другу до взаимного непонимания, соприкасавшиеся только при исполнении служебных обязанностей. Мы знаем, как мучительно переживал Ф. М. Достоевский свои литературные соприкосновения с господами жизни. Образ общественной пирамиды, раздавившей своими человеческими колоннами жалкого Мичулина из повести М. Е. Салтыкова-Щедрина «Запутанное дело», как нельзя более ярко рисует жизнеощущение «бедных людей» Николаевской эпохи. А многомиллионное крестьянство и совсем было вне всякого «общества».

Но как ни монументален был колосс николаевской системы, как ни выкован был он муштрой и почти религиозным благоговением перед могучей личностью Николая (ср., напр., «Исповедь» М. А. Бакунина), и этот колосс оказался на глиняных ногах. Разложение подкралось к нему сразу со всех сторон... Уже упомянутая гнилость бюрократии в городе подчеркивалась помещичьим разнузданным произволом и хищничеством в крепостной деревне, в результате чего падало и разрушалось крестьянское хозяйство. Здесь помещичьи аппетиты сталкивались с одной стороны, с финансовыми интересами беднеющего государства, с другой—с вопросом о жизни и смерти питающегося мякинным хлебом крестьянства. Общение с Европой поставило на очередь вопрос о применении капитала техническими методами Европы, что вставало в противоречие с невежеством и малой производительностью труда крепостной России. То же общение с Европой потребовало создания бюрократии европейского типа, которая, с одной стороны, вставала в противоречие со старыми укладами быта, с другой—противоречила своеобразию русской психологии. Поэтому вполне понятно, что «немцы» оказались самыми превосходными слугами жандармской системы Николая. Тогда как выходящие из высшей школы русские интеллигенты, отнюдь не были расположены быть винтиками

этой системы и лишенные возможностей действовать в среде родного народа, даже изучать его, тянулись к тем далеким и красивым идеалам, что доносились с Запада. Вокруг интереса к западным веяниям, вокруг обсуждения их ценности этой ищущей выхода своим духовным силам молодежью выростают общественные сближения, кружки, в среде которых схваченным на лету западным идеям давалось уже свое, русское, развитие. Так в Москве выросла широкая идейно-общественная работа вокруг удивительной личности Герцена. В Петрограде такой связующей личностью оказался Петрашевский.

Конечно, в развитии общественности этого времени имело колоссальное, часто решающие значение и наследство русских общественных движений предыдущей эпохи. Но за ограниченностью места и времени мы не остановимся на этой стороне.

Скажем только, что необычайной остротой переживания казарменного ужаса эпохи, что ярко сказалось на литературе, интеллигентная молодежь того времени обязана именно этому наследству.

Петрашевский, увлеченный еще в Университете дивными анархическими построениями Фурье, по его собственным словам «обрек себя на служение человечеству, и стремление к общему благу заменило в нем эгоизм и чувство самосохранения». Случайные дружеские беседы в его квартире постепенно принимали все более серьезный характер, с 1845—6 г.г. получили характер постоянных собраний, и перебросили свое влияние в далекую провинцию, напр., в Ярославскую и Казанскую губ. Характерно, что здесь были разбиты почти всякие социальные перегородки, хотя еще и не был найден достаточно ясный общий язык.

Юрист по образованию, переводчик и ходатай по частным делам—по заработку, Петрашевский был тем не менее весьма живой, любознательной и разносторонней натурой. Если вы взглянете на список тем и вопросов, отмеченных им в 1842—3 г.г. под заголовком «Запас общеполезного», то вы поразитесь необычайным их разнообразием. Такие качества и недюжинный ум, а также удивительная способность примирять и об'единять несомненно, в высокой степени выдвигали его, как связующий центр умственного брожения интеллигентного общества того времени. Время узких, резко отмежеванных партий было еще далеко. На пятницах Петрашевского бывала чуть ли не вся лучшая интеллигенция Петербурга. Личная библиотека самого Петрашевского, а после и сорганизованная им коллективная, привлекала их туда быть может не менее, чем сами беседы. Ведь там были и журналы фурьеристов, и сочинения Фурье, Прудона и др. мыслителей, даже Штирнер; были и любимые в то время романы Жорж Занд и т. д., даже запрещенные новинки...

Тем не менее, частью в силу конспиративных потребностей, частью благодаря некоторым, для многих неприятным, чертам характера Петрашевского, а также и потому, что у неко-

торых посетителей Петрашевского начали отливаться свои задачи деятельности и формы мировоззрения,—возникают другие беседные собрания: у Кашкина—«чистых фурьеристов», у Дурова—литераторов и т. д.

Все такие собрания, конечно, носили чисто культурнический характер. Всякая случайно возникающая тема разговора живой, отдыхающей на этих разговорах от духоты русской жизни, ищущей интеллигенции подхватывалось тесным ядром осознавших свои цели и сгруппировавшихся вокруг Петрашевского молодых русских фурьеристов, подхватывалась и направлялась к «Риму»: к истинам фурьеризма, к критике существующего, к проектам реформ русского общества. Иногда читались специальные доклады.

Такая устная пропаганда методами самообразовательных и культурно-просветительных бесед—это почти все, что смогли сделать Петрашевцы. И тем не менее этим было сделано так много, что на почве, ими возделанной, смогли уже вырасти пышные всходы 60 и 70 годов.

Не было у них недостатка в проектах и попытках выйти на более широкую дорогу социального действия. Но отсутствие общественного опыта и массовой почвы, оторванность их от народа и, наконец, тяжесть Николаевского режима—все это встало перед ними неодолимым препятствием.

Долгое время на пятницы Петрашевского правительство не обращало никакого внимания, хотя еще в 1844 году, в результате одного обыска в Петербургском лицее, Петрашевский был взят на некоторое время под полицейский надзор. А в 1846 г. был взят из типографии, у издателя и у книгопродавцев замечательный второй выпуск книги «Карманный словарь» иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Н. Кирилловым, составленный при непосредственном сотрудничестве Петрашевского, и вызвавший целый цензурный скандал. Дело в том, что Петрашевский замечательно ловко использовал этот «Карманный словарь» для пропаганды своих идей.

Но только в феврале 1848 г. знаменитое «III отделение собственной Е. В. канцелярии» забило тревогу: Петрашевский отлитографировал и пустил в обращение свою записку по крестьянскому вопросу. Обратили внимание и на пятницы. Началось наблюдение.

А Петрашевский был доверчив, Петрашевский шел с открытой душой навстречу опасности. Может быть, он был и прав: может быть, в то время только таким путем и можно было хоть что нибудь сделать. Его теория дискредитирования царского произвола ссылкой на государственные законы поддерживала его в его неосторожности: он действовал законными средствами. Но все это облегчило «работу» III отделения.

Липранди, известный по розыскам среди раскольников и сектантов, которому была поручена и эта «работа», скоро

нашел и способного и ловкого агента, быстро втершегося в полное доверие Петрашевского. Это был сын академика живописи, П. Д. Антонелли, и с января 1849 года уже начинаются его донесения. А в пятницу, в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года, почти все посетители пятниц Петрашевского были арестованы. Всего—до 50 человек.

Характерно для кружковой революционной среды (психология ее по личным наблюдениям среди Петрашевцев ярко развернута Ф. М. Достоевским в его бессмертных «Бесах»), что в январе 1848 г. о самом Петрашевском стали ходить слухи, что он—агент-провокатор III отделения. Конечно, он не склонился перед этим слухом: дело революции—бесконечная, абсолютная жертва. Жалок тот, кто не сумеет отличить лжи от истины, кто остановится в трепете перед неотвратимым.

22 декабря 1849 г. наиболее живую часть Петрашевцев, в числе 21 человека, после 8-месячного заключения в одиночках Петропавловской крепости, привезли на Семеновский плац. Там им прочли конфирмацию смертного приговора через расстрел и приготовили их к казни. Петрашевского, Момбелли и Н. П. Григорьева с завязанными глазами привязали к столбу. Раздалась подготовительная команда, солдаты взяли на прицел и... ударил отбой, привязанным к столбу развязали глаза и прочли им действительный приговор: Петрашевскому—бессрочная каторга, Ф. М. Достоевскому—4-летняя каторга, и по отбытии ее—определение в рядовые и т. д. в этом роде.

Что же это были за люди, чего они хотели, если с ними так жестоко расправилось правительство, если в них оно нашло опасного личного врага. Многие из них и в ссылке проявили себя, как талантливые общественные деятели, некоторые после стали светочами национального гения.

В приговорах красной нитью проходит обвинение в стремлении к низвержению существующего строя. В секретной записке—мнении Липранди подчеркивается, что он нашел в деятельности Петрашевцев «всеобъемлющий план общего движения, переворота и разрушения», «адский план».

Конечно, это было не так. Конечно, за исключением Петрашевского, Спешнева и еще немногих других, приговоренные и не помышляли ни о каком низвержении, да и у этих лиц это скорее было мечтой, заставлявшей, правда, присматриваться и прикидывать возможности (разговоры с Черносвитовым о возможности восстания по Уралу), а никак не углубленно-планомерной постановкой задачи. Но реальная планомерность развития их деятельности несомненно была, независимо от воли самих деятелей. Эта планомерность естественно определялась общественным строением тех идей, которые их одушевляли, которые через них, частью сознательно, частью рефлективно, развертывались и действовали в окружающих общественных отношениях.

Разные люди по разному видят общественную жизнь. Для одних она—как куча разноцветных камней, увлекаемых, размываемых потоком времени и толкающихся, трущихся и раздавливающихся друг о друга по всем законам единой для всех механики. Для других—это диалектика пестрых струй потока времени, переливающихся по особым диалектическим законам потока. В противовес таким однообразным (монистическим) пониманиям, а, в сущности, только перефразировкам вопроса, гениальный Н. Я. Данилевский, лучший знаток фурьеризма в среде Петрашевцев, развил, отчасти под влиянием фурьеристских принципов, своеобразное «естественное» понимание общественной жизни.

«Морфологический принцип», положенный им в основу знаменитых книг «Россия и Европа» и «Дарвинизм» и есть тот самый принцип, который обосновывает реальную возможность и историческую «необходимость» осуществления «Гармонии страстей» Фурье. Лишь теперь, когда основные мысли книги «Россия и Европа» столь блестяще, хотя и по-немецки схематично, но почти в той же терминологии, изложены и дополнены О. Шпенглером в его нашумевшем «Закате Европы», а положения «Дарвинизма» защищаются и развиваются такими учеными, как Вавилов и Берг, нам уясняется колоссальный философский и научный вклад, сделанный Н. Я. Данилевским.

Согласно этому принципу, в среде всевозможных общественных отношений существуют и взаимодействуют своеобразные естественные единства, характеризующиеся некоторым рядом признаков и закономерно определяющие собой характер тех или иных общественных отношений, аналогично тому, как в среде физико-химических отношений живет и взаимодействует посредством своеобразного для каждой формы изменения этой среды, целый мир растительных и животных форм.

Данилевский, как биолог, всецело сосредоточился на национальных культурах, понимая все остальное в жизни этих культур только как выражение этих культур. Мы расширим область применения морфологического принципа, утверждая, что на ряду с формами национальных культур историк должен заметить единства других видов, имеющие не менее самостоятельное и своеобразное значение, и для которых национальные культуры являются в свою очередь средой их жизни.

Таким естественным общественным единством является, например, идея Свободы, выражающаяся в анархических движениях мира. Синдикализм и Социальная Революция, как методы освобождения от власти экономики и политики; Коммунизм, как метод уничтожения возможностей возникновения этой власти внутри общества, и, наконец, Индивидуализм, как форма преодоления всякого рода духовного авторитаризма—это все лишь разрушительные обнаружения одной и той же анархической идеи, как массовой формы общественной жизни. Конечно,

тот, кто не увидит во всем этом внутреннего, радостно-творческого облика анархизма, обнаружение которого определяет собой и разрушение всех препятствий на пути этого обнаружения, тот слепо пройдет мимо, для того анархизм не существует, не реален.

«Гармония страстей» Фурье, как мы уже отметили, только своеобразное структурное выражение той же анархической идеи. Дальше, при анализе взглядов Петрашевцев мы углубим это.

Но Петрашевцы в целом были не только общественным обнаружением фурьеризма в России. Нет, Петрашевцы, это, для того времени, просто—вся грядущая, прогрессивная Россия, это—зародыш всех, после разделившихся, ветвей прогрессивного и революционного действия. Появились Петрашевцы, значит—существующий режим бесповоротно пришел к крушению, дело за временем. В них пришла новая Россия—в этом их колоссальное симптоматическое значение в истории. В этом и была их «вина» перед всемогущим, но уже почувствовавшим первые шаги своей смерти режимом.

Агитационная литература для крестьян («Десять заповедей» студ. Филиппова) и для солдат («Солдатская беседа» И. П. Григорьева), пропаганда через преподавание (Ястржембский, Толль и др.) и печать («Карманный словарь»), пропаганда через личную помощь (дешевая и бесплатная юридическая помощь самого Петрашевского) и попытки социального эксперимента (неудачный «Фаланстер», построенный им для крестьян на собственные средства), а также организованной взаимопомощи (проект Момбелли о «Братстве взаимной помощи»), наконец, план тайного общества из сети пятерок, составленный Спешневым, устройство тайной типографии по чертежам Филиппова и переговоры Спешнева, Черносвитова и Петрашевского об организации восстания,—все это были яркие первообразы дальнейшего развития революционной работы в России. Любопытно, что Петрашевский даже пытается предвосхитить грядущую республику в своем интересном проекте Черкесской республики на Кавказе.

С другой стороны, здесь же разрабатывались и формы необходимых, попутно развитию основного дела, общественных реформ, тех самых, которые и осуществила, правда, куцо, следующая эпоха, особенно в крестьянском вопросе, судопроизводстве и в вечно-больном вопросе о свободе печати.

Не меньшая полнота представительства новой России сказалась и в многообразии социальных мировоззрений, имевших место в среде Петрашевцев. Так Тимковский предложил поделить после Революции всю землю на две части: одну—для опыта фурьеристов, другую—для опыта коммунистов (немецкого типа). Спешнев в своем проекте тайного общества предложил организацию трех школ пропаганды: фурьеристской, коммунистической и либеральной.

В то же время и здесь столкнулись две общих всем временам формы мировоззрения: космополитизм и индивидуализм (т. к. я не нашел более точной терминологии этого противоположения, то останавливаюсь, но не настаиваю, пока на этой). Своеобразно преломленные в Москве они приняли там формы западничества и славянофильства. Сам Герцен, ко времени расцвета деятельности Петрашевцев уже уехавший заграницу, соединял западнические интересы исторического момента с глубинной родственностью славянофильству в предчувствиях особой исторической миссии России, в осознании исключительной ценности внутренней революции, выдвигающей окончательное раскрепощение индивидуальностей во всем их своеобразии Здесь два пути революции, и один из них уже во всем росте предстает перед нами, а другой еще где-то под землей прорастает.

Первый тип—космополитический—с необычайной яркостью выразился в самом Петрашевском. Уже в ранних записях его отмечается:

«Внимание людей, истинно желающих содействовать к всестороннему усовершенствованию человечества, не должно ли быть обращено на самый корень зла, на самое уничтожение тех ужасающих душу всякого благородного человека учреждений, которые служат неопровержимыми препятствиями человеку сделаться истинно-достойным имени человека, не должны ли они преобразовать совершенно те формы общежития и всех отношений, какого бы рода они ни были... которые являются помехой к благоденствию полному и совершенному человека, взятого в отдельности и в совокупности, т.-е. целого человечества в целом».

Здесь сказавшееся уже тогда революционное по духу отношение к учреждениям, к формам общежития, сдавившим свободу человека, характерно определяется идеалом всесторонне-развитого человека, понимаемого, как общечеловеческое, космополитическое.

В статье «Нация» («Карманный словарь») это им уже вполне отчетливо, по отношению к нации, подчеркивается:

«Только постепенно развиваясь, т.-е. утрачивая свои индивидуальные, частные признаки или прирожденные свойства, нация может стать на высоту человечественного, космополитического развития... тогда только развитие ее жизненных сил будет совершаться гармонически с требованиями целого человечества».

Космополитизм особенно импонирует людям с рационалистическим складом ума, и Петрашевский в этом не представляет исключения. Методы его суждения, рассчитывающие исключительно на логическое убеждение, позитивное исключение иррационального из истории человечества, наконец, увлечение именно фурьеристско-анархическим типом переустройства обще-

ства на научных, рациональных началах—все это делает его предшественником того русского рационалистического анархизма, который дал такую характерную фигуру, как П. А. Кропоткин.

После общечеловечность космополитического идеала поставили под сомнение, после в нем многие стали видеть своеобразный облик германо-романского человека, или, как говорит О. Шпенглер, «фаустовского» человека. Но это стало после.

Противоположный, индивидуалистический тип сформировался уже позднее. Ф. М. Достоевский и Н. Я. Данилевский—эти ярчайшие представители этого типа, хотя в высокой степени пронзенные уже в эпоху пребывания в среде Петрашевцев духом космополитических идеалов, развернули свой гений и славянофильский индивидуализм только после процесса. У них же и анархические мотивы приобрели совсем особый колорит.

Давая в «Бесах» Нечаевщину, как некую историческую формацию Петрашевцев, Ф. М. Достоевский опрокидывает космополитическое «человекобожество» убийственной логикой штирнерианско-Кирилловского я-чества. Но на этом полюсе человеческого мироощущения он увидел только один конечный исход, один путь преодоления, самоубийство. И Достоевский отвернулся от этого полюса, т. к. на той же тропинке анархического индивидуализма увидел другой полюс: Христа легенды о «Великом Инквизиторе». Но вместо того, чтобы направить, все преодолевая, свои силы к этому, для него всезавершающему и всеразрешающему образу, он, обессиленный невероятным раздвоением, направляет себя, в лице своего Мефистофеля Спешнева-Ставрогина, сначала на исповедь к старцу Тихону, а потом, устами Тихона, к отшельнику на послух («Исповедь великого грешника». Ср. интересные соображения Отверженного в «Штирнер и Достоевский»).

Но почему же он вступил на эту тропинку анархического индивидуализма, открывшую ему возможность соборного приятия мира. И зачем он пришел на послух к православию, к православной России. Ведь не он ли же так жестоко осмеял в образе Шатова славянофильское кликушество перед народностью и его религией.

Здесь не место разрешать это. Мы отметим только, что уже в среде Петрашевцев он читал характерный по заголовку доклад «О личности и эгоизме», что в своем показании он указывает в Петрашевском заслонение его самобытного лика маской системы Фурье. Пробуждались здесь придавленные бытом первобытные силы самобытности. Ведь и космополитизм самого Петрашевского носил слишком личный характер. Недаром же в заметке к одной из своих тем он подчеркнуто противопоставляет разум личности общественному мнению, общественной рутине. Эта кучка русских интеллигентов пришла в движение и хотела бы всколыхнуть все море русской общественности...

но быт стыл в мертвой неподвижности. Они оставались одни, Одни против всех. Но и один в поле—воин. Прошло 50 лет, и Русь встала на тот же путь крушений устоев, путь революций, что и Запад.

Совсем с другой стороны к тому же индивидуализму подошел Н. Я. Данилевский, гениальный теоретик славянофильства. В своей ясной, овеянной почти эпическим спокойствием человека науки, книге «Россия и Европа» Н. Я. Данилевский пытается вскрыть смысл истории человечества и России. Он опрокидывает космополитический идеал грядущего рационализованного человечества атакой со стороны высшей самоценности каждого культурно-исторического типа, ценности самораскрытия его своеобразия в каждом историческом моменте и, особенно, в моменте его наивысшего развития. Надвременная гармония этих типов, а не грядущий во времени общечеловеческий гармонический строй осмысливает, по его мнению, историю человечества. Счастье человечества он видит в свободном гармоническом развитии самобытных ценностей каждого культурно-исторического типа. Независимый федерализм автономных национальных систем—общин ему кажется поэтому наиболее нормальной формой общественной жизни и наиболее осуществимой именно в России. В этом он видел «здоровье» России сравнительно с Западом.

Какой уклон привел и его к слишком положительной переоценке реального быта России и скрыл в нем под маской официального славянофильства подлинно-анархическую сущность его славянофильского индивидуализма—здесь это тоже не место разрешать. Отметим лишь, что аналогичный процесс завершил положительную деятельность и другого, космополитического, типа только либеральными реформами и, самое большее, «социалистической» революцией. Русский анархизм еще не нашел реальных путей к пробуждению массово-народного творчества, еще не стал вполне сознательным принципом широкого народного созидания, исключая, разве, некоторых ветвей сектантства.

Характерно, что в самом Петрашевском (в этом, может быть, сказалось его увлечение юриспруденцией) ясно не разделен либерализм от принятого им в основу фурьеристского анархизма. То, что он требует в ст. «Ораторство» («Карманный словарь»), так и дышет этой неоформленностью:

«Полное, не стесняемое никакими общественными учреждениями развитие индивидуальности, признание не силы, но разумности началом управительным в обществе—законом положительным, обычаем, упроченное равными охранительными политическими учреждениями; обеспечение свободы мысли, чувства и их внешнего публичного обнаружения, ясное сознание, как своих частных, так и общественных интересов, коим обладает всякий гражданин, поддерживаемое публичностью всех общественных и административных отправлений».

В чем же состоял тот фурьеризм, который был доминирующей формой общественного мировоззрения Петрашевцев?

Анархический характер его достаточно подчеркивается следующим определением нормального состояния общества в статье самого Петрашевского «Нормальное состояние» в «Карманном словаре».

«Нормально развитым или благоустроенным обществом... будет то, которое доставляет всякому из членов своих средства для удовлетворения их нужд пропорционально их потребностям и поставляет всякого человека в такое положение к целому обществу, что он, предаваясь вполне влечению естественных своих побуждений, нисколько не может нарушить гармонии общественных отношений, но будет деятелем, не только полезным самому себе, но и целому обществу без самозаклания личности,.. когда физические и нравственные силы достигнут апогея их возможного развития, и для человека вообще настанет пора самосознания, самозакония, общности и общительности».

Более подробное изложение основ фурьеризма дает в своем показании следственной комиссии Н. Я. Данилевский, естественно развивая только строительную, не критическую, сторону фурьеризма. Мы сделаем некоторые, наиболее характерные, выдержки:

«Основная мысль Фурье, служащая краеугольным камнем всем его выводам, есть следующая: всякое существо, одаренное силами, приводящими его в движение, подчинено неизменным законам, по которым эти силы должны проявляться. Так как эти законы неотъемлемая принадлежность, так сказать, внутреннее требование этих сил—вытекающее из самой природы их, то, находясь в подчинении этим законам, всякое существо должно находиться в гармоническом состоянии. Если это существо есть сознательное, то такое гармоническое состояние будет составлять для него счастье, т.-е. всегдашнее довольство собой и всем окружающим... Человек жаждет не равенства, не свободы, а счастья...»

Вы уже чувствуете сам собою напрашивающийся рационалистический вывод: а вот наука исследует эти законы и расчислит по ним, как устроить общество, чтобы раз навсегда и окончательно разрешился вековечный проклятый вопрос о человеческом счастьи. И Петрашевский так уверен был в этой «истине» фурьеризма, что посмотрел, как на недопустимое невежество, на проект Тимковского—разделить мир для опыта пополам между фурьеристами и коммунистами, определяя немецкий коммунизм вполне правильно, как малонаучный, по сравнению с гениальными историческими прогнозами и критическими исследованиями Фурье. Но продолжаю:

«Т. к. все междучеловеческие отношения суть проявления деятельных способностей человека, то для узнания законов,

управляющих этими отношениями, и нужно анализировать только эти деятельные способности, не входя в рассмотрение прочих, как, напр., умственных, которые показывают человеку, каким путем достигать своих целей, но сами не заставляют его стремиться к этим целям... Деятельные способности человека, т.-е. коренные стремления его духа и тела, приводящие в движение все существо его, называет Фурье страстями... Он насчитывает их 12...».

Дальше следует классификация нормальных, имеющих общечеловеческое право на удовлетворение, страстей и изложение признаков отличия их от ненормальных. И затем общественная задача определяется уже, как задача уравновешения нормальных страстей и исключение ненормальных частью особенностями предлагаемого Фурье общественного переустройства, частью методами воспитания, построенными на тех же основаниях: «применением сериарного закона к деятельности человека и особливой системой воспитания, основанной на этом же законе».

Любопытно, что дальше, для доказательства возможности осуществления «довольства для всех» (термин П. А. Кропоткина), т.-е., в терминологии Фурье, удовлетворения первых 5-ти (материальных) страстей, дается сражение мальтузианству, и теми же основными категориями аргументов, как и у П. А. Кропоткина, что опять-таки характерно сближает их. В число этих аргументов входит, между прочим, возможность создания гармонии сотрудничества и осуществления привлекательности труда,— у Фурье это осуществляется с помощью того же сериарного закона.

Что же такое сериарный закон?

Это прежде всего закон естественный, а не принудительный. Он осуществляется только через свободное влечение. Всякое принуждение нарушает его, искажает человеческую природу, разрушает общественную гармонию. Согласно ему существует мировая гармония связанных свободным влечением «серий» и «групп». Группа—нормальная единица из однородных элементов, связанных силой свободного влечения (притяжением, сродством). Серия—нормальная гармоническая единица из разнородных элементов, связанных соответственно такой же силой и т. д. Причем эта сила свободного влечения, в зависимости от обстоятельств, выражается в человеческом обществе, как та или иная комбинация упомянутых 12 типов «страстей».

Как видите, морфологический принцип—это тот же сериарный закон, но, в применении к истории, получивший преимущество углублением в иррациональный характер структуры человека и истории его общественности. Здесь и граница и непревзойденное совершенство гениальных построений Фурье. Но после Бакунина он—лишь высочайшая вершина, от которой анархизм уже шагнул в иррациональное истории, хотя там еще не поднялся до ее высот.

На основе всех упомянутых начал Фурье строит человеческое общество, как вольную ассоциацию серий и групп полезного и приятного труда—фалангу, счастливую фалангу.

Распределенне продуктов труда, участие собственности и таланта—это детали, хотя и весьма важные, но несущественные для наших задач. Добавлю лишь, что право на труд, на жизнь и на удовлетворение основного минимума потребностей здесь осуществлены, а сериарный метод распределения снижает возможность злоупотреблений до безопасного минимума.

Фаланстер-общежитие, построенное по упомянутым принципам (назван так Фурье в противоположность монастырю, где суть—молитвенное уединение и молитвенное же единение), может, по Фурье, быть осуществлен, как социальный эксперимент, в любой момент истории в любой стране.

Характерно для иррационально-индивидуалистической природы русского человека, что Герцен даже фаланстер нашел для себя тесноватым. Еще резче, с точки зрения иррационального в человеке, после, в «Записках из подполья», обрушился на этот «Хрустальный дворец» Ф. Достоевский.

Но для нас, для которых Петрашевцы—история, для нас, испивших горечь революций, отошли в прошлое их горячие споры и встает одно, вечно-ценное в этом небольшом кусочке истории. Это—образ молодой России, неисчерпанный еще и теперь, таящий в себе и темные бездны и прекрасные высоты. Облагородить первые, осуществить вторые—какая ежедневно-напряженная ребота для этого нужна. Как недоволен был Петрашевский своими друзьями, что они «ничему не хотят учиться», как настаивал он на необходимости учиться и учиться. Тот, кто хочет взять свой глоток из чаши слез мира, должен прикоснуться к не менее горькой чаше опыта мира [1]).

А. С. П.

---

[1]) Желающих более детального ознакомления с лицом Петрашевцев отсылаю к трудам Семевского, а также к книгам: В. Лейкина. Петрашевцы. М., 1924 (приведена библиография) и „Политические процессы Николаевской эпохи". Петрашевцы. М. 1907.

Бакунин.

Обилие биографических материалов о Бакунине требует от автора, желающего описать лишь одну какую-либо область жизни этого деятеля, довольно строгого методического выбора их. В данном случае я руковожусь самим названием серии «Пути к анархизму»[1]). Мы увидим, следовательно, какими путями анархистические мыслители и деятели пришли к своим идеям и какие пути они предлагали человечеству, чтобы достигнуть великой цели. Уроки этого изучения драгоценны, так как они показывают нам, насколько разнообразны эти пути и насколько многочисленны самые представления об анархистическом строе. Эти пути являются, однако, лишь примерами, так как возможности их бесконечно богаты и только наиболее жизненные из них будут мало-помалу указаны свободно применяемым опытом. Разнообразие это не является недостатком анархизма, у которого, якобы нет точной системы, как говорят его противники, гордящиеся тем, что постоянно носят однообразную форму и черпают в догматических книгах все те же неизменные идеи о будущей эволюции. Оно доказывает, наоборот, правильность нашего пути к будущему, точные контуры которого будут мало-помалу очерчены, благодаря опыту, исканиям, науке, свободной группировке усилий, одним словом, благодаря всевозможным проявлениям свободной деятельности, а не через партийную программу или какой-либо догмат, заменяющие приказы бывших церквей или королей.

В данном очерке я попытаюсь показать, как развивался Бакунин и какие уроки вытекают из этого развития для тех, кто пожелал бы использовать их. Я почти не буду говорить о других сторонах его жизни, но буду останавливаться на детальной аргументации и, насколько возможно, буду цитировать самого же Бакунина.

Одна из рукописей, найденная в бумагах Бакунина и опубликованная мною в 1896 году в сентябрьском № Брюссельского журнала «Новое Общество» начинается так: «Я родился 30/18 мая 1815 года (надо читать 1814) в имении моего

---

[1]) Первоначально настоящий очерк был задуман и написан для издаваемой „Голосом Труда"—серии: „История анархической мысли". Перевод принадлежит т. Николаенко.

отца (Премухино на берегу речки Осура) в Тверской губернии, Новоторжском уезде, между Москвой и С.-Петербургом».

«Мой отец принадлежал к старинной знати. Его дядя однофамилец, будучи при Екатерине II министром иностранных дел, отправил его мальчиком 8—9 лет во Флоренцию, в качестве атташе при посольстве. Там один из его родственников, министр занялся его воспитанием. Он возвратился в Россию уже почти 35 лет. Всю свою молодость отец провел, следовательно, за границей, где получил воспитание. Мой отец был человеком остроумным, очень образованным, часто даже либеральным, деистом, не атеистом, свободомыслящим и имел связь со всеми знаменитыми философами и учеными тогдашней Европы. Он был, следовательно, в полном противоречии со всем тем, что существовало тогда в России, где только небольшая секта франкмасонов, более или менее преследуемых, сохраняла и секретно поддерживала священный огонь уважения и любви к человечеству. Придворное петербургское общество было для моего отца настолько отвратительным, что ломая карьеру, он удалился на всю жизнь в деревню, которую никогда уже больше не покидал. Однако он был настолько известен всем существовавшим тогда в России образованным людям, что его дом был почти всегда полон посетителями. От 1817 до 1825 года он состоял членом тайного Северного Общества, которое в декабре 1825 года сделало неудачную попытку военного восстания в Петербурге. Несколько раз ему предлагали быть председателем этого общества, но он был большим скептиком, слишком осторожным человеком, чтобы принять предложение чем и об'ясняется то, что он не подвергся трагической, но славной участи некоторых из своих друзей и родственников».

Характеризуя своего отца, как собственника крепостных, Бакунин продолжает: «Его либерализм возмущался сначала этим гнусным, ужасным положением господина рабов..., он сделал даже несколько плохо рассчитанных и неудачных попыток освободить своих крепостных, а затем в силу привычки и интересов—он стал таким же спокойным собственником, как и многие другие из его соседей, приспособившимся к рабству сотен людей, труд которых его кормил». Бакунин об'ясняет это принятие условностей жизни преимущественно влиянием своей матери—молодой аристократки без возвышенных чувств, незнакомой с интимной жизнью своих детей, обожавших отца. «Нас было одиннадцать детей (6 мальчиков, из которых Михаил был первым, и 5 девочек, все родившиеся в промежуток от 1811 до 1824 года). Мы были воспитаны под руководством отца, скорее на западноевропейский лад, нежели на русский. Мы жили, так сказать, вне русской действительности, в мире, полном чувств и фантазии, лишенном всякой реальности. Сначала наше воспитание было очень либеральным. Но после трагического конца декабрьского заговора (1825 год) мой отец, испуганный этим пораже-

нием либерализма переменил систему. С этого времени он направил все свои усилия на то, чтобы сделать из нас верноподданных царя. С этой целью 14 лет я был послан в С.-Петербург, чтобы поступить в артиллерийскую школу». (Это было в ноябре 1828 г., когда Бакунину было $14^1/_2$ лет).

«Несколько слов относительно моего интеллектуального и морального развития во время этого периода. Покидая родительский дом, я говорил довольно хорошо по-французски (противный язык, который меня заставили изучать грамматически), немножко по-немецки и понимал кое-что по-английски. Я не знал ни одного слова ни по-латински, ни по-гречески и не имел никакого понятия о русской грамматике. Мой отец преподавал нам историю по Боссюету (книга 1681 года); он заставил меня читать немного Тита Ливия и Плутарха, в переводе Амио. Кроме того, я имел кое-какие смутные сведения по географии, а благодаря одному дяде, офицеру генерального штаба, знал хорошо арифметику и алгебру до уравнений I степени включительно, а также планиметрию. Вот весь мой научный багаж, с которым я уехал из отцовского дома в 14 лет. Никакого религиозного воспитания. Священник нашего семейства, превосходный человек, которого я очень любил, так как он приносил нам медовые пряники, дал нам несколько уроков по катехизису, которые не имели никакого положительного или отрицательного влияния ни на мои мысли, ни на мои чувства. Я был скорее скептиком, нежели верующим, или точнее я был равнодушным». «Мои идеи относительно морали, права, обязанностей были, следовательно, также смутны. У меня были чувства, но никакого принципа. Я любил инстинктивно, т.-е. в силу привычки, приобретенной в детстве, в среде, в которой протекло мое детство. Я любил добрых и добро, и я ненавидел злых, не будучи в состоянии отдать себе отчет—в чем состоит добро и зло; я восставал и возмущался против всякой жестокости и несправедливости. Я думаю даже, что возмущение и негодование были первыми чувствами, развившимися во мне более энергично, нежели другие». Этим об'ясняется то, что он писал в 1851 году Николаю I. (Исповедь, Москва, 1921 г., стр. 94)... «Я считал священным долгом восставать против всякого притеснения, откуда бы оно ни происходило и на кого бы ни падало»... (См. страницы 93 — 94, которые заняты его характеристикой, начиная с детства).

«Мое моральное воспитание,—продолжает Бакунин—было уже направлено на ложный путь тем фактом, что все мое материальное, умственное и моральное существование было основано на кричащей несправедливости, на абсолютной безнравственности, на рабстве н а ш и х крестьян, которые кормили наше безделье. Мой отец превосходно сознавал всю безнравственность такого положения, но будучи п р а к т и ч е с к и м ч е л о в е к о м, он никогда нам не говорил об этом и долгое

слишком долгое время мы не знали об этом. Наконец, у меня была страсть к приключениям. Мой отец, путешествовавший много, рассказывал нам о странах, которые он видел. Наши любимые книги, которые мы читали с отцом—были те, которые описывали путешествия. Мой отец знал очень хорошо естественные науки, он обожал природу, и он нам передал страстную любознательность по отношению к ним, не дав нам, однако, ни малейших научных сведений. Путешествовать, видеть новые страны и новых людей было нашей всеобщей idée fixe. Эта постоянная настойчивая идея развивала мою фантазию. В свободное время я рассказывал себе истории, в которых я всегда воображал себя убежавшим из дому и ищущим приключений далеко, далеко..." (В одной из статей, написанных в России после смерти Бакунина, неизвестный, но хорошо осведомленный автор, рассказывает, что Бакунин несколько раз исчезал из отцовского дома, чтобы побродить по Тверской губернии, и что, когда его возвращали назад, он рассказывал о своих романтических приключениях. Эти побеги сначала беспокоили отца, но позже, когда его извещали об исчезновении сына, он приказывал послать беженцу теплую одежду и не беспокоился больше).

«К этому надо прибавить, что я обожал своих братьев и в особенности своих сестер, и что я смотрел на отца, как на своего рода бога». «Таким был я, когда я поступил кадетом в артиллерийскую школу. Это была моя первая встреча с русской действительностью».

Этот автобиографический отрывок устанавливает солидную базу для понимания всей эволюции Бакунина. Ему посчастливилось расти в настоящем оазисе патриархальной семейной жизни, в среде интеллектуальных, эстетических и сантиментальных стремлений, к тому же в среде, довольно зажиточной. Ребенок, конечно, не знал, что это спокойное счастье основывалось, с одной стороны, на принудительной работе бедных крепостных, с другой, благодаря покорности и пассивности, на которые обрек себя его отец. Либеральная традиция XVIII века эпохи энциклопедистов ему была передана непосредственно отцом, но напуганный Французской Революцией, он не передал ему революционной традиции. Благодаря этому последнему факту, а также благодаря тому, что вопрос о крепостничестве не затрагивался, Бакунин оставался чуждым народу и социальной жизни, что, вероятно, способствовало необыкновенной интенсификации его отвлеченной жизни, его стремлениям к моральному и интелектуальному усовершенствованию, которым нехватало еще главного: политических и социальных требований. Одним словом, живя в счастливой среде, он стремился к еще большему совершенствованию этой счастливой среды и не знал, что среда эта являлась очень редким исключением и что она основывалась на несчастии других. Он жил в возвышенных сферах идей

и чувств, так как случайность рождения не позволила ему еще познать людское горе. Но всегда он стремился вперед, его жизнь не знала ни застоя, ни покоя.

Русские читатели по сравнению с другими имеют то преимущество, что они могут проследить последовательные фазисы жизни Бакунина, начиная с его от'езда из отцовского дома в ноябре 1828 года и кончая его возвращением в Премухино в 1835 году, а также его жизнь в семье и в Москве до его от'езда в Берлин в 1840 году по замечательному труду А. Корнилова «Семейство Бакуниных» (напечатанному в «Русской Мысли» 1909 г.) и книге «Молодые годы Бакунина» (изд. Сабашниковых Москва 1915 г.) [1]). Они могут также восстановить умственную атмосферу тех кругов общества, в которых жил и вращался молодой Бакунин, на основании обширной литературы, писем, мемуаров, биографий и исторических очерков, касающихся людей 30—40 г. г.; они могут просмотреть журналы того времени, как напр., «Телескоп», в котором помещены переведенные Бакуниным «Лекции о назначении ученых» Фихте (1836 г.), «Московский Наблюдатель», где напечатан перевод статьи Гегеля «Гимназические речи» с интересным предисловием (1838 г.), «Отечественные записки» 1840 г. с статьей Бакунина о философии и т. д. Они могут изучить и определить связи Бакунина и его сестер, роль которых была очень важна в этих кругах, со Станкевичем, Белинским, Герценом, позже с Тургеневым и многими другими. Для иностранца невозможно быть в курсе всех этих трудов, которые, описывая как будто отдельные группы молодых людей, идеалистически настроенных, на самом деле пишут историю русского революционного движения, задавленного на время в своем политическом выражении поражением декабристов, но черпавшего новые силы из интенсивной философской жизни 30-х годов, давшей вскоре новые либеральные, радикальные, социалистические и, что касается Бакунина, анархистские ростки.

Так Бакунин, находясь и далеко от патриархального оазиса лучших традиций XVIII века, в котором он провел свое детство, пройдя официальное воспитание профессионального милитаризма времен Николая I, сумел все же освободиться от влияния этой среды и найти путь к идеалистическому движению, в котором его живость, талант, серьезность и интенсивность стремлений выдвинули его очень скоро на первый план. Все это следовало бы изучить тем, кто пожелал бы проследить детально его эволюцию и все это должны признать те, кто претендует его судить.

Даже вдали от семейного гнезда, жизнь не была тяжелой для Бакунина. Один дядя с материнской стороны, К. М. Полто-

---

[1]) В настоящее время вышел второй том исследования Корнилова „Годы странствия Бакунина".

рацкий увез его с собой в С.-Петербург и поместил его у своей сестры и ее мужа, богатого собственника Петра Андреевича Нилова, которые радушно приняли его. Его тетя была интеллигентной и симпатичной женщиной, тогда как Нилов пытался способствовать развитию молодого человека, заставляя его читать Четьи-Минеи и Жития святых,—что впрочем, помогло Бакунину отойти от нелепостей ортодоксальной религии. Выдержав экзамен осенью 1829 г., он поступил в Артиллерийскую школу. Проведенные там годы были неприятными годами официального воспитания, пропитанного патриотизмом и другими идеями, соответствовавшими системе Николая I и всех вообще Николаев. Он окончил школу с званием офицера в январе 1833 года, но освободившись от интерната, должен был посещать офицерские курсы. Жил он тогда у своей тетки, позже один. Освобождение от интерната, личная свобода— были для Бакунина первым большим счастьем. Кроме того, к этому времени относится его первая любовная идиллия с молоденькой кузиной Марией Воейковой; 18 лет он был следовательно, счастлив. В августе 1833 года он вернулся в Премухино к своим родным.

В то время он был хорошо знаком в Петербурге с некоторыми из Муравьевых, близких родственников своей матери, в частности, с стариком Николаем Назаровичем Муравьевым, бывшим государственным деятелем, человеком осторожным и опытным, который ввел его в высшие сферы политической и экономической жизни России. Н. Н. Муравьев был отцом очаровательных дочерей, а позже — Муравьева-Амурского, которого Бакунин знал мало, так как его не было в Петербурге; с ним он познакомился 20 лет спустя в Сибири. Другой Муравьев, Александр Николаевич, основавший в 1816 году Союз Спасения декабристов, но ставший потом умеренным и скептиком, был в 1838 году в Москве в близких отношениях с Михаилом Бакуниным. В его дочь Бакунин был влюблен.

До того времени Бакунин знал по философии лишь то, что о ней говорил Л. Ф. Лагарп в своем учебнике древней и новой литературы, который он проходил в школе; только система Кондильяка была ему знакома. Летом 1833 года, будучи в лагере, он познакомился с поэзией Веневитинова, которая произвела на него большое впечатление.

Описание этого впечатления в письме к отцу в 1837 году (Корнилов) и в письме от 16 января 1834 года к сестрам, (там же) показывает, что в нем произошел тогда поворот от чисто внешней жизни, очаровавшей его в первые дни свободы, к внутренней интенсивной жизни с ее стремлениями к индивидуальному совершенствованию, к делению своего счастья с теми, кого любишь. В этом письме (переведенном с французского на русский Корниловым), он, например, писал: «Это внутреннее счастье, основанное на чистоте и невинности сердца, основанное

на полной преданности счастью тех, кого любишь, основанное, наконец, на упражнении своих интеллектуальных сил для углубления в тайны природы, чтобы направить свои стремления к возвышенной цели, которая перед нами».

Внезапно Бакунин должен был покинуть Петербург. При встрече с начальником артиллерийской школы генералом Сухозанетом, сделавшим якобы грубое замечание Бакунину, по поводу какого-то отступления от мундира, Бакунин ответил довольно резко. Он был отправлен в армию (февраль 1834 года) в Молодещево, Минской губ., побывал также в Вильне, где на этот раз перед ним приподнялся отчасти занавес. Он познакомился поближе с польскими делами и без сомнения заметил пустоту и гнусность военной жизни вообще. Он заскучал и почувствовал отвращение к этой жизни. Ему удалось получить отпуск в Премухино в 1834 году, а затем в 1835 году, после которого он больше уже не возвращался в армию, так как добился окончательной отставки. Его отец хотел было поместить его тогда на гражданскую службу, но Бакунин отказался наотрез. С этого времени (последний месяц 1835 г.) его положение по отношению к родным стало очень шатким, хотя и не было ни окончательного разрыва, ни проявления недружелюбных чувств. Дальнейшей его судьбой отец не интересовался, что тяжело отзывалось на всей жизни Бакунина до самой смерти. Ясное положение, каково бы оно ни было, было бы все же лучшим.

Покинув военную службу, Бакунин рассчитывал поступить в университет для изучения философии и стать профессором философии. Разрабатывая свой план, он пришел к заключению, что этим изучением необходимо заняться за границей и прежде всего в Берлине, но уехать туда, он смог лишь в июне 1840 г. Он хотел было уехать со Станкевичем в 1837 году, а затем с сестрой Варварой в 1838 году. Наконец, в 1840 году он обратился к Герцену (письмом от 20 августа) с просьбой дать ему средства учиться три года за границей. Он просил денег, так как ждал от путешествия духовного перерождения, чувствуя как мало он еще сделал, как много в нем глубоких и могучих возможностей, и боясь величайшего несчастья: постепенного опошления, если он останется в России. На этот раз, к счастью, он успел. Положение его было затруднительным. Он не был богат, как Станкевич, ни абсолютно беден, как Белинский, но у него не было средств, чтобы дать своей жизни определенное направление. Этим об'ясняется, что он провел 5 лет между Москвою и Премухиным, прежде чем осуществить свой план.

От Канта, которого он не углублял для себя—он перешел в 1836 году к Фихте и был им очарован. Это было для него периодом невообразимого идеалистического трансцендентализма. Вот что он писал по этому поводу своим сестрам 10 августа 1836 г. (перевод с французского)... «Появляются в нас религия, жизнь внутренняя, и мы чувствуем себя сильными, ибо мы

чувствуем в себе бога, бога, создающего новый мир—мир абсолютной свободы и абсолютной любви; крещенные в этом мире и проникнутые этой божественной любовью, мы чувствуем себя существами божественными и свободными, предназначенными для освобождения человечества, еще порабощенного, вселенной, являющейся еще жертвой инстинктивных законов, бессознательного существования. Все что живет, что есть, что прозябает, что только существует—должно быть свободно, должно доходить до своего собственного признания, возвышаться до божественного центра, который одушевляет все сущее. Абсолютная свобода и абсолютная любовь—вот наши цели; освобождение человечества и всего мира—вот наше назначение. У этих возвышенных стремлений не было еще реальной социальной базы, но сами стремления были уже налицо, и Бакунин сумел найти позже эту базу в анархизме и коммунизме. В приведенных словах также, как в других этого времени, замечается нераздельная для него двойственность — он требует одновременно наибольшего совершенствования и индивидуальной свободы и распространения этих качеств и благ на всех других, следовательно, свободный индивидуум в свободном мире и индивидуальное счастье были для него неразрывно связаны со счастьем всех. Только анархо-солидаристическая концепция отвечала стремлениям Бакунина и рано или поздно он должен был притти к ней. В нем была потребность, жажда анархизма, личной и общей свободы. Это предрасположение было основано, с одной стороны, на его независимом характере, заставлявшем его быть с самого детства защитником справедливости против всякого насилия, с другой стороны, на его альтруизме, привитом ему счастливым детством в патриархальной семье добрых родителей и многочисленных сестер и и братьев. К нему были добры, он был добр к другим и распространил солидарность на все человечество.

В 1836 году социальные науки были, так сказать, еще неизвестны в России. Только Герцену и его друзьям, изгнанным тогда из Москвы, были известны идеи Сен-Симона, но эти идеи не могли распространиться вне этой ограниченной среды. Естественные науки были формалистическими, чисто описательными и неотделившимися еще от религии, которую они серьезно не подрывали. Только одна философия, казалось, планировала над теологией и механической регистрацией фактов, и казалось, была единственно способной дать верное решение. Естественно, она должна была, привлечь вниманиę Бакунина, жаждавшего достигнуть полного понимания мира и распространения своих достижений на все человечество. Неудивительно, что после крайних абстракций Фихте, столь красивых, но вместе лишенных реального содержания, он набросился в 1837 году на Гегеля, самого прославленного философа эпохи. Он спустился с облаков чистой абстракции, но впал в другую крайность, приняв на веру софизм

Гегеля, что все существующее разумно и не может не существовать. Известно, что этот парадокс послужил оправданием всякой реакции, всякой несправедливости и что Бакунин, также как и Белинский, применил этот тезис к русской действительности, которая, думали они, должна быть принята не в силу желания царя, но в силу немецкой философии. Бакунин и Белинский считали себя некоторое время консерваторами, патриотами и настоящими философами. К тому времени Герцен и и его друзья, вернувшись из изгнания, выступили против этого афоризма и это выступление должно было, конечно, пробудить у Бакунина и Белинского их здравый смысл и революционный дух, хотя они и не признались немедленно в своем заблуждении.

В эти же годы Бакунин встретился с молодыми славянофилами, из которых он очень уважал Константина Аксакова. В плане национализма—Бакунин познакомился также прежде всего с его идеалистическими, а не правительственными представителями, но эти идеи в их чистоте и кажущейся невинности нашли себе выгодную почву в чисто русском складе ума Бакунина, не имевшего ни французских, ни в особенности немецких специальных симпатий. Он знал также Чаадаева, инстинктивно был против Каткова и т. д.

Беглые оценки этой среды имеются в некоторых рукописях Бакунина и в его письме к Огареву от 23 ноября 1869 г., по поводу чтения одной книги о Грановском и т. д. Деликатная, а иногда трагическая любовь оказывала свое влияние на взаимные связи между многими молодыми людьми этой среды тех годов. Так, например, одна из сестер Бакунина—невеста Станкевича умерла от чахотки у своих родных, тогда как сам Станкевич умирал от той же болезни в Италии, где другая сестра Бакунина замужняя, но несчастная, покинув после долгой борьбы Россию, ухаживала за ним; с другой стороны, Белинский страдал от несчастной любви к другой сестре Бакунина и т. д. Все это, а также невозможность уехать—удручали Бакунина, который только в июне 1840 года смог, наконец, осуществить свой план поездки в Берлин.

Эта отсрочка была, с некоторой точки зрения, счастливой. Если бы Бакунин приехал в Берлин в 1837 или в 1838 году, он не был бы свидетелем пробуждения радикализма в философских, политических и социальных идеях, которые начались в 1840 году. Приехав в 1840 году, он стал свидетелем полного поражения реакционной философии, явно проявлявшегося в университетских лекциях Шеллинга, и видел как с каждым днем рос и расширялся радикализм левого крыла гегельянства, так называемых молодых гегельянцев, из которых наиболее выдающимся был Арнольд Руге в Галле (позже в Дрездене). Он охотно посещал еще лекции умеренного гегельянца, профессора Вердера, но после трех семестров, отказался от универси-

тетского изучения и поселился в Дрездене, где сблизился с радикальной средой, образовавшейся вокруг Арнольда Руге—редактора «Немецких ежегодников» (Deutsche Jabrbûcher, Лейпциг), ежедневной критической газеты, главного органа немецкого философского радикализма. Его младший брат Павел был тогда с ним и хорошо знал Тургенева, который был в восхищении от него. Бакунин обольщал своим смелым умом и серьезным характером многих выдающихся людей, с которыми был тогда знаком. Он приблизился, наконец, к реальной жизни, которую переживал тем более интенсивно, что для этого приближения потребовалось довольно много времени. В политике он пошел прямо к конечным выводам, примкнув к крайнему левому крылу, к абсолютной демократии, что соответствовало отрицанию всякой умеренной промежуточной системы, и что могло быть определено как абсолютная свобода анархизма.

Он смог также познакомиться с мировоззрением тогдашних социалистов. Первой книгой, прочитанной им по этому вопросу, была книга Лоренца Штейна (1842), излагавшая системы французских социалистов Бабефа, Сен-Симона, Фурье и др. Впоследствии он с жадностью перечитал всю социалистическую литературу, которую только смог найти.

Можно утверждать, что он немедленно принял социалистические идеи, но как и в политике он не примкнул ни к одной промежуточной умеренной системе, т. к. система всегда—остановка, искусственная стабилизация эволюции, приемлемая, быть может, для сегоднешнего, но не для завтрашнего дня. Итак, в политике—отрицание положительной, заранее определенной политики, анархия, а в социализме—отрицание определенной, изобретенной и внедряемой сверху системы—таков должен был быть его социализм. Он—то, что приносит и гарантирует счастье для всех, и вместе соответствует свободе каждого. Тогда не было еще для такого понимания социализма никакого названия, так как слово коммунизм применялось лишь к религиозному или авторитарному коммунизму, а слово социализм имело слишком туманный смысл. И, так как он не принимал участия в тогдашней социалистической и коммунистической пропаганде, то выступая на собраниях,—он прибегал к философской терминологии, к языку тогдашней радикальной немецкой философии. Он не имел случая уточнить свое понимание социализма. Но самое движение произвело на него сильное впечатление и он считал неизбежным падение существующей системы и реорганизацию мира самим народом.

В Дрездене написал свою знаменитую статью, подписанную Жюль Элизар, в которой выступил с критикой врагов прогресса и радикальной философии. Статья называлась «Реакция в Германии. Письмо француза». Сейчас очень трудно обнаружить прогрессивный характер этой статьи, так как философская терминология, которую оценили тогдашние читатели, нам

не так уже понятна. Демократический принцип—это «Равенство людей, реализующееся в свободе» («Die in der Freiheit sich realisierende Gleicheit der Menschen»). Или например, такой отрывок: «И это изменение демократической партии внутри самой себя явится не только количественным изменением, т.-е. не только его нынешнего сепаратного и вместе с тем дурного существования, боже сохрани,—подобное расширение означало бы упрощение сего мира и конечным результатом всей истории было бы абсолютное ничто,—но и качественным, новым, живым и животворящим откровением; новым небом и новой землей, молодым и великолепным миром, в котором все нынешние диссонансы растворяются в гармоническом единстве... Наш живой источник—в всеобемлющем принципе безусловной свободы..., той свободы, единственным верным выражением которой являются справедливость и любовь».

Первые слова, написанные им о социализме, следующие: «С другой стороны, вокруг нас наблюдается явление, предвещающее, что Дух, этот старый крот уже выполнил свою подземную работу, что он скоро вновь появится, чтобы совершить свой суд.— Повсюду, в особенности во Франции и Англии, образуются религиозно-социалистические союзы [1]), совершенно чуждые современному политическому миру, черпающие свою железную силу из совершенно незнакомых нам источников и распространяющиеся втихомолку. Народ... занимает повсюду угрожающее положение и начинает сравнивать с собой, «этим классом» слабые ряды своих врагов. Все народы и все люди преисполнены каким-то предчувствием, даже в России в этой бесконечной и покрытой снегом империи, которую мы так мало знаем и которой возможно предстоит великое будущее, даже в России собираются темные облака, предвещающие бурю. О, атмосфера насыщена, она чревата бурями! Итак, доверимся вечному духу, который теперь потому разрушает и уничтожает, что он является неисчерпаемым и вечно творящим источником всей жизни. «Дух разрушения—в то же время созидающий дух!».

От этой статьи, вызвавшей радостное одобрение Герцена и Белинского, берет начало эмигрантская жизнь Бакунина, его разрыв с официальной Россией, так как Бакунин не уделил никакого внимания просьбе русского посланника—оставить намеченный в статье путь и вернуться в Россию. Бакунин предчувствовал, что дни его пребывания в Германии сочтены и он воспользовался возвращением Георга Гервега в Швейцарию, чтобы уехать туда вместе с ним в конце 1842 года; впрочем, несколькими днями позже, 3-го января 1843 года, журнал Руге был закрыт, а сам Руге покинул Германию и поселился на

---

[1]) Известно, что все издания сен-симонистов выходили под общим заголовком: „С. Симонистская религия".

несколько лет в Париже, где Бакунин его встретил снова в 1844 году.

Георг Гервег (1817—1875), автор чрезвычайно острой политической поэзии «Стихотворения живого человека», путешествовавший тогда по Германии, был изгнан из Пруссии и спешил вернуться в Швейцарию. Поверхностное сперва знакомство с Бакуниным стало скоро интимным. Гервег не был человеком какой-либо партии или школы, но он был чистым революционером, по крайней мере, в своих идеях, так как он не был человеком действия. У него был независимый и широкий склад ума, нравившийся Бакунину; он был вполне знаком с идеями Бакунина, который в интимных письмах к нему писал ему об анархизме не как товарищу по идеям, или как ученику, но как человеку с широкими взглядами, знакомому с предметом. Молодая жена Гервега, Эмма Сизмонд имела друзей среди поляков, что способствовало также их сближению.

В Цюрихе политическая местная среда не имела ничего привлекательного для Бакунина, а, с другой стороны, Гервег должен был скоро покинуть Цюрихский кантон. Бакунин, возможный автор другой анархистической статьи, о которой я буду еще говорить, написал в мае 1843 года открытое письмо Арнольду Руге, посланное с острова Руссо на Биенском озере. В нем он с жаром говорит о «Новом мире свободы и красоты» и призывает Руге мужественно переносить преследования. Письмо было напечатано в «Deutsch-Französishe Jahrbücher».— «Французско-немецком ежегоднике», журнале Руге и Карла Маркса, появившемся в Париже вместо запрещенного в Германии журнала Руге „Немецкого ежегодника“ (Deutshe Jahrbücher) и журнала Карла Маркса «Рейнской газеты»—Reinische Zeitung (Кельн); новый журнал должен был об'единить французских и немецких социалистов и радикальных философов. Бакунин приветствует эту мысль; он признает, что «мы жили уединенной жизнью в небесах отвлеченных теорий» и что необходимо привлечь на свою сторону народ, так как мы не защищали народного дела перед самим народом. В силу этой декларации, следовательно, Бакунин полностью покидает привилегированную среду абстрактной идеи и отныне берет свои корни и черпает свои силы в самом народе.

К тому времени Вейтлинг, немецкий коммунист, автор „Гарантии гармонии и свободы“ (Вевей 1842 г.) приезжает в Цюрих и входит в сношение с Бакуниным, к которому его направили его парижские друзья и которого ему рекомендовал Гервег. Бакунин беседовал с большим интересом с этим видным представителем коммунизма немецких рабочих, но попытки Вейтлинга привлечь на свою сторону Бакунина не удались. У Бакунина не было никакого желания примкнуть к какой-либо системе или к какой-либо специальной школе. Об этом свидетельствуют несколько его статей, появившихся от 2-го до

3-го июня 1843 года в радикальной газете «Швейцарский Республиканец». Вейтлинг был арестован в Цюрихе и так как фамилия Бакунина была найдена в его письмах, об этом факте было сообщено русскому посольству главным инквизитором Цюриха, известным законоведом Блюнчли. С этого момента русская полиция имела документальную базу, чтобы начать преследования против Бакунина и она приступила к делу.

Пока что Бакунин уехал к своим друзьям в Нион на берег Женевского озера. Он побывал также в Лозанне и Женеве. В дороге к нему присоединился его немецкий друг из Дрездена, такой-же, как Адольф Фохт из Берна, молодой музыкант Адольф Рейхель, с которым Бакунин познакомился в этом же году. Рейхель остался на всю жизнь его другом. Оба присутствовали при его смерти, в 1876 году. Бакунин знал хорошо коммунистов Августа Беккера, Симона Шмита и слегка представителя тогдашнего левого крыла коммунизма Вильгельма Марра. Осенью Бакунин поселился в Берне, где дом профессора Фохта и его жены (сестра братьев Фолен) ему был всегда открыт: он находился в большой дружбе с четырьмя сыновьями Фохта—Карлом (материалистическим натуралистом) Эмилем, Густавом и Адольфом, в особенности с Эмилем и Адольфом.

Однако русская полиция не дремала, а русский агент в Берне потребовал от Бакунина возвращения в Россию, но Бакунин не считал необходимым отдаться в руки своих инквизиторов и решил покинуть Швейцарию. Он уехал вместе с Рейхелем в Брюссель; здесь он часто посещал старика Иоахима Лелевеля, одного из польских вождей, который произвел наиболее сильное впечатление на Бакунина. Лелевель был искренним и бескорыстным энтузиастом, демократом, до некоторой степени сторонником братства народов; но, он был также защитником исторической Польши и Бакунин был в полной с ним оппозиции по вопросам Малороссии и Белоруссии, которые Лелевель бесцеремонно включал в свою историческую Польшу. Эта встреча направила внимание Бакунина, следившего в продолжение трех последних лет за борьбой и прогрессом немецкого и французского радикализма, социализма и вообще демократизма, на национальные вопросы. В нем пробудилось национальное русское чувство. Я думаю, что первоначально оно было просто чувством национальной самозащиты. Видя, что поляки ненавидят и презирают русский народ, что порабощенные сами, они желали бы поработить Малороссию и Белоруссию, Бакунин почувствовал, что русский народ, как народ, невиновен в преступлениях своих тиранов, что он представляет большую ценность и что ему, как и каждому другому народу, освободившемуся от своих тиранов, предстоит великое будущее.

В Париже, с июля 1844 года до декабря 1847 года Бакунин жил без связей, без ресурсов, без определенных целей. Он попал сначала в среду немецких эмигрантов, сгруппировавшихся вокруг

журнала «Вперед», благодаря Руге, Марксу и другим выдающимся деятелям. Произошли разногласия, к тому же журнал был запрещен и кое-кого изгнали из Франции (в начале 1845 года). В результате разногласий Бакунин стал относиться холодно к Руге и никогда не имел сердечных отношений с Марксом, и Энгельсом, М. Гессом, Карлом Грюном и другими. Но продолжал быть в дружбе с Гервегом и с бернскими друзьями. Жил он вместе с добрым Рейхелем, дружба с которым не носила политического характера и была, следовательно, более солидной. Итак Бакунин отделился от сектантов; ему нравилась среда совершенно свободная от предрассудков. В Сен-Мало во Франции он вместе с Гервегом помогал в работах Карлу Фохту, (исследования фауны, извлеченной из глубины моря),—бывших тогда научным откровением. Он, вероятно, способствовал зарождению у этого ученого материалистических идей.

Он был знаком с видными французскими социалистами, демократами, экономистами и литераторами, но это знакомство за исключением Прудона, не носило интимного и дружеского характера. Он видел или встречался, с тремя Араго, с Луи Бланом, Консидераном, Ламене, Беранже, Виктором Гюго, Жорж Занд, Феликсом Пио, Мишле, Кине, Паскалем Дюпра, Риберолем, коммунистом Виллегарделем, Маррастом, Леоном Фоше, Бастиа, Жерарденом, Воловским и с многими другими. Благодаря этим знакомствам, он имел полную возможность ознакомиться со всеми оттенками социализма и демократизма из первоисточников. Он посещал также рабочие группы и общества, но как известно, рабочее движение в эту эпоху, в силу запретительных законов, было мало развито. Бакунину не доставало знакомства с массовым рабочим движением, т. к. он не был в Англии, где чартизм, тред-юнионизм, кооперация и овенизм—дали бы ему живую идею о рабочем движении. Он оставался, следовательно, в области теорий и вполне сознательно не примыкал ни к какой из социалистических школ, пользовавшихся тогда известностью, но часто очень узких. Более всего его привлекал, без сомнения, Прудон, но и по отношению к нему он оставался независимым и, как рассказывают, проводил с ним в дисскусиях целые ночи, на подобие московских дисскусий периода увлечения Бакуниным философией. Он очень ценил экономические знания Маркса. но не чувствовал симпатий к авторитаризму Маркса. Бакунин был, так сказать, пропитан социализмом своей эпохи (за исключением английского и американского социализма), но подверг все эти социалистические оттенки очень суровому просмотру, обусловленному требованиями свободы и солидарности, которые он считал наиболее существенными. Отсюда, вытекал его анархизм и коллективизм, как он их формулировал, начиная с 1864 года, но которые, выработались в нем конечно, уже значительно раньше. Он не забывал также и великого дела разрушения, неизбежно

предшествующего расцвету подлинного социализма. Он, конечно, легко заметил, что большинство, если и не все социалисты 40-х годов в сущности не были революционерами, что они надеялись на рождение социализма из добровольных ассоциаций или из реформистской работы, или, наконец, государственных декретов. В Бакунине чувство необходимости творческого разрушения было сильно, но чувство это было противно мирным социалистам эпохи и разделялось только некоторыми бланкистами или коммунистами, узкий авторитаризм которых отталкивал от них Бакунина. Я думаю, что именно изолированностью Бакунина об'ясняется, почему он не оставил политических следов своего тогдашнего социализма. В то время он мало с кем находился в переписке и, так как устная традиция забылась, неудивительно, что мы так мало осведомлены о фактах того времени, что, впрочем, не позволяет сомневаться в самой возможности этих фактов.

Он посещал декабриста Николая Тургенева, человека очень умеренного и, конечно, был знаком с некоторыми русскими эмигрантами, Николаем Сазоновым и другими, не вступая с ними в дружеские отношения. За ним, без сомнения, следил некий Толстой, подозрительный агент, не раскрытый еще тогда, когда Бакунин приехал в Париж (было бы желательно найти отношения этого агента в русских архивах). Положение его в России было окончательно определено императорским указом, который, по предложению сената, лишал Бакунина всех гражданских, дворянских и имущественных прав и угрожал ему ссылкой в Сибирь, если он вернется в Россию (декабрь 1844 года). По этому поводу, Бакунин опубликовал письмо в «Реформе» (Париж, 27 января, 1845 года). Он написал также в «Конституционалисте» 10 марта 1846 года) статью по поводу преследований в Белоруссии польских монахинь. Это было все, что он опубликовал до ноября 1847 года. Он виделся со многими русскими приезжавшими в Париж, но его радикализм устрашал их— или остававшихся скептиками, или сочувствовавших либерализму. В 1847 году он имел моральное и интелектуальное удовлетворение видеться в продолжение долгого времени с Герценом, Огаревым, Белинским, уже близким к смерти, и другими друзьями из своей бывшей московской среды. Все они сомневались некоторое время в Бакунине, когда обстоятельства заставили его несколько задержаться в Москве, но они должны были скоро убедиться, что Бакунин с того времени далеко ушел вперед и обогнал их всех, а по отношению к Герцену и Белинскому был по меньшей мере, им равным. Встреча с ними была на долгое время для Бакунина последним эхом его страны.

Положение Бакунина было далеко не благоприятным. Проходили годы, родные его забыли, никаких рессурсов у него не было; его изучение истории, политической экономии и математики не имело никакой определенной цели. Как писал он

в «Исповеди» в 1851 году, он иногда готов был броситься в Сену, чтобы положить конец бесполезной жизни. Однако, ему казалось, что несмотря на буржуазное благополучие тех лет, когда высшим лозунгом было «обогащайтесь», революционная буря уже приближалась и должно было притти и для него время действия.

Пока что, ему пришлось вновь заняться польскими делами. После статьи января 1845 года князь Чарторыйский пригласил его к себе и сам посетил его. Бакунин отклонил предложение поляков, находившихся в Лондоне — выступить на ежегодном собрании, посвященном памяти казни декабристов, не желая еще итти рука об руку с поляками. В 1846 году, после своей статьи, опубликованной в марте, он думал, однако, подготовить общее выступление и предложил сам Польской Демократической Централизации (главная организация неаристократической партии) пропагандировать среди русских в Польше свои идеи русской революции, федерации всех славянских стран, славянской единой и нераздельной республики, федеративной по отношению к администрации, но централизованной по отношению к внешней политике. Поляки отказались, считая могущество Бакунина слишком незначительным, для реализации своих планов. Переговоры не дали никаких результатов.

С другой стороны, когда Мицкевич, великий поэт, мистик и слегка националист-федералист собирался об'единить одного русского, одного поляка, одного чеха и одного еврея в комитете, чтобы сотрудничать в духе Товянского, Бакунин отказался быть этим русским.

После событий в Кракове и Познанском герцогстве в 1846 и 1847 г.г. Бакунин познакомился со многими молодыми польскими эмигрантами, чем и об'ясняется приглашение Бакунина выступить на собрании поляков 29-го ноября 1847 года в память польского восстания 1830 года. На этот раз Бакунин принял предложение. Уже 6-го сентября он писал своему другу Гервегу и его жене, что чувствуется «приближение грозы». «Поверьте мне, скоро все будет хорошо; начинается настоящая жизнь, мы все будем жить вместе, работать широко и горячо, как все трое считаем необходимым (Рейхель был женат и Бакунин более не жил с ним), но я жду еще мою и если Вам угодно, нашу общую жену—Революцию. Лишь тогда, когда вся земля будет охвачена пожаром, мы будем действительно счастливы, т.-е. будем самими собою».

Так он бросился, наконец, в общественную жизнь и произнес 29-го ноября большую речь, неоднократно перепечатанную и кончающуюся следующими словами: «Примирение России и Польши является великим делом, достойным того, чтобы ему всецело посвятить себя. Оно означает—эмансипацию 60-ти миллионов людей, освобождение всех славянских народов, терпящих иностранное иго, оно означает, наконец, падение, окончательное

падение деспотизма в Европе. Да наступит же великий день примирения, когда русские вместе с вами, воодушевленные, одними и теми же чувствами, борящиеся за одно и то же дело против общего врага будут иметь право запеть вместе с вами ваш национальный польский гимн, гимн славянской свободы: «Еще Польска не сгинела».

Другую речь полякам Бакунин произнес еще 14 февраля 1848 года в Брюсселе, но события в Париже 24 февраля помешали ее публикации. Согласно краткому резюме в «Исповеди» (1921 г., стр. 63 и 64) он говорит в ней также о великом будущем славян, о разрушении австрийской империи, о близящейся европейской революции и заканчивает ее словами: «Будем готовы и когда настанет час, пусть каждый из нас выполнит свой долг».

В результате речи 29 ноября Бакунин был изгнан из Франции и накануне рождества уехал в Брюссель, там он вновь встретился со стариком Лелевелем и с многими поляками, среди которых, однако, царило несогласие. Знакомые Бакунина принадлежали скорее к партии аристократов.

После речи в Париже, русское посольство предприняло против Бакунина войну на нескольких фронтах. От французского правительства потребовали изгнания Бакунина; в Брюсселе, где он нашел убежище, распространяли слухи, что он был вором. Наконец, Гизо дали понять, что он был русским агентом, вышедшим за рамки своих инструкций. Гизо поспешил сообщить это князю Чарторыйскому и, таким образом, привести в движение польские злые языки. Во время февральской республики, когда Гизо уже больше не было, Ламартин сделал то же сообщение польскому графу Ледоховскому. Когда Бакунин искал сотрудничества с немецкими демократами, агентство Гаваса и корреспондент Маркса Эвербек учинили подлог и злоупотребляя именем Жорж Занд, распространили слухи о существовании документальных доказательств причастности Бакунина к русской полиции. Журнал Карла Маркса «Новая Рейнская Газета» (Кельн), не дав себе труда проверить эти слухи, напечатала их. Всего этого не было еще достаточно. Когда Бакунин приехал в Берлин, в апреле 1848 года, его приезду туда предшествовал донос, что он был агентом Ледрю Роллена, следовательно, состоял на французском жалованьи и подготовлял убийство Николая I. Три раза Россия на основании этого доноса требовала выдачи Бакунина от Пруссии и на основании этого же доноса он был изгнан из Пруссии весною 1848 года и с тех пор должен был скрываться, находясь постоянно под угрозой выдачи за обвинение, которое он абсолютно отрицал. Это обвинение вошло в судебные документы его дрезденского процесса (1849/50) и приобрело, таким образом, некоторый вес, что было для него крайне опасно, когда он был выдан России и когда Николай I, от которого скрывали всю подноготную этой гнусной интриги, принял за

установленный юридический факт, изобретение его собственной полиции и других лиц парижского посольства во главе с известным Киселевым. Именно это предубеждение против него императора и старался рассеять Бакунин своей «Исповедью» 1851 года, стремясь ввести дело в его настоящие рамки. Он был готов принять ответственность за свои собственные акты, но не за изобретения гнусных лжецов. Вот какой ценой Бакунин заплатил за свою парижскую речь; с указанными фактами необходимо считаться, если желаешь составить себе правильное понятие об «Исповеди». Бакунин немедленно ответил клеветникам открытым письмом графу Дю-Шателю, французскому министру внутренних дел (7 февраля 1848 года), а позже письмом в Бреславскую газету «Всеобщая Одерская Газета» 1848 г. № 151). (Allgemeine Oder-Zeitung). Это письмо Маркс перепечатал скрепя сердце маленьким шрифтом на последней странице приложения в «Новой Рейнской Газете» 16 июня 1848 года. 20 лет позже Бакунин говорит еще об этом в своих рукописях, которые я опубликовал в свое время.

Перейдем к его деятельности в 1848/1849 году. Бакунин был необычайно счастлив, когда в Париже вспыхнула Февральская Революция, и он смог вернуться в Париж. Он провел счастливый месяц, живя в одной из казарм Монтаньяров, находясь все время с народом, дыша в клубах, собраниях, демонстрациях воздухом революции. Замечательная страница «Исповеди» описывает нам этот «месяц революционного опьянения»; о нем же говорит он в своей статье в «Реформе» (Париж) 13 марта 1848 года. Через ничтожный срок времени — писал он в день, когда вспыхнула революция в Вене — меньше чем через год, быть может, мы увидим падение чудовищной Австрийской империи; освобожденные итальянцы провозгласят итальянскую республику; немцы, об'единенные в одну великую нацию провозгласят немецкую республику, а польские республиканцы, эмигрировавшие из Польши 17 лет тому назад, смогут вернуться к своим очагам. Революционное движение остановится тогда, когда вся Европа, не исключая даже России, превратится в одну демократическую федеративную республику».

В этом отрывке выражены великие плодотворные идеи,— сегодня более, чем когда-либо необходимые, которые будущее должно осуществить, идеи, что вся Европа должна стать «демократической федеративной республикой». «Неважно— будут ли это социалистические организации или федерация анархистических групп, главное—солидарная федерация, исключающая национализм, ненависть, войны, связанные с так называемой, независимостью наций и государств, независимость которых означает только ненависть, соперничество, господство силы, посредством войн, договоров и т. д.».

Если бы Бакунин оставался в 1848/49 годах верен этой идее, внушенной ему общим стихийным движением народов

в 1848 году, он совершил бы великое дело. Он смог бы попытаться координировать отдельные движения и сталкиваясь с государством, как с центром, к которому стремится всякий национализм, как с препятствием к миру и настоящей федерации, он смог бы на 15—16 лет раньше поднять свой голос за разрушение государства. Он бросил бы обильные семена анархизма в идеалистически настроенную и еще неизверившуюся в себя среду 1848 года и, победоносная или нет, идея анархизма имела бы тогда более мощные и широкие предпосылки, чем в 60 годах. Но Бакунин отклонился от этой широкой мысли; с апреля в нем взяли верх узкие чувства славянского национализма. Лично он думал, что поступает хорошо. Он хотел действовать среди своего народа. Но пытаясь отделить славянские народы от остальной Европы, он должен был бы посеять ненависть, раздоры, войны и новые военные автократии, которые бы организовали и централизовали силы, различных народов для борьбы одних с другими. Словом, он создал бы Европу подобную той, которая появилась под влиянием тех же чувств в результате событий 1914—1918 г.г. и санкционированную договором 1919 года и т. д.

Итак, в апреле 1848 года дороги расходились и Бакунин, известный до того времени безусловной высотой своих концепций, ограничивается так называемой практической работой, которую никто не мог бы выполнить с успехом и которая явилась камнем преткновения для его таланта и его великой преданности делу. Он забывает запад, открывает в себе, как он говорил, «славянское сердце» и выступает в апреле, не во имя освобождения Европы и человечества, а определенной группы национальностей; три месяца спустя, он доходит до готовности броситься в об'ятия Николая I,—как он рассказывает сам. Он остановился во-время на краю пропасти и стал применять более осторожную тактику, но как и раньше безрезультатно. Революционная Дрезденская катастрофа, его поглотившая, не имела уже ничего общего с его националистическими, революционными идеями.

Вывод из всего этого тот, что революция 1848 г. была к несчастью лишена содействия Бакунина, что бурная жизнь Бакунина в 1848—49 году не имела ничего общего с его подлинными идеями, которые он стремился воплотить во всех своих актах с теми идеями, которые составляли самую сущность его действия и которые пережили великое затмение, длившееся почти 15—16 лет. 1864—1874 годы вполне выкупили то, что 1848—63 годы потеряли.

Впрочем, необходимо признать, что доселе революции слагаются из ошибок, совершаемых революционерами и что ошибки и упущения деятелей 1848 года не более многочисленны, чем ошибки революционного периода, открытого войнами, начиная с 1911 г., если уж не восходить к более раннему вре-

мени. Мы не будем сейчас сравнивать ошибок Бакунина в 1848/49 году с ошибками других.

Своей непосредственной целью Бакунин поставил поездку на русскую границу, для агитации среди русских и поляков, «чтоб не дать готовящейся войне сделаться войной Европы против России и отбросить этот варварский народ в азиатские пустыни» как они иногда выражались; и стараться, чтобы это не была война онемечившихся поляков против русского народа, но славянская война против Русского Императора. («Исповедь», 1921, стр. 67). Здесь необходимо было бы прочесть не только многочисленные биографические заметки и брошюры 1848/49 года (воззвания, программы, интимные письма), но и очень подробный рассказ о его планах и идеях, о тех средствах, которые он искал и не находил, чтобы реализовать их, о его внутреннем состоянии, которое он изобразил в «Исповеди» и отчасти в своей письменной защите в Дрездене 1850 года, не говоря уже о документах двух процессов (Дрезден и Прага 1849/50 и 1850/51 г.г.), которые скоро появятся в немецком издании, но которые мне еще неизвестны. Здесь следует быть кратким. Бакунин был вполне изолирован, т. к. в дружеских отношениях он был только с Гервегом и с лицами, которым этот последний рекомендовал Бакунина; в Германии—с старыми друзьями Берлина и Дрездена, которых он посещал, как например, Руге в Лейпциге. Бакунин обратился к Флокону, Луи-Блану, Альберту и Ледрю-Роллену с просьбой занять ему две тысячи франков, для от'езда в Познань «чтоб действовать вместе с польскими патриотами» («Исповедь» стр. 68). Эту сумму он получил от Флокона. Он ознакомился с настроением немецких демократических кругов в Баденском герцогстве, в Майне, в Франкфурте, в Кельне, где поссорился с Марксом, резко критиковавшим политическое поведение Гервега, которого Бакунин защищал. В Берлине Бакунин был арестован и должен был отказаться от путешествия. Он поехал в Бреславль, где происходили тогда неофициальные конференции польских партий, но еще раз пришел к заключению о невозможности совместной работы с поляками. Большие надежды он возлагал на славянский конгресс, происходивший тогда в Праге. Там, с ним приключился как он рассказывал сам, острый припадок славянского национализма, симпатии к об'единению славян, присутствовавших на конгрессе, ненависти к немцам. Все было против него: эгоизм поляков, приверженцев исторической Польши, честолюбие чешских вождей, связанных с австрийским правительством и желавших стать господами славянской Австрии и т. д. Однако он разработал широкий план славянской федерации, частично известный (Statuten der neuen slavischen Politik), основал первое секретное общество славян, впрочем, немедленно распавшееся, принял участие в Пражском восстании и давал советы, как защищаться восставшим студентам. Наконец, уехал вновь в Бре-

славль. Бакунин до крайности разжег свое национальное чувство, никто другой не мог бы чувствовать так сильно и так бескорыстно; более чем когда-либо, он оставался поэтому изолированным. Немецкие демократы, принявшие его очень хорошо, тем не менее не соглашались с его планами славянской федерации; он остался одинок, настроение его стало невыносимым.

Вот тогда то (между июнем и июлем 1848 года) у него родился план написать Николаю I, просить у него прощения, предложить ему поднять славянское знамя, быть Спасителем, Отцом и Царем всех славян («быть их спасителем, их отцом и, об'явив себя царем всех славян, водрузить, наконец, славянское знамя в Восточной Европе на страх немцам и всем прочим притеснителям и врагам Славянского племени»). Он не закончил этого длинного письма и сжег его. Он принес большую пользу делу анархистического воспитания, поведав нам эту историю, которой никто не мог знать и о которой никто не мог бы и подумать. Она показывает, куда способен вести национализм, даже человека с его характером и что может он сделать с людьми более слабыми.

Бакунин скоро должен был переменить свой образ мыслей. Он не мог не видеть, что в 1848/49 г.г. Россия не двинулась вперед (Петрашевский и его друзья были немедленно раздавлены), что славяне в Австро-Венгрии играли на руку династической контр-революции, что даже поляки не сумели нанести решительного удара и только дали несколько вождей и храбрых борцов немецкой, австрийской и венгерской революциям; он не мог не видеть, что немцы, австрийские немцы, венгерцы (мадьяры) и итальянцы восстали, но были подавлены реакцией, опиравшейся на славян, помогавших с злорадством подавлению этих революций. Здравый смысл и революционная честность Бакунина не позволяли ему закрывать глаза на эти факты и, начиная со второй половины 1848 года, он поставил себе целью примирить немцев и славян, которых еще недавно старался отделить друг от друга.

После своего изгнания из Пруссии Бакунин проживал в маленьком герцогстве Ангальт—Кётен в городе Кётен на полдороге между Берлином и Лейпцигом. Это герцогство входило в качестве автономной части в Германию и было своего рода оазисом, куда стекались беженцы со всех сторон, нередко делившие вечера в какой-нибудь пивной вместе с министрами, тогда либерально настроенными. Там Бакунин написал свое «Послание к славянам» (Кётен 1748 г. 35 стр., польское издание 1849, 40стр.). В этой брошюре он ставил себе двойную цель: защитить свою славянскую политику и призвать славян к сотрудничеству с немецкой и венгерской революциями, перестав быть орудием контр-революции. Он предлагал славянам проделать ту самую эволюцию, которую проделал он сам, впрочем, ясно сознавая, что эта эволюция была для него самого только паллиативом. В таких

условиях слова его, очевидно, не могли оказать значительного влияния на людей, бывших только националистами и не разделявших ни его желаний, ни его потребности подлинной всеобщей анархистической революции; между тем Бакунин продолжает мечтать, ждать и желать именно этой настоящей революции. В письме к своему другу Гервегу (август 1848 года) он говорит; «мы нуждаемся в чем-то другом, в буре и жизни, в новом лишенном законов, поэтому, свободном мире». Эти слова могли быть написаны только вдумчивым и убежденным анархистом. В другом письме к Гервегу же Бакунин писал 8-го декабря 1848 года: «Другие страсти родят крестьянскую войну, и это меня радует, так как я не боюсь анархии, но от всей души желаю ее; она одна вырвет нас из этой проклятой среды, в которой мы вынуждены прозябать».

Таким образом, ясно, что его революция была социальной революцией, опирающейся на крестьян, а не политической революцией буржуазии в больших городах; рабочий пролетариат был тогда малочислен, и революция естественно должна была начаться в деревнях и оттуда распространиться в городах при посредстве рабочих и ремесленников.

Но эти идеи были его интимными идеями. На практике он должен был ограничиться тем, чтобы попытаться помочь немецкой революции, подготовлявшейся с осени 1848 года на будущую весну и вылившейся в мае 1849 года в обширные восстания, особенно в Дрездене, Баденском Герцогстве. Аналогичная революция должна была бы вспыхнуть в Богемии и распространиться на Моравию и словакскую Венгрию. Наконец, проектировалась крестьянская революция в немецкой Силезии. Эти движения должны были помочь венгерской революции; поляки Галиции и Познани должны были подняться и принять участие во всех этих революциях. Все это составило бы достаточно мощный блок, чтобы противостоять австрийской династической армии и военной интервенции России — двум реальностям из которых одна раздавила революции в Дрездене и в Бадене, а другая революцию в Венгрии. За исключением самоотверженной помощи двух иди трех чешских студентов, примеру которых последовало несколько десятков их товарищей в Праге, и приблизительно такого же числа студентов, в немецкой Богемии и некоторых чешских демократов в Праге, рессурсы чешской конспирации были ничтожны, результаты соответствовали рессурсам: аресты суд, невероятное число годов заключений в крепости для Бакунина и для всей этой молодежи (8 лет спустя, 10 мая 1850 года они были амнистированы). Аресты в ночь с 9-го на 10-е мая, когда был арестован и Бакунин, после 6 дней революции в Дрездене и одного дня блуждания с дрезденскими борцами, аресты в Праге, все это произошло раньше, чем проекты конспираторов начали осуществляться.

Бакунин употребил все силы, чтобы добиться иных результатов. Несмотря на большой риск, он сам посетил Прагу, пытался рассеять при содействии центрального комитета демократических немецких обществ славянские антипатии немецких демократов; старался помирить чехов и немцев в Богемии,— основал две тайные самостоятельные организации этих двух национальностей, которыми хотел руководить сам, об'единяя таким образом их действия; искал денежной и военной помощи (через опытных офицеров) у польских демократов в Париже, а также у венгерцев, через графа Телеки в Париже, но все без серьезных результатов. Сам он был в это время настолько беден, что мог существовать сам и содержать двух эмиссаров в Праге братьев Штраке только благодаря помощи, полученной из Парижа от друга Рейхеля. Это вопиющее несоответствие между целью и средствами, разумеется, не характеризует личной ценности Бакунина (великие вещи характеризуются великими намерениями), но подобного рода положение несомненно дает повод об'ективной критике и Бакунин первый имел право критиковать свое собственное поведение, что и об'ясняют некоторые страницы его «Исповеди».

Он покинул Кётен для Лейпцига, потом Лейпциг для Дрездена, где застала его революция 3 мая 1849 года. В Дрездене он ждал момента отдать себя в распоряжение революции в Праге, которая не произошла никогда. Он отдал себя в полное распоряжение Дрезденской революции, как только она приняла определенный характер; с этого момента он принадлежал ей всецело. Морально и интеллектуально он был душой защиты не только, благодаря своей целеустремленности, но и благодаря своей непобедимой моральной силе. Ему удалось сломить много препятствий, но он не смог спасти изолированного неукрепленного города от саксонских и прусских армий, быстро приближавшихся. Не было ни поражения, ни сдачи. Главные защитники в полном вооружении ушли в город Фрейберг (9 мая), откуда Бакунин, Гейбнер, Рихард Вагнер и еще один товарищ отправились в город Хеймниц, где думали в безопасности отдохнуть после 5 или 6 бессонных ночей. Рихард Вагнер нашел другое убежище и на следующий день перекочевал в Веймар, потом в Цюрих, трое остальных были застигнуты во время сна и арестованы буржуазными реакционерами. С этой ночи 1849 года Бакунин стал узником и только благодаря побегу в 1861 году получил свободу.

Более подробный анализ его идей должен был бы остановиться здесь на его понимании революции. Два проекта, касающиеся России и Богемии (1849) о которых он говорит в «Исповеди», (стр. 91, 93, 108, 109 и др.), и то, что нам известно, о его проекте славянской федерации (Прага 1848 г.), дают нам материал для этого анализа. Но я буду говорить здесь только об одном факте, который первоначально поражает читателя, о роли,

которую он предназначал диктатуре. Он ее не любил и не желал быть диктатором; он рассчитывал погибнуть в революционной буре и не умел беречь себя для проведения диктатуры. Но он считал диктатуру все же необходимой в силу быть может, двух соображений: он ненавидел парламентаризм, волокиту и сделки «говорилок», и он не видел еще, чтобы какая либо инициатива могла выйти непосредственно из недр народа, и если она даже и была, то в очень слабой степени. Нужно принять еще в соображение отсутствие каких-либо народных движений на континенте в это время. Банкеты, предшествовавшие февральским дням, клубы (публичные собрания, почти перманентные), открывшиеся в эти дни, были первыми народными манифестациями свободы, начиная с эпохи французской революции и нескольких годов или вернее месяцев послеиюльских дней 1830 года. Ничего подобного не было ни в России, ни даже в Богемии, за исключением Праги 1848 года, где, как и в Германии, клубы, собрания и общества являлись скорее маленькими парламентами и теряли время в безрезультатных дискуссиях. Все это способствовало тому, что благожелательная временная диктатура представлялась практическим и так сказать педагогическим средством к скорейшему пробуждению народа. Я всегда скажу, как уже говорил не раз, что те, кто в этих идеях 1848 и 1851 г.г. находят аргумент для оправдания диктатуры в нашу эпоху, предполагают народ столь же отсталым в 1922 г., каким он был 70 лет тому назад. Такой неисправимый народ действительно нуждался бы в постоянной диктатуре, но тогда необходимо громко провозгласить, что всегда может существовать неспособный народ и привиллегированный класс, призванный для того, чтобы быть диктатором.

План Богемской революции (1849 г.) замечателен своим социальным содержанием. Революция должна быть настолько разрушительной, чтобы сделать невозможным возврат к старому, чтобы даже в случае поражения старый порядок не мог бы быть восстановлен, будучи навсегда уничтоженным материально. Этот урок очень важен: нерешительные революции порождают контрреволюционеров, стремящихся к возврату старого. Революция должна быть полной или она осуждена на гибель.

Было бы еще интересно сравнить планы тайных обществ Бакунина того времени с планами, которые он вырабатывал, начиная с 1864 года. Я думаю, что в этом отношении он много не изменился; инициатива, исходящая из невидимых революционных ячеек, прельщала его всегда.

Вот краткий очерк жизни Бакунина до 1849 года. Потом его поглотила тюрьма, а позже Сибирь отделила его от всего мира до 1861 года.

В ночь ареста он был настолько истощен, что был вполне равнодушен к своей судьбе. Он должен был ждать, что военно-

полевой суд присудит его в ближайшие дни к смерти. Его спокойствие духа во время перевозки в Дрезден поразило одного из конвоировавших его прусских офицеров, он позже рассказал об этом. Относительно первых недель его пребывания в Дрезденской тюрьме существует рассказ Фердинанда Кюрнбергера австрийского радикального писателя, тогда арестованного. Рассказ этот, заключающий много деталей и ценных свидетельств опубликован в 1850 г. в Бремене и перепечатан в анархическом журнале «Erkenntniss und Befreiung» в Вене (3 и 31 июля 1921 г.). Кроме того, существует известное описание Рёхеля, осужденного на смерть в 1850 г. («Восстание Саксонии и тюрьма в Вальдгейме»). Рёхель остался в тюрьме до 10 января 1862 года; двумя неделями раньше Бакунин вернулся в Европу. Его ужасная книга показывает—какова бы была судьба Бакунина в Саксонии, если бы он не был выдан Австрии и России. Имеется также восемь писем, написанных Бакуниным между 11 октября 1849 года и 11 мая 1850 г. его другу Рейхелю и его сестре Матильде из крепости Кенигштейн. Эти письма очень ценны для понимания тогдашнего Бакунина. Существует еще длинное письмо от 23 марта 1850 года к его адвокату, в котором содержатся выдержки из написанной им тогда защитительной речи. Это письмо очень полезно сравнить с «Исповедью», первым наброском которой оно является. Я знаком с этими материалами и с некоторыми еще другими, менее важными, но существует еще огромная масса документов, относящихся к процессам в Дрездене и в Праге (1850—1851 г. г.), в которые включены допросы, рукописная «Защита» и все юридические документы, копии которых были у Николая I, когда он решал судьбу Бакунина. Когда эти документы будут опубликованы (подготовляется немецкое издание), условия жизни Бакунина за эти два года инквизиции и одиночного заключения будут известны до конца и надо будет припомнить описания Сильвио Пеллико, Конфалоньери, Андриана и других, чтобы получить представление об австрийских тюрьмах, через которые он прошел. И только тогда можно будет иметь окончательное суждение об «Исповеди».

Согласно «Исповеди» и по другим рассказам Бакунина известно, что он прибыл в Россию после второго смертного приговора, замененного, как и первый в 1850 г., бессрочным тюремным заключением, в состоянии полного отчаяния, в ожидании нового ухудшения своей судьбы. Но в дороге с ним обходились прилично; он был посажен в Петропавловскую крепость в Петербурге (приблизительно в июне 1851 г.), где также с ним обходились хорошо. Насколько нам известно, не было никакого суда. Два месяца спустя, царь при посредстве графа Орлова попросил заточенного рассказать свою заграничную жизнь. Бакунин описал ее с искренностью, соответствующей отношениям исповедника и исповедуемого. Бакунин написал свою «Исповедь».

Я анализирую детально эту книгу в другом месте. Здесь я только скажу, что чем более я вникаю в эту книгу, тем менее и менее она меня удивляет; то, что нам в ней не нравится—есть плод националистических увлечений Бакунина, человека дельного, шедшего до глубины вещей с той же страстностью, с какой Белинский исповедывал свой гегельянизм, когда писал «Бородинскую годовщину». Форма не имеет серьезного значения. Николай не возбудил против него судебного преследования, как это было сделано по отношению к декабристам, петрашевцам и многим другим. Он стал попросту его тюремщиком и палачом и Бакунин обращается к нему, как к таковому. Узник защищает свое дело перед судьями, перед присяжными, отданный же в распоряжение всевластного тюремщика, он получает право действовать, как может. И если подобная фигура, распоряжающаяся всем, что касается узника, пред'явит какие-либо специфические требования, нельзя порицать узника, вынужденного жить с подобным индивидуумом, за формы его приспособления к «настроениям грубого животного». Судьбы узников различны, в зависимости от того, в чьих руках находится их судьба и от тысячи других вещей, и крайне несправедливо сравнивать поведение узника 1851 года с положением узника 1881 года или 1921 года. Мы не в римском цирке, где аплодировали гладиатору, умевшему хорошо умирать и освистывали другого, умиравшего плохо. Нельзя критиковать ни страдающих, ни больных, ни заключенных в тюрьму. Можно отнестись, поэтому, с презрением к некоторым комментариям жестоких и малоделикатных людей по поводу «Исповеди», по поводу письма к Александру II (14 февраля 1858 г.) и по поводу всего того, что было или будет еще опубликовано из документов подобного рода, которые Бакунин мог написать из Сибири, когда необходимо ему было добиться каких-либо бюрократических санкций, иначе недоступных.

В своей «Исповеди» он откровенно говорил царю, что он не выдаст ничьих тайн, и он сдержал свое слово, как это доказывает анализ документа. Он говорил царю откровенно о крестьянах, и об отвратительной правительственной системе, о взяточничестве чиновников, о неизбежности социализма, о русской революции. В общем, Бакунин не оправдал ожиданий царя—не дал «чистой полной исповеди». Царь, который хорошо понимал это, отомстил ему тем, что оставил его в одиночном заключении, тогда как Бакунин просил заменить его любым наказанием, как бы ни было оно тяжело. Для общительного человека, как Бакунин, пребывание в Петропавловске было адом.

Он должен был прожить в нем до февраля 1857 года. Александр II отказал его матери изменить судьбу ее сына, но князь Горчаков дал понять несчастной матери, что царь ожидал от Бакунина покорной просьбы. Выбирая между смертью (он готов был покончить жизнь самоубийством) и жизнью, Бакунин подчинился капризу тщеславного палача, требовавшего

в десять раз больше поклонов и просьб, чем Николай, и написал 14 февраля письмо, приложенное к «Исповеди» (стр. 139—142). Тогда царь отправил его «в ссылку в Сибирь на поселение» (19 февраля 1857 года).

Бакунин вышел из Шлюссельбургской крепости, куда он был переведен во время Крымской войны, человеком 43 лет, сильно изменившимся физически. Из стройного мужчины, каким он был еще до 1849 года, он превратился в того тучного колосса, каким изображают его портреты 1862 г. и последующих годов, которому грозили болезни и преждевременная смерть. После 8 лет изоляции, он не был возвращен к среде, в которой он некогда вращался, но был сослан сначала в Томск, затем с марта 1859 года, в Иркутск; он побывал в Чите и других городах. В Томске он познакомился с последними сосланными декабристами, со многими поляками, которых он, как раньше, старался примирить с русскими. Он женился на Антонии, молодой девушке, дочери польского ссыльного Ксавье Квятковского, которая после побега Бакунина с большим трудом добилась разрешения уехать и приехала к нему в Швецию в 1863 году. Он свел знакомство с молодыми сибиряками — Потаниным и другими, мечтавшими о независимости Сибири. Некоторых из них Бакунин сумел привлечь к кое каким из своих идей. Он проехал по Восточной Сибири до Читы, в качестве служащего одной коммерческой компании, стал одним из интимных друзей губернатора, графа Муравьева Амурского, сына старика М. Н. Муравьева, с которым он был хорошо знаком в Петербурге в 1833 году. Среда, в которую попал Бакунин, отличалась широтой взглядов и была довольно интересной; в ней сталкивались разнообразные течения. Сибирь переживала тогда период коммерческой эксплоатации страны; там жили колониальной жизнью, стремились к американизации края. Во главе этого течения стоял Муравьев-Амурский, вельможа с широкими взглядами, постоянно наталкивавшийся на обструкцию всесильных петербургских бюрократов. Приверженцы формальной доктрины либерализма, как например Петрашевский и его друзья, не должны были чувствовать себя вполне хорошо в этой среде крупных дел, своеволия и интриг, но Бакунин смотрел на вещи более широко.

Ему казалось, что он присутствует при зарождении новой, богатой ресурсами славянской страны; в Муравьеве-Амурском он видел человека предназначенного для выполнения этой цели, энергичного диктатора с широкими взглядами, который, подобно самому Бакунину, мечтал об освобождении крестьян, о славянской федерации, о войне против Германии, Австро-Венгрии и Турции с целью освобождения славян. Человека, которого он напрасно искал в 1848—1949 году и которого он думал одно время найти даже в Николае I, он нашел теперь в Иркутске в лице своего близкого родственника, почти друга, государственного деятеля с историческим уже именем. Никогда он никого так не

превозносил, как Муравьева-Амурского в письмах к Герцену от 7 и 15 ноября и 8 декабря 1860 года. Однако все его надежды рухнули. Муравьев скоро покинул свой пост, занимаемый им с 1848 года, уехал в Париж и не играл более никакой роли. Когда Бакунин описывал планы и моральный облик Муравьева, он описывал в сущности самого себя и, излагая идеи Муравьева, излагал свои собственные идеи. Его письма к Герцену являются как бы исповедью, в роде «Исповеди» 1851 года. Они показывают, что его национализм, пробудившийся в 1848 году, особенно был силен в процветающей богатой молодой Сибири. В 1861 году он надеялся вернуться в Россию, найти и об'единить подобных себе людей, развить внутри страны освободительное движение, освободить славянские народы, стать во главе движения, постоянно стремясь к цели, которую он никогда не терял из виду—социальной революции, к восстанию крестьян.

Пусть это были фантазии, но Бакунин, который даже в тюрьме пытался сделать из Николая осуществителя своей мечты (Николай написал на полях: «я бы встал в голову революции славянским Массанйелло спасибо»!), взял за исходную точку Сибирь и Муравьева-Амурского. Он говорил, «что одна вера есть уже половина успеха, половина победы» и он вечно создавал, хотя бы в воображении, новые планы действия, к которым он приобщал других, чтобы вызвать соответствующее эхо. Вместо того, чтобы судить и критиковать это, будем благодарны за такую плодовитость, такое страстное желание работать везде для своей идеи. Человек умеренного действия, осторожный и колеблющийся, не мог бы быть Бакуниным.

Все происходившее в Сибири глубоко интересовало Бакунина, но в это же время он заметил симптомы пробуждения на Западе, как он выражался—«таяние снега». Гарибальдийское движение в Сицилии и Неаполе показывало, что Европа начинала просыпаться. Это, вероятно также, и от'езд Муравьева-Амурского, положивший конец его надеждам вернуться легально в Россию, заставили его покинуть Сибирь уже по своей собственной инициативе. Он выехал из Иркутска 5/17 июня 1861 года, сел на американский пароход в Иокогаму в Японии 5/17 сентября, прибыл в Сан-Франциско 15 октября, отсюда направился в Нью-Йорк через Панаму 15 ноября и наконец приехал в Лондон 27 декабря. Вначале это путешествие было совершенно легальным, только, чтобы сесть на американский пароход в русском порту необходимо было прибегнуть к хитрости. В Лондоне он направился к Герцену и Огареву, которые приняли его с распростертыми об'ятиями.

Чтобы понять лихорадочную деятельность первых дней его приезда в Лондон, необходим исторический очерк движения свободной русской прессы заграницей—книг и брошюр Герцена и Огарева, «Полярной Звезды», «Колокола», зарождения русского движения в 50-х годах, подпольных изданий того времени«—Ве-

ликоросс», «Молодая Россия», «Свобода»; необходима история «Земли и Воли», пропаганды Чернышевского, Добролюбова и других, либерального движения земств, в которых некоторые братья Бакунина (напр. в Тверском земстве) играли довольно видную роль; необходимо также пересмотреть все то, что резюмировано в книге Джаншиева «Эпоха великих реформ», и наконец, ознакомиться с источниками польского восстания, которое стало поперек всей этой русской эволюции и не сумело сотрудничать с нею, также, как впрочем и русские, за исключением Бакунина, стремившагося координировать все эти движения. Современному читателю, знакомому с острой борьбой, предшествовавшей 1905 году, и событиями, предшествовавшими 1917 году, необходимо все это знать, чтобы понять к чему стремились люди 1862 года. Нам хотелось бы поскорее перейти к анархическому периоду Бакунина, так что мы будем кратки относительно славянского периода 1862—1863 г.г., в течение которого в нем боролись национализм и революция, но революция, в конце концов, победила.

Бакунин резюмировал свою деятельность этого времени в одном из писем, столь характерных 1862 года, опубликованных Лемке в «Былом» (Петербург, июль, 1906 г. Стр. 183—214). В этом письме, адресованном Наталии Бакуниной, жене его брата (Лондон, 16 июня 1862 г.) он писал: «Несколько слов о моей теперешней деятельности. Я занимаюсь исключительно русскими и польскими вопросами и вообще славянским вопросом, я проповедую горячо и систематически ненависть к немцам, о которых говорю, то, что Вольтер говорил о боге: «если бы не было немцев, нам следовало бы их изобресть», т. к. нет ничего более способного об'единить славян, как глубокая ненависть к немцам». Это вполне соответствует тому, что он писал царю в «Исповеди» (стр. 75): «Ненависть против немцев есть первое основание славянского единства и взаимного уразумения славян». «Моя специальная страсть—говорил он, в этом письме, точно также как и в своем первом письме из Сан-Франциско к Герцену, это—«разрушение Австрии». Герцен в одной из своих статей, опубликованных в сборнике посмертных сочинений (Женева 1871 г.) описал с скептической иронией нечеловеческие усилия Бакунина восстановить связи с своими бывшими славянскими знакомствами времени славянского конгресса 1843 года и завязать новые знакомства с кореспондентами «Колокола» и русской типографии в Лондоне, где Тхоржевский, старый поляк оказывал ему всякое содействие. Усилия Бакунина электризовать людей, пыл которых исчез со времени 1848 г., были безрезультатны. Многие из славян, в частности чехи, стали приверженцами царской России и смотрели с ужасом на Бакунина (за исключением одного М. Ф. Фрича, бывшего участника Парижской конспирации 1849 года).

Достаточно здесь напомнить главные бакунинские сочинения: а) «Русским Польским и всем Славянским друзьям», (приложение к «Колоколу» 15-го февраля 1862 г.), поздравительное письмо продолжение которого так и не появилось и которое должно было быть специально посвящено славянам, Австро-Венгрии и Турции, б) «Народное Дело. Романов, Пугачев или Пестель»? (Лондон сентябрь 1862 г. 48 стр.) брошюру, написанную, по словам Огарева (письмо от 12 октября 1863 г.), Бакуниным под влиянием примера Мартьянова, бывшего крестьянина, сочинившего из Лондона письмо Александру II, с призывом стать земским царем и с обещанием забвения всего за освобождение крестьян. Бакунин, наоборот, в письме от 19-го июля 1866 г. об'ясняет, что предлагая Александру II стать народным или революционным царем, он понимал всю невозможность этого, но что он желал таким образом дискредитировать царизм.

Сотрудничество с Герценом и Огаревым было невозможным и в письме от 20 мая 1862 года Бакунин писал: «Вы правы, друзья,—оставаться рядом друзьями и союзниками — такова должна была бы быть моя позиция по отношению к вам». Серьезные разногласия между ними привели бы их, конечно, к более быстрому и полному разрыву, если бы польский вопрос временно не спаял их солидарность, к которой Герцен относился несколько скептически, но покорно. Три виднейших русских эмигранта считали необходимым в своих отношениях с поляками, делившимися на красных и белых, выступать об'единенной группой. Происходили бесконечные переговоры, путешествия Бакунина в Париж, приезд поляков в Лондон, переписка, соглашения и разрыв, отклики которых находятся в брошюрах Бакунина «Центральный комитет в Варшаве и военный русский комитет». Ответ генералу Мирославскому» (Лондон. 1863 г. 24 стр.), позже «Последнее слово о Л. Мирославском» (Женева 1868 г.) и т. д. В Польше существовала тогда военная группа русских офицеров, из которых один Андрей Потебня ездил нелегально в Лондон, чтобы столковаться с Герценом, Огаревым и Бакуниным насчет революционного действия во время восстания. Бакунин выпустил по этому поводу очень редкую брошюру. «К офицерам русской армии» (Женева, 1870). Никаких серьезных обещаний не было сделано со стороны поляков и военной группе русских офицеров оставалось только броситься в битву и умереть. В России существовала, правда, тайная организация «Земля и Воля» но, она была настолько осторожна, без инициативы и без средств, что с Лондоном она почти не имела сношений, так что Бакунин находился перед неизвестностью, перед призраком, который всегда ускользал от него. Там, где у него были более реальные связи, имело место некоторое неблагоразумие, жертвами которого были Серно-Соловьевич, армянин Налбандиан и другие. Русская молодежь обожала Чернышевского, а Герцен, как представитель умеренного либерализма, не был в почете;

Огарев вместе с Кельсиевым терялся в напрасных усилиях завоевать сектантов, которые готовы были принять поддержку Лондона, но отступили, узнав пределы подлинного влияния Колокола. Часть русского общества, которая раньше была в восхищении от Герцена, перешла на сторону Каткова во время польского восстания, так что «Колокол» остался почти без читателей.

Эти краткие указания показывают, что деятельность Бакунина, как бы значительна ни была сама по себе в 1862 г.,—не давала никаких результатов и дать их не могла. Все эти движения, как и те, кто стоял во главе их, сложились за время его отсутствия и шли своей рутинной дорогой; среди этих движений не было места ни для него, ни для его программы, оставшейся той же, что и в 1848 году, тогда как, с тех пор одни дезертировали, другие, и в частности молодежь, ушли дальше. Он горел желанием действовать во что бы то ни стало и помочь полякам в особенности организацией русского легиона; он поехал бы в Польшу или в Россию, если бы серьезно требовалось его присутствие там, но такого случая не представлялось.

В начале февраля 1863 года он решил уехать в Стокгольм, чтобы попытаться оттуда вызвать движение в Финляндии. 25 февраля он приехал из Гамбурга в Копенгаген, но не видя там никакой возможности что-либо сделать, несколько днями позже уехал в Стокгольм. Он оставался в Швеции до первой половины октября, решив однако еще в августе (письмо от 19 августа) провести зиму в Италии (дав адреса—Женевы, Генуи, Флоренции); раньше он вернулся в Лондон (октябрь). Он посетил Мальме с прибытием экспедиции Лапинского (в конце марта) и делал невероятные усилия, чтобы поднять либеральное мнение в Швеции в пользу любой версии, которая бы была полезна польскому восстанию и русскому демократическому движению, представленному тогда обществом «Земля и Воля». Последнее Бакунин постоянно восхвалял, преувеличивая иногда, даже наперекор своему убеждению, его влияние. Между тем могущество этого общества, после ареста Чернышевского и М. Серн-Соловьевича (7 июня 1862 г.) очень пошатнулось и руководилось между прочим лицом вроде Утина, который и тогда вероятно был не бо́льшим революционером, чем позже. По этому поводу полезно пересмотреть мемуары Пантелеева и процесс Андрущенко.

Бакунин был горячо принят в Швеции, где, между прочим, произнес на банкете 28 мая речь, напечатанную в «Колоколе» (французское издание, Брюссель 10 июля). К тому же времени относятся его статьи: «Царизм и молодая Россия» в Шведском журнале «Aftonbladet» (12/15 и 20 мая), письмо о Финляндии в том же журнале от 12 и 13 ноября и т. д. Его деятельность в Швеции не привела, в общем, ни к каким результатам, так как симпатии шведов носили платонический характер, но защищая энергично идею автономии невеликору́сских частей русской империи и в частности прибалтийских стран, он распро-

странял идею распадения русского колосса через автономию его составных частей.

Умеренный характер его пропаганды явствует, например, из следующего отрывка его речи на банкете 28 мая: «Какова же наша позиция, позиция тех, кто борется против Петербургского правительства? Мы — консерваторы. Мы против кровопролития. Но если кровь должна быть пролита, пусть это будет не для гибели, но для спасения России и Польши. Мы, которых именуют революционерами, не республиканцы во что бы то ни стало. Если бы император Александр II пожелал честно стать во главе политического и социального обновления России, если бы он пожелал возвратить свободу всей Польше и тем частям страны, которые не желают входить в империю, если бы на место страны Петра, Екатерины и Николая, основанной на силе, он основал бы свободную демократическую народную Россию с автономной администрацией провинций и если бы завершая дело, он поднял бы знамя славянской федерации— тогда вместо того, чтобы бороться против него, мы бы стали его слугами самыми верными и преданными. Республика и монархия — слова, которые не при чем, если вся организация будет построена на подлинной воле народа и поставит своею целью его свободу».

В 1851 году Бакунин писал Николаю I: «Еслибы вы, государь, захотели тогда поднять славянское знамя» («Исповедь» стр. 98—99); такой же призыв, хотя бы в виде ораторского приема, он обращает к Александу II в 1863 году перед аудиторией, наиболее значимой, какую он только сумел найти. Этой идеи он придерживался также в 1863 году, как и в 1848 году. Настоящий националист ищет только воплощения своих целей и это его бросает в об'ятия наиболее сильного; итальянские республиканцы, когда Мадзини и Гарибальди оказались недостаточно сильными, пошли за Кавуром и Виктором Эмануилом I; немецкие республиканцы 1848 года, за немногими исключениями, стали на сторону Бисмарка, реализовавшего нечто подобное их национальному идеалу; Бакунин в подобном случае стал бы на сторону Николая I и Александра II, как свидетельствуют его слова. Кто хоть немного остается националистом, поглощается всецело национализмом.

Однако с лета 1863 года Бакунин отдает себе, наконец, отчет в пустоте своих усилий. Эта новая эволюция отмечена в его письме к Герцену от 1 августа 1863 г.: «Ты никогда не был им (т.-е. панславистом) и ты относился всегда с презрением к славянским движениям. Я также не был им, но я принимал горячее участие в славянских движениях и даже теперь я еще думаю, что славянская федерация является нашим единственным возможным будущим, т. к. только она одна может удовлетворить в новой, совершенно свободной, форме чувство величия, которое без сомнения живет в нашем народе, чувство,

которое ошибочно пошло или пойдет по коварному пути империи. Но это еще в далеком будущем, в настоящий момент было бы глупостью даже думать о славянах,—и если мы можем заняться ими, то лишь для того, чтобы удержать их от гибельного союза с современной царской Россией. Я даже забыл о них думать, весь этот вопрос ограничивается теперь Россией и Польшей. Да, с поляками трудно. Мало, слишком мало таких с которыми мы можем жить душа в душу... Так что, друзья, вы были правы в этом вопросе, а я был не прав: да, даже самый лучший поляк—наш враг, как русских. И несмотря на это, мы не можем оставаться вдали от польского движения и сожалеть, что мы вступили на этот путь... Я непоколебимо убежден, что наш главный враг—это Петербург, больше чем французы и англичане, даже больше, чем немцы. Петербург — это, в действительности, замаскированный немец. Следовательно, ничто не заставит меня прекратить продолжать войну не на жизнь, а на смерть против Петербурга. Да, я во всеуслышание отказываюсь от русского государственного имперского наследства и я буду рад разрушению империи, откуда бы не последовало оно. Ясно, что я не пойду в Россию на буксире французов, англичан, шведов и их друзей поляков, но если бы мне удалось проникнуть внутрь России и одновременно с иностранной войной поднять крестьян, я сделал бы это с полным сознанием, что я выполняю священный долг и служу великому русскому делу. Вот моя вам исповедь...»

В то время весной 1864 г.—он ждал войны против России (письмо от 29 августа комитету «Земли и воли»). В этом же месяце он готовился к своему осеннему и зимнему путешествию. Начиная с этого времени Италия становится в продолжение 4-х лет полем его деятельности. Во время путешествий он хотел познакомиться с демократическим и революционным настроением Европы, вероятно, в предвидении войны против России, которая ему казалась неизбежной. Кроме того, он видел, что, оставаясь в Лондоне, он будет все более и более отдаляться от Герцена и Огарева; приезд его жены из Сибири в Стокгольм мог еще более укрепить его в намерении осуществить свое путешествие. Одним словом, пришел конец того длинного, исключительно славянского периода, который начался в апреле 1848 г. и кончился приблизительно в июне 1863 г. Уже своей продолжительностью период этот доказывает, как в Бакунине было сильно чувство национальной идеи. Отныне он отдает себя всецело анархизму и социальной революции.

Путешествуя в целях ознакомления с настроениями европейской демократии и свидания с своими старыми друзьями, он побывал в Брюсселе, в Париже (где тогда же или во время путешествия в 1864 г. он познакомился с братьями Эли и Элизе Реклю), Женеве, вероятно, также в Берне, где он увиделся с Фохтами и Рейхелями, в Турине (где не видел Кошута, если

тот был тогда там), в Генуе, на острове Капрера (Гарибальди), во Флоренции, где он провел зиму. После нескольких недель пребывания на берегу моря в Антиньяно—он совершил новое путешествие в Швецию (от августа до октября 1864 г.), непосредственная цель которого нам осталась неизвестна, провел несколько дней в Лондоне (от конца октября до 4 ноября) и вернулся во Флоренцию через Брюссель и Париж, где видел в последний раз Прудона. Он вновь поселился во Флоренции; проездом в Сорренто в июне, он в первый раз остановился в Неаполе, куда приехал еще раз в октябре 1866 г. С этого числа до августа 1867 г. он оставался в Неаполе, летом в его окрестностях.

Эти годы спасли Бакунина для нас. Они освободили его от той бесполезной и беспорядочной траты его энергии, которая характеризует 1862/63 г.г. Письма Герцена и Огарева между 1 сентября и 12 октября 1863 г., которые, быть может, никогда не были отправлены, заключают в себе резкую и одновременно благодушную критику его образа действий, так что мы отсылаем читателя к ним. Бакунин должен был познакомиться в Италии с более утонченными способами конспирации и маневрирования, чем его собственные способы; это служило ему уроком, он более не делал ложных шагов. Он наблюдал также на юге националистические движения, к которым везде примешивалось «немного наполеоновского яду», что не мешало итальянскому правительству утилизировать национализм. Он должен был видеть, насколько национализм в этих странах был антагонистом социализма, так как национализм является прежде всего одним из органов местного честолюбивого капитализма. Одним словом, Бакунин убедился, что примитивный, народный, бунтарский национализм, который он думал видеть у славянских народов и который было его загипнотизировал на западе, испорчен политикой больших государств, капитализмом и вместо того, чтобы вести к федерализму, являвшемуся для Бакунина неотъемлемой принадлежностью всякой независимости, вел скорее к государственности и войне. Он понял, наконец, что недостаточно толкать вперед людей уже с готовыми мировоззрениями, связанных с существующими уже движениями, но что необходимо создать людей всецело преданных именно его делу, а для этого нужна широкая организация и выработка самих идей. И тогда он горячо отдался новой более серьезной работе.

Он начал с распространения своих идей среди итальянских франкмасонов (Флоренция); вероятно по этому случаю он в первый раз формулировал сущность своих идей. Остались только обрывки рукописи, остальное было уничтожено. Его идеи не были восприняты и он оставил этот путь.

Он попытался организовать местный кружок из молодых людей буржуа и рабочих; кружок не особенно удался во Флоренции, но имел большой успех в Неаполе, начиная с 1865 г.

От этого последнего кружка зародилось «общество свободы и справедливости» (1866), которое в 1867 г. издавало журнал того же названия. Из этой то среды вышли люди, которые в начале 1869 г. основали в Неаполе секцию Интернационала. В анархическую группу этой секции во время Парижской Коммуны, весною 1871 г. вошел человек, живущий еще и по сию пору, Энрико Малатеста.

Между наиболее опытными членами этих групп и такими же членами других групп других стран установились интимные связи, которые принимали формы тайного общества. Там, где общество было многочисленно (это было только в Италии), оно об'единяло различные группы различных категорий: интернациональные, национальные, провинциальные и т. п. Осталось большое количество уставов или проектов с длинными введениями, в которых ясно выражены анархические принципы. Формальная сторона этого движения имеет абсолютно второстепенное значение, но результат работы был важен тем, что выдвинул ряд людей, выступивших с пропагандой анархических идей, начиная с осени 1867 г. 1868 и последующих годов. Анархические идеи Бакунина, впервые выраженные в ясной и точной форме, разбросаны в очень редких теперь литературных документах, частью не найденных или вовсе потерянных (конца 1863 и следующих годов до лета 1867 г.). Документы эти состоят из писем, отрывков масонских рукописей, бумаг секретной организации, из некоторых неапольских подпольных публикаций, как, например, «Итальянское положение» (октябрь 1866 г.) и из некоторых редких статей (мне неизвестных), опубликованных в двух журналах в Неаполе и т. д. Из письма к Герцену от 8 октября 1865 г. мы узнаем, что он написал статью для «Колокола», в которой выступал против мирного нереволюционного социализма, что он подготовлял брошюру, почти книгу об этом же предмете; все это потеряно. Отыскание всех этих документов — дело очень трудное, но неважно, датирован ли 1864 или 1865 годом первый документ, с изложением анархических идей. Важно то, что идеи эти не были результатом импровизации той эпохи, но что они существовали уже из давна и что довольно было небольшего промежутка времени, некоторых усилий, чтобы идеи эти получили письменное выражение.

Тайное общество было организовано, вероятно, в 1864 году и существовало уже во время путешествия Бакунина в Лондон, если основываться только на масонских рукописях, где говорится о папском силлабусе (декабрь 1864 года); во всяком случае, эти фрагменты датированы 1865 годом. Теоретические декларации секретного общества появились, вероятно, в первой середине 1866 года, но ясно, что им должны были предшествовать другие писания, начиная с 1864 года, которых мы больше не имеем.

Вот некоторые выдержки из этих масонских документов: «Франмасонство . . . если оно хоть сколько либо пожелает остаться верным своей первоначальной цели, должно желать полного освобождения человека и свободной организации человечества на развалинах всякой власти». . . «Пусть не гневаются на нас половинчатые философы и мыслители и все наши братья франмасоны, которые именем великого архитектора мира желают основать новую церковь и новый культ, если мы скажем, что они считают возможным согласовать идею о боге с человеческой свободой. В этом алфавите, фатально логическом и последовательном, тот, кто произносит первую букву, абсолютно должен дойти до последней; тот, кто обожает бога, должен пожертвовать человеческим достоинством и свободою. Если бог существует, то человек—раб. Если человек свободен, то нет бога. Никто не сумеет выйти из этого круга».

«. . . Конечная цель всего человеческого развития это создание посредством свободы порядка в солидарном человечестве. Свободы нет в начале истории, она в середине и особенно в конце истории, которая по существу является ни чем иным, как постепенным освобождением человеческого рода».

«Труд, следовательно, не есть ни наказание, ни проклятие, ни позор, ни знак упадка и рабства, как этому нас учит Библия, и как мы должны были бы думать, принимая во внимание все политические и социальные учреждения, продолжающие еще бесчестить нашу землю. Труд свободный и разумный резюмирует в себе, напротив, все могущество человека, его достоинство и его право—так как труд является тем самым актом, посредством которого человек, создавая свой мир, делает себя человеком.»

«Свободный труд необходимо является сотрудничеством... Ясно, что свобода не отрицание солидарности, но, наоборот, ее продукт, ее об'яснение, ее сознание, ее мысль. Без свободы солидарность осталась бы вечно бессмысленной—по крайней мере на земле и по отношению к человеку—тогда как без солидарности свобода никогда не могла бы существовать».

«Уничтожение исторического права и права в силу завоеваний. Уничтожение политики экспансии, внешнего могущества государства и увеличения его влияния внутри страны. Каждый народ, каждая страна, каждая провинция, малейшая коммуна имеют абсолютное право» (здесь рукопись прерывается: дело идет о праве самоопределения до полного отделения включительно).

Существует краткое резюме главных идей этой работы; в нем говорится, например: «Всякая последовательная и серьезная теософия должна в конечном результате притти

к мизантропической теории божественного откровения и власти; но, в свою очередь, эта теория в силу логической неизбежности выражается на практике в форме власти церкви и государства, в форме деспотизма князей, в форме лицемерной и грубой эксплоатации народных масс в пользу развращенного меньшинства. Основное положение всякой религии и в особенности христианской церкви—это то, что людская масса глупа, зла, невежественна, стихийна и неспособна не только создать социальный порядок, но даже терпеть его, и что необходимо для ее же собственного блага надеть на нее намордник и управлять ей твердою рукою. Итак, кто говорит—бог, тот говорит—человеческая неспособность, тот говорит—откровение, власть, благодать, говорит — священники, так как без священников нет ни бога, ни религии, ни метафизики. А тот, кто говорит священники—говорит управление людей священниками, деспотизм князей, систематическая эксплоатация, невежество, нищета, рабство и отупение народов. Бог есть, следовательно, человек—раб. Человек может, должен быть свободным—следовательно, бога, нет — невозможно выйти из этой дилеммы. Теперь выбирайте».

«Человеческий разум отбирая у неба и бога то, что принадлежит людям и земле, утверждая в нас самих, в нашем сознании и в нашей мысли нашего бога, т.-е. принцип истины, красоты, справедливости и добра—тем самым об'являет нас совершеннолетними, способными и достойными управлять самими собою. На развалинах человеческой и божественной власти он воздвигает храм свободы». . . «Он знает, что кроме свободы, нет других средств возвысить, морализировать и очеловечить людей». . . «Неправда, что свобода одного ограничивается свободой всех других. Я действительно свободен только тогда, когда моя свобода, отражаясь, как в зеркале, в свободном сознании всех других индивидуумов, отдается мне свободно и признана всеми». (Другая версия) «Я действительно свободен настолько, насколько моя свобода, свободно признанная и отраженная, как в зеркале, в свободном сознании всех других, находит свое подтверждение и свое бесконечное расширение в их свободе. Человек действительно свободен только тогда, когда он окружен такими же свободными людьми. . .; индивидуальная свобода настолько невозможна без всемирной солидарности, что рабство одного какого нибудь человека на земле, будучи оскорблением принципа человечности, является отрицанием свободы каждого».

«Человеческое общество, появившееся вначале как естественный факт, предшествовавший свободе и пробуждению мысли среди людей, ставший позже религиозным фактом, организованным сообразно принципу божественной—человеческой власти, должно перестроиться на базе свободы, которая должна отныне стать основным принципом ее политической и экономической организации».

Эти рассуждения те же, что мы находили и в «Мотивированном Предложении» 1868 г. (Федерализм, Социализм и Антитеологизм), в рукописях, часть которых составляет «Бог и государство» (1871 г.). Иными словами, рукописи первых месяцев 1865 года показывают, что анархические идеи у Бакунина были тогда уже на той же ступени развития, что и в 1868 и в 1871 г.

То же самое мы констатируем и по отношению к его идеям чисто политическим и социальным, если сравнить документы секретного общества и подпольные издания 1866 г. с документами времени Интернационала. Я не могу цитировать здесь длинных отрывков рукописи, переписанной княгиней Л. С. Оболенской (66 стр.). В этой рукописи после короткой главы «Цель общества» находится обширный «Революционный Катехизис», содержащий массу деталей, которые Бакунин, признавал сам бесполезными, но оправдывал тем, что писал их для итальянцев, почти незнакомых с новыми идеями. Эта рукопись почти полностью напечатана в моей биографии (1898). Она всецело пропитана анархизмом и социализмом.

Рядом с этой отрицательной частью находится и конструктивная—федерализм. Очень характерно для Бакунина, что здесь он чрезмерно положителен, чрезмерно конструктивен и регулятивен, но таким он был всегда, начиная от проекта 1848 г. до последних писаний. Это мое личное впечатление; мне кажется, что свободу, которую он так широко дает в своей отрицательной части, он умаляет федерализмом, об'единяющим свободные единицы (имеющие автономию, право отделения и т. д.); он должен был бы оставить строительство свободному опыту, предположить возможность существования или, как говорит Малатеста, мирного сожительства различных способов организации социальной жизни одной возле другой. Но кроме этой критики, если можно это назвать критикой, идеи его полны настроения, получившего выражение в письме к Герцену от 19 июня 1866 г. В этом письме он говорил, что, как социалист, он враг всякого государства вообще, так как государство несовместимо с истинно свободным и широким развитием интересов народа, что только в случае, если он считает себя государственным социалистом, он может мириться с опасной и ужасной ложью «правительственного демократизма», красного бюрократизма и пр.

В общем, программы его основаны на трех неразрывно связанных вещах: атеизме, социализме и федерализме (второе Положение 1868 г.), федерализме, социализме и антитеологизме (мотивированное Предложение), материалистическом атеизме, анархизме и федерализме (Болонский с'езд итальянской секции Интернационала 1873 г.). Устранение власти, которую он преследует и уничтожает во всех ее самых скрытых источниках и то исключительное место, которое он уделяет солидарности, выраженной федерализмом, являются характерными чертами бакунинского анархизма, точно так же, как ясное осознание

подлинного разрушения и полной, до конца идущей социальной революции.

Об этом интернациональном братстве, своеобразной интимной связи между Бакуниным и его товарищами, как бы ее ни называть—дает нам представление его письмо к Герцену (19 июля 1866 г.), доставленное последнему княгиней Оболенской, преданной подругой Бакунина этих годов, а также глава «международный союз социалистов революционеров» (стр. 301 — 317) редкой книги «Историческое развитие Интернационала» (1873). Имеются также собственноручные документы—Бакунина, Мрочковского, Оболенской, затем итальянские уставы, напечатанные нелегально; один устав на французском языке, вероятно напечатанный в 1868 г. типографом Герцена Чернецким в Женеве; имеется несколько писем 1866 г. (из Палермо и Неаполя), описывающие интимную жизнь общества и его отношение к национальному вопросу во время войны 1866 г., наконец, письмо Бакунина начала 1869 г., которое находится в напечатанной корреспонденции, а также имеются рукописи, касающиеся последних событий и т. д., не говоря уже об устных свидетельствах. Словом, имеется достаточно материала.

В эти годы Герцен отошел от русской молодежи, которая относилась к нему с пренебрежением. Бакунин становится на его место, как показывает письмо 1866 г. (19-го июля), в котором много деталей, касающихся русской жизни и горячая защита Каракозова и русской молодежи.

В общем, эти годы, как будто проведенные в бездействии, на самом деле, позволили Бакунину развить, начиная с сентября 1867 г. необычайную деятельность, длившуюся 7 лет (до сентября 1874 г.), являющуюся апогеем его жизни. В 1862 г. он еще не знал, в каком направлении итти, мечтал о реванше 1848 г. и на это безрезультатное дело затратил 18 месяцев. В сентябре 1867 г., когда он выступил на конгрессе европейской демократии в Женеве, он был уже и на высоте положения, чувствовал себя отдохнувшим, готов был расширить свою деятельность, которой занимался в годы кажущейся летаргии в Италии.

Боязнь франко-прусской войны, из-за Люксембурга в 1867 г. вызвала движение в пользу мира, которое после многих демонстраций приняло форму Конгресса мира, состоявшегося в Женеве в сентябре. Вожди европейской демократии приняли участие в работах Конгресса (за исключением Мадзини, некоторых поляков и Герцена). Этот Конгресс являлся одновременно демонстрацией против государственного переворота и Наполеона III во Франции, против Пруссии и Бисмарка в Германии в против папы в Риме (выступление Гарибальди). Была основана «Лига Мира и Свободы» которой, казалось, предстояло длительное существование, но которая вскоре потускнела. 10-го сентября Бакунин выступил с речью перед представителями

демократии, в которой резюмировал свои идеи: всякое централизованное государство, как бы оно себя не называло и как бы оно ни казалось либеральным, хотя бы оно и было республикой—является в силу необходимости поработителем и эксплоататором народа и трудящихся масс в пользу интересов привилегированного класса. Для этого оно нуждается в армии, а армия толкает его на войну. Каждая нация, будь она сильной или слабой, большой или маленькой, каждая провинция, каждая коммуна имеют абсолютное право быть свободными, автономными и управлять собой сообразно своим собственным интересам и потребностям. Мы должны, следовательно, желать распыления централизованных государств, желать, чтобы на развалинах насильственных единиц появились свободные, возникшие не по инициативе сверху, но в силу свободного творчества снизу, организованные в свободную федерацию коммун каждой провинции, в свободную федерацию провинций каждой нации, всех наций в соединенные европейские штаты.

На банкете 12-го сентября он произнес тост за процветание Лиги и будущих конгрессов, которые должны расширить и углубить установленные принципы, об'единить разбросанные по миру республики и способствовать водворению настоящей демократии посредством «федерализма, социализма и антитеологизма».

Конгресс Интернационала, заседавший в это время в Лозанне, отправил приветствие Женевскому конгрессу и назначил для передачи своего приветствия делегатами—Де-Папа (Брюссель), Толена (Париж) и Ж. Гильома (Швейцарская Юра). Эти делегаты впервые встретились тогда с Бакуниным; с похвалой об нем отозвался в одной из своих речей Лонге (приверженец Прудона).

Бакунин считал полезным принимать активное участие в этой Лиге, в центральном комитете которой он был одним из двух русских членов; другим членом был Николай Жуковский, эмигрант, разделявший тогда идеи Бакунина. Разделяли их также два польские представителя, в особенности Валериан Мрочковский и Ян Загорский; Альфред Наке из Парижа также принадлежал к этой интимной группе. Председателем комитета был профессор Густав Фохт, которого, как и его братьев, Бакунин знал еще с 1843 года, но между ними не было ни настоящей дружбы, ни общности идей. Отношения их были хорошими.

На заседаниях комитета 20 и 21 октября, происходивших в Берне, Бакунин, поддерживаемый вышеназванными членами, предложил свои идеи; комитет встал на его точку зрения в вопросах федерализма и религии, но отклонил его социалистические идеи. Предложенные Бакуниным тезисы появились в брошюре под заглавием «Мотивированное предложение русских членов перманентного комитета Лиги». Название самой книги: «Революционный вопрос. Федерализм, социологизм, антитеологизм». Брошюра начала печататься в Берне, но не была

закончена; то, что от нее осталось, было опубликовано впервые, как мне кажется, только в 1895 году, в первом томе «Сочинений Бакунина» (Париж Изд.-Сток).

В первой половине 1868 г. Бакунин написал еще резюме своих идей, которые впервые было опубликовано и широко распространено в специальных номерах журнала «Демократия» Шассена (Париж, весна 1868 г.). В этом документе, который никогда не был переиздан, находится, между прочим, следующая фраза: «Равенство без свободы нездоровая фикция, созданная плутами, чтобы обмануть глупцов». Для того, чтобы дать представление о том, с каким недоверием надо относиться к словам Маркса против Бакунина, даже когда он цитирует документы, отметим что в брошюре «Альянс» (Лондон 1873), подписанной Марксом, Энгельсом и другими находится цитата этой фразы в ковычках, но в следующей форме: «невмешательство в политику — глупость, изобретенная жуликами, чтобы обмануть идиотов».

Бакунин написал еще ряд рукописей, которые должны были составить брошюру «Революционный вопрос в России и в Польше» летом 1868 г., но ни одна не была опубликована.

Лига Мира и Свободы и ее центральный комитет об'единяли по преимуществу демократов—буржуа, антисоциалистов или лже-социалистов и усилия Бакунина и его некоторых товарищей оставались без особых результатов; с ними соглашались на антирелигиозной и федералистической почве, но не на социальной. Такого рода отношение проглядывает ясно в принятой на заседаниях 31 мая — 1-го июня в Берне декларации предварительных принципов, которая должна была быть представлена второму конгрессу Лиги (Берн, Октябрь, 1868). Обе стороны чувствовали бессилие малопопулярной организации, державшейся в стороне от международной Ассоциации работников. Это было высказано в секретном недатированном циркуляре, в котором говорилось (цитирую немецкий тест, подписанный Фохтом и Беком): «Чтобы быть здоровой, действительной силой, наша Лига должна стать чисто-политическим выражением грандиозных социально-экономических интересов и принципов, которые ныне так победно развиваются и распространяются «Великой Международной Ассоциацией рабочих Европы и Америки».

Брюссельский конгресс Интернационала (сентябрь 1868 г.) получил приглашение Бернского с'езда. В самой Лиге существовали разногласия по вопросу о сношениях, которые Лига хотела завязать с Интернационалом. Некоторые полагали, что Лига имеет свои собственные задачи: мир, федерализм наук против религии и пр. Члены Интернационала Женевской центральной секции предполагали (согласно письму Шарля Перрона, делегата в Брюсселе, к Бакунину, имевшему уже связи с некоторыми членами Интернационала и ставшему членом центральной секции в июле), что рабочая полномочная делегация будет послана

на Конгресс, чтобы совместно выработать с Лигой общую программу социальных и политических реформ, долженствующую стать революционной программой всей Европы.» Очень вероятно, что таково было мнение и Бакунина, полагавшего, что Лига и Интернационал придут к соглашению, об'единившись на какой-либо программе, близкой к его личной тройной программе; федерализма, антитеологизма (Лига), и социализма (Интернационал). Бакунин предполагал расширить влияние своего секретного общества в двух дружественных обществах.

Интернационал, еще мало оформившийся в эпоху Лозаннского конгресса (1867), достиг прямого влияния в 1868 г., после двух процессов в Париже (март и май), больших забастовок и избиения рабочих в Бельгии (Шарлеруа), большой забастовки в Женеве (март—апрель), разрыва интернационалистов с радикалами в Швейцарской Юре и т. д. Жуковский рассказывает, что Бакунин, благодаря ему, пришел к убеждению о необходимости примкнуть к рабочему движению. Бакунин сам это хорошо понимал, но он колебался войти в общество, генеральный совет которого находился определенно под руководством Карла Маркса.

Бакунин ненавидел Маркса от всей души, считая его, однако, крупным талантом и уважая его экономические знания. Он знал, что их мысли по славянскому вопросу были в полном противоречии, так как, хотя Маркс был другом Польши, но не верил в революционные или даже в прогрессивные предрасположения других славянских наций. Во время проезда Бакунина через Лондон в 1864 г. Маркс попросил у него свидания и получил от Бакунина ответ (письмо 27 октября), в котором говорилось только, «что ему будет большое удовольствие встретиться с старым знакомым».

— Маркс посетил его, если не ошибаюсь, 3-го ноября. Он писал Энгельсу: «Должен сказать, что Бакунин мне очень понравился, больше чем раньше... В общем он—один из немногих, кто за последние 16 лет пошел не назад, а вперед». Свидание было, следовательно, дружеское.—Бакунин взял на себя обязательство пропагандировать Интернационал (основанный 29-го сентября1864 г.) во Флоренции, и даже опубликовать итальянский перевод уставов и торжественного адреса, которые, по просьбе Маркса, он адресовал также Гарибальди. Но в письме от 7-го февраля 1865 г., найденном в бумагах Маркса, Бакунин писал ему (из Флоренции) про трудности социалистической пропаганды в Италии. Переписка этим, кажется, и кончилась. Маркс, конечно, стремился заручиться поддержкой Бакунина, которого он знал, как социалиста, имеющего связи с наиболее передовыми итальянскими демократами и пользовавшегося большим влиянием, чтобы помешать планам Мадзини, стремившегося в первую эпоху Интернационала втянуть его в свою политическую игру и, имевшего некоторый успех у англичан. Как мы видели, Бакунин начал уже тогда об'единять своих друзей в секретную группу

и, конечно, не хотел говорить об этом Марксу (он не говорил об этом даже Герцену до 1866 г.) Эта деятельность, как он ее понимал, находилась в противоречии с публичной агитацией Интернационала, тогда в значительной мере бессильной, поскольку все активные элементы были захвачены националистическими движениями, а рабочие оставались равнодушными или состояли членами рабочих, основанных Мадзини, групп. Понятно, следовательно, почему Бакунин мало интересовался Интернационалом до 1867 года. Интернационал до событий, давших ему в 1866 году новую жизнь, являлся довольно безвредной организацией—механической агломерацией секций и рабочих обществ не имевшей ни революционного духа, ни ярко выраженных социалистических идей.

В таких условиях мысль о дружественном сотрудничестве двух обществ вовсе не была нелепой. И так как все думали тогда, что скоро должны притти, если не война, то республиканские революции, по крайней мере, в латинских странах, то казалось неплохим, чтобы, передовые демократические элементы и наилучше организованные рабочие элементы вступили бы в контакт. Если бы дело шло об каком-либо английском обществе в роде «Лиги реформ», Маркс не противился бы дружеским сношениям с нею, но он боялся, что континентальные движения ускользнут от его влияния и потому не хотел этой франко-швейцарской Лиги с немецкими и славянскими демократами, друзьями Бакунина. Он приказал своим ученикам выступить против сотрудничества и Брюссельский конгресс заявил, «что делегаты Интернационала считают, что существование Лиги Мира не имеет смысла в виду деятельности Интернационала и приглашают Лигу присоединиться к последнему, а членов ее войти в ту или другую секцию Интернационала» (Предложение принятое всеми голосами против трех, из коих один Де-Пап).

Имеется длинное и очень интересное письмо Бакунина к Густаву Фохту, в котором он советует Лиге не обращать внимания «на дерзость и явную несправедливость», оставаться по отношению к Интернационалу на прежней позиции и стремиться к осуществлению целей Альянса, имеющаго быть созданным в ближайшее время. Письмо кончается так: «Я попросил бы разрешения ответить от имени центрального комитета на их дерзкое предложение; в ответе я скажу еще с большей ясностью то, что написал тебе».

На Конгрессе в Берне (от 21 до 25 сентября 1868 г.) Бакунин произнес четыре больших речи, которые, если судить по опубликованному тексту, являются наиболее замечательными из его произведений. В возвышенной форме, с соблюдением всех нужных пропорций, что так часто не достает его другим писаниям, они излагают совокупность его социальных, философских и политических идей. В особенности замечательны его речи о

религии, свободные мысли о государствах и национальностях, а также изложение его федерализма, ставящего своей конечной целью «растворение всех государств во всемирной федерации производственных, свободных ассоциаций всех стран».

Он и его друзья были в меньшинстве. Вопрос признания социализма Лигою, предложенный Бакуниным, был поставлен на голосование и уже вечером 23-го был отвергнут большинством; предложение немецкого демократа доктора Ленендорфа было принято Германией, Англией, Францией, Швецией, Испанией, Швейцарией и Мексикой; предложение Бакунина—Россией, Польшей, Италией и Американскими Соединенными Штатами. Меньшинство продолжало принимать участие в работах Конгресса, но 25-го на последнем сеансе Бакунин прочел коллективный протест инакомыслящих членов Конгресса с заявлением об уходе из Лиги 18 членов. Среди них—Элизе Реклю, Аристид Рей, Виктор Жюкляр, Коллер, Ж. Бедуш, Альбер Ришар, Фанелли, Туччи, Фрисчиа, Жуковский, Загорский, Мрочковский и др.

Известно, из рассказа самого Бакунина 1873 года, что даже если бы большинство и приняло социалистическое предложение, то завязалась бы новая борьба по поводу вопросов о коллективной собственности, уничтожении юридических норм, уничтожении государств. Покинув Лигу, члены тайного Братства высказались единогласно за свое вступление в Интернационал, но французские и итальянские члены желали, чтобы наряду с их интимным обществом, продолжавшим существовать, существовало бы и независимое открытое общество, которое бы защищало их идеи, в то время как члены секретного общества входили бы индивидуально в Интернационал. Бакунин был противоположного мнения; но было решено, что закрытое общество войдет в Интернационал, как часть его, и примет его программу, работая, однако, для своей специальной цели; что центральный комитет его будет в Женеве, а членами комитета будут Шарль Перрон, Броссе, Гети, Дюваль, Бакунин, Ж. Ф. Бехер и Загорский.

В специально выпущенном листке было об'явлено об организации союза «Международного союза социалистической демократии», входящего всецело в великую «международную ассоциацию рабочих», который ставит своей целью изучение политических и философских вопросов на основе великого принципа всемирного и действительного равенства всех людей на земле. Программа «центральной секции» этого общества гласила:

1) Альянс заявляет себя атеистическим. Он стремится к уничтожению культов и к замене, веры наукой, божественной справедливости человеческой справедливостью.

2) Он стремится прежде всего к политическому, экономическому и социальному уравнению классов и индивидуумов обоих полов, начиная с уничтожения права на наследство, дабы в будущем потребление каждого определялось его собственной

производительностью; чтобы, согласно решению, принятому последним конгрессом рабочих в Брюсселе, земля, орудия труда, как и всякий другой капитал, становясь коллективной собственностью всего общества, могли бы быть использованы только трудящимися, т.-е. сельско-хозяйственными и индустриальными ассоциациями.

3 и 4) Высказываются против «всякого политического действия, которое не имело бы своей немедленной и прямой целью торжества рабочего дела против капитала».

5) Он признает, что все политические и авторитарные, ныне существующие, государства все более и более сводятся к простым административным формам общественной службы и должны исчезнуть во всемирном об'единении свободных сельско-хозяйственных и индустриальных ассоциаций.

6) Так как социальной вопрос может быть окончательно и действительно разрешен только на основе интернациональной и всемирной солидарности трудящихся всех стран, то союз отклоняет всякую политику, основанную на так называемом патриотизме и на соперничестве наций.

7) Союз стремится к всемирной ассоциации через свободу всех местных ассоциаций».

Листок заканчивался заявлением, что общество будет издавать орган «Революция». Последний никогда не появился.

Первая группа была основана 28 октября в Женеве, в нее вошли 25 членов. Бакунин принимал в ней активное участие, и 26 июня группа преобразовалась в «Секцию Союза социалистической демократии», под каковым названием она и продолжала существовать.

Известно, что здесь и начинается деятельность Бакунина в самом Интернационале. С самого начала эта деятельность была осложнена различными формальными препятствиями, бывшими результатом столкновения авторитарного и умеренного крыла ассоциации с революционным и анархистским течением, представленным Бакуниным и его товарищами.

В продолжение долгого времени Бакунин желал работать в коллективе, который бы ему нравился и которого до того времени он не находил; контакт с возбужденными, симпатически к нему настроенными массами его очаровал. Он писал Герцену 28 октября 1869 г.: «это единственная среда на Западе, в которую я верю, как верю в Россию, крестьян и в интеллигентную среду независимых молодых людей, в эту фалангу сорока тысяч, которая принадлежит революции».

Итак Бакунин, не отрекаясь от своих идей и не ограничиваясь узким бесцветным увриеризмом, принялся с жаром за работу, заключавшуюся в том, чтобы расширить Интернационал, усилить его социалистическое сознание и распространить в массе анархистские и коллективистические идеи, которые он так часто формулировал, начиная с 1864 года. Он продолжал считать

самым главным — «коллективное действие невидимой организации сознательных революционеров, распространенное на все страны». Он видел спасение «только в анархии, направляемой всюду непобедимым могучим коллективом — единственно допустимой форме диктатуры, так как только она совместима с искренностью и энергией революционного движения». (Письмо от 7 февраля 1870 года к А. Ришару). Так он думал всегда, как показывают 1848—49 г.г., но по мере того, как зрели его идеи, он все более и более придавал значение анонимному невидимому характеру инициативы революционеров, оставшихся в общих рядах, но ценных революционным духом, мужеством, самоотверженностью и той особой силой, которую им сообщал коллективный разум, т. е. разум друзей, с которыми они были связаны. Он стремится именно у них возбудить инициативу и отнять ее, таким образом, у честолюбцев. Здесь не место разбирать эту методу; ему она казалась единственно правильной и необходимо принять во внимание молодое, примитивное состояние тогдашних движений. Весь вопрос в том, можно ли представить открытый и свободный анархизм без этих таинственных пружин.

Бакунин думал, как думаем и мы, и как будут думать всегда, что жизнь более широка, нежели число приверженцев какой-либо специальной идеи. Он ясно понимал (и этому вопросу он посвятил много страниц, например, в своих письмах из Испании), что Интернационал и Союз не должны были сливаться; Интернационал об'единяет рабочую массу, которой не следовало навязывать какой-либо специальной идеи или программы, за исключением идеи солидарности в экономической борьбе. Союз же состоит из сознательных революционеров, которые, когда того требует ситуация, берут на себя инициативу, не могущую быть предоставленной случаю. Проблема эта продолжает существовать и в наши дни, но благодаря успехам движения, инициатива становится открытой, публичной, самозарождающейся — и это тем лучше. Не надо, следовательно, смотреть на положение вещей эпохи Бакунина с презрением, или же брать их за образец, как не следует насмехаться над машиной, построенной век тому назад, или брать сейчас, ее как модель.

Немыслимо углубляться в массу деталей, касающихся Союза. Зимой 1868—69 года была проделана трудная работа отбора всех этих групп, одно время довольно многочисленных. Казалось одно время даже, что рядом будут существовать четыре организации: Интернационал, Открытый Альянс, Тайный Альянс и Интернациональное Братство. Маркс, осведомленный обо всем этом только перебежчиками или через случайные документы и находившийся как бы перед закрытой дверью, казалось, действительно, принимал все это всерьез. На самом деле такого рода громоздкий механизм никогда не существовал, и два фактора способствовали зимой разложению всей этой фантасти-

ческой организации. С одной стороны, проникновение в эту среду Утина, чуждого ей и внесшего семена раздора, благодаря бесхарактерности Б. Малона и других. С другой стороны, сам Бакунин отошел от этих бессильных без него элементов и построил новую организацию,—тайный союз, который, как бы он ни назывался, был ни чем иным, как частным контактом между наиболее активными деятелями движения. Эта новая группа организовалась весною или летом 1869 года. Бакунин должен был постоянно сражаться с двумя противниками: с государством и буржуазией, против которых он вел открытую атаку, против швейцарских рабочих политиков, против Маркса и марксистов, которые оспаривали у него каждый вершок почвы, если не нападали с тылу.

В продолжение некоторого времени влияние Бакунина на рабочую массу Женевы, в особенности на землекопов, было так велико, что политические вожди, вышедшие из часовщиков и других цехов точной механики, должны были, скрепя сердце, переносить его деятельность. По инициативе Бакунина было, например, выпущено воззвание к испанским рабочим (21 октября 1868 года). 23 ноября он произнес речь по поводу дела Бодена, написал уставы Федерации романских секций Швейцарии (конгресс 3 января), помог осуществлению нового журнала «Равенство» (письмо в специальном номере 16 декабря), а когда этот орган начал регулярно появляться с 23 января 1869 г., усердно сотрудничал в нем и от июля до сентября был его главным редактором, замещая Перрона. Именно в это время появилась серия статей международной пропаганды, образцовая в смысле широкого народного просвещения, одновременно—элементарного, возвышенного и систематического. Там были разработаны темы о синдикализме, основных линиях социальной борьбы, главных препятствиях, мешающих успехам социализма, и т. д. «Усыпители», «Интегральное образование», «Суд господина Куллери», «Политика Интернационала», «Гора», «Доклад по вопросу о наследстве» о «кооперации»,—таковы статьи Бакунина, перепечатанные позже в «Сочинениях» (том V Париж 1911). Он присутствовал на многих собраниях секции Союза и принимал участие в малейших проявлениях жизни секций. Он совершил путешествие в Юру, где в Локле произнес 21 февраля речь о «Философии народа»; за время с 1 марта до октября он напечатал в «Прогрессе» (Локль) серию статей о патриотизме («Сочинения», том I Париж 1865 г.). Тогда же он познакомился с Джемсом Гильомом, с Адемаром Швицгебалем, Августом Спичигером, Фрицем Робертом и другими преданными товарищами, защищавшими антиавторитарные идеи в Интернационале. Все это детально описано в книге «Интернационал, документы и воспоминания» (1864—78 г.г.) Джемса Гильома (Париж (1905—10 г.г.). Эта книга содержит материалы, взятые из юрских публикаций того времени («Прогресс», «Солидарность», «Бюллетень») материалы,

касающиеся жизни Бакунина того времени, взятые из моей биографии (1898—1900) и его рукописного приложения (1905) и из других источников, а также личные воспоминания Гильома и воспоминания старых интернационалистов и т. д. Эта книга взята в основу книги «Маркс и Бакунин» доктора Фрица Брупбахера из Цюриха (Мюнхен 1917). Быть может, ни одно движение эпохи не было так тщательно разработано и представлено читателю, как эта пропаганда Бакунина в Интернационале, в особенности в Швейцарии. Однако, это не мешает появлению книг, в роде книги некоего Иекка или доклада об Альянсе 1873 года и других лживых описаний. Игнорировать точные источники, когда они легко могут быть под рукою каждого, непростительно; к указанным документам необходимо прибавить историю Альянса в Женеве, написанную самим Бакуниным в 1871 году и опубликованную в его «Сочинениях» том V (Париж 1913 г.). Укажем еще на три реферата, прочтенные им рабочим «Вал де Сен-Димье» (Бернская Юра) в мае 1871 года.

Представление о международной деятельности Бакунина дает его письмо к Огареву (Локарно, 23 ноября 1869 г.), в котором он говорит, что находится в переписке с сорока четырьмя корреспондентами; 19-ти корреспондентам он писал один раз, а иногда два или три раза в неделю; шести два раза в месяц, всем остальным каждые два месяца. Во время подготовки к выступлению по поводу франко-немецкой войны он писал Огареву 11 августа 1870 г.: «В три дня я написал двадцать три больших письма;—это маленькое письмо является двадцать четвертым; в моей голове за это время созрел целый план». Сохранился огромный список фамилий, местностей, организаций, партий, относящийся к последним месяцам 1869 года и служивший для секретной переписки. Он позволяет расшифровать некоторые из писем отправленных в Лион и позволяет видеть, каковы были главные предметы его внимания, кто был его товарищем и кто противником. Но многое из этих материалов уничтожено и потеряно и некоторые вещи трудно восстановить на основании сохранившихся отрывков. Следовательно, серьезное изучение Бакунина, начиная с 1869 г., возможно только при внимательном изучении его связей с движениями в таких странах, как Швейцария, Франция, Италия, Испания и прежде всего Россия. Кроме того, необходимо сгруппировать факты, относящиеся к борьбе с Марксом, к Альянсу, к попыткам организовать движение в 1870 году в Марселе и Лионе, прибавить изучение его теоретических произведений, появлявшихся отрывками, так как втянутый в более необходимую работу он не имел ни времени, ни средств для приготовления и публикации окончательной книги. Необходимо также резюмировать факты его личной внутренней жизни, набросав его психологический портрет, материал для которого дает между прочим его корреспонденция этих годов с Герценом и Огаревым.

В практических вопросах Бакунин теперь так далек от Герцена, что не было больше смысла в спорах и старая дружба возобновилась. Что касается Огарева, то хотя он и сблизился с Бакуниным, но он был так дряхл, что переписка между ним и Бакуниным часто носит трогательный характер болтовни двух стариков.

Укажу еще на кое-какие из сделанных уже специальных работ. Имеется абсолютно все, касающееся Швейцарии, очень многое из касающегося Маркса и Лондонского генерального совета, конгрессов Интернационала и т. п. в книге Гильома (Интернационал 1905—1910); я резюмировал главные материалы о Бакунине и итальянском движении (1854—1872), об Интернационале и Союзе в Испании (1868—1873), о русском движении от 1868 до 1873 г.г. в небольших монографиях (54, 60 и 65 стр.), опубликованных в 1912—1913—1915 г.г. в одной немецкой публикации по «Истории социализма»; к этому можно прибавить то, что сказано об Италии от 1872 г. до смерти Бакунина в моей биографии Малатесты (1922 г.). Для других моментов необходимо постоянно справляться с многочисленными оригинальными документами, каковая работа облегчена, благодаря 6-ти томному «Собранию Сочинений» (Париж 1895—1913), составленному на основании рукописей и оригинальных изданий, и к которому скоро прибавится 7-й, оставшийся незаконченным у Гильома, умершего в 1917 г.

Так как для выполнения бакунинских планов, требовались преданность и большое умственное развитие со стороны его интимных товарищей, то для настоящего понимания всего того, что он сделал, и того, что ему не удалось сделать,—необходимо знать всех людей, молодых и старых, которые прошли через его жизнь; из них некоторые оставались привязанными к нему на очень долгое время. Для всех этих людей эпоха сотрудничества с Бакуниным является наиболее важной эпохой их жизни, в течение которой они дали лучшее, что было в них: немногие из них сумели выдержать пожирающую интенсивность тогдашней жизни агитатора. Были, падения, разочарования, но неутомимый Бакунин всегда был готов начать все сначала. Иногда эти люди были настоящими психологическими проблемами, которые Бакунин сумел расшифровать с большим трудом и слишком поздно, например, Нечаева. Но он умел находить невероятное количество преданных, молодых, великодушных людей. Его секретная организация была ни чем иным, как попыткой поставить на настоящее место всех, наиболее подходивших для данного дела, координировать, поскольку возможно, их усилия — слабых в изолированности, но сильных при солидарности, которую им терпеливо прививал Бакунин. У современного читателя уже не может быть личных воспоминаний об этих людях, за исключением Гильома, Малатесты, Росса и нескольких других, которые были или еще находятся среди нас.

Здесь не место рисовать их портреты. Необходимо, следовательно, здесь оборвать рассказ и принять на веру те несколько слов, которые могут быть сказаны относительно периода международной деятельности Бакунина от конца 1868 года до лета 1874 года.

Политическая революция в Испании в 1868 году родила счастливую мысль о поездке Джузеппе Фанелли, интимного товарища Бакунина и Пизакане, итальянского анархиста революционера, мученика Сапри (1857 г.), в Испанию. Путешествие состоялось зимою после Бернского конгресса и Фанелли сумел найти в Мадриде и Барцелоне людей образованных, которые образовали первые секции Интернационала. Последние вместе с тем организовали собственный Союз, секретное общество, являвшееся невидимой ячейкой в секциях Интернационала. Анархистические идеи распространились таким образом в Испании с самого начала движения и запоздалые усилия Маркса насадить там рабочую политику при помощи своего зятя Поля Лафарга (1871 г.—1872 г.), кончились полной неудачей.

Политиканствующий социализм не привился в Испании. Огромное влияние здесь революционного синдикализма и анархизма является результатом упорной работы, начавшейся от путешествия Фанелли и «Интернационального братства» Бакунина и продолжавшейся, несмотря на самые жестокие преследования.

В Италии толчок был менее сильным, хотя Неапольская группа Союза, основанная товарищами Бакунина во время его пребывания в Италии, с 1865 года взяла на себя инициативу организации Интернационала, прежде всего в Неаполе в начале 1869 года. В Флоренции, в Сицилии, в Милане и т. д. также не были пассивными, но здесь нехватало того решительного импульса, каким была в 1871 году Парижская Коммуна и антисоциалистическое гнусное отношение Мадзини к Коммуне и Интернационалу. Об этом я буду говорить ниже.

Что касается Франции, здесь социалистическое и интернационалистическое движение не нуждались в инициативе извне и революционные течения, подготовлявшие падение империи, не могли определяться влиянием Бакунина, пребывавшего в Швейцарии. Однако, Интернационал, находившийся слишком долго в руках таких людей, как Толен и Фрибург, под оболочкой очень умеренного прудонизма скрывавших отсутствие социалистического революционного духа, начал с 1868 года ориентироваться на коллективизм и скоро в особенности после Базельского конгресса (1869 г.) примкнул не к анархизму, но к идеям сходным с идеями революционного синдикализма. У Бакунина были лишь поверхностные связи с Эли и Элизе Реклю, А. Наке, Аристидом Рей, Бедушем и др., не игравшими активной роли в Интернационале последнего времени. Более прямые связи он имел с Поль Робеном; очень близкие отношения имел с неко-

торыми интернационалистами в Лионе, в особенности с А. Ришаром, Ж. Бланом, Паликсом; в Марселе с Бастеллико, а позже с Алериви (Корсика). Но Гильом в Юре был другом Е. Варлена и так установился косвенный контакт между Бакуниным и Варленом, душою Интернационала в Париже.

Русская пропаганда должна была начаться изданием журнала, для печатания которого в марте 1868 года вошли в соглашение с одной типографией в Верне. Этот журнал, инициатива которого принадлежала по преимуществу Жуковскому, появился 1-го сентября 1868 года в Женеве. Назывался он „Народное дело". Программа его была составлена Жуковским. Бакунин поместил в нем две статьи: одна из них—«Постановка революционных вопросов». I. «Наука и народ». Благодаря путешествию одного члена петербургской группы в которую входили Ткачев, братья Аметистовы и др., этот номер был доставлен в Петербург и прочитан с огромным интересом. Номер был и целиком и по частям скопирован и распространен. На Нечаева журнал произвел большое впечатление и изложенные в нем идеи стали существенной частью его умственного багажа. С этого времени внимание Нечаева должно было быть направлено на Бакунина, т. к. тогдашняя молодежь не была знакома с его социалистическими идеями и причисляла его скорее к старым эмигрантам—Герцену и Огареву, принимая во внимание их солидарные выступления и их личную дружбу. К несчастью, в Кларане, где жил Бакунин, вертелся также Утин, человек тщеславный и богатый, которого Бакунин не уважал и который не будучи в состоянии выступать непосредственно против Бакунина, интриговал против него. Он успел отделить Бакунина от «Народного дела» (декларация 14-го октября), подкапывался под группу «Интернациональное братство» (январь 1869 г.), старался подорвать дружбу княгини Оболенской с Бакуниным.

Именно в этот момент Нечаев приехал в Женеву (апрель 1869). Необходим был бы целый том, чтобы разобраться в отношениях, в которых Бакунин был жертвою излишка доброты и энтузиазма. Свой идеал молодого, энергичного, вышедшего из народа революционера он увидел осуществленным в Нечаеве, который ничего не имел против такого взгляда на себя и избалованный чрезмерным вниманием, стал решительным деспотом, причинил много неприятностей Бакунину и другим и позже искупил свою некрасивую деятельность долгими годами мучений и жестокою смертью в тюрьме (Петро-павловская крепость в мае 1883 г.). Я подробно останавливался на различных фазисах этого очень сложного дела. («Архивы по истории социализма» «Archiv für die Geschichte des Socialismus» том V стр. 374—403, 412—414, 1915 г.). Я думаю, что уже до отъезда Нечаева и в Петербурге и в Москве было гораздо более значительное движение, хотя неорганизованное, но руководимое несколькими группами, к которым принадлежал Ткачев и др., чем обыкновенно предпо-

лагают. Нечаев не играл там той выдающейся роли, о которой он говорил в Женеве. Ободренный доверчивостью Бакунина и Огарева, веривших ему на слово, он становился все более и более смелым и терроризировал добрых стариков, которые делали для него все. По возвращении в Россию Нечаев, продолжая свою роль, которую считал полезной для революции, импровизировал кружок преданных революции людей, которых и связывал и сталкивал по произволу. Что не ясно для меня так это то, кем был Успенский—его жертвою или его сотрудником? Мне кажется, что письмо, прочитанное на процессе в 1871 году, адресованное Ивану Лихутину, очень хорошо характеризует Нечаева. «Я смотрю на Нечаева, как на человека с широким, но неясным развитием, неспособным ни дать директив какому-либо движению, ни быть представителем какой-либо серьезной последовательной политической агитации. Но у него есть о д н о качество — это энергия, которая доходит до фанатизма, любовь к труду на благо народа, фанатическая преданность народному делу. Именно в этом качестве следует искать причин его влияния на некоторые группы честных людей. Он ничего не давал этим людям — ни поддержки, ни развития; они были более развитыми, чем он; он необъяснял им никакой программы, ни положения народного дела, — они знали это и без него и лучше чем он. Но хотя он им как будто ничего не дал, он привлек их к народному делу в качестве человека активного и энергичного; хотя он и не был безукоризненным человеком, он казался им представителем того самого народного дела, которое они понимали более ясно и более широко чем он. Но он сумел быть первым в том народном деле, которому другие отдали много мыслей, чистоты и честности, более широкий круг знаний, чему у него, более могущественные способы действия. Что касается его личных качеств — можно сказать одну вещь: его личность малопривлекательна. Я его знаю больше года, и он имел для меня только о д н о значение — посредника между отдельными лицами; но его посредничество становится излишним, как только люди встретились».

Это описание, данное в 1869 году нашим другом и товарищем В. Черкезовым, можно сравнить с описанием Нечаева Бакуниным в двух письмах к А. Таландье и В Мрочковскому (1870 г.), напечатанных в 1896 г. в его «Письмах». Я думаю, что таким образом будет иметься уже солидная база для понимания Нечаева. Нечаев не имел ничего общего с анархизмом; его самородный социализм, вскормленный кое-каким чтением Бабефа, Роберта Оуена, Бакуниным через «Народное деле» и тем, что он мог слышать от Ткачева и т. д., был по существу авторитарным коммунистом, очень близким к бланкизму. Но Бакунин был ему слишком необходим, чтобы он не мог не делать авансов по адресу анархизма за время своего пребывания в Швейцарии. После своего возвращения уже в качестве

преследуемого убийцы, он был вновь принят Бакуниным и другими сердечно, но слишком злоупотреблял своим положением и сделал разрыв неизбежным. Было невозможно в свое время предать гласности то, что происходило на деле. Порицание пало и на Бакунина и на Нечаева; благодаря этому, от весны 1870 до весны 1872 г. Бакунин был оторван от русской молодежи и еще более долгое время от тех, кто действовал в России. Крупные русские группы были предубеждены против Бакунина, не искали связей с ним, за редкими исключениями (Лермонтов и пр.). Даже Петр Кропоткин, во время своего путешествия в Швейцарию, не счел нужным посетить его. Все это было дурно и непоправимо, несмотря на знаменитое лето 1872 года в Цюрихе, когда присутствие Бакунина и его страстные речи завоевали много симпатий среди русской молодежи.

К этой эпохе относятся несколько русских изданий его сочинений: «Несколько слов к молодым братьям в России» (Женева, май 1859 г. 4 стр.); «Наука и насущное революционное дело» (Женева 1870 32 стр., написано в июне 1869 г.); «К офицерам русской армии» (Женева, январь 1870. 39 стр.), «Всемирный революционный союз социальной демократии. Русское отделение» (32 стр. от февраля до марта 1870 г.), посмертная статья о Герцене в «Марсельезе» (La Marseillaise (Париж 2 — 3 марта 1870) и т. д.

Согласно указания А. Росса, Бакунин является автором, так называемого «Революционного катехизиса». Правила революционерав», который был найден полицией в бумагах Успенского (8-го декабря 1869 г.) и представлял из себя шифрованную копию на 29 маленьких листках. Отчет о нем был помещен в «Правительственном Вестнике» от 9-го июля 1871 г. Оригинал, написанный рукою Бакунина, находился в бумагах Нечаева в Париже, и Нечаев, сидевший тогда в тюрьме в Цюрихе и не имевший никакой надежды спастись, поручил Россу во имя чувства солидарности взять эту рукопись, которая позже была или возвращена кому следует, или уничтожена. Этот «Катехизис» свидетельствует о впечатлении, произведенном Нечаевым на Бакунина; последний, составляя катехизис, верил в существование такой молодежи.

В сентябре 1869 года Бакунин присутствовал на Базельском конгрессе Интернационала, на котором произошел бой между антиавторитарным революционным коллективизмом и государственным коммунизмом и умеренным прудонизмом некоторых французов. Моральная победа осталась за коллективизмом, что означало полное поражение Маркса в Лондоне, (смотри дискуссии о коллективной собственности, праве наследования и пр.). В то время так мало обращали внимания на авторитарные замашки, правда мало скрываемые, Лондонского генерального совета, что все, не исключая и Бакунина, охотно шли на расширение его полномочий. Однако, он скоро эло-

употребил своею властью по отношению именно к тем, кто ему ее дал.

На конгрессе Бакунин познакомился с испанцами Фарга Пеличером и Лентиноном, Варленом из Парижа и многими другими. После конгресса он скоро покинул Женеву и уединился в маленьком городке Локарно на берегу озера Лаго Манджиоре в Тичине. В скромной и прекрасной итальянской среде Бакунин чувствовал себя очень хорошо. Он совершил несколько путешествий по русским делам в Женеву в 1870 г.; короткое путешествие в Милан, Флоренцию (1870—71 г.); в сентябре—ноябре 1870 г. побывал в Лионе и Марселе, а в апреле и мае 1871 г. посетил Швейцарскую Юру. За исключением этих путешествий он оставался в Локарно до лета 1872 г. когда его жена уехала к родителям в Сибирь. После этого он пробыл в Цюрихе от июля до октября, совершил несколько путешествий в Юру и возвратился через Женеву в Локарно, которое, за исключением двух кратковременных поездок в Цюрих и Берн в 1873 году, не покидал больше до 1874 года. В июле этого года он покинул Локарно и с осени поселился в Лугано.

Вскоре после Базельского конгресса противники революционного коллективизма, женевские рабочие-политики и сектанты Маркса возобновили борьбу, приправленную услугами оффициозного доносчика Утина. Здесь бесполезно излагать фазисы этой борьбы, крайне бесчестных придирок к маленькой секции Альянса в Женеве, раскола в Романской федерации на с'езде в Ля-Шо де Фон (весна 1870 г.) и т. д. Сюда же я отношу резолюцию так называемой Лондонской конференции (1871 г.), заменившей регулярный с'езд, и частный циркуляр Генерального Совета о «мнимых расколах» в Интернационале и т. д. Кто изучает многочисленные документы, оставленные этой борьбой, письменные и устные свидетельства, легко увидит, что все это еще совсем не устарело, так как борьба между властью и свободою разделяет еще и по сегодня социалистический мир; он отдаст себе отчет в том, какое искреннее желание честной дискуссии было проявлено со стороны приверженцев свободы и какая ненависть и заносчивость были проявлены со стороны приверженцев власти, не останавливавшихся ни перед формальными придирками, ни перед гнусной клеветой, ни перед злоупотреблением своей властью. Притом дело вовсе не шло о том, чтобы кого либо выделять или изгонять; защитники свободы всегда говорили, что они требуют только своей собственной свободы и что другие также свободны в утверждении и пропаганде своих идей. Было предложено два решения: терпимость к сторонникам власти и исключение сторонников свободы. Такова еще и наша современная борьба и покаместь она длится, память о первой борьбе будет интересной и поучительной.

Конгресс Интернационала 1870 года, который должен был состояться в Париже, если бы республика восторжествовала,

а если нет, то в Майнце, не состоялся, как и конгресс 1914 г.— по случаю франко-немецкой войны. Эта война вдохновила Бакунина на план революционного действия. Мне известно только одно письмо из 23-х больших писем, которые он написал по этому поводу между 9-м и 11-м августа своим друзьям (письмо Огареву 11-го августа). Существует еще маленькая записка того же числа, адресованная его старым друзьям в Берне: «...Ну, мои дорогие, у нас война. И еще какая война! Насмешливая французская ирония уничтожена научной грубостью пруссаков. И Лига мира, членом которой мы состояли когда-то, но которую во-время покинули, пошла испустить свой последний стон из опечаленных уст Барни (француз), Геег (немец) в Базеле, где она скончалась от глупости и бессилия, причем никто не подумал прилично похоронить ее. Война—этот монархический Каллибан, ортодокс — пиетист, померанец — дворянин и полицейская солдатчина бьет императорского Роберте Макера и его Бертрана и всю официальную Францию. Но революционная Франция пробуждается, тем лучше. Я желаю пруссакам еще одну большую победу под стенами Меца, так как, те которые они одержали до сих пор еще мало, чтобы пали Наполеон и мадам Евгения; они дали в результате только министерство Паликао. После падения Наполеона я желал бы всевозможных катастроф героям Померании. Но что вы думаете, дорогие друзья, так или иначе революция становится неизбежной сначала во Франции и в Италии, а затем немного позже везде. И да здравствует революция!».

Слишком очевидно, что дух Толстого, гуманитарная мысль, отвращающаяся с ужасом от всякого кровопролития, были ему чужды и непонятны; он видел вещи слишком «terre à terre» как любил говорить Кропоткин, который, вероятно, смотрел на последнюю войну так же, как Бакунин раньше. Все были довольны, что война уничтожила, наконец, Луи Наполеона, но все были также против серьезной немецкой победы.

Уже 19 августа он писал Мрочковскому, что вероятно, он уедет из Локарно в Женеву и дальше, 6-го сентяаря он писал другому старому другу в Берне: «Мои друзья социалисты-революционеры Лиона зовут меня к себе. Я решил нести туда свои старые кости и играть там, вероятно, мою последнюю партию». Вероятно, он уехал 9-го сентября, останавливаясь в Берне, Невшателе и Женеве.

В письме от 4-го сентября он писал Альберу Ришару в Лионе: «Французский народ не должен больше рассчитывать ни на какое правительство, ни на существующее, ни даже на революционное... Правительственная машина, государство сломаны. Франция может быть спасена только немедленным анархическим восстанием всего населения городов и деревень,— анархическим в том смысле, что оно должно произойти и сорганизоваться вне какой бы то ни было официальной и правительственной опеки или руководства, снизу вверх, об'являя

везде свержение государства со всеми его учреждениями и отмену всех существующих законов, оставляя только один закон, закон спасения Франции от пруссаков извне и от изменников внутри».

«Воззвание ко всем коммунам; пусть они организуются и вооружаются, отнимая оружие у тех, в чьих руках оно находится. Пусть они пошлют своих делегатов куда-угодно, вне Парижа, чтобы организовать временное правительство, правительство спасения Франции».

«Необходимо, чтобы большой провинциальный город—Марсель или Лион взяли эту инициативу. Необходимо, чтобы городские рабочие имели смелость немедленно и без колебаний взять эту инициативу... Я в вашем распоряжении и ожидаю немедленного ответа».

Это предложение было сделано после известий о Седане, которые Бакунин сообщает в этом же письме, раньше падения империи, провозглашенного в Париже 4 сентября. Ответ, приглашение в Лион было сделано, когда империя перестала уже существовать. Идеи Бакунина об этой комбинации народной войны и революции известны в окончательной форме, так как они появились в брошюре «Письма к французу о современном кризисе» (напечатано в Невщателе сентябрь 1870 г. 43 страницы), составленной Джемсом Гильомом на основании выдержек из его чрезмерно длинных рукописей. Так как все эти рукописи опубликованы в «Сочинениях» тома 3 и 4, я не считаю необходимым цитировать другие отрывки.

У меня имеется еще текст одного из писем от 23 августа, которое показывает, каковы были его идеи в самой ранней стадии. В этот день он писал Альберту Ришару в Лион: «. . . . . Итак, друзья, подымайтесь при звуках Марсельезы, которая вновь становится сегодня законным гимном Франции, гимном свободы, гимном народа, гимном человечества,—так как дело Франции стало, наконец, делом человечества. Становясь патриотами мы спасем всемирную свободу. Лишь бы только народное восстание сделалось всемирным и открытым и лишь бы только во главе его не стали изменники, продавшиеся или желающие себя продать пруссакам или орлеанам следующим за ними, но народные вожди».

«Только при этом условии Франция будет спасена. Не теряйте, следовательно, ни одной минуты, не ожидайте больше сигнала из Парижа. Париж обманут, он парализован опасностью, которая ему угрожает и в особенности он плохо руководим. Восстаньте сами, беритесь за оружие, организуйтесь, уничтожайте внутренних пруссаков, чтобы не осталось в вашем тылу ни одного и бегите освобождать Париж. Если через 10 дней не будет во Франции народного восстания,—Франция погибла (12 дней после этого письма произошли события 4 сентября). О, если бы я был более молодым, я не писал бы вам писем, а был бы среди вас».

Наряду с этими планами народной войны и войны не на жизнь, а на смерть, Бакунин строил план революционных восстаний в Италии и в Испании, которые совместно с югом Франции должны были создать революционный очаг, способный прекратить войну и продвинуть вперед социальную революцию. Фанелли стоял на этой же точке зрения, но все это так и осталось в области планов, и когда Бакунин приехал в Лион, он не мог иметь никакого влияния на события, так как все прочие партии, конечно, не остались пассивными. Так было и в день 28 сентября, когда движение достигло апогея. Бакунин, активно участвовавший в движении, был арестован, но несколько часов позже был освобожден своими друзьями. На короткое время городская дума находилась в руках восставших, однако, город не был во власти народа. Все кончилось ничем и реакция или, скажем, официальная республика подняла голову. Бакунин должен был бежать в Марсель, где он скрывался несколько недель и откуда предполагал бежать в Барселону. В конце-концов его приятель Шарль Алерини доставил его на пароход, отъезжавший в Геную. Из Генуи Бакунин возвратился очень разочарованным в Локарно. Он продолжал писать, преобразовывая мало-по малу свои политические размышления в философские, антирелигиозные и социалистические. Ему хотелось еще раз воспользоваться случаем, чтобы сделать то, о чем он мечтал многие годы, т.-е. резюмировать все свои идеи. Был опубликован первый выпуск «Кнуто-Германская империя и Социальная революция» (Женева, 119 стр.), в котором говорят все чувства, вызванные в Бакунине войной. Этот выпуск был перепечатан в «Сочинениях», том 2-й (1907 г.). Второй выпуск, озаглавленный «Исторические софизмы доктринерской школы немецких коммунистов» скоро отклоняется от темы, чтобы поставить вопрос «Кто прав идеалисты, или материалисты?». Ответ составляет жемчужину его творчества. Реклю ему дал название «Бог и государство» (Женева 1882 г.). Эта брошюра распространена и переведена на все языки. Вся рукопись (неоконченная) напечатана в «Сочинениях», в томах 3 (1908 г.) и 1 (1895 г.) с приложением «Философские размышления о божественном призраке, о реальном мире и о человеке». (Сочинения, т. 3). Том 4-й «Сочинений» содержит другие рукописи, имеющие связь с этою.

Пришла Парижская Коммуна. После опыта 1870 г. Бакунин предвидит ее падение, но восхваляет героический жест (См. по этому поводу «Парижская Коммуна и идея государства»,— заглавие, данное Элизе Реклю отрывку, опубликованному в 1878 г. и в 1892 г. в «Сочинениях» т. 4.) Последние недели коммуны он был в Юре, в Сенвилье и в Локле среди товарищей юрской федерации. Там собирались итти на помощь коммуне, предполагали отправиться в Безансон, но проект не осуществился, т. к. падение коммуны и кровавая неделя разбили

все планы; оставалось лишь заняться помощью и спасением преследуемых. Я уже упоминал о рефератах, которые Бакунин читал в Сенвилье, опубликованных в Брюссельском журнале «Новое общество» (март, апрель 1895, а также в «Сочинениях» т. 5. 1911 г.).

Бакунин вернулся в Локарно и продолжал свои литературные труды (Сочинения, т. 6. 1913), когда 24 июля он познакомился с гнусными выпадами Мадзини против коммуны и против Интернационала в его журнале. Бакунин написал блестящий ответ, появившийся в итальянском переводе 14 августа в Милане и в оригинальном тексте в «Свободе», Брюссельском журнале 18 и 19 августа (Ответ интернационалиста Мадзини). Он написал также ответ, помещенный в газете Мадзини «Итальянское единство» 10, 11, 12 октября и, кроме того брошюру «Политическая теология Мадзини и ассоциация рабочих» (Невшатель 1871 г. 111 стр.). Все это было перепечатано в «Сочинениях» т. 6 (1913 г.) и в подготовляемом 7-м т. «Ответ интернационалиста» написан с большим жаром, а «Политическая теология» с такой глубиной логики, что можно утверждать, что брошюры эти обязаны своим блеском, если не всецело, то в значительной мере упорной работе, которую проделал Бакунин в августе 1870 г., в целях приведения в порядок и изложения всех своих идей. Во всяком случае, Бакунин был хорошо подготовлен и, вероятно он расчитывал на ответ Мадзини, чтобы вступить в идейную борьбу со своими важнейшими противниками с — лжесоциалистом Мадзини и с авторитарным социалистом Марксом. Правда, Мадзини одержал небольшую победу на незначительном рабочем с'езде в Риме (1 ноября), но он видел, какое влияние произвели слова Бакунина на многих серьезных революционеров. Болезнь и слабость помешали ему вступить в борьбу с Бакуниным. Он умер 10 марта 1872 года.

Сохранились две записные книжки 1871 и 1872 г., в которых Бакунин ежедневно записывал полученные и отправленные им письма, визиты, путешествия, заметки о своей работе и т. д. Хотя эти книжки далеко неполны, они показывают, однако, насколько разнообразна и интенсивна была его деятельность, и насколько обширны его международные связи. Эти записки могут служить серьезной базой для его биографии тех лет. По ним видно, как с осени 1871 г. изо дня в день, с ним входит в переписку или приезжает к нему все большее и большее количество молодых итальянцев из Неаполя (Малатеста, которому тогда не было еще 18 лет), Милана, Турина и в особенности из Болоньи и Романии. Это было торжеством метода Альянса: влияние местных групп и интимных секций, связанных между собою. Через год после появления «Ответа», в августе 1872 г. на конференции в Римини организовалась итальянская федерация Интернационала.

К этому периоду относится начатая им блестящая теоретическая письменная дискуссия, многочисленные длинные

письма в Турин и др. Отрывки из одного письма были отпечатаны в брошюре, озаглавленной «Рабочим делегатам конгресса в Риме». Брошюра была напечатана нелегально и распространена среди делегатов этого Мадзининского конгресса, состоявшегося 1 ноября 1871 года. Есть издания более полные (1886 г. франц. пер. Гильома, напечатан в т. 6 «Сочинений»). Но самым интересным документом, передающим интимную революционную мысль Бакунина, является длинное письмо его к Чельзо Коретти, написанное после смерти Мадзини (опубликовано Ж. Менилем в Брюссельском «Новом обществе» в феврале 1896 г.). В этом письме Бакунин в полном расцвете своих сил.

Связи с итальянцами стали еще более близкими после того, как Карло Кафиеро, в 1870 и 1871 г.г. находившийся еще под влиянием Маркса и Энгельса, приехал вместе с Фанелли в Локарно и оставался там от 20 мая до 18 июля 1872 года. Завязавшаяся между Кафиеро и Бакуниным личная и идейная дружба привела к значительным изменениям в жизни Бакунина. Первоначально удачные и счастливые для него, они привели позже к трагическому концу.

Лондонская конференция (осень 1871 г.), сделавшая первые шаги, чтобы побудить Интернационал принять, как официальную доктрину — доктрину политического действия, в смысле завоевания власти при помощи социалдемократического парламентаризма, и вынесшая также другие решения авторитарного характера, вызвала энергичный протест со стороны Юрской федерации и французских эмигрантов. По крайней мере Бакунин с друзьями делали все возможное, чтобы привлечь к протесту испанцев и итальянцев. Генеральный Совет сделал затем другой шаг в том же направлении, опубликовав для членов Интернационала брошюру «Мнимый раскол в Интернационале. Частный циркуляр Генерального Совета». (Женева, 1872, 39 стр.), в которой был сделан донос на Альянс. Появились протесты и опровержения. Бакунин ответил в Юрском «Бюллетене» и брошюрой, переведенной на итальянский язык. Гаагский конгресс (сентябрь 1872 г.) был, наконец, созван и, как следовало ожидать, находился под влиянием фиктивного большинства, созданного партией Маркса, при помощи распределения многочисленных мандатов по отдаленным секциям и т. п. Была назначена анкетная комиссия об Альянсе, которая вынесла решение, на основании письменных документов и разговоров, переданных Марксом. Все это теперь уже изучено, и можно смело сказать, что редко когда действовали с большим легкомыслием и более преступной небрежностью. Обвинительная речь Маркса и его материалы, как и материалы данные Энгельсом, Лафаргом и Утиным по итальянским, испанским и русским делам, изложены в брошюре «Союз социалистической демократии и Международная ассоциация рабочих» (Лондон 1873, 137 стр.). Брошюра эта служит еще и по сей час основой марксистской

историографии и немецкие социал-демократы считают еще до последнего времени возможным перепечатывать ее в немецком переводе (издательство Дитц).

Если бы кто-нибудь утверждал, не изучая самых фактов, что Альянс существовал в действительности и поэтому критика Маркса обоснована, ему можно было бы смело возразить, что утверждения Маркса не соответствуют действительности. То, что существовало в 1869—1872 г.г. было ни чем иным, как некоторой организационной связью между активными работниками, обычно практикуемой. Следовательно, если бы Маркс был лойялен, конгресс понял бы, что весь вопрос не стоит выеденного яйца, так как такие отношения необходимы при всякой пропагандистской и агитационной работе и что вся история была просто придиркой к Бакунину и его товарищам, не разделявшим мнений других социалистов. Но Маркс прибегнул еще к другому трюку: Бакунин, чтобы заработать себе на жизнь, начал переводить капитал Маркса на русский язык для петербургского издателя Полякова, от которого получил авансом 300 рублей. Бакунин занимался этой работой всю зиму 1869—70, но когда приехал из России Нечаев, последний настоял на том, чтобы Бакунин посвятил все свое время русской пропаганде, и обещал ему сам сговориться с Поляковым или с его представителем Любавиным. Вот и все, Нечаев, помимо Бакунина устроил это дело на свой лад: он отправил Любавину письмо, якобы от своего комитета, с печатью, изображавшею факел и топор, требуя от него оставить Бакунина в покое по поводу этой работы. Это письмо попало—путями, которые теперь нам известны (Лопатин, Даниельсон)—в руки Маркса, и последний добился резолюции, исключавшей Бакунина с Джемсом Гильомом из Интернационала за Альянс, а Бакунина к томуже еще за позорящее его личное деяние. Когда впоследствии Гильом, при помощи новых документов (письма Маркса к Даниельсону) и благодаря тщательной анкете, произведенной Лопатиным, установил эти факты и изложил их Жоресу, бывшему дотоле в полном неведении этой истории, Жорес пришел в ужас и решил говорить об этом на интернациональном конгрессе, который должен был состояться в Вене в августе 1914 года с требованием от конгресса аннулировать резолюцию 1872 года, исключавшую Бакунина из Интернационала. Смерть Жореса и война помешали этому. Два немецких социал-демократа, почти единственные, которые серьезно занялись историей этой эпохи, Эдуард Бернштейн и Франц Меринг поняли в известной мере характер методов Маркса и его партии против Бакунина и пожелали дать последнему некоторое удовлетворение. Такого рода образ действий, по отношению к Бакунину, был не нов, как доказывают подложное письмо Жорж Санда 1848 г., мнимая угроза 1870 г. Когда отрывки из «Исповеди» 1851 г. циркулировали по Европе, в то время, как полный текст с большим трудом можно было добыть из России,

идейные товарищи Бакунина не были чересчур удивлены этим; они узнали в нем старый трюк «бумажечников». 50 лет спустя после Гаагского конгресса годовщина Бакунина праздновалась тем же способом и многое из того, что делается сегодня, также грязно, как и все эти «древности».

Швейцарские и испанские делегаты антиавторитарных федераций немедленно после Гаагского конгресса с'ехались в Швейцарии. Там они встретились с итальянскими интернационалистами, собравшимися у Бакунина в Цюрихе, и с другими делегатами на интернациональный конгресс в Сен-Димье (15—16 сентября 1872 г.). В Цюрихе между Бакуниным, итальянцами и испанцами происходили дебаты по поводу программы и организации социалистического революционного союза и по этому поводу записная книжка Бакунина дает нам много сведений до конца 1872 года. Конгресс Сен-Димье установил солидарные связи между автономными федерациями Интернационала. В продолжении 1872—73 г.г. идея солидарности была последовательно расширена национальными конгрессами, состоявшимися в Бельгии, Испании, Италии и т. д., а в сентябре 1873 года состоялся новый конгресс в Женеве, затем в 1874 году в Брюсселе, в 1876 году в Бёрне и в 1877 году в Вервье. На всех этих конгрессах проводилась идея необходимости об'единения рабочих независимо от каких либо оттенков социалистической мысли или какого нибудь предпочтения той или иной тактике, раз она была антикапиталистической. Был провозглашен принцип солидарности в экономической борьбе и автономии в идеях и в выборе тактики. Бакунин, как и другие Юрцы, был вдохновителем этой терпимости. Но со стороны организации, контролируемой Марксом (Генеральный Совет которой был перенесен уже в Нью-Йорк), продолжали сыпаться отлучения и изгнания независимых федераций. Через некоторое время все были изгнаны из этого Интернационала, за исключением разбросанных то здесь, то там марксистских правоверных ячеек. Генеральный Совет после внутренних раздоров, наконец, распустил сам себя в Филадельфии в 1876 году. Так умерла марксистская ветвь Интернационала; это произошло 15-го июля 1876 года через 2 недели после смерти Бакунина.

Вернемся к одному из последних моментов революционной жизни Бакунина. Со времени Нечаева (1869-70) он был отрезан от русского движения, но молодой его товарищ А, Росс (Сажин), живший со времени разгрома Коммуны в Цюрихе, познакомил Бакунина с некоторыми студентами, которые, как Ралли, были близки к русскому движению 1869 г. В ноябре 1871 г. Бакунин познакомился с Смирновым, с которым не завязалось однако, особо дружеских отношений, а в марте 1872 года с Гольштейном. Эльсниц и Ралли, с которыми Бакунин сдружился на почве общности идей и делового сотрудничества. С 4 июля по 10 октября Бакунин жил в Цюрихе, который он покидал от

времени до времени для путешествий в Юру или в Невшатель по делам Интернационала или конгрессов. Его новые товарищи не были людьми действия, но хорошими пропагандистами анархистических идей. Были организованы русская библиотека и русская типография, отпечатавшая три больших тома, оконченные впрочем, в Лондоне уже одним Россом в 1874 году. Была организована интимная группа „Русское братство“ (Бакунин и четыре товарища), а также славянская секция 7 июля 1872 г. Ее программа и взгляды на положение в России и на русскую тактику, опубликованные в приложении к книге „Государственность и анархия“, являются выражением уже вполне созревших мыслей Бакунина о русском движении и о революционной тактике. Много молодых студенток увлекалось идеями и красноречием Бакунина, но еще большее количество было приверженцами умеренного Лаврова. Был поднят вопрос о журнале. Бакунин, который уже в 1870 году изложил в известном письме к Лаврову свои идеи, имел по этому поводу с ним переговоры, но они не привели ни к каким результатам. „Вперед“ издавался одним Лавровым с 1873 г. Невозможно было сговориться и с поляками; некоторые рукописи Бакунина резюмируют его последние идеи о вечном вопросе Польши—об исторических границах. Довольно большое количество сербских студентов находилось под влиянием Бакунина, одобрившего их национальные требования; Светозар Маркович, впрочем, не принадлежал к числу этих студентов, т. к. его умеренные социалистические идеи отделяли его от Бакунина. Бернувшийся из Парижа в Цюрих, Нечаев искал случая возобновить связи; его выдал поляк Стемковский и Нечаев был арестован 14 августа. Попытки Бакунина и его друзей освободить его, план побега, выработанный русскими и сербами, не имели успеха и Нечаев был выдан России 26 октября и подвергся комедии суда в январе 1873 г. (смотри процесс в „Правительственном вестнике“ от 24 января 1873 г., перепечатанный в книге Богучарского «Государственные преступления в XIX веке» Штуттгарт 1903 г., стр. 415—456.) [1])

Нечаев умер в 1883 году. Последние известные нам слова Бакунина о нем в письме Огареву от 2-го ноября 1872 г. носят глубоко прочувствованный характер. «Не знаю, что ты чувствуешь, но мне бесконечно жаль его». Бакунин предвидел, что Нечаев, видя себя потерянным, вернет себе прежнюю энергию и стойкость, что оказалось правильным.

Многое можно было бы рассказать относительно связей Бакунина 1872 г. и о деятельности интимной группы, распавшейся в 1873 году из-за несходства характеров и темпераментов. Из этого сотрудничества однако вышло нечто прочное, хотя, к со-

[1]) Об ужасных страданиях, пережитых Нечаевым в Петербургской крепости, смотри: „Вестник Народной воли“ Женева № 1 1883 г. стр. 132—158; также „Былое“ июль 1906 стр. 151-177.

жалению, очень редкое: 3 тома серии «Издание социально—революционной партии». 2-ой том появился в конце августа 1873 года: «Историческое развитие Интернационала» часть I-я (1873, 2, 375 стр.), представляющий первую часть сборника лучших теоретических работ, данных Интернационалом в швейцарских и особенно бельгийских журналах. Идея этого издания принадлежала Россу; должно было появиться несколько томов. Гильом и Бакунин помогали в выборе материалов и т. д. Но эта книга и доселе остается единственной в своем роде; в ней собраны наилучшие работы по революционному коллективизму и анархизму того времени.

В конце 1873 г. появилась первая часть (единственная) введения к «Государственности и анархии», которую Бакунин написал в мае и июне 1873 г. Книга разбирает проблему национализма с федералистической точки зрения и соответствует французской рукописи «Товарищам членам федерации интернациональных секций Юры». (Неиздана, но подготовлена для печати Гильомом). Теоретическая часть, следовательно, никогда не была опубликована и даже вероятно никогда не была написана; то что напечатано является только частью введения.

3-й том «Анархия по Прудону» написан Гильомом с некоторыми поправками и добавлениями Бакунина. Он был издан Россом в Лондоне в 1874 году (III, 212 стр.) Была выпущена еще одна брошюра, основанная на работах Бакунина, но изданная без его ведома и говорившая о вещах, не предназначенных для публики. Издание этой брошюры вызвало неудовольствие Бакунина и было причиной его разрыва с издательской группой (Ралли и его друзья). Брошюра эта называется «К русским революционерам», изд. «Революционной общиной русских анархистов», без обозначения города (Женева), 14 стр., перепечатано в «Письмах» (1896 г., страницы 504—511). Это не что иное, как программа «Русского братства» 1872 г.— интимной группы Бакунина, Росса, Ралли, Эльсница и Гольштейна, с опущением некоторых деталей организации. Бакунин был тем более недоволен выпуском этой брошюры, что русская программа имела образцом более старую программу «Интернационального братства», что было, вероятно, неизвестно издателям. Брошюра появилась в сентябре 1873 г., почти одновременно с брошюрой Маркса против Альянса, в которой он основывался именно на этих, документах, потерявших за давностью все свое значение. Кроме того, как я пытался доказать это сравнением текстов, (Биография 1900 г. стр. 778) русский текст совпадает с программой, тайно напечатанной у Чернецкого (Женева) и с программой, переведенной на итальянский язык, и копия которой, написанная рукою Андрея Коста, была конфискована в 1874 г. и фигурировала среди документов в процессе во Флоренции в 1875 г. Программа эта, как мне кажется, подобна или даже идентична с программой, принятой в сентябре в 1872 г. в Цюрихе

итальянскими и испанскими товарищами. Было бы интересно проанализировать эту брошюру, но каждый может это сделать сам, т. к. она перепечатана в «Письмах». В ней разбирается вопрос о средствах, применимых в революции или на другой день после ее совершения, чтобы помешать какой-либо диктатуре использовать революцию в своих целях. Средство это — немедленная организация автономных революционных групп или коммун для выполнения всех работ разрушительного и конструктивного характера и их федерация; эти группы или коммуны передают временно общественный капитал, средства производства и землю индустриальным и сельскохозяйственным ассоциациям под непосредственным контролем народа; эти группы или коммуны заменят всякое правительство, всякую официальную диктатуру, которая пыталась бы навязать себя, т. к. опыт показал, что через установление правительства и диктатуры государство восстанавливается и буржуазия приходит к власти. Революционеры должны, следовательно, сомкнуть свои ряды еще теснее в момент, когда в какой-либо стране вспыхивает революция, и что важнее всего, всеми средствами подготовлять всемирную революцию, которая одна способна обеспечить победу революции.

В начале 1873 года, может быть во время свидания Бакунина с Кафиеро в конце 1872 г., когда Бакунин в своей книжке сделал 29 декабря отметки «чрезвычайно важное для братьев решение», у Кафиеро, тогда еще довольно богатого человека, зародился проект купить имение в окрестностях Локарно, номинальным собственником которого был бы Бакунин. С одной стороны, Бакунин таким образом становился бы гражданином Тичино и не мог подвергнуться изгнанию, с другой—имение стало бы центром работы и убежища революционеров, особенно русских и итальянских. Предполагалось оборудовать типографию, при случае организовать склад оружия, вместе с тем там было бы все необходимое, чтобы проникнуть секретно в Италию через озеро Лаго-Маджиоре. Таким образом, энергия и способности Бакунина могли бы быть использованы в целях революции. Для осуществления этого проекта Бакунин должен был бы внешне отойти от движения и жить на подобие невинного буржуа. Бакунин согласился, было куплено имение, названное «Ля Бароната» и начались постройки, т. к. имение было запущено и надлежало кое-что исправить. В конце лета Бакунин уехал в Берн, где установил при помощи своих друзей — Фохта (профессор Адольф Фохт, врач) и Рейхеля—связи с радикальной средой. Это должно было создать впечатление, что он готов отойти от революционного движения, что его следовательно, можно оставить в покое и не считаться с желанием итальянского правительства удалить его из Локарно и т. д. Для выполнения этого же плана Бакунин письмом, напечатанным в Юрском бюллетене от 12 октября 1873 г. заявил о своем

выходе из Интернационала. Раньше этого в июле 1873 г. у него было большое желание уехать в Испанию, где подготовлялось на лето революционное движение; Малатеста должен был уехать с ним и был отправлен сначала к Кафиеро в Барлотто (его родной город, в Пуйи) который должен был дать необходимые для путешествия деньги, но Малатеста был арестован и надолго посажен в тюрьму, Кафиеро в свою очередь не желал, чтобы Бакунин отклонялся от первоначально намеченного плана и принимал участие в испанском движении. Движение это, впрочем вскоре кончилось поражением и так же, как в Лионе в 1870 году, поспешный приезд Бакунина не мог бы изменить неблагоприятных для движения условий. Если бы он принял тогда в нем участие, вероятно кончил бы свою жизнь в испанской тюрьме.

Итальянский Интернационал (принявший анархистскую программу на конгрессе в Болонье в марте 1873 г.) подвергался таким преследованиям и с таким трудом мог вести пропаганду своих идей, что его активные работники, воодушевленные примером Парижской Коммуны и восстанием в Испании, решили на собрании у Бакунина в Локарно в декабре 1873 года, на котором, между прочим, присутствовал молодой анархист Андрей Коста, организовать революционное выступление.

В то время в Италии существовал «Итальянский комитет социальной революции»; он выпустил нелегальные воззвания и стал подготовлять почву для всеобщего восстания. Через Чельсо Черетти были установлены связи с Гарибальди, который был готов примкнуть к широкому движению. Даже отдельные приверженцы Мадзини, как например, Вальзания, пытались вовлечь в движение своих единомышленников. Происходившие во многих местностях беспорядки, вызванные дороговизной жизни, показывали, что народ отнесся бы с симпатией к радикальному движению против своих эксплоататоров. Движение подготовлялось повсеместно, особенно же в Болонье и Романии (Коста), Флоренции (Натта), на юге (Малатеста). Необходимые для покупки оружия деньги давал Кафиеро и т. д.

Неизвестно, что Бакунин собственно предполагал делать, т. к. произошло неожиданное и очень неприятное событие, заставившее его действовать скорее под влиянием последнего, нежели сообразно принятому заранее плану, который, если и существовал, нам остался неизвестен. Случилось следующее: строительные работы в Баронате, производившиеся местными подрядчиками и рабочими, работавшими без особого усердия в среде, бывшей им однако, симпатичной, а также содержание приезжавших туда товарищей, стоили громадных сумм, далеко превосходивших намеченные цифры. Ни Кафиеро, ни Бакунин не принадлежали к людям, которые пожелали бы или могли бы ввести в эти дела порядок и навести экономию в практической жизни. Именно в тот момент, когда семейство Бакунина, не ос-

ведомленное обо всем этом, вернулось из Сибири после двухлетнего отсутствия, Кафиеро был уведомлен о катастрафическом положении его хозяйства и понял, что он почти разорен. Кафиеро рассердился на Бакунина; их ссора приняла такой характер, что Бакунину ничего не оставалось делать, как уехать в Болонью с надеждой погибнуть в революции. В таком то настроении он приехал в Болонью, товарищи ничего не подозревали и Бакунин сделал все возможное, чтобы координировать их энергию и дать движению ясную и смелую линию. Арест Коста заставил ускорить движение; было решено начать его в ночь на 7—8 августа 1874 г. В эту ночь число интернационалистов, явившихся на распределение оружия, производившееся на поле вне города, было слишком незначительным, чтобы предпринять захват города: только небольшая группа наиболее скомпрометированных направилась в горы, но большинство из них было арестовано. Наиболее многочисленная группа, в эту ночь двинувшаяся в Болонью, была предупреждена о неудаче и разошлась. Бакунин, узнав положение дел и оставшись один, решил пустить себе пулю в лоб в 4 часа утра. За 20 минут к нему пришел один товарищ и убедил его не делать этого. Независимо от собственных заметок Бакунина, сделанных вскоре после этого, я знаю об этом факте из рассказа именно этого товарища, которого я встретил в Болонье в 1899 году и который, конечно, не подозревал о существовании записок Бакунина.

Попытки революционного восстания произошли также в некоторых других местностях; так Малатеста в Пуйи с вооруженной группой направился в горы, но движение это было слишком незначительно, чтобы привлечь массы. Начались многочисленные аресты и огромные процессы, имевшие место в 1875—1876 гг. Процессы кончались оправданиями и способствовали пропаганде Интернационала в Италии.

Бакунин покинул Болонью переодетый в деревенского священника. В дороге он встретился с Натта из Флоренции и провел с ним некоторое время в Сплюгене. Между 14 и 21 августа он в последний раз отмечает в своей записной книжке: «мы (Бакунин и Натта—душа Интернационала Флоренции) согласны по всем вопросам — полный план действия — шифр и знаки установлены». Небольшое письмо к его другу Эмилио Беллерио в Тичине от 18-го августа гласит: «я решил вернуться, откуда пришел», т.-е. в Италию. Существует даже 9 страниц наброска шифра, но этот шифр фиктивных имен, которые ничего нам не говорят.

Я останавливаюсь подробно на этом факте, потому что он является последним актом или попыткой действовать в революционной жизни Бакунина. 21-го августа Натта уехал в Локарно (позже он был арестован в Италии и фигурировал в качестве главного обвиняемого в большом процессе во Фло-

ренции в 1875 г.) и Бакунин остался наедине с своей заботой— притти к какому-либо соглашению с Кафиеро и найти какое-либо убежище своей семье, которая, как он сам, очутились внезапно без ничего. Это был самый ужасный месяц его жизни, когда в тщетных поисках какого-нибудь выхода, он кочевал с места на место. Его друзья, с своей стороны, пришли к жестокому решению, что Бакунин конченный человек, что сотрудничать с ним в революционных делах более нельзя. Об этом ему было заявлено на свидании в Невшателе 25 сентября 1874 года. В заметках, посвященных отношению к нему его бывших четырех друзей, он пишет: «полный и окончательный разрыв». Затем, на некоторое время он оживает в Берне у Рейхелей, у Фохта; отметка (26) «меня приняли с открытыми об'ятиями». 5 октября он уезжает из Берна и приезжает 7 в Лугано, где забирает свое семейство. В своей книжке он отмечает «горячая и искренняя дружба». Он возобновил свою обычную жизнь, занимаясь чтением, штудированием, посещением друзей и обществ, но не занимался ни пропагандой, ни организацией.

Книга Гильома содержит много подробностей, касающихся этого кризиса. Документальная часть книги заимствована из моей «Биографии»; воспоминания и оценки принадлежат Гильому или были собраны им. Я не буду касаться его характеристики, но скажу, что документы Гильома являются только частью огромного количества собранных мною по этому вопросу документов и что окончательное мнение должно быть основано на совокупности всех этих материалов и свидетельств, а не на одной только их части.

В Лугано у него не было недостатка в знакомствах, но они мало интересны, за исключением дружеских свиданий и переписки с Элизе Реклю. Нам известны также его дружеские письма к друзьям в Берне и в Локарно (два письма в Беллерио). У него было намерение работать над двумя книгами по поводу которых, Элизе Реклю писал ему 8-го февраля 1875 года: «я с нетерпением ожидаю твои Мемуары и Мои идеи. Работай мой друг, у нас на это будет время. Разлившаяся река революции входит в свое русло, не причинив большого зла». Реклю предложил ему свои услуги для просмотра, с точки зрения языка, его рукописей. «Мои идеи» была та книга, о которой он писал Огареву 11 ноября 1874 г: «я намереваюсь, если у меня останутся силы, написать последнюю полную работу о моих самых глубоких убеждениях». От этих рукописей, если они были начаты, не осталось ничего и неизвестно также, что стало с записками Зайцева, которому Бакунин рассказывал иногда свою прошлую жизнь в 1873 году в Локарно.

В ответ на письмо Элизе Реклю он писал 15-го февраля 1875 г: «да, ты прав, революция временно вошла в свое русло, мы вступаем в период эволюций, т.-е. в период подземных, невидимых и часто даже незаметных революций. Эволюция, ко-

торая происходит сейчас, очень опасна, если не для человечества, то по крайней мере для некоторых наций. Это последнее воплощение истощенного класса, ставящего свою последнюю карту под покровительством военной диктатуры—мак-магоновско-бонапартистской во Франции, бисмарковской в остальной Европе».

«Я согласен с тобой, что час революции прошел, не по причине страшных катастроф, свидетелями которых мы были, и ужасных поражений, более или менее виновными жертвами которых оказались мы, но потому, что, как я констатировал и констатирую каждый день, к моему великому отчаянию революционные мысль, надежда и страсть абсолютно иссякли в народных массах, а когда их нет, можно делать, что угодно, результатов не будет. Я восхищаюсь терпением и героическим упорством юрцев и бельгийцев—последних могикан умершего Интернационала, которые, несмотря на все препятствия и затруднения, при всеобщем равнодушии, упорно подставляют свой лоб враждебному течению вещей и продолжают спокойно делать то, что делали до катастрофы, когда движение шло вверх и когда малейшее усилие создавало силу».

«Эта работа тем более достойна похвалы, что они не воспользуются ее плодами; но они могут быть уверены, что их работа не будет напрасна—ничто не теряется в этом мире—и капля воды, при всей своей незначительности, все же образуют океан». «Что касается меня, мой дорогой, я стал слишком стар, слишком устал и слишком болен, по правде сказать, во многом разочарован, чтобы чувствовать еще желание и силу принять участие в этой работе. Я окончательно ушел из борьбы и проведу последние дни моей жизни в созерцании, не праздном, наоборот интеллектуально очень активном и которое, я, надеюсь выразится в чем-нибудь полезном».

«Одна из страстей, владеющих мной сейчас,—безмерная любознательность. Раз я пришел к убеждению. что зло восторжествовало и я не могу воспрепятствовать ему, я решил изучать его эволюцию и развитие с почти научною и совершенно об'ективною страстью».

После анализа европейского положения, он продолжает: «Бедное человечество»!

«Ясно, что оно сможет выйти из этой клоаки не иначе, как при помощи колоссальной социальной революции. Но как совершит оно эту революцию! Никогда интернациональная реакция в Европе не была так чудовищно вооружена против всякого народного движения. Репрессию она обратила в новую науку, которую систематически преподают во всех военных школах лейтенантам всех стран. А что имеется у нас, чтобы атаковать эту непреодолимую крепость? Дезорганизованные массы. Но как их организовать, когда у них нет достаточно страстного интереса даже к своему собственному спасению, когда

они не знают, чего они должны желать и когда не желают того, что одно только может их спасти».

«Остается пропаганда, в том виде, как ее ведут юрцы и бельгийцы. Это—кое-что, но этого очень мало: несколько капель воды в океане, и если у человечества нет других средств спасения, оно успеет сгнить десять раз раньше, чем спасется».

«Остается еще другая надежда: всемирная война. Эти громадные военные государства рано или поздно должны будут пожрать и разрушить друг друга. Но какия перспектива».

На этом слове, которое вводит нас в современное положение вещей, когда уже кажется, что вот-вот книга будущего раскрывается перед нами, благодаря гению Бакунина, предчувствовавшего и предвидевшего современное уже в 1875 году, кончается 4-ая страница письма, а остальное потеряно.

Страстная любознательность Бакунина в те годы, когда социалистическое движение действительно было крайне ослаблено, находила себе пищу в наблюдении борьбы государства с церковью. Бакунин, продолжая ненавидеть государство, был тем не менее счастлив от ударов, наносимых им клерикализму. Так 19-го октября 1875 г. он писал Адольфу Рейхелю (на немецком языке): «Что касается меня, я сделался совершенным отшельником и стараюсь обрести мое старое «Я» при помощи тихого созерцания—удастся ли мне это, не знаю. Только в одном должен признаться — удаленный от деятельности жизни, я подвергаюсь опасности стать Бисмаркианцем. И все же я ненавижу не самого Бисмарка — он последовательный малый, но бисмаркизм, как прежде, от всего сердца. Но везде побеждающий, или, по крайней мере, кажущийся побеждающим, католицизм, клерикализм я ненавижу еще больше. Его успехи — позор человечества, позор для всего, что в нас разумно, нравственно, человечно».

«Я бы очень мало думал о попах, еслибы их деятельность хотела ограничиться только тем, чтобы старых ослов обослить еще больше, но во Франции, в Италии, в Испании, в Бельгии и в некоторых швейцарских кантонах, например в Тичино, они забирают все воспитание детей в свои грязные руки и это—истинное несчастье. Они не только забивают сердца и головы юношества ложью, они систематически подделывают, так сказать, органическую природу и всю естественную деятельность; они создают лжецов и рабов. И хотя я очень хорошо знаю, что Бисмарк воюет против религии милосердного бога только с той целью, чтобы поставить на ее место всегда мне ненавистную религию государства и государственного прислужничества, я должен все же признать, что если бы сейчас в Европе не было бисмаркианской политики, мы бы все в короткое время стали пищей попов. Мне кажется сейчас необходимо поднять старый умолкнувший крик энциклопедистов: раздавим гадину! (Ecrasez l'infâme). Как в доброе старое фаиатическое время,

когда я имел основание говаривать: «что вы мне толкуете о беспартийности, оставим беспартийность милосердному богу!»—так и сейчас я очень мало беспокоюсь насчет отвлеченной справедливости. Все, что губит поповство и попов, по моему—истинно и справедливо; так volens nolens я на мгновение становлюсь бисмаркианцем...!»

Нечто в этом же роде он писал десятью днями позже своему молодому Тичинскому другу—Эмилию Беллерио: «Вопрос о священниках всемирный вопрос, господствующий сейчас над всеми другими вопросами. Я, ненавидящий от всей души не Бисмарка, а его систему, его влияние и его тенденции в Европе—я стал относительно бисмаркианцем! Оставаясь самим собою, я попутно иду с Бисмарком, я повторяю—старый военный клич энциклопедистов: «раздавим гадину!» В этом же духе Бакунин говорит в начатой и неоконченной рукописи «Революционный социализм в России», которая должна была служить введением к изданию воспоминаний графа Палена о нигилистическом движении. Бакунин был счастлив, когда во Франции на выборах 20-го февраля 1876 года республиканцы одержали победу над клерикалами и монархистами.

В течение 20 месяцев от 1874 до 1876 года Бакунин, потерявший в России право на наследство, рассчитывал однако при помощи мирной сделки получить некоторую сумму денег от продажи леса, которая бы соответствовала его части наследства и могла бы обеспечить жизнь его и его семьи. Его положение в Лугано, осложнившееся покупкой дома за счет ожидаемых денег, стало очень затруднительным в виду постоянных оттяжек в решении вопроса о наследстве—оно должно было бы стать нестерпимым, но тут пришла смерть.

Он вероятно уехал бы в Италию, но жестокие страдания заставили его в 1876 г. искать исцеления или смерти в Берне, у старого друга врача Адольфа Фохта. Его жизнь в Лугано была описана с юмором, иногда добродушным, но неуместным, членом Парижской Коммуны, эмигрантом Артуром Арнольдом. В этом описании имеются интересные подробности, но искаженные злопамятством одной русской социалистки—г-жи Вебер. Этому описанию я предпочитаю то, что мне было рассказано в 1899 году анархистом Мацотти (эмигрантом 1874 года) и его женой Марието́й, которые, как и некоторые другие итальянские рабочие-анархисты, были с ним в общении почти до последнего момента. Их чисто народное простодушие, непоколебимость в упованиях, веселость и искренность поддерживали Бакунина в часы глубоких разочарований и мучительных физических страданий.

Один из них сопровождал Бакунина во время его путешествия в Берн, которое тогда совершалось еще в дилижансе. В той же карете находился священник. Проезжая в последний раз Чертов мост возле Готарда, Бакунин сказал несколько слов

своим товарищам о сатане, этом вечном бунтовщике, который является для него самой симпатичной фигурой во всей библии. Священник обиделся и между ним и Бакуниным завязалась дискуссия. в которой смертельно больной и страждущий Бакунин «раздавил» с своим прежним остроумием «гадину».

Бакунин приехал в Берн 13-го июня и Фохт признал его состояние безнадежным. Его положили в частную клинику, из которой он более не вышел. Рейхель и его жена, урожденная Мария Эрн (русская) и Адольф Фохт с женою проводили часто время с ним. Рейхель в письме к Гамбуцци от 7-го июля подробно описал его болезнь. Письмо это, взятое из неизданной части моей биографии, воспроизведено в книге Гильома. Я процитирую только слова, сказанные однажды Бакуниным во время длинного разговора его с Рейхелем о годах их молодости и их общей жизни 1844—1847 г.г.

«Однако, как жаль, Бакунин, что у тебя никогда не было свободного времени, чтобы написать свои мемуары». «А для кого написал бы я их?»—последовал ответ. «Не стоит труда говорить. Сейчас все народы потеряли инстинкт революции. Они слишком довольны своим положением; боязнь потерять то, что они еще имеют, делает их смирными и пассивными. Нет, если я буду еще здоров, я хотел бы написать этику, основанную на принципах коллективизма без философских или религиозных фраз».

Имеется глубокий смысл в том факте, что именно таково последнее предсмертное желание анархистов, как Бакунина, так и Кропоткина. Они видят, что добрые отношения друг к другу, взаимопомощь, в конце концов, являются единственно ценной вещью, основой, на которой расцветут свобода и счастье для всех, социальное благополучие. И они желали бы использовать свои последние силы, чтобы громко провозгласить это миру, который идет по разным ложным путям.

Рейхель говорил: „последние три дня не замечалось еще возможности скорого конца, поэтому семейство Бакунина не было предупреждено. Самому Бакунину казалось, «что он вполне еще владеет собою». Я могу только сказать: Бакунии умер, как он жил, цельным человеком. Как в течение всей своей жизни, он себя показал, таким, каким он был—без фраз, без симуляций; он умер в полном сознании своего положения... Последние два дня он много спал, очень трудно дышал, но черты его редко показывали страдание. От времени до времени казалось, что что-то раздражает его, тогда он делал гримасу и говорил: «Дьявол!» («Diavolo»). Но в общем, казалось, что он все более и более засыпает».

Он умер 1-го июля 1876 года в 11 ч. 56 мин. дня. Его прах покоится на кладбище в Берне. На его похоронах 3-го июля присутствовали товарищи, старые друзья. Многие социалисты не знали о его болезни и о его присутствии в Берне.

Вот, беглое изложение того, что, мне представляется самым важным, в необычайно богатой жизни Михаила Бакунина. Для более подробного описания имеется масса документов, большинство которых опубликовано в особых изданиях.

Путь к анархии!—Бакунин его нашел и делал все возможное, чтобы сделать этот путь доступным всем. Будем ли мы итти этим путем, или проложим себе новую дорогу,—не это важно. Важно то, чтобы дойти, наконец до «прекрасной страны анархии», в которой свобода и социальное благосостояние были бы гармонично осуществлены.

ПРИМЕЧАНИЯ:

К странице 7.

Смотри письмо, опубликованное Корниловым (5 писем Тургенева к Бернским друзьям), о его впечатлениях 1840 года,—смерти Станкевича 21-го июня и его знакомстве с Бакуниным 21-го июля: „из всей моей предшествующей жизни я не хотел бы унести с собой иных воспоминаний".

Позже Тургенев дурно поступил по отношению к Бакунину, создавая своего Рудина в июне-июле 1855 года, когда Бакунин находился в Шлиссельбургской крепости. Чернышевский протестовал в „Современнике" (июнь 1860, г. стр. 239 — 240) и написал несколько прекрасных строк о Бакунине. Тургенев остался очень недоволен этими заметками (см. его письма).

К странице 10.

Бакунин дает некоторые подробности относительно этого периода своей жизни в письме к Рейнгольду Зольцер (Париж 14-го октября 1844 г). Он пишет (по немецки):... „Я очень многому выучился, стал французом и сейчас очень усердно работаю над „изложением и развитием идей Фейербаха" (Exposé et developpement des idées de Feuerbach). Штудирую также политическую экономию и душой являюсь коммунистом". О его французском труде о Людвиге Фейербахе ничего неизвестно. Не следует брать последние слова в том смысле, что Бакунин принадлежал к партии коммунистов. Для тех, кто предполагает сегодня, что Бакунин стал социалистом только около 1864 года — эти слова „От всей души являюсь коммунистом" должны быть интересны. Все письмо находится в моей „Биографии" (1899 г.).

К странице 12.

В этом письме говорится; „...что касается меня, то я глубоко убежден, что она (демократия) является единственной политической формой действительно осуществимой в России и что все прочие политические формы, как бы они ни назывались, будут также чужды и противны русскому народу, как и теперешний режим. Русский народ, несмотря на ужасное рабство и на все удары, которые сыплются на него со всех сторон, обладает вполне демократическими инстинктами и замашками: в его полуварварской натуре заложено столько энергии и широты, такое изобилие поэзии, страсти и остроумия, что невозможно, зная его, не быть убежденным в том, что ему предстоит еще выполнить великую миссию в этом мире... Быть может, недалеко то время, когда частичные крестьянские восстания об'единятся в одну великую революцию, и если правительство не поспешит освободить народ, „много крови будет пролито". Он продолжает: „Говорят, что

император Николай думает об этом. Дай бог! Если ему действительно удастся широко и искренно освободить крестьян, это было бы настоящим благодеянием, которое заставило бы простить ему многие вещи, а таких вещей много, так как царствование его было отмечено до сих пор лишь унижением благородной независимости и всех хороших элементов, имевшихся в России". Бакунин не определяет своего понимания демократии, но видна определенная тенденция исключить парламентаризм, конституционализм и подобные половинчатые меры.

К странице 42.

Имеется еще брошюра без имени автора „Бернские медведи и Сан-Петербургский медведь" (Невшатель 1870 г. 45 стр.), в которой остроумно высмеиваются отклонения от швейцарских свобод, позволившие легальное похищение детей княгини Оболенской и другие подвиги полиции, терпимые Швейцарским централизмом, но против которых восстал бы подлинный федерализм. Эта брошюра перепечатана в „Сочинениях" том 3 (1907).

К странице 43.

Об этом периоде можно осведомиться по письму в „Пробуждении" (Париж), рукописи октября 1869 г. (Сочинения том 5, 1911 г.) по „Протесту Альянса", (рукопись июль 1871 г., в сочинениях том 6 1913 г.), и по письму в „Свободе" (Брюссель), рукопись осень 1872 г. (Сочинения том 4 1910 г.); а также по докладу Юрской федерации—ко всем федерациям..." Сенвиллье 1873) Джемса Гильома с отрывками из Бакунина и Поля Робена.

К странице 49.

В этом „Прибавлении А" находятся знаменитые слова: „Что может при таком положении делать наш интеллигентский пролетариат, наша социалистическая, революционно честная, искренняя, крайне преданная русская молодежь? Она должна итти в народ несомненно!!! Далее он разбирает вопрос: „но как и зачем итти в народ"?

М. Неттлау.

10-го июня, 1922 г.

Бакунин.

Бакунин—в истории анархизма занимает исключительное место.

Анархическая мысль и анархическое действие нашли в нем гениального выразителя. Анархическое мироощущение впервые в нем достигло совершенной чистоты и мужества выражения. Мировое значение его «бунтарской» философии и его агитации осознано давно.

И между тем его идейное наследство исследовано в ничтожной мере. Доселе остается он проблемой. Его учение и жизнь сплелись с легендами. И извращая его облик, они живут до наших дней [1]).

Помимо памятников, воздвигнутых Бакунину—Неттлау и Гильомом, подлинное изучение Бакунина открылось лишь в последние два десятилетия, особенно со времени Октябрьской революции, незримо впитавшей в себя стихии бакунизма [2]).

Но можно смело утверждать, что основной комплекс идей, которым живет современный, в частности русский анархизм, принадлежит Бакунину. Более того: опыт Октябрьской революции, заставивший анархистов пересмотреть свой идейный и практический багаж, оставил основные теоретические и тактические положения Бакунина незыблемыми, дал решительные доказательства его гениальной прозорливости.

Этот пересмотр неизбежно должен был поставить во весь рост необходимость исследования как социологических и политических проблем. бакунизма, так и проблемы анархического мироощущения в целом. И здесь исследователя, наряду с возможностями подлинных открытий, встречают значительные трудности.

При поверхностном, тенденциозном взгляде на циклопический синтез Бакунина, последний представляется—изъеденным противоречиями. Слова Канта, что не всегда к автору может

---

[1]) Опыт психологической характеристики Бакунина—см. А. Боровой и Н. Отверженный „Миф о Бакунине“ М. 1925 г. изд. „Голос Труда“.

[2]) Автор наиболее капитальной работы о Бакунине на русском языке—Ю. М. Стеклов признает, что Бакунинский план конца 40-х годов в основных линиях является несомненным пророческим предвосхищением Октябрьской революции 1917 г.

быть предъявлено требование признать своим написанное и сказанное им, как будто, с полным правом—могли бы быть применены к Бакунину.

В его творении—своеобразном, беспорядочном, огромном—было бы напрасным искать — простоты, прозрачности и меры. Было бы безнадежным, воистину лилипутским делом — пробовать уловлять Бакунина в противоречиях, грехах и пересолах. Правильным, единственно правильным—целесообразным и справедливым вместе—было бы ценить его творение, как великое жизненное дело, в целом, стремиться почувствовать его мысль и пафос, отделить в нем собственно Бакунинское, впервые и только им сказанное, от преходящих исторических наслоений, от «случайных» прихотей момента.

Подлинно Бакунинское, essentialia его философии—приятие—прославление жизни, в ее многообразии, неповторимости. Противоречия нестерпимы логизирующему разуму. В жизни все противоречия живут рядом, все равно важны и необходимы, ибо в их органической слитности конструируется само понятие жизни.

Бакунин еще в молодые годы, задолго до того, как сложилось окончательно его реалистическое мировоззрение, не только чувствовал имманентность противоречий жизни, но неоднократно с пластической четкостью формулировал это чувство в письмах к своим родным: «Противоречия—это жизнь, это прелесть жизни и кто не может их одолеть, тот не может и одолеть и жизни. Но каждый человек *должен* и потому *может* это. В этом и состоит его человеческая сущность»... и т. д. и т. д. [1]).

В свете этого воззрения, отдельные противоречия Бакунина перестают быть—ошибками, пробелами, дефектами мышления или методологии. Они обусловлены своеобразием самого мировоззрения. Они—теоретически и практически оправданы.

Наряду с этим надлежит иметь в виду техническую обстановку Бакунинских писаний. Его сочинения — памфлеты, не терпеливая систематизация накопленных листочков, а лава, долженствовавшая испепелить противника. Бакунинское слово было всегда ответом на непосредственный запрос момента. В увлечении давно почувствованными перспективами, он переходил пределы политического или социологического экспромта и писал трактат. В таких условиях было бы мудрено ждать от автора методологической выдержанности, теоретической завершенности.

Но, не взирая на несоблюдение требований научной методологии, на отсутствие внешнего аппарата, составляющего гор-

---

[1]) См. Корнилов. Годы странствий Бакунина 1925. стр. 86, 94. См. также письмо, напечатанное в „Былом“ 1923 г. № 21 стр. 38. Курсив Бакунина. Далее два тома исследований Корнилова, посвященные „Молодым годам Михаила Бакунина“ 1914 г. и „Годам странствий Бакунина“. 1925. будут цитироваться: Корнилов—I и II.

дость эрудита, творение Бакунина в целом—монументально, звенит волнующим лиризмом, гипнотизирует страстностью изложения.

«Федерализм, социализм и антитеологизм», многочисленные части «Кнуто-Германской Империи», «Письма к французу», обличения Мадзини звучат не как политические опыты, но как вдохновенная философская поэма.

Творение Бакунина в целом есть антроподицея, об'яснение и оправдание человеческого мира.

Человек—центральный мотив его философствования. Мироощущение Бакунина насыщено человеческим.

Человек Бакунина—не тощая абстракция просветительных рационалистов, не плод «разумной» диалектики. Он менее всего—«равноправный» член «человечества», или избранник с чудесной миссией прославления в делах своих Творца. Он, наконец, не романтический герой, призванный волей мыслителя или вождя осуществлять метафизику прогресса.

Человек Бакунина — первичная неразложимая интуиция, выросшая из живого сочувствия сверходаренной эмоциональной натуры ко всему человеческому. Человек Бакунина — живой, реальный, конкретный человек, кусок пластической материи, в далеком прошлом брат гориллы, сегодня мыслитель и бунтарь, каменщик нового человеческого мира.

Как возможно его творчество?

В традиционных характеристиках Бакунинской философии истории, на наш взгляд чрезмерно подчеркивается значение в последней негативного элемента.

В его общей концепции мира, в учении о жизни, как безграничном развитии, как вечно движущем, многоразличном, слитном потоке, отрицательный момент естественно должен был занять важное место. Жизнь—диалектический процесс и сущность ее состоит в последовательной смене утверждений и отрицаний, органически слитых. Всякое утверждение таит в себе элементы разрушения; отрицание есть необходимая предпосылка утверждения.

В этом хаосе взаимодействующих причин конкретные явления нуждаются в наличности определенных условий, типических отношений, вне которых невозможно их самопроявление и дальнейшее существование. Попытка восстать на эти условия была бы восстанием против причин, обусловивших самое явление и потому грозила бы гибелью последнему.

При всем романтизме своей натуры Бакунин был реалистом с головы до ног. Он мог дать себе ясный отчет в том, в каких именно условиях «бунт» может иметь шансы на успех, в каких, не претендуя на непосредственно-практические успехи

он может иметь воспитывающее или пропагандистское значение, в каких, наконец, бунт—равносилен безумию—не в смысле чрезмерного пренебрежения реальной обстановкой, в которой должен протекать самый бунт, но в смысле коренного извращения задач человеческой деятельности, безсмыслия покушения на то, что, по сути вещей, стоит над человеческой волей, над человеческими возможностями. Такова—природа и ее законы, таковы законы общественности — не временные конкретные формы, в которые человек укладывает свои исторически-преходящие достижения, но основные законы общественного бытия, действующие как силы природы.

Поэтому, в корне неправильным является представление о Бакунине, как нигилисте, как универсальном отрицателе не только законов, но и закона, как бунтаре, посягающем на принципиальные основы природной и социальной материи.

Свобода человека понимается им не метафизически, как независимость от действий «естественных законов физического и социального мира». Личность связана—«естественной необходимостью» (подчинение законам природы) и «необходимостью социальной жизни» (подчинение законам общественного бытия). В подчинении им—основа и условие нашего существования. Возмущение против них нелепая попытка поставить себя вне действия всемирной причинности, определяющей существование всех вещей. В этом смысле, человек—раб, но раб законов, стоящих не над ним, а образующих *его собственное* естество, неотделимых от условий *его* существования.

Поэтому, для Бакунина не было и не могло быть разрыва между «свободой» и «необходимостью» «Разумность» действительности также не подлежала оспариванию в его глазах, как «бунт» против действительности. Противоречие между ними было мнимым.

Биологически и социологически «разумная» действительность — а для Бакунина иной действительности не было и не могло быть — с естественной необходимостью приводила человека к отрицанию «об'ективного хода вещей» и бунту против него [1]).

Замкнутый в мировой поток причинности, обусловленный законами природы, законами социального бытия, человек, однако, протестант с момента своего рождения. И по мере укрепления в нем «человеческого» — в этом все об'ективное содержание его истории — все более совершенствуются его методы борьбы

---

[1]) Действительность — «разумна», «логична», поскольку она обусловлена соответствующим комплексом причин, поскольку имеет свою внутреннюю логику. Данная конкретная действительность, в этом смысле, есть «разумная» действительность. Такое понимание ошибочно смешивалось с Гегелевским афоризмом разумности и действительности в начале 40 гг. Белинским, а частью и Бакуниным.

с действительностью, которая по условиям момента перестает быть для него «разумной».

Так об'ективный ход вещей, мировая причинность, дав место в космическом потоке человеку, тем самым подготовила своего собственного отрицателя, постоянно прогрессирующего — в глубине своих бунтарских замыслов и совершенстве своих практических методов. Революционер — не фокус истории, стихийными силами выброшенный на ее поверхность, чтобы дать ему, «по его глупой воле пожить»; революционер влагает в свое отрицание силу своего суб'ективного исторически смысла, как продукт «разумной» действительности. Бунтарь может недостаточно посчитаться с об'ективными условиями существования, в патетическом порыве он может рискнуть пойти на «невозможное», совершить тяжкие ошибки, вскрываемые последующей историей, но самое право его на бунт — бесспорно, в силу об'ективного хода вещей, в силу имманентного человеку творческого инстинкта. Бухгалтерские просчеты, стратегические крахи, даже разгромы не опорачивают ни наших прав, ни наших реальных возможностей врываться в «разумную» действительность и пробовать по своему переставлять «об'ективный» ход вещей. Это — война, в которой победителем может быть любая сторона. Исторический опыт показал, что именно «научные теории общественного развития» являются наиболее обильным источником ошибок; об'ективный ход вещей дает торжество революционеру, независимо от степени совершенства его априорных формул.

Но подобное построение не имеет ничего общего с слепой верой, с credo quia absurdum.

«.....Что логично в природе и в истории? Это не так легко определить..... Чтобы знать это в совершенстве, так, чтобы никогда не ошибаться, надо обладать познанием всех причин, влияний и действий и противодействий, определяющих природу какой либо вещи или факта, не исключая ни одной причины, хотя бы самой отдаленной или слабой. А какая философия или наука может похвалиться, что она в состоянии обнять и исчерпать все это своим анализом?.. Надо ли из-за этого сомневаться в науке? Надо ли отбрасывать ее потому, что она дает нам лишь то, что может дать. Это было бы новым безумием и много более зловредным, чем первое».

Свобода в отношении к «разумной действительности», «естественным законам» заключается в познании их, признании и пользовании ими в целях дальнейшего освобождения. Задача науки — открытие и систематизация законов; задача практики — введение их путем народного просвещения в обиход широких масс. Успешное осуществление этих задач разрешает вопрос о практической свободе, ибо с усвоением этих законов падает необходимость в принудительных институтах современной общественности. Человек свободен, поскольку добровольно при-

знает и повинуется естественным законам; регулирование извне должно пасть [1]).

Если даже признать, что гносеологически и психологически бунт против «закона» вообще — возможен, что если не общество в целом и не какая либо общественная организация, а отдельная конкретная индивидуальность — в припадке ли исступленного логизма, теоретического или практического эгоцентризма, наконец, катастрофического аффекта, может поднять голос против самых основ бытия, против природной данности, то все же совершенно ясно, что подобный бунтарь встает не против законов и закономерности, но против самой идеи их, против самых норм своего собственного сознания.

Бакунин никогда и нигде не проповедывал такой неограниченности.

Его бунт против «науки» и «научных законов», или шире — против империалистских претензий разума вообще — был бунтом не против права науки и научного закона на самостоятельное бытие, не против стремлений науки к образованию своих «логических единств», не против их попыток, наконец, при помощи своей специфической методологии об'яснять самую жизнь. Его бунт шел против попыток подчинения жизни науке, против наивных претензий последней верить в адекватность своих законов законам подлинного бытия, против попыток раскрыть существо жизни при помощи своих, неизбежно ограниченных формул — понять мир, как «представление». Прагматический смысл научного знания был ясен Бакунину до конца. Разумеется, ограничение роли научного знания, противопоставление его скромных возможностей всемогуществу жизни не может быть оправдано с точки зрения последовательного позитивизма, но именно этот непоследовательный позитивизм проведен весьма последовательно во всем Бакунинском учении о жизни и является основной краской его философствования.

Бакунинское — «все опрокину», несмотря на соблазнительный титанизм этих слов, отнюдь не является лозунгом революционера-полубога, пытающегося потрясти междупланетные пространства.

«Все опрокину» — имеет обширные горизонты, однако, ограниченные не только об'ективными нормами бытия, но и революционным гением и здравым смыслом самого Бакунина. Оно имеет отношение ко всякой исторической форме общественности, ко всякой социально-правовой системе, хотя бы и идеально воплощавшей чаяния и указания данного момента, но только

---

[1]) См. II. 164 — 166, III. 156 — 158, 164 — 165. Ср. т. IV. 61. пр. 1, 189, 250. Здесь и далее Бакунин цитируется по единственному собранию его сочинений на русском языке, изд. «Голос Труда». Римские цифры указывают том собрания, арабские — страницу соответствующего тома. Отмечаются все места наиболее характерные по отношению к трактуемой теме.

к ним. Поскольку для Бакунина не было пределов восхождению реального человека от животного к человеческому, для него не могло быть и позитивного общественного строя, который бы ставил точку на дальнейшей эволюции человеческих обществ. Бакунин нигде этого прямо не формулировал. Борьба против властнического фетишизма слишком владела им, чтобы он, реалист, всю жизнь проведший как в палатке, — мог уделить время на рассуждение о «мирах иных», имеющих возникнуть на развалинах государства. Тем не менее, мысль о невозможности конечного анархического идеала, [1]) мысль «перманентной революции» должна, по моему убеждению, быть естественным выводом из общей философской концепции Бакунина. В этом еще более убеждают слова, стоявшие за «все опрокину» в фразе, приписываемой Бакунину Рейхелем: «пред вечностью все тщетно и ничтожно». Слишком очевидно, что слова эти имеют смысл лишь в том случае, если «все опрокину» имело в виду что-либо позитивное и историческое, не постулирующее личности, как метафизического «я». Если бы Бакунин пытался утверждать себя в качестве вневременной и внепространственной субстанции, абсолютно независимой и свободно творящей, то для таковой естественно должна была бы отпасть угроза «вечности».

Наиперманентная революция не может быть толкуема, как непрерывное отрицание, отрицание ради отрицания. Революция всегда несет в себе утверждающий смысл — не только в призывах и лозунгах, но в труде, работе по консолидации «нового». Последнее должно пройти стадию приспособления, службы, прежде чем будет отвергнуто в процессе перманентной революции, во имя новых запросов. Теоретическое отрицание в сфере мысли, практическое отрицание в сфере бунта — приходят тогда, когда, завоевания революции вступают в автоматическую фазу существования, фетишистически закоченевая.

Перманентный бунт Бакунина — есть отрицание «Царства Божия» на земле, той последней утопической точки, в которую так долго верила и продолжает еще верить социалистическая эсхатология. Но они — не прихоть вечной одержимости, неспособной остановиться на мгновение, чтобы дать себе отчет в происходящем.

За стихиями отрицания, бушевавшими в Бакунине, за его разрушительным пафосом, исследователи не чувствуют обычно мощи его устроительного гения.

Вся философия истории Бакунина сводится к двум равнозначащим для него положениям: отрицанию животности в человеке и утверждению в нем человечности. В реальной жизни оба постулата сливаются в один, ибо неизменно сопутствуют

---

[1]) Обоснование этой мысли — центральный мотив моего личного анархического мировоззрения. См. мои книги — „Анархизм“ 1918 и „Личность и общество в анархическом мировоззрении“ 1920 г.

один другому, неизменно обусловливают один другой. Таким образом в философско-исторической концепции Бакунина негативный элемент вполне уравновешен положительным.

Афоризм Ж. Елизара—«Дух разрушающий есть дух созидающий» или «Страсть к разрушению есть вместе творческая страсть», который многие толкуют, как универсальную абсолютную формулу отрицания—есть, по существу, с гениальным лаконизмом выраженная формула культуры, не имеющая ничего общего ни с нигилистической брезгливостью, ни с упрямством скептицизма. Этот афоризм, предвестник бури, превосходно раскрывает смысл Бакунинского отрицания. Разрушению имманентно творчество. Самое разрушение имеет смысл постольку, поскольку ему сопутствует созидание. На этом акцент афоризма. По меньшей мере можно говорить о равноправии обеих частей формулы, и уже никак нельзя истолковывать ее в том смысле, что Бакунин вообще не хотел строить и черпал свою силу исключительно в отрицании.

Наоборот, утверждающий пафос Бакунина могуч, убедителен, радостен. Его свобода—не только бунт против «несвободы», но устроение нового мира. Никто из социологов не сумел показать такой антропологической необходимости «второго существования», как Бакунин. Его «революционное дело»— требует не только разрушительных страстей, но и воли к устроению нового общества: «.....отрицательной страсти далеко недостаточно, чтобы подняться на высоту революционного дела; но без нее последнее немыслимо, невозможно, потому что не может быть революции без широкого и страстного разрушения, разрушения спасительного и плодотворного, потому что именно из него и, только посредством него, зарождаются и возникают новые миры» [1]).

Бакунинская проблема последовательного человеческого освобождения есть вместе с тем проблема культуры. Отрицание животности, как фактор прогресса, предполагает не только стихийные, нутряные сдвиги, не только обретение новой правды в бездонных глубинах духа, под влиянием неисследимых капризов «всемирной причинности», но и целевую борьбу, применение абстрактного «мышления» и «мускульной силы» к конкретным надобностям, накопление приемов, передачу их, дальнейшее развитие и т. д.

Бакунинская лава течет, сжигая все на своем пути, чтобы очистить место утверждению новых ценностей, а не для фетишизирования пустырей. Бакунин мог водрузить на стены штурмуемого абсолютизмом города Рафаэлевскую Мадонну, мог поднять святотатственную руку на «Тюльери, Собор Парижской Богоматери и даже Лувр», «в первые дни социальной революции», как на монументы, неотделимые в памяти парижского

[1]) См. I. 90.

пролетариата от деспотизма [1]), но подобные проекты разрушения для Бакунина не были «искусством для искусства», божественной игрой безответственного разрушительного духа.

Бакунин слишком вкусил от плодов утонченнейшей человеческой культуры, чтобы не знать действительных масштабов об'ектов своих посягательств. Однако, никакая культура, однажды достигнутая, не могла стать для него фетишем, тормозящим дальнейшие человеческие достижения. Культура — наряд, в который человек облекает свои исторические потребности. С судьбами последних связаны судьбы культуры.

Резюмируя все вышесказанное, мы думаем, имеем право, как бы это ни звучало парадоксальным для традиционных представлений, говорить о системе Бакунина, даже о Бакунинском «догматизме».

Бакунин — не гелертер, не классификатор, хотя в других условиях при гегельянской выучке и исключительной диалектической одаренности мог бы писать трактаты по всем правилам схоластической учености, Бакунин—не спокойный холодный наблюдатель. Он прежде всего и более всего — трибун, импровизатор, пред каждым писанием имевший какую-либо практическую цель. И, не взирая на загромождение своих основных тем—отступлениями, побочными вставками, сведением счетов и пр. он неуклонно, настойчиво возвращался к одним и тем же основным линиям мировоззрения, поддерживал их одной и той же аргументацией. В конечном счете, ядро его учения может быть легко выделено из общей массы его суждений и образовать то, что мы сейчас назвали его догматикой.

Свои философские позиции Бакунин определяет как позитивизм и научный материализм.

Позитивизм, именуемый Бакуниным также «рациональной наукой», «всемирной наукой», «рациональной философией», есть для него прежде всего освобождение от призраков религии и метафизики. Позитивизм—система, не принимающая ничего на веру, критически относящаяся ко всем явлениям, все свои утверждения строющая на опыте. Позитивная система—не аристократична и не авторитарна, подобно религии и метафизике; но свободна, демократична и строится «снизу вверх». Опыт, доступный каждому, ее единственное основание. Исходная точка позитивной социологии — природа, путеводная нить—собственная физиология человека [2]).

«Научный материализм»—есть «действительное основание всякой истины».

---

[1]) См. IV. 197.

[2]) См. III. 152 — 155; IV. 54. Признавая огромные заслуги «Контизма», Бакунин тем не менее относился к нему критически и под позитивизмом разумеет «научную философию» вообще.

Заостряя свое понимание материализма и материи, по преимуществу в спорах с идеалистами, Бакунин решительно отвергает идеалистическую концепцию материализма. Последняя— уродливая операция над миром опыта, в целях вящщего посрамления презренной материи. Материя идеалистов—столь же произвольное и недоказуемое представление, как Бог, Сатана, Бессмертная Душа, и пр. Их материя — «низшая, косная грубость», «бесформенная безжизненная масса», «остаток по отвлечении от реальных существ всего, что составляло их силу, движение, жизнь, ум» (и что именуется идеалистами «духом»), бездейственная и глупая по сравнению с идеалистическим богом, есть плод только их собственного, идеалистического воображения.

Бакунин понимает под материей и материальным миром «всю сумму, всю лестницу действительных существ, начиная с самых простых органических тел и кончая строением и деятельностью мозга.., все проявления действительного мира, как в человеке, так и вне его...» Материя Бакунина — «не презренная материя» идеалистов, не caput mortuum, не вымысел. Она—жива, «стремительна, вечно подвижна, деятельна и плодотворна». [1]).

В основе его общего материалистического представления о сущности мирового процесса лежит следующая «аксиома»: «Все, что существует, все существа, составляющие бесконечный мир вселенной, все существовавшие в мире предметы, какова бы ни была их природа в отношении качества или количества, большие, средние или бесконечно малые, близкие или бесконечно далекие — взаимно оказывают друг на друга, помимо желания, непосредственным или косвенным путем, действие и противодействие. Эти то непрестанные действия и противодействия, комбинируясь в единое движение, составляют то, что мы называем всеобщей солидарностью, жизнью и причинностью».

«Всеобщая солидарность»— поясняет Бакунин — эта всемирная естественная, необходимая, но отнюдь не предопределенная, не предвиденная комбинация бесконечного множества частных действий и противодействий», разумеется, не есть— «нечто абсолютное», но «производное, вытекающее из одновременного действия всех частных причин», образующих «всемирную причинность». Бакунин убежден, что в подобной конструкции космоса «нет места ни предвзятым планам, ни предустановленным, предусмотренным законам», что между построенным так «реальным всемирным единством» и «идеальным единством» религиозной и философской метафизики нет ничего общего.

Но—возможно-ли познание «всемирной причинности», если не «творящей» миры — ибо Бакунин полагает, что термины—

---

[1]) См. II. 148; V. 62—65.

«Творец», «творение» способны породить недоразумения, связанные с представлениями о жизни, даваемой извне—то дающей основной толчок, импульс—к рождению, развитию и умиранию всякого существа, всякого мира? Нет! «Абсолютную связность и бесконечность реальных трансформаций вселенной», «всегда движущуюся и действенную солидарность, всемирную жизнь мы можем разумно предполагать, но никогда не можем охватить даже нашим воображением и еще менее познать» [1]).

Атеизм Бакунина—логический вывод из его материалистической концепции мира.

Бог с его аттрибутами есть продукт не только идеалистической логики, но и логических антиномий идеализма. Ибо идеалисты одновременно постулируют бога и человечество, бессмертие и человеческую культуру, абсолютизм и свободу. Человечество у них оторвано от мира и помещено между двумя идеалистическими полюсами — божественного и животного, без понимания того, что эти выражения характеризуют одну и ту же сущность.

Бакунин производит тщательный смотр так называемым доказательствам «бытия божия», последовательно вскрывая призрачность аргументации — учений о традиции, т.-е. древности и всемирности верования, о первоначальной мировой гармонии, об абсолютном совершенстве бога и т. д.

Бог есть — продукт человеческой мысли, абстракция, порожденная в определенных исторических условиях определенными историческими причинами. Исторические позитивные религии — плод коллективного сознания, специфическое отражение некоторых сторон общественного процесса. Религиозное верование вырастает из инстинктивного и страстного протеста человека против невыносимых условий земного существования. У масс, невыросших до осознания социальной борьбы и социальной революции, божественность становится символом последующего возмездия за испытанную на земле несправедливость. Так небо «обогащается отбросами земли».

Но, вырастая из человеческого сознания, небесная символика подчиняет себе человека, его реальное существование, преобразуется в самодовлеющую сущность и неограниченно властвует над творцом, ее породившим. Отныне бог — все, мир — ничто; бог — господин, человек — раб. Религия убивает в человеке разум, производительную мощь, чувство справедливости, стремление к человечности. Идеализм, исповедующий божественность, осуждает человека на «безысходную животность».

---

[1]) См. III. 156—162, 176—177. Если уже в воодушевленном лирическом определении материи чувствовались ноты, как будто нарушавшие позитивистскую гармонию, то учением о „всемирной причинности", добываемой не из опыта, единой, бесконечной, всемогущей, замкнутой в себе, непознаваемой создается новая метафизическая сущность.

И если человек хочет быть свободным, он должен отвергнуть бога и разрушить религиозные системы.

Исторически божество стало союзником тиранов, мучителей, эксплоататоров народных масс.

Обращаясь к современным ему событиям, Бакунин ставит вопрос: «... Где были материалисты и атеисты? В Парижской Коммуне. А где были идеалисты, верующие, в Бога? В Версальском Национальном Собрании. Чего хотели парижские революционеры? Они хотели окончательного освобождения человечества, посредством освобождения труда. А чего хочет теперь победоносное Версальское Собрание? Окончательного падения человечества под двойным игом духовной и светской власти».

Теоретически и практически человеческая свобода возможна лишь при категорическом уничтожении «фикции небесного владыки» [1])

При этом Бакунин считает нужным подчеркнуть, что научный материализм в жизни проявляет себя как практический идеализм; наоборот, идеализм, несмотря на близость его к небу и на все его вербальные украшения, в действительной жизни погрязает в самом грубом материализме.

Фикциям человеческого разума, пытающимся об'яснить и оправдать мир, материалист Бакунин противополагает самую жизнь.

Здесь в самом Бакунине, как будто, происходит некая борьба. Рационалистические элементы его мироощущения пытаются отстоять свою самостоятельность.

---

[1]) См. II. 150—163, 182 — 186, 259—260, 267, 280, Ш. 149—152, 166, 176, 180. IV. 102—104; V. 60—67. Замечания отдельных критиков Бакунина о религиозном или мистическом в его воззрениях—построены на недоразумении. Не говоря уже об общей его концепции, исключающей категорически что-либо „божественное", у него имеются на этот счет и определенные указания, не оставляющие места никаким сомнениям. Еще в статье „Реакция в Германии" он писал: „Мы должны не только политически действовать, но и в самой политике нашей действовать религиозно — религиозно в смысле свободы, единственным истинным выражением которой является справедливость и любовь". См. Корнилов II., стр. 184. В письме к Э. Сторжевскому (без даты) он пишет, что, „вполне отказался от того, чтобы признавать бога научно и теоретически", но ищет его (бога) „в людях, в их любви, в их свободе и теперь.... в революции". См. Материалы для биографии М. Бакунина т. I. ред. В. Полонского 1923 г. стр. 36—37. Здесь не мистическая сущность, а мистическая терминология. Речь идет не о боге и о вере в бога, а о трудности или даже невозможности некоторых определений в терминах чистого разума. Свобода, революция, демократия и некоторые другие понятия—как законченные реальные единства—есть нечто большее, чем механическая совокупность политических, исторических, психологических и иных представлений, связанных с ними. Они говорят не только нашему разуму, но нашим чувствам, нашей воле, нашей природе в целом. Они—лозунги, мифы, обращающиеся к тому, что часто неосознано в нас самих. Их Бакунин называет „религиозными".

Выходец из привилегированного, просвещенного круга, всесторонне образованный человек, бывший гегельянец, революционер, впитавший в себя освободительные традиции эпохи просвещения, принципов 89 года, утопистов, гениальный диалектик и безграничный энтузиаст — Бакунин, конечно, не мог не отдать дани — «просвещению», «науке», «мысли», «разуму».

«Мысль» определяет место человека в животном мире. «Мысль» отделяет «человеческий мир» от всего остального органического мира. «Мысль» творит историю человечества. Увлеченный великой координирующей силой человеческого разума, Бакунин отожествляет разум, идею, логос с реальной действительностью. «Все что естественно — логично, и все что логично — существует и должно осуществиться в реальном мире: в природе, в собственном смысле этого слова, и в ее дальнейшем развитии — естественной истории человеческого общества».

«Наука»—универсальное средство освобождения человечества. — Религиозной и метафизической мысли, постулирующей «существование Бога» и тем самым полагающей ограничение прав человеческого разума, отказ от чувства справедливости, отрицание человеческой свободы, Бакунин противопоставляет «рациональную науку» и „пропаганду социализма". Рациональная философия — не авторитарна, но демократична: „она организуется свободно снизу вверх и опыт признает своим единственным основанием . . . . . Бог, Безконечное, Абсолют . . . совершенно устраняются из рациональной науки". И Бакунин кончает свои рационалистические утверждения настоящим словословием „всемирной науке": наука — „одно из самых драгоценных сокровищ", «одна из лучших слав человечества». Ее гибель была бы возвратом человечества на несколько тысяч лет назад, к состоянию предков — горилл. И поставив трагический вопрос — каковы причины медлительности в движении прогресса, приводящей в отчаяние, близкой к застою, которая составляет самое большое несчастье человечества, Бакунин отвечает: «Причин очень много. Одна из самых важных, конечно, — невежество масс. [1])

В этом преклонении перед знанием и наукой — Бакунин наследник просветительной эпохи и утопистов.

Однако, зрелый Бакунин не здесь. Рядом с рационалистическими струями в философии его бьют иные могучие потоки и в них раскрывается подлинное значение творения Бакунина. — В них черпает он силу для построения оригинальной, последовательно анархической философии истории.

Предваряя современный «антиинтеллектуализм», предвосхищая тонкую аргументацию Бергсона [2]), Бакунин пишет

---

[1]) См. II. 276; Ш. 150—158 и др.

[2]) О бергсонианских элементах в философии Бакунина см. мою книгу „Анархизм" 1918 и статью И. Гроссмана „Бакунин и Бергсон" „Заветы" 1914 г. № 5, ставшую мне известной уже после напечатания моей книги.

красноречивую страницу, посвященную автоматизму «закоченевших» идей.

«Каждое новое поколение находит в своей колыбели целый мир идей, представлений и чувств, который оно получает как наследие минувших веков . . . . . , как мир фактов, воплощенных и реализованных как в людях, так и во всех вещах, окружающих его с первых дней жизни . . . Человеческие идеи и представления были вначале ничем иным, как продуктом действительных фактов . . . . . Позже . . . . они приобретают силу, достаточную, чтобы в свою очередь, стать причинами новых явлений . . . Они кончают тем, что изменяют и преобразовывают, правда, очень медленно человеческое существование, обычаи и учреждения, — одним словом, все взаимоотношения людей в обществе . . . . И когда поколение . . . . . достигает зрелого возраста . . . , оно находит в себе точно так же, как и в окружающем его обществе, целый мир установленных мыслей или представлений, которые служат ему исходной точкой и дают ему в некотором роде сырье или ткань для его собственной интеллектуальной и моральной работы . . . . »

Эта великолепная страница, вскрывающая обусловленность духовной жизни человечества его прошлым, неразрывность связи между всеми интеллектуально-моральными достижениями человечества, огромность коллективного труда, затрачиваемого на приобретение и укрепление идей, становящихся позже общим фондом, есть вместе с тем глубочайший бунт против принятия в наследство идей — «нелепых, но неизбежных, фатальных в историческом развитии человеческого ума», идей, «освященных на протяжении веков, всеобщим невежеством и глупостью, а также хорошо понятыми интересами привилегированных классов...» и т. д.

Эта страница есть страстное возмущение против порабощения человеческих масс коллективным сознанием предшествующих обществ, против окружения каждого общества и каждого поколения общества своеобразной интеллектуально-моральной атмосферой, воспитывающей наряду с чувством безопасности, чувства рутины, срединности и общих мест. В этой неизбежной и вместе отвратительной опеке заложены глубокие препоны к реальной свободе моей, моего поколения, моего общества [1]).

И пламенный протест против закабаления настоящего обращается в открытое нападение на «идею» вообще, на ее претензии господства в жизни. Мысль создает единство, но оно не конкретно и не реально. Идея всегда — отвлечение и потому всегда — отрицание реальной жизни. Наука живет отраженной, несамостоятельной жизнью; она констатирует представления, понятия жизни, но не самую жизнь. Наука имеет определенные

[1]) См. относящиеся сюда места: II, 273—276.

границы: она должна помнить, что она не все, а только часть всего, часть жизни, бесконечной жизни миров или по крайней мере жизни человеческого общества.

Мысли и науки доступны лишь постоянные отношения и превращения вещей, но не их материальная, индивидуальная сущность, не сама реальность, не подлинный трепет жизни. Наука мыслит о жизни, но не мыслит самую жизнь. «Наука безыблема, безлична, обща, отвлеченна, нечувствительна.... Жизнь вся быстротечна и преходяща, вся трепещет реальностью и индивидуальностью, чувствительностью, страданиями, радостями, стремлениями, потребностями и страстями. Она одна самопроизвольно творит вещи и все реальные существа. Наука ничего не создает, она лишь констатирует и признает творения жизни». «Она нечто бессердечное...., она не может схватить конкретное, она может двигаться лишь в абстракциях». Вмешательство людей науки и традиционных теоретиков исторического процесса в непосредственное дело жизни — не только бесполезно, но глубоко вредно. Их формулы и доктрины опрощают и истощают жизнь. Предлагаемое и творимое ими—«бедно, до смешного отвлеченно, лишено крови и жизни, мертворожденно....»

«Ученому» правительству Бакунин выносит беспощадный приговор. Оно может быть лишь правительством аристократическим — «бессильным, смешным, бесчеловечным, жестоким, угнетающим, эксплоатирующим, зловредным». «Все источники жизни иссякли бы под их абстрактным и ученым дыханием». «Управление жизни наукою не могло бы иметь другого результата кроме оглупения всего человечества».

«То, что я проповедую — заключает Бакунин — есть бунт жизни против науки», ибо наука есть «вечное приношение в жертву быстротечной, преходящей, но реальной жизни на алтарь вечных абстракций» [1]).

Жизнь, примат жизни — центральный фокус бакунинской философии. Жизнь таит в себе неграниченные творческие потенции, она—сама творчество. Жизнь есть конкретное и реальное; она господствует над мыслью, она определяет волю. [2]).

[1]) См. I. 237, 272; II 192—197, 202; III 155, 175. Бакунин, однако, далек от того, чтобы отрицать „авторитет" вообще. У него „нет абсолютной веры ни в кого", она сделала бы его рабом, „орудием воли и интересов" другого. Но он склоняется перед авторитетом специалиста; признание последнего обусловлено свойственным современному обществу разделением труда. В настоящих условиях все должны быть по очереди руководителями и руководимыми. И если нет и не может быть „постоянного универсального авторитета, ибо не существует универсального человека", то добровольной и временной „взаимной власти и подчинения" не может не существовать. Наконец, Бакунин готов признать „абсолютный авторитет науки", но отвергает „непогрешимость и универсальность представителей науки". См. II. 168 - 171.

[2]) См. II. 74. Ср. I. 237.

В мужественных чеканных словах выражает Бакунин любимый принцип своего философствования: «Жизнь со всеми своими преходящими вздыманиями и великолепиями — внизу в многоразличии, смерть с своей вечной и несравненной монотонией—вверху в единстве».

Реальное многообразие — жизнь, логическое единство — смерть [1]).

Здесь ключ к тому понятию, которое является сущностью анархического мировоззрения — свободе. Свобода в учении Бакунина—начало и конец человеческого. Отделение человека от животного мира, образование и укрепление человеческого мира, все будущие перспективы человека—исходят из свободы, дышат свободой, питаются свободой.

Но осмыслить понятие свободы до конца, значит прежде всего осмыслить ее творца—самого человека.

Человек в общем строе природе занимает свое, особенное, более никому не принадлежащее место. Как и все остальное в мире, человек прежде всего «существо вполне материальное». В нем нет ничего, что не было бы материей, что не было бы продуктом «грубой материи». Его «великолепный ум», «высокие идеи», «бесконечные стремления» — материя, его разум, «единственный создатель всего нашего идеального мира»—«свойство животного мира и главным образом абсолютно материального мозгового механизма». Все интеллектуальные и моральные акты имеют единственным источником материальную организацию человека. Никаких форм «спиритуального или внематериального воздействия» мы не знаем, Никто никогда не видел и не мог видеть «чистого духа, освобожденного от всякой материальной формы», существующего независимо от животного тела. Одним словом, человеческий и весь остальной мир слиты воедино в общем жизненном материальном потоке.Между ними нет разрыва непрерывности. Человеческий мир есть непосредственное продолжение мира органического.

Человек — животное; по прямой ступени он произошел, если не от гориллы, то от ее сородичей; упразднить своей животности человек не может. Но.... человечество — последнее и совершеннейше проявление ее — есть одновременно все возрастающее отрицание животного начала в человеке. Человек может и должен переработать свою животность, очеловечить ее через свободу [2]).

---

[1]) В ранних письмах Бакунина имеется огромное число утверждений. предвосхищающих его последующую зрелую философию о примате жизни над абстракцией. См. особенно Корнилов. II. 58, 88, 93—94, 98, 149, 232—233, 284. В письмах из крепости—упорные и патетические гимны жизненному реализму и постоянное осуждение метафизики и абстракции. Они — вне подозрений, т. к. вполне согласуются с мыслями свободного анархического Бакунина. См. Материалы стр. 252, 255, 262, 263.

[2]) См. II. 144, 147—148, 156, 203—205, III. 154, 158, IV. 86, 106—109.

Что же образует человека из животного? Что ставит его на самостоятельную, высшую, единственную ступень в безграничной иерархии живых существ?

«Три основных принципа — отвечает Бакунин—составляют существенные условия всякого человеческого развития в истории, как индивидуального, так и коллективного: 1) человеческая животность 2) мысль и 3) бунт».

Разумеется, способность мысли и способность бунта имеют место и у других животных видов. Но только у человека ум достигает такой степени развития, когда он может быть назван мыслительной способностью. Из всех животных мыслит только человек. Только он одарен способностью к абстракции, открывающей ему дорогу к анализу, экспериментальной науке и дальнейшим теоретическим и практическим триумфам над миром вещей и миром животных. Только человек, наконец, одарен той «власгной любознательностью», которая ведет его по беспредельной лестнице познания и вооружает необходимыми средствами для подчинения себе сил природы. Эта любознательность—наиболее человеческая из всех человеческих потребностей; через нее человек становится человеком в истинном смысле этого слова. И только человек — любознательный, мыслящий может развить и укрепить в себе то чувство, потребность возмущения, бунта, которыми строится жизнь, свергается обветшавший порядок, без которых самая жизнь была бы стоячим болотом [1]).

Так среди природы, в общественных условиях, человек— животное, восприимчивый, жадный, страстный начинает творить «второе существование» строить для себя — свой новый человеческий мир, отвечающий его планам, подымающийся вместе с его собственным ростом. В этой борьбе за «свой мир», диктуемой ему «всемирным потоком жизни», «всемирной причинностью», «природой» — человек находит свою волю, утверждает свою свободу, свое «человеческое» достоинство. Так вся человеческая история есть «прогрессивное отрицание первобытной животности человека, развитие его человечности».

---

[1]) См. II. 144, 147, III. 158, 163—164, 167, 172, 178. Любопытно сопоставить эти положения зрелого Бакунина с его молодыми набросками. В „Записках“ от 4 сентября 1837 г. мы читаем: „...Жизнь есть блаженство; жить значит понимать — понимать жизнь. Нет зла, все благо; только ограничение есть зло — ограничение духовного глаза. Человек еще не свободен, но в нем лежит возможность безграничной свободы, безграничного блаженства. Возможность эта лежит в сознании. Человек есть сознательное существо. Сознание есть освобождение, возвращение духа из конечности и ограниченности определения в свою бесконечную сущность. Степень сознания человека есть степень его свободы. Гегель говорит, что одна только мысль отличает человека от животного. Различие это бесконечно, оно делает человека самостоятельным, вечным существом...“ (Курсив везде мой — А. Б.) См. А. А. Корнилов I. стр. 396—397.

Общежитие, коллективный труд, коллективное могущество являются необходимым условием рождения человеческого, планомерной борьбы, осуществления свободы. Общество есть древо, свобода — его плод [1]).

Теория прогрессивного роста человечности за счет уничтожения животности покоится на прочной материалистической базе.

Зоологический материализм, как принцип объяснения явлений социального процесса, представлялся Бакунину бесспорным. Этот «великий принцип», согласный с «научным материализмом», «единственный отправной пункт как исследований и развития позитивной науки так и революционного движения пролетариата», он формулировал следующим образом: «Как в мире, называемом материальным, неорганическая материя ... есть определяющая основа органической материи ....., так и в мире социальном, который, впрочем, может рассматриваться лишь как последняя известная нам ступень развития материального мира, развитие экономических вопросов всегда было и продолжает быть определяющей основой всякого развития религиозного, философского, политического и социального».

Он неоднократно противопоставляет ложный идеалистический принцип, выводящий явления из идей — единственно верному материалистическому принципу, утверждающему, что идеи — отражение явлений, среди которых явления экономические, материальные, есть база для всех остальных. В основе самых «абстрактных» и «идеальных» распрей всегда лежал материальный интерес. Человеческая история, в этом смысле, во всей совокупности ее явлений — есть продолжение борьбы за существование, свойственной всей органической природе. Наконец, самые принципы Интернационала и тактика его революционной борьбы были построены на признании экономического факта основополагающим фактом социального процесса.

Однако Бакунин, верный плюралистическому методу, отвечающему его общей концепции «жизни», усматривающий во всяком монизме лишь более или менее удачную попытку к установлению наиболее полезного, «логического единства», далек от того, чтобы признать принцип «экономического материализма» — абсолютным, единственным, реальным основанием всего социального процесса. Принцип — прав, поскольку он претендует на установление закономерности социального процесса, поскольку он условен и относителен; притязания его на абсолютное и универсальное значение неправомерны и ложны [2]).

Для Бакунина реальна только жизнь; в социальном процессе единственная подлинная реальность есть человек. Только

[1]) См. II. 156, 262, III. 159—160, 168—169, 171.

[2]) См. I. 247, II. 138—143. IV. 85. V, 68—70. Бакунин, как бывший гегельянец, высказывается и за диалектический метод, пытаясь показать при его помощи, как идеализм доктринерский неизбежно вырождается в практический материализм.

такой смысл может иметь его учение о систематическом и прогрессивном отрицании животного начала в человеке. Это отрицание — естественное, неизбежное и, как таковое, разумное (одновременно исторически и логически) — есть источник интеллектуально-моральных ценностей человеческого мира.

Так на почве отрицания животности — развития способности мыслить и потребности бунта строится человеческий мир с его антагонизмами и многообразными формами организации интересов. В процессе борьбы вырастает групповое, позже классовое самосознание; оттачивается классовая воля, вырабатываются классовые методы наступлений. Стихийный естественный автоматический процесс и творческая воля угнетенных масс, стремящихся к свободе — таковы реальные источники всех общественных явлений.

Возвращаемся к свободе.

«Свобода — величайшее слово, означающее великую вещь, которая никогда не перестанет воспламенять сердца всех живых людей». Вне свободы — нет добра; свобода — источник и абсолютное условие всякого добра, достойного этого наименования. Самое добро есть ничто иное, как свобода. Последний предел, высшая цель человеческого развития — свобода. Реальное освобождение человечества есть подлинная цель и высший результат истории. Итак, свобода есть цель и свобода есть путь. Весь смысл человеческого существования — в свободе; исторический путь человека есть путь непрерывного последовательного самоосвобождения.

Но понятие свободы требует формального определения. У Бакунина оно укладывается в гениальную по лаконизму и меткости характеристику: «Свобода неделима: нельзя урезать часть ее, не убивая целого».

Свобода есть сама жизнь. Как жизнь она — целостна, неделима, неповторима. Нельзя расчленить ее; покушение на самый, хотя бы незначительный клочок ее, означает отрицание ее, гибель ее в целом. Библейской Еве было воспрещено касаться плодов только одного дерева, но это запрещение было равносильно полному отрицанию ее свободы. Ее непослушание было подлинным восстанием; оно открыло путь человеческой свободе.

Положительное содержание свободы заключается в утверждении человечности, т.-е. утверждении справедливости и добра.

Оба начала — не плод логической спекуляции и не наследие теологических или юридических принципов. Они вполне реальны и коренятся в самой животности нашей природы. Эгоизм и общественность неотделимы от всех животных обществ, но только в человеческом получают осознание и законченное оформление. Справедливость, предполагаемая свободой, имманентна человеческому сознанию; смысл ее — уравнение людей в правах на материальные и духовные средства, необходимые для развития

их человечности. Справедливость есть «полная свобода каждого среди полного равенства всех». Для Бакунина она — естественный шаг в развитии личности, ее переход от экономического обособления к свободному союзу. Любовь неотделима от справедливости, ибо истинная реальная любовь предполагает равенство людей. Любовь высшего к низшему есть деспотизм, любовь низшего к высшему есть рабство [1]).

Так утверждаемая свобода естественно предполагает общественную организацию.

Исторический человек, «самое индивидуальное» и «самое свободное» из всех существ животного мира, вместе с тем и самое социальное из них. Общество — естественный и единственно известный нам образ сосуществования людей, управляющийся собственными законами, имеющими стихийную силу законов природы. Человек становится таковым лишь коллективной деятельностью всего общества.

Общественное могущество — беспредельно. С момента рождения человек приобщается к могучему, универсальному, с стихийной силой действующему фонду верований, учений, навыков, отобранных и накопленных предшествующими поколениями, образующих основу его индивидуального существования. Фатально лишенный выбора, человек естественными корнями прикреплен к обществу, которым он рожден; последнее налагает на него неизгладимую печать.

Коренной бунт против общества так же невозможен, как бунт против природы, ибо к обществу, как к природе неприложимы общепринятые моральные критерии — добра и зла. Общество есть «бесконечный и положительный и первоначальный факт, предшествующий всякому сознанию, всякой идее, всякой интеллектуальной и моральной оценке; это — самая основа, это — мир».

Самая истина, поскольку она не кабинетная абстракция, не логическое единство, обращающее в мертвецкую самую пеструю и беспорядочную жизнь, а продукт реального опыта, обязана своим происхождением, надличному общественному процессу. Истина рождается стихийно из потребностей масс. [2])

Общественная жизнь есть непрерывная взаимозависимость людей. Это — своеобразная атмосфера, вне которой человек не может дышать. В общественных условиях существования рождается духовный мир человека: его способность мысли, его потребность бунта. И потому они — неизбежная предпосылка его свободы, его человечности. Самая свобода, ее мера познается лишь в сосуществовании с другими.

---

[1]) См. II. 195 — 196, 262, 289; III. 123, 145, 168, 183 — 187, 215; IV. 61, 260.

[2]) См. письма Бакунина к Герцену. Герцен. Собрание сочинений ред. Лемке. т. XIX. стр. 155, 319, 352.

«. . . Вне общества человек вечно бы остался диким животным или святым, что почти одно и то-же . . . . Изолированный человек не может сознавать своей свободы . . . . Свобода не может быть фактом уединения, но взаимодействия, не исключения, но напротив того соединения . . . Я человек и свободен сам постольку, поскольку признаю свободу и человечность всех людей, окружающих меня. Лишь уважая их человеческое естество, я уважаю свою собственную человечность . . . . Моя личная свобода, подтвержденная . . . . свободой всех, становится беспредельной» [1]).

Беспредельность общественного развития обеспечивает беспредельность развития и самого человека. — В этом смысле человек есть постоянное становление. До смерти он не может почитаться законченным, его природа неисчерпаема. Здесь источник ее единственности, требующей любви и уважения [2]).

Число формул, в которых Бакунин, по собственному выражению «фанатический приверженец свободы», варьирует ее определения — можно увеличить по желанию, но довольно приведенных, чтобы почувствовать могучие родники оптимизма, бьющие в призывах его к коллективному труду над осуществлением свободы.

Задача эта неисчерпаема, бесконечна. Судьба человека, осознавшего до конца свое назначение, звучит волнующей поэмой:

«Мимолетное и неприметное существо среди безбрежного океана всемирной видоизменяемости, с неведомой вечностью позади него и такой же неведомой вечностью впереди, человек мыслящий, деятельный, сознающий свое человеческое назначение, остается гордым и спокойным в сознании своей свободы, которую он сам завоевывает, просвещая, подкрепляя, освобождая и в случае нужды бунтуя окружающий его мир. Вот его утешение, его награда, его единственный рай» [3]).

Однако для практического осуществления свободы мало осознания своего человеческого назначения, мало осознания своих прав и прав стоящих рядом. Мысль должна перейти в действие, человек должен стать — бунтарем. «Бунт человеческой индивидуальности против всякой — божеской и человеческой, коллективной и индивидуальной власти» — есть необходимый отрицательный момент свободы [4]).

---

[1]) См. II. 262 — 275; III. 183 — 186; IV. 35, 53, 71, 250; V. 48 — 49. В одном из писем к своим в 1845 г. он писал: „Женщины почти везде рабы . . . . , без их полной безграничной свободы наша свобода не возможна . . . . “ Корнилов. II. 291.

[2]) См. письмо из крепости к родным неизвестной даты. Материалы. стр. 254. Ср. ранние взгляды Бакунина; Корнилов. II. 192, 217, 238, (перев. стр. 234 пр. 1), 284.

[3]) См. III. 179.

[4]) См. II. 267.

Власть, независимо от ее характера, есть отрицание свободы. И потому бунт за свободу против любой формы власти — есть основное требование человеческой природы, поскольку в ней заложен инстинкт к самоосвобождению.

Власть — зло, несущее с собой двоякую деморализацию.

С одной стороны, она развращает властителя, прививая самому просвещенному, бескорыстному и чистому деятелю — презрение к народным массам, преувеличение своего собственного достоинства. С другой, она есть безусловное отрицание основного принципа человеческой морали — уважения в каждом его человеческой природы, признания за каждым — даже в случаях его нравственного падения — возможности возвыситься до осознания своей человечности. Власть с ее неизбежным самообольщением одним фактом своего существования упраздняет принцип «человеческого уважения» [1]).

Микробы власти рассеяны на всех исторических ступенях человеческого общежития. Зародыши авторитарной психологии знают самые ранние общества. Новейшие исследования — этнографические, антропологические, социологические — не оставили камня на камне в наших представлениях о первобытных идиллиях, где все дышало, якобы, буколической простотой, любовью, кристалльной ясностью отношений. В этих обществах не было еще до конца осознанных антагонизмов, не было группового самосознания — неизбежной предпосылки классовой борьбы, в современном понимании этого слова — но были — вожди, герои, пастыри, старики, и были — пасомые, рядовые, чернь. Пусть поднятие на щит было премированием — организационного таланта, военной доблести, ораторского блеска на совете, но сам вождь и товарищи, прокламировавшие его вождем, чувствовали отныне пропасть, ложившуюся между ними и знали, что горе ждет пасомого, если он преступит закон добровольно признанного вождя. В самых ранних тотемических обществах — нарушение правил о тотемных пищевых площадях, о тайне хранения фетишей (чуринги), междугрупповых брачных отношениях и пр. и пр. грозили ослушнику — изгнанием, тяжким членовредительством, смертью. Легенда о «золотом веке», не знающем — добра и зла, принуждения, морали, предшествующем новой истории — полной крови, греха, преступлений — давно пали.

Бакунин, не знавший новейших исследований, тем не менее нисколько не заблуждался насчет истинного социального содержания эпох «зари человечества». Прозорливый судья человеческой природы [2]) он менее всего мог полагать, что власть есть

---

[1]) См. III. 202 — 203.

[2]) Кропоткин сказал про Бакунина: „Разве люди, которых он вдохновлял в Италии, в Швейцарии, во Франции, разве Варлен, Э. Реклю, Кафиеро, Малатеста, Фанелли, Гильом, Швицгебель и др., сгруппировавшиеся вокруг него в знаменитой Alliance не были лучшие люди латинских рас в эту великую эпоху. Мне кажется, что его оценка людей была поразительно верна". См. I. 8. Курсив Кропоткина.

злой фантом, внезапно выросший в истории. Он знал, что властнический инстинкт — необходимый элемент животной природы, неразлучно связанный с борьбой за существование.

«. . . . Инстинкт повелевать другими, в своей первоначальной сущности есть плотоядный инстинкт, животный инстинкт дикаря». В последующей истории он принимает разнообразные формы, внешне смягчаемые и облагораживаемые. Но по существу он остается столь же зловредным; его действие даже усиливается, благодаря применению науки [1]).

«Если есть дьявол во всей человеческой истории — патетически восклицает Бакунин, так это властнический принцип. Он один вместе с тупостью и невежеством масс, на чем он, впрочем всегда основывается и без чего не мог бы существовать, он один породил все несчастья, все преступления и все постыдные факты истории» [2]).

И нигде состояние «несвободы» не отливалось в такую законченно и откровенно ценическую форму, как в государстве современного типа, в котором поповская или светская религия, обычаи, нормы права, мораль, научно-философская аргументация, обывательские покорность и прекраснодушие — все соединилось, чтобы оправдать исторически, логически, психологически непобедимый фетиш в сознании подавляющего большинства граждан.

Неудивительно, что в представлениях Бакунина, кипевшего чувством свободы, властнический принцип и современное государство идентифицируются. Государство становится квинт-эссенцией отрицающего его и отрицаемого им. Никто никогда, не исключая Ницше, не дал таких убийственных, всесторонне уничтожающих характеристик государства, как Бакунин.

Государство — «. . . . абсолютное ограничение, отрицание свободы каждого во имя свободы всех или общего права. . . . . Где начинается государство, кончается индивидуальная свобода и наоборот» [3]).

Государство — «. . . не живое целое . . . , не естественное человеческое общество . . . , это заклание как каждого индивида так и всех местных ассоциаций; абстракция, убивающая живое общество ограничение или лучше сказать полное отрицание жизни и права всех частей, составляющих общее целое, во имя так называемого всеобщего блага . . . . . ; это алтарь политической религии, на котором приносится в жертву естественное общество; это всепожиратель, живущий человеческими жертвами, подобно церкви . . . . ; это — меньший брат церкви» [4]).

Истрепанный аргумент в защиту демократической доктрины — необходимость ограничения части свободы — для обе-

---

[1]) См. о „буржуазной" науке IV. 48.
[2]) См. IV. 255. V. 6.
[3]) См. III. 186.
[4]) См. IV. 88.

спечения остального — свободы в целом, Бакунин отводит неотразимой формулой, приведенной выше: «Свобода неделима: нельзя урезать часть ее, не убивая целого».

В этом смысле, для Бакунина все формы государства безразличны. Демократическое государство, основанное на всеобщем избирательном праве, может быть столь же деспотичным, даже еще более деспотичным, чем «монархическое государство». Демократическое государство также построено на «преобладании», «господстве» и «насилии», т. е. «скрытом деспотизме». Оно может стать самым невыносимым, самым страшным и самым безаппеляционным деспотом, если под предлогом представительства всеобщей воли, оно «будет давить волю и свободное движение каждого из своих членов всей тяжестью своего коллективного могущества». Республика имеет цену чисто отрицательную — поскольку она есть разрушение, уничтожение монархии. Но падение монархии не знаменует еще утверждения свободы и справедливости [1]).

Беспощадно Бакунин изобличает лживую природу «народного государства». В «Альянсе», возражая против компромиссной политики, в частности каких-либо союзов с буржуазией, выгодных лишь ей, а не традиционно обманываемым массам, он в нескольких словах разделывается с модным тогда демократическим лозунгом. Народное государство — «противоречие, фикция, ложь,.. очень опасная ловушка для пролетариата. Государство, каким бы народным его ни делали по форме, всегда останется институтом господства и эксплоатации и, следовательно, для народных масс вечным источником рабства и нищеты» [2]).

Бакунин не делает исключения и для диктатуры пролетариата, долженствующей, по убеждению, социалистов государственников, стать переходной формой к утверждению бесклассового социалистического строя. И здесь пролетариат — думает он — неизбежно станет игрушкой стихийных сил, невольно сыграет предательскую роль по отношению к своим же собратьям. Рабочие, попадая в учредительные и законодательные собрания, становясь государственными людьми, неизбежно делаются «буржуями и, быть может, станут буржуазнее самих буржуев».

Любая диктатура—личная или коллективная—«узка, слепа, неспособна ни проникнуть в глубину народной жизни, ни обнять

---

[1]) См. I. 98—99, 136—137, 208. II. 43—44. III. 123—126, 187. Бакунин однако указывает, что его критика государства вообще и демократического государства в частности, вовсе не предполагает принципиального уравнения между монархией и демократическим государством:.. „Самая несовершенная республика—в тысячу раз лучше чем самая просвещенная монархия". Монархия есть постоянное угнетение, республика знает моменты относительной свободы. Демократический режим пытается поднять массы до общественной жизни, монархия этого не делает никогда. См. III. 201.

[2]) См. V. 19—20.

всей ее ширины». Именно поэтому официальные акты даже революционной власти пробуждают в массах чувство протеста. Революция перестает быть революцией, действуя деспотически. Социальная революция может быть плодом только непосредственного творчества народных масс. Революция организуется только снизу вверх [1]).

Всякая иная аргументация в защиту государства представляется Бакунину несостоятельной.

Было бы бессмысленным пытаться оправдывать государство тем, что оно ограничивает лишь ту свободу, которая направлена «к несправедливости, к злу», и наоборот, обеспечивает деятельность, направленную к добру и справедливости. Подобная аргументация отводится прежде всего основной концепцией свободы, не знающей расчленений или ограничений, чем бы они не мотивировались, иначе свобода перестает быть таковой. Подобная защита государства — лишь подновленные варианты старых тем: о свободе Евы, которой было воспрещено вкушать плоды т о л ь к о одного дерева, о женах Синей Бороды, которым было запрещено заглядывать т о л ь к о в одну комнату дворца и т. д. и т. д.

Эта аргументация бессильна и лицемерна также и с исторической точки зрения.

Все теоретики «общественного договора», начиная с предшественников Руссо и кончая его последователями, готовы утверждать, что до момента добровольного — свободного и сознательного создания государства — различия между добром и злом вообще не существовало. Это и был именно тот фантастический «золотой век», в котором, «эгоизм был верховным законом, единственным правилом; добро определялось успехом, зло — одной только неудачей и справедливость была ни чем иным, как признанием совершившегося факта». Общественный договор открыл эру различения добра и зла. Было сконструировано понятие «общего блага», отныне оно было провозглашено верховным критерием при определении целесообразности и нравственности любого акта. Все, что вело к обеспечению и защите общего блага, было добром; все противное этому благу было признано злом [2]).

Так родилось современное «светское или атеистическое» государство, отбросившее космополитическую мораль христианства, но не возвысившееся до морали гуманитарной. Государство

---

[1]) См. IV. 20, 177, 185, 257 и др. В д о а н а р х и ч е с к и й период Бакунин высказывался за возможность или желательность диктатуры. Таково, например, известное место в его „Исповеди". Такой же характер носили его предположения о возможности диктатуры Муравьева-Амурского, в которого он первоначально, повидимому, верил, полагая, что радикальная диктатура была бы предпочтительнее расхлябанного, неустойчивого, непросвещенного деспотизма.

[2]) См. III. 184—188.

в своем обособленном замкнутом существовании — слишком узко, чтобы уметь охватить интересы всего человечества и осуществить, таким образом, требования всечеловеческой морали.

Итак, в современном государстве — христианство лишь — «предлог и фраза». Действительным основанием государственной морали, новым фетишем, похоронившим все остальные, подчинившим себе все запросы и требования человечности, как таковой, обусловившим всю историческую практику государств, является—«государственный интерес». Чтобы защитить этот «интерес», чтобы отстоять свою «ограниченность», свой «коллективный эгоизм», государство не только жертвует индивидуальной свободой, но вооружается с головы до ног и пользуется любым случаем отхватить чужой кусок, не останавливаясь перед кровью и жертвами. Государство—немыслимо вне империализма. «Государство должно пожирать, дабы не быть пожранным, завоевывать, чтобы не быть завоеванным, порабощать, чтобы не быть порабощенным... Государство — это самое вопиющее, самое циническое и самое полное отрицание человечества... Оно признает человеческое право, человечность и цивилизацию лишь внутри своих собственных границ... Чужие народности... оно может по своему произволу громить, уничтожать или порабощать»... «Не существует ужаса, жестокости, святотатства, клятвопреступления, обмана, низкой сделки, циничесого воровства, бесстыдного грабежа и грязной измены, которые бы не совершались, которые не продолжались бы ежегодно совершаться представителями государств, без всякого другого извинения, кроме эластичного, столь удобного и вместе столь страшного слова: государственный интерес» [1]).

Так выростает исторически огромная, неумолимая, всепроникающая, самодовлеющая сущность, доминирующая над людьми, над их устремлениями, свободой, жизнью, высасывающая как вампир из людей все, что есть в них наиболее драгоценного и оригинального, и отдающая все это в жертву отвлеченной бухгалтерской средине. Так живет государство — систематическим грабежом и насилием, то под лицемерной маской утверждения призрачных свобод и равенства, то под лживыми предлогами ограждения от зла и стимулирования добра, то, наконец, просто в силу присущего государству циничесого самодовольства. И потому нельзя мечтать, чтобы из государства, порочного в своей основе, тем более деспотического и аггрессивного, чем более зрелой и совершенной является его конструкция, могла родиться надежда на освобождение человека, утверждение человечности. Прав Маккиавелли — «преступление... есть необходимое условие политической мудрости и истинного патриотизма..., могущественные государства поддерживаются лишь преступлением» [2]).

---

[1]) См. I. 69—70, 117, III 190—191; IV. 89, 234.
[2]) См. I. 84, II 270, III 34, 192.

В прошлом государство имело могучего предшественника и продолжает иметь его своим союзником поныне — церковь. Сущность их одна и та же; их цели и средства совпадают; судьбы их—однородны. Церковь и государство равно убеждены, что человек от природы дурен, что необходимы особые меры для спасения человека от него самого, его собственной испорченности. Они равно убеждены, что свобода человека должна быть принесена в жертву, для преображения его: согласно церковного идеала—в святого, согласно государственного—в добродетельного гражданина, не взирая на то, что во все времена церковь и государство были «главнейшими рассадниками пороков». И совершенное государство не может жить без религии, ибо Божественное Провидение постоянно санкционирует государственные акты.

«Государство, младший брат церкви,.. есть историческое освящение всех деспотизмов и всех привилегий, политическое основание всех экономических и социальных порабощений, самая сущность и центр всякой реакции»... «Государство... есть громадное кладбище, где происходит самопожертвование, смерть и погребение всех проявлений индивидуальной и местной жизни.. Государство, это абстракция, пожирающая народную жизнь... Государство есть выражение всех жертв личности [1]).

Бакунин, чуждый наивному гипостазированию фикций в самодавлеющие реальные сущности, превосходно понимал, что за государством—абстракцией стоит всегда определенный реальный некто, извлекающий из государственного фетишизма для себя и своих присных недвусмысленные, хорошо осязаемые выгоды. Государство и его институты защищают реальные интересы класса. Система, при помощи коей привилегированный класс осуществляет свои намерения, именуется патриотизмом.

Бакунин дает себе ясный отчет в сложности понятия патриотизм. Он различает в нем четыре основных элемента: естественный или физиологический, экономический, политический и религиозный или фанатический.

Естественный патриотизм — первоначальная животная страсть, свойственная всем ступеням животной жизни и являющаяся элементарным проявлением борьбы за существование—всемирного пожирания друг друга. В условиях человеческого общежития естественный патриотизм есть «инстинктивная машинальная и совершенно лишенная критики привязанность к общественно принятому, наследственному, традиционному образу жизни и столь же инстинктивная машинальная враждебность ко всякому другому образу жизни».. Естественный патриотизм есть наиболее яркая форма человеческой ограниченности, а, следовательно, и отрицания человечности. Однако в наши дни этот патриотизм есть, по преимуществу, удел дикарей или

[1]) См. II. 56, 219—220. III 194—195, IV. 89—90, 258, 260, 264.

полудикарских слоев, сохранившихся благодаря нищете и невежеству в цивилизованных обществах.

Как правило, патриотизм в наше время несет на себе печать классовой целесообразности. Он принимает тот или другой характер, в зависимости от ценностей, которые под его маской защищает привилегированный класс. Переростая рамки классовых требований, этот патриотизм становится политикой и вместе «высшей моралью» государства. Патриотическое чувство отныне долг гражданина, обязывающий его на любые жертвы. В капиталистическом обществе единственно искренним и натуральным патриотом является буржуа, защищающий при помощи своего государства свои политические и социальные привилегии. И потому — национализм, националистический шовинизм, патриотизм, как классовые методы буржуазии, исчезнут только с гибелью капиталистического общества[1]).

Отдельные критики доселе находят quasi — противоречия во взглядах Бакунина на «национальный вопрос». Говорят о его пристрастии к славянам, в частности к России, ненависти к немцам и пр. Если оставить в стороне отдельные, чрезмерно заостренные, как все у Бакунина, выражения и ознакомиться со всей совокупностью его взглядов и рассуждений на этот предмет, отсутствие у Бакунина каких бы то ни было шовинистических нот—становится бесспорным. Было бы нелепо говорить о «русском патриотизме» Бакунина после его вдохновенной речи 1847 г. на польском банкете, его Исповеди, его суровых суждений по адресу России в позднейших, уже анархических писаниях. Он признает, что «имя русского стало синонимом грубого угнетения и позорного рабства», он не жалеет выражений для русского царя, православной церкви, высших классов, русского государства в целом: «Казенное повсеместное воровство, казнокрадство и народообирание есть самое верное выражение русской государственной цивилизации»; «русская империя представляет собою и осуществляет варварскую, антигуманную, постыдную, ненавистную, подлую систему». Этих публичных категорических заявлений довольно. Бакунин верит, правда, в огромные возможности русского народа, темного, забитого нищетой и варварским управлением, но являющего собой «могучий своеобразный мир... дышащий весенней свежестью..., свободный от предрассудков», вступившихся в западно-европейскую культуру. Он верит, что русский народ внесет в историю «новую веру, новое право, новую жизнь». Но он имел право сказать о себе: «Я—сторонник русского народа, а не патриот государства или Всероссийской Империи и не думаю, чтобы нашелся кто-нибудь, ненавидящий ее более, чем я». Сомнительно, чтобы такую любовь к русскому народу и веру в его будущую историческую роль, обусловливаемую культурной его молодостью,

[1]) См. I. 72. III 190—193, IV 90—101, 136.

не вскрытыми еще до конца его силами, можно было квалифицировать, как особое пристрастие к своему. Совершенно также относится он к Германии. Да, по адресу немцев у него рассыпано немало беспощадных характеристик. Но оставляя в стороне социалистов Германии, с которыми у него были особые счеты и которые, во всяком случае, в долгу у Бакунина не оставались, он критиковал Германию — « официальную, бюрократическую, военную, дворянскую, буржуазную», он критиковал «Кнуто-Германскую Империю», «немецкий патриотизм», немецкого чиновника и немецкого офицера—последнего больше всего, наконец, благочестивые, шовинистические и бюрократические теории немецкого университета, но никогда Бакунин не клеймил «Германию народную», народные массы. Империя— русская и германская со всеми их аттрибутами—одно, народ — русский и германский—жертвы отечественных политических систем — другое. Сравнивая немца и славянина, он, действительно указывал, что первый «свободно с'ел палку», в то время как другого «надо держать под палкой». Но эта общая характеристика, быть может чрезмерно суб'ективная, вовсе не делает выводов о необходимости уничтожения немцев, как таковых, или о совершенной их интеллектуально-моральной негодности. Напротив, он неоднократно отмечает положительные качества немецкого народа: они «серьезные и работящие, учены, бережливы, порядливы, отчетливы и расчетливы», «их военная и административная организация доведены до наивозможнейшей степени совершенства, степени, которой никакой другой народ никогда не достигнет». Даже для ненавистного Бакунину немецкого офицера он находит такие выражения: «Немецкие офицеры превосходят всех офицеров в мире положительностью и обширностью своих познаний, теоретическим и практическим знанием военного дела, горячею и вполне педантическою преданностью военному ремеслу, точностью, аккуратностью, выдержкою, упорным терпением, а также и относительной честностью. В конце концов, замечания Бакунина об отсутствии у немцев пафоса свободы, о любви их к муштровке и дисциплине. о преклонении за страх и за совесть перед силой—совпадают до конца с характеристиками таких современников, как Штирнер, Гейне, Берне, из которых, по крайней мере двух последних, никто не решится назвать плохими немецкими патриотами [1]).

Наконец, пресловутый бакунинский ранний «панславизм», угрожавший, якобы, существованием германскому миру, не был ни метафизическим построением, ни мистическим мессианским идеалом, ни шовинистическим воплем, а простым реальным актом самообороны, в основу которого было положено убеждение

[1]) См. 1. 99, 113, 138, 154—164, 186, 194—198, 219—223; 11.99— 100; 111. 39—46,84. См. т. его замечательную характеристику русского народа еще от 1845 года. Корнилов. 11. 298—299. О политической молодости русского народа см. Материалы стр. 9.

о возможности самостоятельной культуры для многомиллионной народной массы.

«Я желаю германского могущества и германского величия— писал он — но не угнетения славян Германиею». Его любовь к славянам и в частности к русским была всегда меньше его любви к «вольности» и «демократии» [1]).

В об'ективно психологическом смысле решающим отводом против упреков зрелого Бакунина в «национализме» была, конечно, вся его международная революционная деятельность, не знавшая черты оседлости.

Могущество современного государства не препятствовало Бакунину установить правильные перспективы на будущие судьбы его. Государство—исторически необходимо. Оно также необходимо, как первобытная животность человека, его изначальная ограниченность, как долгие теологические блуждания людей. Но государство порочное по существу, в самом себе автоматически несет и лечение против исторического зла. Государство обречено на гибель, оно должно исчезнуть, ибо самым существованием своим оно будит чувства протеста, воспитывает бунтарей, подготовляет революцию [2]).

Учение Бакунина о революции неразрывно связано с его учением о бунте.

Бунт не есть только конкретный исторический взрыв групповой или классовой воли против угнетения. Бунт в представлении Бакунина есть нечто онтологическое, основная стихия человеческой природы, вне существования которой невозможно образование и дальнейшее бытие «человека». Бунт—первичный инстинкт, оторвавший человека от животности, определивший его особое бытие, строющий его культуру [3]).

Однако наличности этого могучего первоначального инстинкта—недостаточно для осуществления революции. Для этого мало — нищеты с призраком голодной смерти, мало страстного чувства отчаяния. Мало, наконец, желания революции, воли революции.

«Революции не импровизируются». «Революции не детская игра». Необходимо еще цельное, осознанное до конца антагонистическое чувство, способное поднять не отдельные раздраженные группы, но широкие народные массы. Необходимо классовое самосознание, т.-е. понимание непримиримости интересов данного класса интересам всех других классов, понимание, вырастающее из повседневного классового опыта.

«Необходим еще **общенародный идеал**, вырабатывающийся всегда исторически из глубины народного инстинкта..., нужно общее представление о **своем праве** и глубокая стра-

[1]) См. **Материалы**, стр. 21, 34, 47, 49. Ср. т. А. **Боровой** и Н. **Отверженный**. Миф. о Бакунине. 1925 г. стр. 134—138.
[2]) См. 11. 270. 111. 192.
[3]) См. 11. 111, 147.

стная, можно сказать, религиозная вера в это право. Когда такой идеал и такая вера в народе встречаются вместе с нищетою, доводящею его до отчаяния, тогда Социальная Революция неотвратима, близка и никакая сила не может ей воспрепятствовать» [1]).

Наконец, антагонистическое чувство, выросшее до силы убеждения в «своем праве», толкающее массы к революции, естественно предполагает необходимость организации интересов или организации класса.

Существует своего рода традиционное убеждение, что анархическое учение вообще и учение Бакунина, в частности, не уделяют или уделяют слишком мало места вопросам организации.

Эта точка зрения представляется по меньшей мере странной в отношении к Бакунину, хотя бы уже благодаря выдающейся его роли в I Интернационале и Альянсе.

Но помимо общих соображений, в сочинениях Бакунина имеется немало мест, где принципиальное значение «организации» получило специальное и всестороннее освещение.

Несмотря на отсутствие законченной теоретической формулировки понятия общественного класса, Бакунин не только до конца понимал классовую структуру капиталистического общества, но с присущей ему гениальной проницательностью умел вскрывать самые сложные, замаскированные ходы капиталистической политики.

Капиталистическое общество есть прежде всего система антагонизмов — буржуазии и пролетариата. Никакие компромиссы между обоими классами невозможны. Бакунин рисует буржуазию и формы ее эксплоатации беспощадными чертами. Он говорит о ее «ненасытной жадности», «жестокой и подлой скупости», «свирепости», о ее ненависти к эксплоатируемым ею массам, о ее паническом страхе перед последними.

Он готов признать крупные заслуги буржуазии перед цивилизацией, но в настоящее время, выполнив до конца свою историческую роль, она самым смыслом вещей обречена на смерть. Непонимание или нежелание понять единственность этого исторического выхода для нее обусловливает «глупость», «постыдную немощность» ее классовых актов. И так как никогда, ни при каких условиях привилегированный класс не кончает с собой самоубийством, то пролетариат во имя равенства должен потребовать смерти буржуазии и убить ее, как буржуазия некогда во имя равенства убила феодализм [2]).

В статье «Организация Интернационала», отвечая на вопрос, что именно мешает угнетенным массам свалить ненавист-

---

[1]) См. I. 94—95; IV. 21; 177. Курсив везде мой.—А. Б.
[2]) См. II. 26—27, 249, 287, 111. 133—136. IV. 5—8, 26—27, 214, 223. V. 167.

ный им буржуазный порядок, он отвечает: отсутствие организации и науки. Как современное государство для осуществления своих агрессивных и оборонительных задач организует военную и бюрократическую силу, так пролетариат должен создать для борьбы с эксплоатирующей буржуазией международную организацию без различия профессий и национальностей. Такова именно задача пропагандируемого Бакуниным «Международного Товарищества Рабочих». Совершенно очевидно, что не только международная организация пролетариата, но и местные формы об'единения не придумываются теоретиками и филантропами. Они прежде всего—плод определенного экономического развития; они—результат самостоятельного пролетарского опыта; они требуют оформленного классового самосознания. Международная организация предполагает: 1) наличность национальных союзов, т.-е. подготовленного пролетарского авангарда, 2) инициативу отдельных лиц, преданных пролетарскому делу [1]).

Чрезвычайно важно отметить, что везде, где Бакунин говорит о социальной революции, пролетарском деле, пролетарской организации, он всегда имеет в виду — не только индустриальный пролетариат, но и революционные слои крестьянства.

С пророческой, несокрушимой силой он говорит о необходимости теснейшей «смычки» рабочих и крестьян для социальной революции. Он отдает себе отчет в реальных качествах современного ему крестьянства—его темноте, мелко-буржуазных навыках, неорганизованности, способности служить реакции (главным образом, вследствие неправильной тактики по отношению к нему городского социализма), но он ценит его «глубоко социалистический инстинкт», его «первобытный естественный социализм», его неукротимый анархический темперамент, просыпающийся в важные исторические моменты. Более просвещенный рабочий класс должен взять на себя инициативу сближения—необходимого, в интересах социальной революции. Он не должен навязывать силой крестьянству свой общественный идеал; революция не смеет быть деспотической и несправедливой. Пролетариат должен суметь пробудить в крестьянстве дремлющие в нем революционные силы, толкнуть его на самостоятельное разрушение отжившего общественного порядка. Только в союзе индустриального пролетариата с крестьянством социальная революция непобедима [2]).

В письме к Элизе Реклю, с небольшим за год до своей смерти, после широкой картины мировой реакции, набросанной с несравненным мастерством, Бакунин дает замечательный

---

[1]) См. V. 30—35. Бакунин отдает должное в строительстве Интернационала Марксу, Энгельсу и Ф. Беккеру, не взирая на глубочайшие разногласия между ними и на то, что он считал, что уже в ближайшем будущем он будет вынужден „бороться против них".

[2]) См. IV. 169, 173, 174, 178—179, 185—187, 222—223.

прогноз будущей социальной революции, до конца оправданный современными нам событиями.

«Выйти из этой клоаки оно (человечество) сможет только с помощью колоссальной социальной революции. Никогда международная реакция не была так грозно вооружена против всякого народного движения... А что у нас есть для нападения на эту неприступную крепость? Дезорганизованные массы... Остается другая надежда: всемирная война. Эти колоссальные военные государства рано или поздно должны будут уничтожить и пожрать друг друга. Но какая перспектива!».

Эти строки с достаточной убедительностью свидетельствуют, с одной стороны, о трезвости, с которой «бурнопламенный» Бакунин умел смотреть на реальную действительность, с другой, о глубокой верности его интуиции, достигающей силы научного предвидения.

Организация пролетарского Интернационала, преследующего задачи разрушения всякого господства, должна существенно отличаться от государственной организации. Последняя строится на принципе власти, первая — на принципе свободы. Интернационал есть естественная организация масс, организация по роду их занятий, по ремеслам. Такая организация, диктуемая непосредственной жизнью, не является чем-то внешним по отношению к рабочим, она не усваивает начальнического тона и действует на об'единившиеся в ней массы не принуждением, но убеждением. Государство в лице его органов требует от масс пассивного повиновения, убивая их инициативу и их свободу. Рабочий Интернационал обращается прежде всего к инициативе и самодеятельности пролетариата. Интернационал—орган пролетарского возмущения. Расширение его, углубление, вовлечение в него широких масс, есть его основная задача. Государство немыслимо вне определенных границ, Интернационал разрушает все границы. Государство организует жизнь сверху вниз, подчиняя ее единому централизованному плану. Интернационал строит снизу вверх, исходя из реального учета жизненных своеобразий.[1])

Позже, уже по исключении из Интернационала Юрской Федерации в 1873 г., в прощальном письме к швейцарским товарищам, Бакунин настойчиво указывает, что пролетариат особенное внимание должен направить сейчас не на идеи, которых за 9 лет в Интернационале было развито больше, чем «их требовалось бы для спасения мира, если бы одни идеи могли его спасти», но на «организацию сил пролетариата», которая «должна быть делом самого пролетариата». «Бесконечно слабые, как отдельные лица, местности или страны», пролетарии «обретут во всемирном коллективе колоссальную непреодолимую силу».

---

[1]) См. IV. 62—73, ср. V. 46—51: воспроизведение статьи „Организация Интернационала".

Однако свободная организация не знаменует собой отказа от дисциплины. Последняя не может носить в Интернационале властнического, автоматического характера; она не знает иерархии и премий. Но исполнение распоряжений добровольно избранного для определенных целей и на определенные сроки начальника—старшего товарища — необходимо. Отсутствие добровольного подчинения парализует действие. Дисциплина в свободной организации есть добровольное согласование индивидуальных усилий, направленных к общей цели [1]).

Цель, стоящая перед Интернационалом— полное освобождение рабочих из под ига капитала, ликвидация старого мира во всех его формах—экономических, политических, юридических; построение мира на основах свободы и справедливости. Дело Интернационала—не только экономическое, но и политическое, но непременно в смысле уничтожения всякого государства. Именно в этом пункте пролетарская тактика Интернационала резко разрывает с тактикой всех политических партий, не исключая социалистических. Последние стремятся преобразовать политику и государство, внести в них более или менее радикальные коррективы, напитать их новым социальным содержанием. Интернационал требует бесповоротного осуждения и разрушения государства, категорического отказа от политики.

Основные лозунги Интернационала гласят: 1) Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих. 2) Экономическое подчинение рабочего владельцу сырого материала и орудий труда, есть источник всех видов рабства—нравственного, умственного и политического. 3) Поэтому, экономическое освобождение рабочих—великая цель, которой должно быть подчинено всякое политическое движение, как простое средство.

Лозунги Интернационала свидетельствуют, что экономическое освобождение есть основа всякого освобождения, что всякое учение, гласящее, что политическая свобода есть предварительное условие экономического освобождения, что политическая свобода может послужить рабочим орудием в последующем завоевании равенства или экономической справедливости, что борьба за политическое освобождение допускает временные компромиссы с буржуазным радикализмом, в целях реформирования государства, есть извращение принципов Интернационала, отказ от его тактики. Пролетарская тактика может быть только экономической, борьбой, борьбой рабочих против хозяев, борьбой всегда заостряющей революционное самосознание рабочих. Политическая революция есть неизбежное следствие экономического переворота; разрушение хозяйственных отношений есть одновременно крушение государства. Только так может быть истолкована теория и практика пролетарского Интернационала. Пытаться разделить эти революции, видеть в политической ре-

[1]) См. II. 24.

волюции необходимую предпосылку экономической, значит, фактически тормозить освобождение трудящихся масс и закрепить позиции государства. Интернационал должен остаться чуждым всякой революции, которая с самого начала не заявит себя и не станет «социальной ликвидацией». Рабочая агитация всех стран должна носить характер исключительно экономический. Именно этот пункт разделяет «социалистов-коллективистов» — сторонников сильной власти, абсолютной инициативы государства, авторитета, и «коммунистов-федералистов», отрицающих власть и государство, передающих инициативу в руки самих трудовых масс и утверждающих свою тактику на принципе свободы. Те и другие равно исходят из признания «науки», но первые насаждают знание путем декрета, идущего из центра, вторые — через добровольные группировки, соответственно насущным интересам и природным склонностям их. Первые верят во всеустрояющую силу вождей-учителей человечества, вторые — в непосредственное творчество самих масс. Первый блестящий опыт тактики «революционного социализма» (коммунистов-федералистов), в отличие от государственных «буржуазных» социалистов, дала Парижская Коммуна, поскольку она была смелым, ярко выраженным отрицанием государства [1]).

Новое свободное общество, встающее на развалинах государства—общество федералистическое. Оно строится на началах полного самоопределения его членов—от коммун к провинциям, нациям, соединенным штатам Европы, наконец, грандиозному мировому союзу, об'емлющему все человечество. Автономия любого члена федерации, независимо от его размеров и внешнего могущества, неограниченна, поскольку в ней самой не заключено опасности для автономии и свободы другого члена. Источником правовых норм для федерации является общая воля автономных единиц. Связь отдельных ячеек не принудительна, она основана на свободном соглашении. Нет и не может быть вечных обязательств, но соглашение, принятое добровольно, обладает обязывающей силой.

Так построенная федерация, не кладбище, подобно государству, но реальный жизненный синтез, об'единяющий все местные своеобразия, все частные права и интересы.

Этот комплекс идей в основных чертах лег позже в основу теоретических программ и тактики революционного синдикализма и анархо-синдикализма.

Классовый опыт, классовое самосознание, организация рабочего класса, смычка его с революционным крестьянством — были, однако, еще не всем для Бакунина в деле революции.

[1]) См. III. 20—22, IV. 6, 12, 13, 16—22, 67, 73, 171, 251—252. V. 20, 24—25, 30—33, 43—44, 51. Об отношении Бакунина к социал-демократии и Эйзенахской программе, см. IV. 225—230, 236—237 и др.

Для торжества последней было необходимо еще то, что полнее всего характеризовало самого Бакунина — революционное вдохновение, неукротимая страсть к «разрушению».

«В революции,— писал Бакунин однажды—$^3/_4$ фантазии и только $^1/_4$ действительности».

В этих словах — ключ к его философии «разрушения». Чуждый механическому представлению о жизни, Бакунин не мог иметь механического представления о революции. Для него— профессионального «делателя» революции — революция тем не менее «не делалась», «не фабриковалась». Революция многообразный сложный поток явлений. Взаимодействие их рождает новые, неожиданные для первоначального учета, пучки сил. К революции неприложима монотония теорий. Революция—пир жизни, ликующее радостное творчество, «вздымания» и «великолепия», образующие самую жизнь. Только в известной части революцию можно предвидеть, устанавливать, направлять. Прежде чем заложить и утвердить основы нового порядка, революция есть громное, управляемое более инстинктом, чем разумом, брожение, хаос. И потому в начальной стадии движения разрушительные процессы естественно играют преобладающую роль.

«Народное восстание по природе своей—стихийное, хаотическое и беспощадное, предполагает всегда большую растрату и жертву собственности своей и чужой... Но не может быть революции без широкого и страстного разрушения, разрушения спасительного и плодотворного, потому что именно из него и только посредством него зарождаются и возникают новые миры» [1]).

В тех случаях, когда Бакунин употребляет выражение — «делать революцию»—он употребляет его не в смысле верховного руководства передовыми революционными отрядами, но в смысле пробуждения потенциальных сил, таящихся в широких массах и дающих чувствовать свои подлинные масштабы, свой подлинный размах лишь в самом процессе революции. Отвечая на вопрос, что могут и должны делать революционные власти для расширения и организации революции, он пишет: «Они должны не сами делать ее путем декретов, не навязывать ее массам, а вызывать ее в массах» [2]). К этим потенциальным силам революции Бакунин относил и те отдельные социальные группы, которые, не играя собственно определяющей, обусловливающей роли в революции, тем не менее, могут быть чрезвычайно важными ее участниками: выходцев «самой мелкой буржуазии», «школьную и университетскую молодежь», «инстинктивно пренебрегающую традицией и принципом авторитета», не могущую взять на себя инициативы, но легко способную примкнуть к социалистическому движению рабочих [3]). Наконец, сюда же Бакунин зачислял и вольную голытьбу, овеянную для

[1]) См. I, стр. 90.
[2]) См. IV. 177, стр. 257.
[3]) См. IV. 30—36, 169, 188.

него подлинным ароматом социальной поэзии. Бакунинский разбойник, разумеется, имеет мало общего с романтическим разбойничеством молодого Шиллера. Последнее бессильно геройствовало в индивидуалистических походах против мещанства, загоняя себя в безвыходный тупик. Бакунинская вольница должна была стать—«бесноватой», «лавой», передовым отрядом в бунте против феодальной государственности.

В этой работе — стимулирования революционной энергии, одушевления—Бакунин не знал себе равных. Его революционаризм—неистощим, фантастичен и вместе глубоко реален, поскольку фантастична и реальна сама революция.

Бесконечное число иллюстраций дает его «Исповедь», позже лихорадочная переписка, которую он вел в 1870 г. Он — то заявляет, «что приехал, чтобы сражаться или умереть», то сообщает по поводу неудачной революционной попытки, что «дело только отложено», то побуждает друзей—«вам остается 3 или 4 дня, чтобы делать революцию», то выражает восторг по поводу действий Коммуны и т. д. и т. д. [1]).

При всей нелюбви его к якобинцам, его тирада о людях 1792 и 1793 г.г.—восторженна: «Они были бесноваты и достигли того, что сделали бесноватою всю нацию. Или скорее, они были сами наиболее энергичным выражением страсти, воодушевлявшей всю нацию» [2]).

Стихийной, почти нечеловеческой силы достигает его революционаризм в гениальном политическом памфлете — «Письма к французу» – «...Спасите Францию путем анархии. Разнуздайте эту народную анархию, как в деревнях, так и в городах, разверните ее во всю ширь, так чтобы она катилась, как бешеная лава, снося и разрушая на своем пути все: всех врагов и пруссаков. Это геройский и варварский способ, я знаю... Но вне его нет спасения для Франции... Только отчаянная и дикая энергия ее детей, которые должны выбрать или рабство—путь цивилизации, или свободу — путь свирепой борьбы пролетариата... Нужно только, чтобы ими (крестьянами) овладел бес и лишь одна анархическая революция может вселить в их тело этого беса».

Бакунин не боится ужасов гражданской борьбы — жертв людьми и имуществом, лавы, сжигающей с врагами и накопленные столетиями ценности. Общество, так спасающее себя, не погибнет. Изнутри его спасет инстинкт самосохранения, сила общественной инерции. Извне для него—опасности вообще нет, ибо исторический опыт показал, что никогда народы не представляют такой грозной внешней силы, как в моменты, когда они являют собой «взбаламученное море». Наоборот, они слабы именно тогда, когда связаны властным порядком [3]).

---

1) См. II. 5, 7, 11.
2) См. II. 41.
3) См. IV. 169, 181, 187—190.

И когда Бакунин говорит о пропагандистах, посылаемых в французские деревни.—«...Кто хочет пропагандировать революцию, должен сам быть действительно революционным. Чтобы поднять людей, нужно быть одержимым бесом...» [1]), ни к кому слова эти не могли бы быть приложены с большей полнотой и с большим правом, чем к нему самому.

Из всех стихий, враждебных Бакунину, наиболее далекой ему и ненавистной была стихия оппортунизма. Искусство маневрирования было ему совершенно чуждо. Для него было немыслимым — в силу изменившихся условий, неблагоприятных конъюнктур — сойти с пути, признанного верным. Чем бы ни грозил намеченный путь — поражением, пленом, смертью — отступление с него было невозможным. Бакунин был нравственным максималистом с головы до ног.

Там, где возникало революционное дело, он становился рядовым. Иерархических вопросов, по самым свойствам его мировоззрения, у него не возникало никогда [2]).

Серьезным же делом были для него — всякий бунт, всякое восстание, всякое движение против „власти“ и в них он нес — требуя того же от других — весь присущий ему практический идеализм [3]). Здесь были его долг и его любовь.

Вера в свое призвание — истинный признак гения — проснулась в Бакунине рано и никогда не оставляла его.

Впервые патетическую формулировку она получила еще при вступлении его в кружок Станкевича: «...Рука божия — писал он однажды — начертала в моем сердце эти священные слова, которые обнимают все мое существование: «он не будет жить для себя... Какова же главная идея жизни? Это — любовь к людям, к человечеству и стремление ко всему, к совершенствованию» [4]).

Строкам этим суждено было стать motto всей его жизни. В одном из последующих писем от 1841 г. он еще более пророчески подошел к теме своего жизненного призвания: «Жизнь есть блаженство, но не вялое, а такое, где буря играет и черные тучи нависают, чтобы сочетаться в высочайшей гармонии» [5]). Разве слова эти — не подлинное предварение могучего и страстного вопля буревестника, зазвеневшего в финале неровной, но вдохновенной «Реакции в Германии».

---

[1]) См. II. 49.

[2]) „Во всяком серьезном деле,—пишет один из ближайших соратников его—Бакунин всегда шел в переднем ряду, да еще первым“... А. Росс. Бакунин и его вилла Бароната. „Голос Минувшего“. 1914 г. V. стр. 207.

[3]) „Революционная деятельность — учил он молодого единомышленника—ради самого успеха своего дела должна искать опоры не в подлых и низких страстях..., без высшего, разумеется, человеческого идеала никакая революция не восторжествует“... Стеклов, о. с. стр. 68.

[4]) Корнилов, I. 131, 608, II. 201—203.

[5]) Корнилов. II. 55—56.

В «Исповеди» подитожившей стремления молодых лет, он написал замечательные слова: «Искать своего счастья в чужом счастье, своего собственного достоинства в достоинстве всех меня окружающих, быть свободным в свободе других—вот вся моя вера, стремление всей моей жизни».

Эти слова—самая точная программа всей дальнейшей его деятельности, самая полная и верная его характеристика.

Алексей Боровой.

Воспоминания о М. А. Бакунине.

(Первое знакомство с ним).

С половины мая до июля 1870 г. я жил в Женеве и за это время ознакомился с революционными делами как русскими, так и иностранными; главным образом, конечно, с Интернационалом (Международное Товарищество Рабочих). В то время Женева была центром такого рода деятельности. Раньше у меня были очень смутные и неопределенные представления, как об Интернационале, так и об Бакунине, игравшем тогда огромную роль в европейском рабочем движении.

Вся русская эмиграция, за ничтожным исключением, сосредоточивалась тогда в Женеве или около нее. Количественно она была очень незначительна—десять—двенадцать человек, но за то в нее входили тогда Бакунин, Огарев (Герцен умер в январе 1870 г.). Бакунин жил в Локарно, тогда маленьком захолустном городишке, а ныне приобревшем мировую известность, благодаря недавно бывшему там с'езду заправил европейской политики. Эмиграция делилась на две части: одна, большая часть, имея во главе Бакунина, состояла из Огарева, Жуковского, Озерова, Жеманова, Ельпидина, Мрочковского, Мечникова, а другая из Утина и Трусова и женщин: Левашевой и еще одной, фамилию которой я забыл. К первой же группе принадлежал и Нечаев.

Выше я сказал, что Бакунина и его деятельность я почти не знал; в мое время действительно об нем среди молодежи сведения были очень и очень ограниченные. Впервые более определенно я узнал о нем при следующих обстоятельствах. До моего появления в Женеве я около года жил в Америке, сначала в Нью-Йорке, а потом в других городах, работал на заводах в качестве рабочего. Однажды в газете «Arbeiter Union», издававшейся в Нью-Йорке социал-демократом доктором Майером, появилась заметка, в которой говорилось, что он только что получил из Лондона от известного немецкого революционера сообщение, что небезызвестный русский Михаил Бакунин состоит агентом русской тайной полиции. Мой приятель С. сибиряк, хорошо осведомленный о Бакунине, который жил в Томске, Иркутске, как политический ссыльный, рассказал мне о нем очень многое. Он был крайне возбужден газетной заметкой, настаивал, чтобы мы протествовали против такой клеветы. Он по немецки

написал протест и предложил мне итти вместе с ним к Зорге [1]) которого он знал, благодаря рекомендательному письму от Бебеля. Зорге—немец, учитель музыки эмигрировал из Германии после революции 1849 года, в которой он принимал значительное участие. Из разговора с ним оказалось, что он сам очень хорошо знал Бакунина—революционера, его большое участие в германской революции, главным образом в восстании в Дрездене, был возмущен этой клеветой, вполне одобрил наше заявление; несколько переделал его, исправив наши грамматические ошибки. Он хорошо знал Майера, сказал нам, что, очевидно, последний введен в заблуждение или же сообщение о Бакунине было напечатано без его ведома. Дал нам рекомендательное письмо к Майеру, с которым мы отправились к последнему.

Пришли в редакцию; нас тотчас же принял Майер, очень любезно с нами разговаривал и расспрашивал о России и о том, как и почему мы приехали в Америку. Когда мы об'яснили ему причину нашего посещения и передали письмо Зорге и протест, он пообещал рассмотреть его и напечатать в одном из ближайших номеров. После этого мы распростились. К сожалению, ни в ближайших, ни в дальнейших номерах нашего протеста не появлялось, и поэтому мы оба недели через 2—3 снова отправились к Майеру. На этот раз он нас не принял и его секретарь передал нам, что редактор очень занят. Через некоторое время мы снова пришли в редакцию и снова редактор был очень занят. Нам передали, что он принять нас не может, и что заметка наша не может быть напечатана, потому что она получена из Лондона от одного известного и видного немецкого революционера.

Из редакции мы прямо отправились к Зорге, который на этот раз принял нас далеко не так любезно, как прежде и подтвердил слова редактора, переданные нам его секретарем. После этого знакомство с Зорге прервалось, а протест наш остался, так и не напечатан.

Весь этот эпизод у меня как-то скоро выпал из памяти и я вспомнил его значительно позже, так года через полтора, когда уже жил в Цюрихе.

***

О встрече и знакомстве с С. Г. Нечаевым, по инициативе которого я был вызван в Женеву, о неудачной попытке сближения с ним на почве революционной деятельности я писал в другом месте и поэтому повторять здесь нахожу излишним [2]). Ни с

[1]) Это тот самый Зорге, который принимал горячее участие на Гаагском конгрессе со стороны Маркса и который по настоянию последнего был избран генеральным секретарем Интернационала, когда последний был переведен в Нью-Йорк.

[2]) См. М. П. Сажин (Арман Росс) Воспоминания 1860—1880 г.г. Издание Всесоюзного Общества Политических Каторжан и Ссыльно-Поселенцев 1925 г. Москва, стр. 62—75.

Нечаевым, ни с кружком Утина я не сошелся и меня потянуло к группе лиц, возглавляемых Бакуниным. Мой приятель С. тоже симпатизировал Бакунину, а к остальным относился отрицательно. Должен сказать, что он на меня не производил никакого давления, напротив способствовал тому, чтобы я лично ознакомился со всеми. Меня и раньше постоянно занимал вопрос, как устроить жизнь человека, людей вообще, чтобы они пользовались полной свободой, чтобы вполне были гарантированы от всяких насилий социальных, экономических и политических. Живя в Петербурге я входил в кружок артиллерийских офицеров, где этот вопрос иногда поднимался, но решался он в смысле для меня неудовлетворительном. И вот здесь в Женеве я снова натолкнулся на этот вопрос и узнал, что Бакунин страстный поклонник свободы человека. Это меня сразу к нему повлекло.

В то время в Интернационале было 2 партии, или вернее два направления, два течения: во главе одного стоял Михаил Бакунин, во главе другого Карл Маркс. Оба они вполне признавали программу и статуты его. Бакунин был основатель анархизма, антигосударственник и на знамени его партии было начертано: «Разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов— разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира». Он был страстным поклонником полной свободы человека; он требовал умственного, социально-экономического и политического освобождения человека и всякое государство считал великим злом, как источник всевозможных насилий. Осуществление этой цели предполагалось путем революционным, путем вооруженного восстания. Маркс был главою социал-демократов, государственников, считал безусловно необходимым усиление и удержание государства во чтобы то ни стало, для чего требовал, чтобы пролетариат принимал активное участие в политической жизни своей страны и, главным образом, в выборе депутатов в парламенты, где, достигнув большинства, нужно захватить власть в свои руки и таким путем перестроить существующее общество, не прибегая к революционным мерам.

Прошу читателей помнить и не упускать из виду, что я говорю о людях, делах и событиях, которые происходили пятьдесят лет тому назад; оценивать их, прилагать к ним современную марку, современный масштаб нельзя, это извращает всю историческую перспективу, дает превратное понятие о том, что тогда было. Я стараюсь передать только факты, не входя в их оценку, как они представлялись мне и моим современникам.

Приятель мой изредка переписывался с Бакуниным и, конечно, о приезде моем ему сообщал, а он в ответ на это предложил нам отправиться к нему. Пока мы обсуждали и собирали сведения, как идти (конечно значительную часть пешком, особенно через горы с Готард или Симплон), получилось от него

известие, что он надеялся приехать в Женеву сам по своим делам. И вот я стал ожидать его приезда. Через некоторое время действительно он приехал и остановился в комнате своего тогдашнего друга эмигранта Озерова. На другой день приезда я явился к нему с своим приятелем и увидел перед собою мощную колосальную фигуру, буквально головою выше всех нас окружавших его. Он был несколько сутуловат, что сокращало, хотя и немного его рост. Голова его была большая, покрытая густой курчавой седоватой шевелюрой. Одет он был очень бедно, все платье его довольно старое, потертое, изношенное. Он встретил меня как своего старого знакомого, так что все мое смущение и неловкость, охватившие меня, как то быстро исчезли и я стал себя чувствовать совершенно свободно. Он сказал мне, что он меня хорошо знает благодаря С., а я его тоже должен, конечно, знать, благодаря тому же источнику. В это время у него было несколько человек и он разговаривал то с одним, то с другим, время от времени бросал на меня испытующие взоры и старался втянуть в общий разговор; я же предпочитал слушать и наблюдать. Обыкновенно только по вечерам у него собирались для общих бесед, а днем он постоянно имел разные совещания с отдельными лицами, так что и мне он как то сказал, чтобы я зашел к нему в назначенный им час для беседы. Таким образом он беседовал со мною несколько раз. Во время этих переговоров он рассказал мне, что с Нечаевым он порвал решительно всякие отношения, что это человек совершенно свихнувшийся, отожествлявший себя с революцией и т. д., что у него теперь нет никаких связей с Россией, и что нечаевская организация вся вполне разбита. Нам надо начинать сначала, что у него (Бакунина) тоже нет никаких связей с Россией. С самого начала наших разговоров Бакунин сказал мне, что всякие теоретические рассуждения об идеале, о программе, об анархии он считает совершенно излишними во 1-х потому, что обо всем этом я могу узнать из его речей и писаний, а 2-х он считает меня человеком дела (l'homme d'action) и поэтому лучше всего будет, когда мы будем говорить о том, что нам предпринять и с чего начать нашу деятельность.

Знакомство с людьми, изъявившими желание работать на пользу революции, у Бакунина было довольно своеобразное. Обыкновенно он не вступал ни в какие сношения, отталкивал от себя только таких людей, из которых нельзя было извлечь какой либо пользы для революции [1]). Словам, рассказам, теорети-

[1]) Однажды, живя в Петербурге, уже после каторги и Сибири, я встретился в одном доме с профессором уголовного права Фойницким. Он рассказывал о своей попытке познакомиться с Бакуниным следующее: Фойницкий вместе с профессором уголовного права Киевского Университета Кистяковским были где-то в Швейцарии и решили съездить в Локарно, чтобы познакомиться с Бакуниным. Приехали в Локарно, узнали, что Бакунин ежедневно около 12 часов дня бывает

ческим рассуждениям, программам всякого нового человека он придавал значение второстепенное и старался реально, практически определить его способности, его пригодность для какой либо стороны деятельности. Поэтому он тотчас же давал какое либо поручение, которое соответствовало его способностям: если лицо выражало желание и заявляло о своей способности быть полезным в качестве писателя, Бакунин поручал ему или предлагал, что либо написать и т. д. Этим путем он постепенно узнавал человека и бывало, что он прекращал с ним всякие деловые сношения, в виду его неспособности. Особенно частенько получался такой финал с иностранцами: через несколько месяцев человек выходил, так сказать, в тираж. Я помню один такой случай с русскими, в котором я принимал косвенное участие. В Цюрихском Университете в мое время была группа русских студентов из трех человек, тесно связанных друг с другом. Они были хорошие люди с прекрасными намерениями и желаниями, все будущие врачи, но, к сожалению, как мне казалось, это были будущие культурные люди, но по натуре не революционеры. Я поддерживал с ними дружеские товарищеские отношения, но не втягивал их в революционные дела. Бакунин знал их заочно с моих слов. В каникулярное время они отправились походить по Швейцарии, посетили Бакунина, познакомились с ним и выразили свое горячее желание работать с ним. Бакунин пошел им навстречу, заключив с ними союз с программою старого бывшего «алльянса», дал им небольшой шифр для переписки, словом все, как он когда-то делал прежде. И вот дело тянулось чуть не год, а когда представилось настоящее дело, то скоро обнаружились дефекты. Бакунин скоро почувствовал, что из союза проку не выйдет и поэтому ждал только случая, чтобы прекратить безобидно все отношения. Случай представился и он им воспользовался.

Вернусь к продолжению рассказа о переговорах Бакунина со мною. Постепенно выяснился вопрос прежде всего о необходимости по возможности периодического издания листа в три—четыре, сообразно средствам, и выходящего в два три месяца один раз. Он, конечно, брал на себя всю редакторскую часть, а я принимал организацию печатания, распространение и транспорт в Россию. Относительно сотрудников он называл своих друзей-эмигрантов из русских, а также и иностранцев. Я пред

в таком-то кафэ, где читает итальянские и французские газеты, получаемые здесь. Приходим в кафэ и тотчас же увидели лицо, читающее газету, в котором узнали Бакунина. Подошли к нему, отрекомендовались, как профессора уголовного права. Бакунин довольно неприветливо спросил их: что же им нужно. „Нам очень интересно познакомиться с вами и побеседовать". „А мне это совершенно неинтересно; что-же может быть общего между вами, юристами, защитниками государства, а следовательно всяческого насилия и мною—решительным противником его. Решительно ничего". После этого отвернулся от нас и стал продолжать чтение газет. А мы вынуждены были удалиться.

ложил П. Г. Лаврова, как философа, который только что бежал из ссылки и поселился в Париже. Бакунин согласился его пригласить, но с тем, что он будет писать только статьи философского содержания. «Он (Лавров) не признает господа—бога, а потому пусть с ним и воюет». В другие отделы пустить его нельзя.—Лавров тогда был по вопросам социальным, политическим не более не менее, как кадет, чуть не правый.

Издание это предполагалось начать не ранее поздней осени, потому что Бакунин был завален работой по интернациональным делам, а я это время взялся за подготовительные работы и главное за добычу средств и за организацию сношений с Россией.

Бакунин недолго оставался в Женеве и очень торопился домой в Локарно. Он приезжал сюда главным образом затем, чтобы вполне и окончательно ликвидировать свои отношения с Нечаевым. На последнем нашем совещании он предложил мне в нашей будущей переписке установить шифр на фамилии, а затем дал мне адрес для писем на имя швейцарца, жившего вблизи Локарно. Вот и все; никакого тайного союза между нами заключено не было. Пользуюсь случаем, считаю нужным здесь сказать, что за все время моей дружбы и совместной деятельности с ним и с другими общими нашими друзьями, как Гильом, Швицгебель, Кафиеро и другие, никогда не было никакого тайного общества, заговора. Пресловутый «алльянс» давным давно, еще до моего знакомства с Бакуниным, прекратил свое существование, был распущен, если не ошибаюсь в 1869 году. В сущности была группа лиц одинаково мыслящих, и работающих в одном и том же деле. Мы сами иногда называли себя «союзом», а Бакунин иногда употреблял термин — «святая святых». Гильом прав, когда в своей 4-х томной книге об Интернационале, говорит, что все рассказы и даже обвинения в существования «алльянса» чистейшая фантазия. Повторяю еще раз, что за все шесть — семь лет моей самой интимной дружбы с Бакуниным, Гильомом и другими, никогда ничего не было, что бы указывало, что есть какой то между нами заговор, тайный союз. Последние четыре года я безусловно знал все, что делалось и что предполагалось делать, а делалось все обыкновенно с ведома по возможности всех, близко стоящих около Бакунина, который никогда не изображал собою «папы» или диктатора.

Ко всем нам он относился и держал себя безусловно по товарищески и в случаях несогласия с кем либо из нас, он обычно старался убедить словом, доказать противнику свою правоту.

Накануне своего от'езда у Бакунина вечером собрались несколько человек и он много говорил об общем политическом и социальном положении дел в Европе. Тогда только что получились известия о кандидатуре гогенцоллернского принца на

испанский престол. Он высказывал мысль о том, что в виду страстного желания Наполеона и Бисмарка подраться из-за гегемонии над Европой,—очень вероятно, что они воспользуются этим случаем. Конечно, бонапартовская Франция будет побита, потому что вся эта империя прогнила и разлагается, тогда как Пруссия могучее военное государство. Поражение Франции вызовет социальную революцию, и революционеры, главным образом, Интернационал должен быть готовым, чтобы принять самое активное участие в надвигающихся событиях. В дальнейшем, когда стали развертываться военные и другие события в Европе, я очень часто вспоминал об этом вечере и удивлялся, как он ясно предвидел события и как правилен был его диагноз.

Бакунин уехал, оставив мне письмо для передачи его Лаврову с предложением участвовать в предполагаемом издании. Я тоже собирался отправиться в Англию, потому что имел возможность поступить там на механический завод, чем я очень дорожил. В Женеве у меня не было никакого дела и я рассчитывал прожить в Англии по крайней мере до глубокой осени, а затем вернуться в Швейцарию. Поехал я через Париж, где виделся с Лавровым, передал письмо Бакунина и с своей стороны тоже предлагал ему сотрудничать в предполагаемом издании. На это предложение он сначала отвечал довольно уклончиво, говорил, что он не совсем порвал с Россией, что он рассчитывает, что правительство само предложит ему вернуться, предоставив ему свободно читать лекции (он читал по высшей математике и теоретической механике в артиллерийской академии). Прежде чем ответить на письмо Бакунина он подумает и скоро напишет об этом. Действительно, он написал письмо, в котором ответил решительным отказом.

Дело с изданием не осуществилось, благодаря франко-прусской войне, вызвавшей такие огромные события, так закрутившие нас, что русские дела пришлось отложить надолго.

Я уехал в Англию, поступил на завод и первый месяц работал очень усердно, затем военные события стали все больше и больше поглощать мое внимание, а падение империи во Франции, разгром французских армий и всеобщее волнение так меня захватили, что я бросил работу на заводе и помчался в Швейцарию в Цюрих, где тогда среди студентов у меня оказалось несколько знакомых.

Живя в Англии, я изредка получал письма от Бакунина, которые тоже наэлектризовывали меня и из которых видно было, что там назревают крупные дела, а здесь у меня, собственно говоря, нет никакого дела. Когда я уезжал из Женевы, Бакунин ставил мне задачею найти среди английских рабочих только одного такого человека, который вполне «уверовал бы в нашу программу, в наш способ действий, словом, чтобы был человеком вполне солидарным и во всем с нами». Он говорил, что достаточно найти такого человека и связаться с ним, чтобы

через него вести дальнейшую революционную работу, но в то же время прибавлял, что это очень трудно, потому что английские рабочие верят исключительно в мирный путь решения социального вопроса. Они не революционеры в нашем смысле.

Приехав в Цюрих, я скоро узнал из писем Бакунина, что он собирается ехать в Лион с целью организовать там восстание рабочих и провозгласить Коммуну. Обстоятельства вполне благоприятствовали этому: империя пала, провозглашена республика, было всеобщее возбуждение, и среди рабочих настроение было революционное. Весь тогдашний Интернационал Юга Франции, хотя по размерам не особенно значительный, находился под влиянием Бакунина и поэтому к его приезду в Лион собрались несколько видных интернационалистов из Марселя, Сент-Этьен и других южных городов, и образовали центральный революционный Комитет действия.

В конце сентября Бакунин прислал мне нижеследующую прокламацию, напечатанную на красной бумаге с приложением небольшого письма, в котором сообщал, что «эта прокламация завтра с утра будет распространена, а в ночь предложено арестовать главнейших врагов. Это последняя борьба и мы надеемся на победу».

Вот содержание прокламации:

«Французская Республика
Революционная Федерация Коммун».

«Отчаянное положение, в которое ввергнута страна; полное бессилие официальных властей, индифферентность привилегированных классов поставили нацию на край пропасти.

Если народ, революционно организованный, не поторопится действовать—его будущее погибнет, революция погибнет, все погибнет. В виду громадной опасности и имея в виду, что решительные действия народа не должны быть задержаны ни на один миг, делегаты федеральных комитетов спасения Франции, соединенные в Центральный Комитет, предлагают немедленно принять следующие резолюции:

1. Административная и правительственная машина государства отменяется, в виду ее бессилия.

Французский народ берет всю власть в свои руки.

2. Все суды уголовные и гражданские, уничтожаются и заменяются народным судом.

3. Уплата налогов и ипотек прекращается. Налог заменяется контрибуцией с богатых классов соответственно нуждам для спасения Франции.

4. Государство, как уничтоженное, далее не может вмешиваться в уплату частных долгов.

5. Все существующие муниципальные организации уничтожаются и заменяются во всех федеративных общинах Комитетами Спасения Франции, которые будут работать под непрестанным контролем народа.

6. Каждый Комитет главного города департамента выбирает двух делегатов для образования революционного Конвента Спасения Франции.

7. Этот Конвент немедленно соберется в городской Думе. Лиона, как второго города Франции, и приступит к энергичной защите страны.

Этот Конвент, поддержанный всем народом, спасет Францию. К оружию! [1]).»

Следует 26 подписей, в числе которых была подпись Бакунина.

28 сентября 1870 года, революционеры заняли Hôtel de ville и провозгласили Коммуну Лиона; но к несчастью удержаться им не удалось, движение было задавлено соединенными силами буржуазной национальной гвардии и войск. Бакунина и некоторых других арестовали; впрочем, часа через два его освободили «вольные стрелки» (franc tireurs). Он вынужден был скрываться в квартире одного семейного рабочего. Буржуи сильно его разыскивали, поэтому его переправили в Марсель, где он жил с месяц, надеясь, что здесь удастся вызвать восстание и организовать Коммуну, но в конце-концов и отсюда пришлось убраться и его ночью в лодке вывезли в открытое море; здесь его дожидался пароход, на котором он доплыл до Генуи, и отсюда без всяких приключений уехал в Локарно.

Таким образом первая пролетарская Коммуна во всем мире была провозглашена в Лионе 28 сентября 1870 года.

Лионское рабочее движение и провозглашение Коммуны вызвали взрыв негодования, брани, клевет со стороны не только буржуазных и правительственных газет в разных странах, но, к сожалению, и со стороны социалдемократов и их вождей, как Маркс, Энгельс, Либкнехт, Грейлих и др. Газеты Volksstaat, Tagwacht не уступали буржуазным газетам: позорили, высмеивали, вышучивали, клеветали главным образом на Бакунина. Оно и понятно, потому что по существу все они были противниками Коммуны, как явления характера анархического. Ведь и Парижскую Коммуну они признали скрепя сердце и за время ее существования не оказывали ей решительно никакой помощи. Генеральный Совет с Марксом во главе был безмолвен, когда парижские рабочие вели героическую борьбу с версальцами. Карл Маркс напечатал уже после подавления Коммуны свою брошюру: «Гражданская война во Франции».

В Цюрихе в 1870—1871 г.г. была секция Интернационала—«Дикая секция», в которую входило всего 4 человека: Грейлих, Распе (эмигрант из Австрии) и еще двое, имен которых не помню. Собрания секции усердно посещали русские студентки и студенты; рабочие, как немецкие, так и швейцарские бойкотировали ее, относясь к ней безусловно отрицательно. На

[1]) См. L'Internationale. Documents et souvenirs par James Guillaume Tome second. Pages 94—95. Paris. Societè Nouvelle de Librairie et d'edition. E. Cornèly et C-ie 1907.

ближайшее собрание секции я принес «красную прокламацию» о провозглашении коммуны в Лионе и предложил Грейлиху прочитать ее. Он внимательно про себя прочитал и возвратил ее мне, сказав, что он не может ее прочитать всему собранию, потому что она неприемлема для социалдемократов. На собрании были Грейлих, Распе и один рабочий швейцарец, остальные человек десять русские. Затем стали время от времени появляться статьи, дескредитирующие Лионское движение. Мы все русские прекратили посещать секцию и она очень скоро мирно скончалась.

В эту зиму Мишель (обыкновенно все мы называли Бакунина этим именем) в своих письмах ко мне звал меня приехать к нему, да я и сам очень хотел съездить и пожить с ним несколько дней, но все как-то не удавалось, задерживало то то, то другое. И вот вдруг Озеров из Женевы сообщил, что Мишель очень бедствует и немного прихварывает. Это меня сильно подвинуло и я дня через два—три поехал к нему, собрав среди молодежи франков, помнится, около полутораста, купив чаю и табаку фунта по два. Тогда еще не было железной дороги через Сент-Готард, и приходилось ехать и по железной дороге, и на пароходе по 4-х кантонному озеру, и в дилижансе, и наконец через самый Сент-Готард на санях, так как он был завален снегом. Все путешествие продолжалось полтора суток. Приехав в Локарно, и оставив свой саквояж в конторе дилижансов, я отправился к Бакунину и пришел как раз к обеду. Мишель не ожидал меня, но очень доволен был моим приездом. Обед состоял из супа и жареной картошки. Я до сих пор помню очень отчетливо и ясно все, что я увидел и услышал,—так меня поразила беднота жизни его с семьей. Он занимал квартиру в две комнаты во 2 этаже двухэтажного дома очень маленького. Внизу жили хозяева. Между этими комнатами был коридор, который служил столовой и прихожей, потому что с лестницы ход был прямо в этот коридор. Одну комнату занимал Мишель, а другую его жена с двумя маленькими детьми. Обстановка была самая убогая, мебелишка самая простая; так в комнате его стояли: кровать, стол, три—четыре стула и сундук, в котором лежало белье, а единственная суконная черная пара висела на гвозде; были еще простые полки с книгами. И стол, и кровать, и табуретки, и стулья были простые белые. Когда я передал чай, табак и деньги, Мишель расцеловал меня и позвал жену, которая увидев все это на столе, громко сказала: «Ну, вот мы будем и с мясом. Надо сейчас же уплатить булочнику и мяснику сколько можно, и тогда мы снова будем иметь у них кредит».

Бакунин обычно после обеда от 7 до 9 ч. спал, затем до 10—11 ч. чаепитие, а затем он работал до 3 час. ночи; спал он от 3—4 до 10 утра. В 12 ч. ходил читать газеты, и затем до обеда я проводил с ним все время в разговорах. Он интересовался моей жизнью в Англии, расспрашивал о моих тамошних

знакомых, о разговорах с ними, а когда перешли к Цюриху, то тут он старался выведать от меня решительно все, что я знал о каждом русском студенте или студентке. Через день, через два дня он снова возвращался к характеристике какого-либо лица, о котором уже говорилось раньше, и спрашивал о нем дополнительно. Когда он весною 1872 г. приехал в Цюрих (он прожил здесь два—три месяца), он знал заочно от меня почти всех учащихся русских в университете и Политехникуме и указывал мне мои ошибки в оценке их. Удивительная вещь, он обладал талантом скоро, близко и душевно сходиться с людьми, когда эти люди казались ему полезными в революционном отношении. Я помню, что уже на другой день чувствовал себя с ним совершенно свободно и легко, точно с молодым и вполне равным себе. Ведь мне тогда было двадцать пять лет, а ему почти шестьдесят; да разве возможно сравнить его прошлую жизнь, богатую таким огромным опытом, его огромные знания и т. д. с моими и тем не менее я нисколько не чувствовал его безусловного превосходства. Когда он был в Цюрихе, то же самое наблюдал я в отношениях его ко всей окружавшей его молодежи, а ведь тогда было несколько десятков лиц, и он со всеми был одинаков. Я прожил с ним тогда неделю и это время до сих пор я помню очень хорошо; оно было для меня драгоценно. Он выведал от меня всю мою подноготную, да и я узнал многое, что меня интересовало в революционных делах Европы. До Парижской коммуны я был у него еще один раз ненадолго и встретился с ним, как старый близкий приятель; но полная интимность с ним и с его самыми близкими друзьями и соратниками наступила только после моего возвращения из Парижской Коммуны, т.-е. летом 1871 года, так что «искус» мой продолжался почти год. И произошло это очень просто. Бакунин вызвал меня в Локарно, при чем определил день моего туда приезда. Когда я явился туда, то встретил несколько человек ранее меня приехавших итальянцев, испанцев и швейцарцев, которых я знал уже раньше. Он предложил мне откровенно рассказать о русских делах, т.-е. о связях и сношениях с Россией, о Цюрихских делах (а дела же были, надо сказать, тогда очень небольшие), так как все находящиеся здесь—близкие интимные друзья. После меня говорили и рассказывали и другие товарищи. Вот с этого собрания и надо считать время моего присоединения к «мифическому» alliance'у или, как говорил Мишель, к «святая святых».—Никаких «клятв на кинжалах», никаких уставов, церемоний приема и всяких других принадлежностей тайных обществ, заговоров—не было. Так продолжалось до конца. Время от времени мы с'езжались у него для обсуждения дел, а иногда приезжали в одиночку. Это последнее чаще всех проделывалось мною и итальянцами, как ближе других жившими к нему.

М. П. Сажин (Ар. Росс).

10/III 1926 г.

Русские бакунисты за границей.

У Михаила Александровича Бакунина были многочисленные последователи среди русских эмигрантов и в рядах русских, легально проживавших и учившихся за границей.

Наиболее заметными из них были эмигранты, из которых выделялись: Николай Иванович Жуковский, Варфоломей Александрович Зайцев, Лев Ильич Мечников, Михаил Петрович Сажин (А. Росс), Владимир Карпович Дебагорий-Мокриевич, Ралли, Эльсниц, Гольштейн. Учение М. А. Бакунина повлияло и на П. А. Кропоткина, как это видно из «Записок революционера».

О Сергее Геннадиевиче Нечаеве, своеобразном, чересчур самостоятельном ученике М. А. Бакунина,—имеется особая заметка в статье «Анархисты в народническом движении 70-х годов».

Николай Иванович Жуковский родился в 1833 году и в начале 60-х годов имел, как офицер русской армии, какое-то отношение к польскому восстанию. Ржонд Народовый устроил ему побег в Европу. Он был веселым и добрым человеком, прекрасным оратором, участником всех эмигрантских предприятий. Он постоянно помогал всем к нему обращающимся за помощью, как в общественных, так и в личных делах. Жуковский был большим другом М. А. Бакунина. Николай Иванович был одним из сотрудников журнала «Община», выходившего за границей с января 1878 года и одним из авторов брошюры «Сытые и голодные».

П. А. Кропоткин, приехавший в Швейцарию в 1876 году (после смерти М. А. Бакунина) писал о Жуковском:—«блестящий, изящный человек, очень умный и большой любимец рабочих. Больше, чем кто бы то ни было из нас, он имел, что французы называют l'oreille du peuple. Рабочие всегда слушали его охотно, так как он умел зажечь сердца народа, показывая ему то важное участие, которое он должен принять в переустройстве общества. Он умел поднять настроение, открывая работникам блестящие исторические перспективы; он умел сразу осветить самый запутанный экономический вопрос и наэлектризовать слушателей своею искренностью и убежденностью».

Букунистом был и талантливый русский критик Варфоломей Александрович Зайцев. Он родился в Костроме в 1843 году, а через 23 года, в мае 1866 года был арестован по делу Кара-

козова и посажен в Петропавловскую крепость, где просидел четыре месяца. Он был освобожден, так как выяснилось, что не имел никакого отношения к делу Каракозова.

В марте 1869 года В. А. Зайцев уехал заграницу, где скоро стал членом Интернационала и последователем Бакунина. В Женеве он выступал против марксистов. Один из последних Утин подкупил нескольких негодяев избить Зайцева, но рабочие не допустили этого. Осенью 1872 года Зайцев переехал в Локарно к Бакунину и поселился вместе с последним на одной квартире. Здесь он писал под диктовку Бакунина воспоминания последнего, но они неизвестно куда исчезли. В конце 1873 года Зайцев уехал на заработки в Ментону. Оттуда с'ездил в Италию и снова приехал в Ментону. М. З.—автор воспоминаний о Зайцеве — пишет о нем так: «По природе своей человек замечательно добрый и мягкий, чрезвычайно скромный и снисходительный по отношению к другим, он лишь в редких случаях способен был вспылить и выйти, как говорится, из себя. Это бывало лишь в редких случаях, когда на его глазах совершилась какая либо несправедливость. Но за то, какие ни были бы обстоятельства, он был неспособен кривить душой, хотя бы в своих интересах» [1]).

Зайцев очень бедствовал в эмиграции. Его оригинальные сочинения не могли быть напечатаны в России.

Зайцевым была переведена книга Гильома «Анархия по Прудону». Им же было написано введение к книге Прудона «Общая идея революции XIX-го века». Он много работал в русских журналах, как критик.

Умер В. А. Зайцев 20 января 1881 года.

На его могиле Н. И. Жуковский сказал, между прочим, следующее:... «К фаланге честных и благородных литературных борцов-защитников народных интересов—принадлежит и Зайцев. Его имя тесно связано с историей русской революционной мысли. Убежденный социалист и в то же время искренний революционер, Зайцев не терпел никакой золотой середины..., он умел без обиняков, без педантства, прямо и просто высказывать свою мысль, не прячась за какие бы то ни было авторитеты; он думал своим умом... Труженик мысли и вечный пролетарий, он старался приблизить час избавления пролетариата от рабства...»

Лев Ильич Мечников «по своим социально политическим убеждениям был анархистом-коммунистом и в течение многих лет работал вместе с Бакуниным и Элизе Реклю».

Родился он 18/31 мая 1838 года, два раза поступал в университет и два раза был исключен из него за участие в студенческих беспорядках. В 1858 году он выехал заграницу, получив, как знающий восточные языки, должность

[1]) Эти и некоторые дальнейшие выдержки см. Лев Мечников. „Цивилизация и великие исторические реки" ред. и вступительная статья Н. К. Лебедева Изд. „Голос Труда", Москва 1924 г.

переводчика-драгомана при русской дипломатической миссии. Оставив эту должность, Мечников поступил торговым агентом в какое-то пароходное общество, но в 1860 году он бросает эту службу и начинает заниматься живописью. В это время начинается борьба итальянцев за освобождение от ига австрийцев и бурбонов и Мечников присоединяется к итальянским революционерам. В рядах гарибальдийцев он участвует в ряде сражений и в битве при Вольтурно получает тяжелые раны. Под влиянием своего друга Гарибальди, Мечников увлекается идеей освобождения славян из под ига турок и австрийцев. В это время он знакомится с приехавшим в 1864 году в Италию М. А. Бакуниным. В следующем году он переезжает в Швейцарию и вступает в Интернационал. «В эту эпоху, — пишет Н. К. Лебедев — у Мечникова окончательно складываются его социально-политические воззрения и он становится анархистом, примыкая в Интернационале к левому Бакунинскому крылу».

По вопросам антропологии и географии Мечников помещает статьи в «Современнике» Чернышевского, в «Знании», в «Русском Слове», в «Отечественных Записках», в «Русском Вестнике», а позднее в «Деле» Благосветлова, в «Русском Богатстве», в «Вестнике Европы». По политическим вопросам он много писал в «Колоколе» Герцена. Он подписывал свои статьи разными псевдонимами... В начале 1874 года Мечников приехал в Японию, в качестве профессора Токийского университета. «Здесь он с присущей ему энергией, — пишет Элизе Реклю, — занялся организацией школы и сумел привлечь большой интерес к ней со стороны японской учащейся молодежи. Благодаря энергии Мечникова, ему удалось привлечь в Японию целый ряд профессоров и преподавателей из Европы и Америки и эта горсть ученых совершила дело, единственное в истории всего человечества: небольшая группа людей способствовала приобщению целой нации в сорок миллионов человек к европейской цивилизации, и это было сделано не при помощи оружия и насильственных мер, но при помощи книг и грифельной доски».

Болезнь заставила Мечникова вернуться в Европу. Он работал вместе с Элизе Реклю (по предложению последнего) и тот познакомил его с Кропоткиным.

В 1883 году Невшательская Академия Наук предложила ему занять кафедру сравнительной географии и статистики и Мечников занимал эту кафедру вплоть до самой своей смерти.

Мечников умер 30 июня 1888 года. Его друг Элизе Реклю издал после его смерти известное его сочинение — «Цивилизация и великие исторические реки». В этой книге Мечников пытался обосновать анархическую социологию. Свое предисловие к книге Л. И. Мечникова Элизе Реклю оканчивает следующими словами: «С чувством беспредельного стыда за человечество, мы слышим еще и теперь, после стольких веков исторического развития и после стольких усилий лучших

людей всех веков и народов, громкие голоса, прославляющие «избранных людей» или «сильное правительство». История призвана разоблачать и разрушать эти рабские теории; она доказывает человеку, как даже среди наиболее диких деспотий, социальная жизнь поддерживалась только солидарным трудом всех членов социального тела. Настоящая книга полна доказательств этой мысли»...

Вместе с Бакуниным работал и Михаил Петрович Сажин, родившийся в 1845 году. В 1865 году он был предан суду за нелегальное издание в типографии Технологического института книги Бюхнера «Сила и Материя». В 1867 году он принимает деятельное участие в волнениях петербургского Технологического института и высылается в г. Вологду.

В 1869 году Сажин бежит в Америку, где работает, как чернорабочий и сильно бедствует. Сергей Геннадиевич Нечаев вызывает его в Швейцарию, где Сажин знакомится с М. А. Бакуниным и работает вместе с последним.

Он делается членом I Интернационала, а через некоторое время едет в Париж для того чтобы принять участие в работе Парижской Коммуны и защищать Коммуну с оружием в руках до последнего дня ее существования.

Возвратившись в Швейцарию, М. П. Сажин энергично работает, как анархист; он организует в Цюрихе колонию, устраивает кружки бакунистов, создает библиотеку, входит в тайный «Альянс»Бакунина,[1]) сражается с сторонниками Утина, полемизирует с Лавровым, с помощью друзей создает типографию, одной ногой в Лондоне, другой в Женеве, выпускает в свет «Государственность и Анархию», «Историческое развитие Интернационала», «Анархию по Прудону», совмещая в своем лице обязанности наборщика и корректора, метранпажа, печатника и даже плотника, сколачивающего кассы и реалы для типографского шрифта» [2]). Для библиотеки М. П. Сажин организовал получение бельгийских и французских социалистических газет, прокламаций и брошюр.

Во время восстания Герцоговины и Боснии против турок, Сажин отправляется в Герцоговину и сражается с турками.

В 1875 году он возвращается в Женеву, где несколько эмигрантов вместе с ним обсуждают вопрос о поднятии в России (на Урале) восстания. Для этой цели он возвращается в Россию. Однако скоро он возвращается в Европу. Его арестуют при переходе через границу, заключают в Петропавловскую крепость, где держат в течение полутора лет. Потом отдают под суд и по процессу 193 осуждают на пять лет каторжных работ «за покушение на распространение

[1]) См. об этом выше статью самого М. П. Сажина.

[2]) См. предисловие Вяч. Полонского в юбилейной книге, выпущенной к восьмидесятилетию М. П. Сажина „Воспоминания“ 1860—1870 г.г. Москва 1925 г. стр. 8.

книг преступного содержания и за участие в этом покушении». Ему обрили половину головы, на ноги и на руки надели тяжелые кандалы. В арестантском вагоне встретил Сажина С. Чудновский и так писал о нем: «мертвенно бледное лицо его отражало искусно заглушаемые нравственные муки, хотя он, человек с сильным характером, наружно сохранял полное спокойствие и самообладание». Сажин провел год и два месяца закованный в ножные кандалы.

В Швейцарии М. П. Сажин назывался Арман Росс. Он здравствует и в настоящее время [1]).

Владимир Карпович Дебагорий-Мокриевич родился в 1848 г. Он принадлежал к числу тех революционеров, которые «пошли в народ», с целью освободить его от экономического и политического гнета. Дебагорий окончил гимназию и поступил в Киевский университет. В 1873 году он был в Швейцарии, где и познакомился с М. А. Бакуниным. Бакунин поделился с ним своим мнением о тогдашних революционерах:—«Да что русские!? Всегда они отличались стадными свойствами! Теперь они все анархисты! На анархию мода пошла, а пройдет несколько лет и, быть может, ни одного анархиста среди них не будет».

Дебагорий возвратился в Россию и был арестован 11 февраля 1879 года в Киеве.

Дебагорий-Мокриевич придерживался одно время убеждения, что крестьянское восстание можно подымать царским именем: «как французский народ в прошлом столетии, рассуждали мы, совершая местные бунты во имя короля, совершил, в конце-концов, революцию, так и мы теперь будем бунтовать наш народ от имени царя; ряд подобных бунтов приведет к революции, которая столкнет, наконец, народ лицом к лицу с царем, а тогда падет, между прочим, и царский авторитет».

30 апреля 1879 года Дабагорий с товарищами был осужден на каторжные работы сроком на 14 лет 10 месяцев. По пути на каторгу, Дебагорий бежал и, после ряда приключений, скрылся заграницу. В 1902 году Дебагорий-Мокриевич жил в Загоре. По инициативе Кашинцева и Дебагорий-Мокриевича заграничные революционные кружки решили созвать в сентябре 1902 года с'езд, но сделать это не удалось.

В Liberté от 4 октября 1872 года в письме, подписанном Огаревым, Зайцевым, Озеровым, Гольштейном, Ралли, Эльсницем, Смирновым и Россом, говорилось, между прочим, следующее: «В 37 № вашей газеты мы с негодованием прочли текст невероятного рапорта, представленного Гаагскому конгрессу, комиссией расследования об Альянсе (Международном Союзе Социалистической Демократии). В этом докладе, внушенном, очевидно, ненавистью и желанием отделаться во что бы то ни

[1]) 31 октября 1905 г. Общество Политкаторжан в Москве устроило торжественное чествование М. П. Сажина по поводу исполнившегося его восьмидесятилетия.

стало от неудобного противника, решились бросить нашему соотечественнику и другу Михаилу Александровичу Бакунину обвинение в мошенничестве и шантаже. Мы не считаем ни необходимым, ни своевременным опровергать здесь ложные акты, на которые рассчитывали опереться для подтверждения нелепого обвинения, взведенного на нашего соотечественника и друга. Факты, на основании которых считали возможным обвинить нашего соотечественника, нам хорошо известны в малейших деталях и мы сочтем долгом восстановить их в истинном свете тотчас же, как только явится возможность сделать это. Нам мешает сделать это в настоящее время положение другого соотечественника, который вовсе не является нашим другом, но которого делают для нас священным те преследования со стороны русского правительства, жертвою которых он сделался. (Речь идет о Нечаеве.—А. К.) Г. Маркс, ловкость которого мы, впрочем, не думаем оспаривать, в данном случае ошибся в расчете. Честные сердца во всех странах несомненно почувствуют только негодование и отвращение при виде такой грубой интриги и такого явного нарушения самых простых требований справедливости. Что касается России, то можем уверить г. Маркса в том, что его старания будут там напрасны. Бакунин там слишком уважаем и известен, чтобы клевета могла достигнуть его».

Близкие к Бакунину эмигранты из России, в лице Эльсница, Гольштейна, и Ралли вступили в пререкания с Россом (М. Сажиным) по поводу русской типографии. Эти эмигранты, не доценивая М. А. Бакунина, втянули и его в мелочную борьбу. Бакунин высказался за Сажина. Во всей этой истории Бакунин держал себя, как подлинный революционер, как выдающийся общественный деятель, для которого общее дело всегда стояло на первом плане.

В сентябре 1876 года у Бакунина произошел окончательный разрыв с тремя названными анархистами. Эти эмигранты напечатали брошюру «К русским революционерам № 1. Сентябрь 1873 года. Революционная коммуна русских анархистов». В брошюре был помещен текст составленной Бакуниным программы тайной революционной организации, в которой вместе с Бакуниным, участвовали и названные эмигранты. М. А. Бакунин — строгий конспиратор — посмотрел, выражаясь словами Гильома, на опубликование этой программы, как «на настоящую измену». Он отослал названным эмигрантам взятые у них в займы 1990 франков.

Н. В. Соколов, бывший полковник генерального штаба, был сотрудником „Русского Слова“ и автором книги „Отщепенцы“, за которую был сослан по суду в одну из северных губерний, откуда и бежал за границу.

Соколов говорил Чуринову и Джабадари: „Ну что же господа? Продолжайте учиться и удивляйте мир своими учеными

трудами, которые будут оплачиваться потом и кровью голодного народа. Вместо того, чтобы отдать жизнь на завоевание политической и экономической свободы масс, вы хотите, напустив на себя вид ученого, копаться десятки лет в архивной цыли, а потом провозглашать всем известную истину, что благодаря господствующим классам и их политике, масса народа физически и умственно вырождается. Все это известно всем. Вы лучше скажите, что надо делать чтобы возродить вымирающий народ».

Софья Николаевна Лаврова и Надежда Николаевна Смецкая были анархистками, последовательницами Бакунина. Обе жили в 70 годах в Швейцарии.

Учение М. А. Бакунина сильно повлияло на П. А. Кропоткина, и последний писал об этом в своих «Записках революционера: «теоретические положения анархизма, как они начинали определяться тогда в Юрской федерации,— в особенности Бакуниным — критика государственного социализма, который, как указывалось тогда, грозит развиться в экономический деспотизм, более страшный, чем политический, и наконец, революционный характер агитации среди юрцев, неотразимо действовали на мой ум».

А. Карелин.

Анархисты в народническом движении 70-х годов.

Народническое движение в 70-х годах шло под знаменем анархизма и социализма, причем оба учения, или вернее приверженцы обоих учений уживались довольно мирно друг с другом. Они уживались тем легче, что зловещая политика отсталого от общественного движения правительства сосредоточивала силы анархистов и социалистов на борьбе с последним.

Положение огромного большинства русского населения было тяжелым. Нищета и безправность положения озлобляли крестьянство. Оно враждебно смотрело на помещиков, во владении которых были громадные количества лучшей земли, обрабатываемой крестьянством. Малоземелье, высокие по сравнению с доходом подати, разоряли крестьян. Как врагов, встречало крестьянство чиновников, мелькавших перед крестьянами, главным образом, для сбора податей и для набора крестьянских парней в солдаты. Подати, по сравнению с доходностью примитивно поставленного сельского и кустарного хозяйства, были невыносимо тяжелы. Бесправие крестьян было поразительно, а приемы взыскания податей жестоки. Подлый остаток крепостного права и дикого правительственного произвола—розга для взрослых крестьян—опять таки побуждал крестьянство враждебно смотреть на бар, на господ, при чем в число бар попадали становой пристав и исправник. Государство своими разнообразными, прямыми и косвенными, налогами; кулачье со своими высоко оплачиваемыми ссудами и кабальными сделками; помещики с высокой арендной платой за землю и нищенской платой батракам; духовенство, держащее руку кулаков, бар и чиновников и берущее с крестьян за требы и молебны; мелкие и крупные торговцы и скупщики крестьянских продуктов—не давали крестьянам ни отдыха, ни срока. Крестьянство, думавшее, что освобождению от крепостного права оно обязано доброй воле справедливого царя, возлагало на последнего все свои надежды и мечтало о дополнительном наделе, уменьшении податей и свободе от нелепого начальства...

Учение социалистов, несмотря на цензурный гнет, было известно в России. Настойчивое желание крестьян иметь землю и волю было известно русской молодежи.

Еще в 60-х годах такие деятели и писатели, как Чернышевский, Михайлов, Зайцев, Соколов и многие другие, понимали что наш народ ограблен правительством и дворянством, что он постоянно грабится как ими, так и кулачеством, купечеством.

Беллетристы-народники — Наумов (автор рассказов «Сила солому ломит»), Решетников (автор «Подлиповцев»), Левитов, Николай Успенский, отчасти Златовратский, познакомили читающую публику с ужасным положением крестьянства. Волновали молодежь и стихи Некрасова.

В таких условиях анархисты и социалисты выступили на защиту крестьян и рабочих. Их движению и посвящена наша статья.

Бесспорно анархистом, хотя и очень своеобразным, надо считать Сергея Геннадиевича Нечаева.

Нечаев был учителем приходской школы и вольнослушателем Петербургского университета. Он играл заметную роль в студенческих волнениях, бывших в Петербурге в 1868/69 году. Он звал молодежь на улицу, убеждая ее устроить политическую демонстрацию. Против него сильно боролся М. Натансон. В это время Нечаев мечтал уже о социальной революции. Анархистом он стал заграницей. По возвращении в Россию, осенью 1869 года, он всецело уже разделял убеждения анархистов.

Нечаев мечтал о всенародном восстании для разрушения экономических, политических и других устоев современного общежития. Строить должны, по его мнению, грядущие поколения. Он считал необходимым террор против высокопоставленных чиновников, против капиталистов, даже против продажных писателей. Царя он хотел казнить всенародно.

В 1-м № листка «Народная Расправа», который распространял Нечаев, значится, между прочим, следующее: «Мы беремся сломать гнилое общественное здание, в котором мучается большинство обитателей для доставления нечистых радостей и грязных наслаждений небольшой горсти счастливцев. Пусть новое здание строят новые плотники, которых вышлет из своей среды народ, когда мы дадим возможность вздохнуть ему полной грудью, сбросив с нее тяжелый гнет государства».

Нечаев придерживался того взгляда, что «спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции и классы в России».

Б. Козьмин в своей книжке «П. Н. Ткачев» так характеризует Нечаева: «все знавшие Нечаева сходятся в том, что это был человек, у которого всегда и при всяких условиях на

первом плане стояли интересы революции. Освобождение эксплуатируемых было единственным делом, поглощавшим все его личные интересы. Личной жизни, личных привязанностей у этого человека не было; личное счастье сливалось у него всецело и без остатка со счастьем миллионов трудящихся».

«Он,—говорит о Нечаеве лично знавший его М. П. Сажин,—обладал колоссальной энергией, фанатической преданностью революционному делу, стальным характером, неутомимой трудоспособностью и деятельностью».

Когда Бакунин разошелся с Нечаевым, он все же писал о нем: «Нечаев один из деятельнейших и энергичнейших людей, каких я когда либо встречал... Нечаев — сила, потому, что это огромная энергия».

Один из подсудимых на процессе нечаевцев, И. Г. Прыжов, говорил на суде: «Я прожил сорок лет на свете, встречался со многими литераторами, учеными, вообще с людьми, известными своей деятельностью, но такой энергии, как у Нечаева, я никогда не встречал и не могу представить себе».

Нечаев умел говорить с простыми рабочими: они понимали его и смеялись, когда он высмеивал бар и правителей (из моих разговоров с нечаевцем из московского кружка). Нечаев отличался поразительной энергией. Через десять лет после его осуждения, один из его московских товарищей рассказывал мне, что ни он, ни его товарищи никогда не видели Нечаева спящим и думали, что он спит только во время поездок на извощиках из Москвы в Петровско-Разумовское и обратно. Нечаев сумел получить от Герцена десять тысяч рублей, оставленные последнему одним эмигрантом и, страшно нуждаясь в Швейцарии, иногда голодая, не истратил на себя ни копейки из этих денег.

Организация сторонников Нечаева была строго законспирированной. Он организовал своих единомышленников в пятерки. Им были завязаны сношения с обеими столицами, Иваново-Вознесенском и Ярославлем. Московская пятерка играла в организации Нечаева роль тайного комитета. Были у него и другие пятерки, но его организация не была многолюдной.

Бежав заграницу после разгрома организации Петровской академии, явившегося результатом убийства члена московского кружка Иванова, заподозренного в желании сделать донос[1]), Нечаев был выдан Швейцарией, по указанию Ад. Стемиковского, 27 октября 1872 года русскому правительству, как уголовный преступник.

Русское правительство отдало Нечаева под суд. Вот что писал сам Нечаев об этом суде: «следствие было подтасовано с крайней наглостью. К Нечаеву не допустили избранного им

---

[1]) „Иванов—пишет Ралли — был порядочным человеком и никогда не сделался бы шпионом".

защитника. Ему не выдали даже копии с дела, не выполнили никаких формальностей судопроизводства. На суде не выслушали его об'яснений; как только он открывал рот—так его вытаскивали из залы заседания в корридор, где били до потери сознания.»

Нечаев был заточен в Петропавловской крепости; он подал просьбу о пересмотре дела и когда к нему явился жандармский генерал Потапов, оскорбивший заключенного, Нечаев дал генералу пощечину. В ответ на пощечину „руки и ноги Нечаева были закованы в тяжкие кандалы, причем цепь, соединявшая эти кандалы, была нарочно так укорочена, что узник был согнут в дугу, не мог встать ни прямо, ни вытянувшись, а вынужден был постоянно сидеть. скорчившись; руки и ноги покрылись язвами, силы ослабели". Так сидел он в течение двух лет, прикованный цепью к стене. Тем не менее, он сумел распропагандировать стороживших его солдат и все было приготовлено в начале 1881 года к его бегству. Мне рассказывали, что Желябов, с которым, как и с другими народовольцами (Перовской, Франжоли, Арончиком и др.), Нечаев сумел завязать сношения, предложил ему, чтобы он выбирал между своим освобождением или убийством Александра II. Нечаев (и Ширяев) выбрали последнее. Царь был убит, но заговор солдат освободить Нечаева был раскрыт. После смерти Ширяева, в равелине остался только один политический заключенный—Леон Мирский, неудачно стрелявший в марте 1879 г. в шефа жандармов Дрентельна. Этот Мирский донес на Нечаева, заявив начальству о предполагавшемся побеге, и побег не мог быть осуществлен. Мирский получил от правительства награду — ему стали выдавать десерт к обеду, улучшили качество выдаваемого табака на 60 коп. в месяц и разрешили чтение прошлогодних журналов.

Побег Нечаева не удался благодаря подлости предателя. Желябов посетил его в равелине и был уверен, что побег можно было устроить без особого труда. Нечаева перевели в камеру № 1. Он потерял связи с волей и умер от «общей водянки и цынги» с 8 на 9 мая 1883 года.

Чернопередел Александр Львович Блек видел солдат, решившихся освободить Нечаева. Они называли его после суда над ним и осуждения, не иначе, как «наш орел».

Постоянные обвинения Нечаева в лживости, хвастовстве, политической безнравственности и пр. нуждаются в одной предпосылке. Многое—верно в тех обвинительных речах, которые обрушивалнсь на Нечаева, даже со стороны такого человека, как Бакунин. Но мне настойчиво кажется, что к Нечаеву вполне применимы слова Рылеева, вложенные последним в уста гетмана Наливайко:

«Грехи татар, грехи жидов
Отступничество униатов,
Все преступления сарматов

Принять я на душу готов,
Лишь только б русскому народу
Вновь возвратить его свободу».

Нечаев обманывал Бакунина (например, говоря о своем неимевшем места бегстве из Петропавловской крепости и т. п.). Но чаще он погрешал преувеличением, чем прямой ложью.

Но он был способен на любую гадость, когда думал, что эта гадость принесет пользу революционному делу.

В бумагах Нечаева остался «Революционный Катехизис», написанный рукою Бакунина. Это не было «сочинение» Бакунина. Конечно, Бакунин мог переписать для себя склеенный из разных сочинений и отчасти написанный Нечаевым «катехизис», а затем, не придавая ему значения, не заметил, что его взял Нечаев. Я остаюсь при убеждении, что катехизис был написан Нечаевым, а не Бакуниным. Правда, М. П Сажин удостоверяет, что автором катехизиса был Бакунин, но, вероятнее всего, мы имеем здесь дело с ошибкой. Нечаев просто включил в свой катехизис многое из того, что говорил и проповедывал письменно Бакунин и из того, что говорил в своих работах Петр Никитич Ткачев. Но в катехизисе имеется и то, что счел нужным внести в него сам Нечаев. Нечаев несомненно придерживался взгляда, что цель оправдывает средства. В этом не так много удивительного: разве судьи всего мира, приказывающие мучить, а в некоторых случаях и убивать так называемых преступников, не исповедуют принципа, что цель (этими судьями абсолютно не достигаемая) оправдывает отвратительные, подлые и злодейские средства? Разве не являются такими средствами наказания, никогда никого не исправлявшие и не уменьшавшие численности и тяжести преступлений?

Эти слова — не оправдание, а защита Сергея Геннадьевича Нечаева.

С 1870 до 1875 года работало в России общество чайковцев, так названное по имени студента Николая Чайковского. В начале чайковцы ставили своей задачей культурную деятельность, с целью поднятия материального, умственного и нравственного уровня народа. Кружок чайковцев об'единял вначале все петербургские кружки единым принципом—„принципом обязательной выработки для революционной деятельности сознательной, теоретически подготовленной, стойкой личности, с одной стороны, и единым, цементирующим в одно целое все кружки практическим, так называемым, „книжным делом“ (О. Аптекман).

В течение двух лет, до 1872 года это общество брало от издателей на комиссию разные книги и брошюры социали-

стического и научного содержания, распространяло их среди студентов и продавало за полцены. Они продавали по дешевой цене и рассылали в провинцию такие книги, как сочинения Чернышевского, Добролюбова, Лаврова, Флеровского, Лассаля, Маркса, Бокля, Щапова, Сергеевича, Берне, Дарвина, Спенсера, Шерра, Шелгунова, Михайлова, Цебриковой, Наумова, Нефедова, Худякова и др. Они издали «Экономические противоречия» Прудона и «Рабочий вопрос» Ланге; книги были задержаны в типографии. Ими был издан первый том «Истории французской революции» Луи Блана, переизданы «Исторические письма» Лаврова — Миртова, две великолепные книги Флеровского — «Положение рабочего класса в России», и «Азбука социальных наук» Книжное дело чайковцев велось по всей России; они везде организовывали склады книг и устраивали библиотеки.

«Во всех городах, во всех концах Петербурга возникали кружки саморазвития, писал П. А. Кропоткин. Здесь тщательно изучались труды философов, экономистов и молодой школы русских историков. Чтение сопровождалось бесконечными спорами. Целью всех этих чтений и споров было—разрешить великий вопрос, стоявший перед молодежью: каким путем может она быть наиболее полезна народу? И постепенно она приходила к выводу, что существует лишь один путь: нужно итти в народ и жить его жизнью».

Еще в конце 1871 года чайковцы начали заводить знакомства с рабочими, а левая часть чайковцев двинулась в народ, в качестве учителей, фельдшеров, волостных писарей и т. д., а девушки шли в народ учительницами, фельдшерицами, акушерками. Вначале они, в громадном большинстве случаев, не думали о революции. «В своих средствах они были мирнейшими из мирных людей». Они просто хотели учить народ грамоте и просвещать его. В большинстве случаев они не были вначале революционерами. Но в результате (как это всегда бывало в России), они увидели, что легальная деятельность наказуется в России, как работа нелегальная, и чуть ли не все поголовно чайковцы стали анархистами, начали распространять запрещенные в России заграничные издания, печатать с 1873 года заграницей нелегальные, запрещенные брошюры и, наконец, устроили в Питере свою типографию. С начала семидесятых годов чайковцы поступали на фабрики рабочими и быстро заводили связи с рабочими. Сотни людей, руководимых чайковцами, организованно работали во многих городах и уездах России.

Среди чайковцев были С. Л. Перовская, сестры Корниловы, много студентов,

Организация чайковцев была провалена ренегатами — М. Рабиновичем, Городецким, Низовкиным, Гриченковым, Ярцевым и другими.

Последователи Лаврова были в семидесятых годах немногочисленны. Они стремились к хорошей постановке народного образования и сами старались получить высшее образование. Они немного работали среди городских рабочих, были далеки от крестьян, думали, что общинное владение должно перейти в подворное и рекомендовали не иметь дела с крестьянством.

Александр Дмитриевич Михайлов писал о лавристах: «лавристы считали нужным подготовить народ «для совершения целесообразного переворота.» «Итти в народ для пропаганды, вот клич лавристов». Лучше всего итти в ряды простых рабочих. Кто не может, занимает места сельского учителя, писаря, мелкого помещика, ремесленника, торговца, приказчика. «Помогать деятельности в народе может книга». «Живя и действуя в народе, пропагандист не должен останавливаться на вопросах экономических и политических; нет: сообразно собственному мировоззрению, следует расширить взгляды окружающих и более близких людей на семейные отношения, на религию и мироздание. Бунт и стачка, а также агитация, в смысле возбуждения чувств к непосредственному действию, не могут вообще служить для подготовления народа к социалистическому перевороту, но в отдельных случаях эти средства подготовляют почву для пропаганды. В народе нужно пробуждать не чувство, а сознание. Ясное понимание дороги к счастью вызовет чувства, сила которых не знает преград».

Такова теория лавристов. Это движение было заметно в Петербурге и почти не замечалось в Москве, на Волге и на юге.

В № 48 «Вперед» за 1876 год Лавров писал: «Социальная революция должна быть подготовлена тайной организацией революционных сил, действующих путем пропаганды и агитации, пока они не будут достаточно велики для производства обширного революционного взрыва».

Отметим здесь, что как П. Л. Лавров, так и лавристы, считали все же своим идеалом анархическое общежитие. Это не мешало им отрицательно, как мы видели, относиться к пропаганде бунтов. Они мечтали о перевоспитании народных масс. Особо важного значения они не имели.

М. П. Сажин пишет о работе лавристов следующее: «С прекращением издания «Вперед», все рассыпалось и все лавристы исчезли, «перешли на службу в банки, земства, кооперацию». Лавров стоял во главе журнала, но не во главе движения. Укажите, кто, где и сколько последователей Лаврова, «лавристов», находилось в центральных тюрьмах, каторге, Сибири, поселении? Их там не было, а если и были—то единицы. Все эти прекрасные заведения царской власти наполнялись не «лавристами». Тем не менее, подпольная литература лавристов имела революционное значение.

Несколько москвичей с Александром Васильевичем Долгушиным во главе устроили в 1872 году недалеко от Москвы в деревне Сараево тайную типографию, где печатались разные воззвания к народу и к интеллигенции; прокламации призывали итти в народ для того «чтобы возбудить его к протесту во имя лучшего общественного устройства». Культурная работа отрицалась Долгушиным и его товарищами.

В 1869 году в прокламации—«Несколько слов к молодым братьям в России» М. А. Бакунин писал: «Итак, молодые друзья, бросайте скорее этот мир, обреченный на гибель, эти университеты, академии и школы, из которых вас гонят теперь и в которых стремились всегда разъединить вас с народом. Ступайте в народ! Там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука. Научитесь у народа, как служить народу и как лучше вести его дело. Помните, друзья, что грамотная молодежь должна быть не учителем, не благодетелем и не диктатором-указателем для народа, а только повивальной бабкой самоосвобождения народного, сплотителем народных сил и стремлений. Чтобы приобрести способность и право служить народному делу, она должна утопиться в народе. Не хлопочите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель».

О бунтарях, то-есть об анархистах, Александр Дмитриевич Михайлов писал: «Местный бунт, ставящий на своем знамени понятные и близкие вообще народу требования, но по возможности социалистические и федералистические, вот главное средство бунтарей. Каковы бы ни были последствия местного бунта, результат его будет накопление революционных чувств и воспитание народа в этом направлении». «Бунтарь—продолжал он,—цельная непосредственная натура. Глубина чувств и впечатлительность зажгли в нем непримиримую ненависть к притеснителям и горячую любовь к народу. Революционные порывы поглотили его вполне. Разум и чувства говорят одно и то же. Вокруг голодный, оборванный оскорбляемый и обираемый народ, народ своими общественными наклонностями вечно шедший наперекор татарско-немецким тенденциям, и за это вечно угнетаемый; народ, в истории своей удивляющий высокими гражданскими чувствами».

В первой половине 70-х годов прошлого столетия тысячи молодых людей (по большей части из учащейся молодежи) направились в деревни, пропагандируя отобрание земли у помещиков (черный передел земли), необходимость полного уничтожения солдатских наборов и полного же освобождения от военной службы. Они пропагандировали безусловный отказ платить подати, требовали уничтожения паспортов, хорошего устройства школ, полной свободы, говоря вообще, проповедывали близкий к анархическому общественный строй. Среди анархистов того времени было немало рабочих, тесно связанных с крестьянами.

Тем не менее, как общее правило, пропаганда велась, главным образом, среди крестьян, а на рабочих и интеллигенцию обращалось не так уж много внимания.

К крестьянам и рабочим анархисты (и социалисты) того времени шли сельскими и волостными писарями, шли как ремесленники, главным образом, как сапожники, кузнецы и столяры. Эти ремесла изучали пропагандисты, как изучали и простой крестьянский язык. Шли «в народ», говоря словами брошенного М. А. Бакуниным и подхваченного русской молодежью лозунга. Заметим, что пропагандисты особенно охотно шли к крестьянству в роли учителей; устраивали фермы, мельницы, маслобойни, лавочки; шли фельдшерами, даже врачами.

«Бакунин и его молодые последователи—пишет землеволец О. В. Аптекман—основали свою программу именно на реальных потребностях массы, поскольку эти потребности вылились в исторически-данные формы общежития, в определенный уклад жизни этих масс. Именно Бакунин предвидел возможное наше поражение,—конечно, идейное прежде всего, и горячо предостерегал нас от всякой, так называемой, ложной идеализации... Молодежь начала проповедывать социалистические идеи, но года через полтора, два вернулась к бакунизму, возродившемуся в форме революционного народничества с лозунгом «Земля и Воля» (О. А. Аптекман. Общество «Земля и Воля» 70 годов).

Конечно, бакунисты вовсе не отрицали пользы народного образования. «И в статьях самого Бакунина,—пишет П. Л. Лавров—и в наиболее обдуманных работах его сторонников можно найти прямые указания на пользу или даже на необходимость для русского революционера социологических знаний и ознакомления с народным бытом, с народными потребностями в России».

Как протест против варварского обращения с заключенными, в декабре 1876 года была устроена небольшая, плохо подготовленная демонстрация на площади Казанского собора. Рабочих пришло на эту демонстрацию очень мало—200 или 250 человек. Много больше пришло учащейся молодежи. Полиция жестоко избила на этой демонстрации многих ее участников и правительство свирепо, каторжными работами, наказало захваченных участников ее.

Еще ранее, в начале 1877 года, петербургская молодежь демонстрировала на похоронах Чернышева, умершего от тяжелых условий тюремной жизни. Тюремный режим того времени порождал самоубийства заключенных, скоротечную чахотку и другие тяжелые заболевания.

В 1875—6 годах многие анархисты идут добровольцами к восставшим против турок славянам и сражаются в рядах последних.

В 1875 и 76 годах правительство организует несколько небольших процессов анархистов и социалистов, а в феврале и марте 1877 года ведется процесс пятидесяти. На скамье подсудимых находятся почти исключительно анархисты. Блестящую речь произнес рабочий ткач Петр Алексеевич Алексеев, закончивший ее следующими словами: «Приказчик фабрики Носовых (свидетель на суде) говорит, что за исключением праздничного дня все рабочие под строгим надзором, и неявившийся в назначенный срок на работу не останется безнаказанным, а окружающие их сотни подобных же фабрик набиты крестьянским народом, живущим при таких же условиях,—значит они все крепостные. Если мы, к сожалению, нередко бываем вынуждены просить повышения пониженной самим капиталистом заработной платы, нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь,—значит мы крепостные. Если мы со стороны капиталиста вынуждены оставить фабрику и требовать расчета, вследствие перемены доброты материала и притеснения от разных штрафов, нас обвиняют в составлении бунта и прикладом солдатского ружья приневоливают продолжать у него работу, а некоторых, как зачинщиков, ссылают в далекие края,—значит мы крепостные. Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста и первый же встречный квартальный бьет нам в зубы кулаком и пинками гонит вон,—значит мы крепостные... Из всего, мною вышесказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться на самого себя и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи: она братски протянула нам руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российской империи. Она одна до глубины души почувствовала, что значит и отчего это отовсюду слышны крестьянские стоны. Она одна не может хладнокровно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма, угнетенного крестьянина. Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская рук, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших братьев из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока (говорит, подняв руку) поднимется мускулистая рука рабочего люда и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах».

Петру Алексеевичу мешал говорить председатель суда, сенатор Петерс криками «молчать! молчать!», но Алексеев кончил свою речь.

Хороша была речь мирной анархистки Софьи Илларионовны Бардиной, которая работала на фабрике и читала рабочим

анархическую литературу. Она говорила на суде: «Я принадлежу к разряду тех людей, которые между молодежью известны под именем мирных пропагандистов. Задача их—внести в сознание народа идеалы лучшего, справедливейшего общественного строя, указать ему недостатки настоящего строя, или же уяснить ему те идеалы, которые коренятся в нем бессознательно; указать ему недостатки настоящего строя, дабы в будущем не было тех же ошибок; но, когда наступит это будущее, мы не определяем и не можем определить, ибо конечное его осуществление от нас не зависит. Я полагаю, что от такого рода пропаганды до подстрекательства к бунту еще весьма далеко». С. И. Бардина закончила свою речь словами: «Преследуйте нас! За вами,—пока,—материальная сила. За нами сила нравственная, сила истории, прогресса, сила идеи, а идеи, увы! на штыки не улавливаются» [1]). Ею была сказана удивительная по своей глубине фраза: «Государство само в себе носит зародыш разрушения».

И. Джабадари пишет о пропагандистах, привлеченных к процессу 50-ти, следующее: «Двухмесячный опыт пропаганды среди московских фабричных рабочих дал блестящие результаты: мы охватили до 20 фабрик, а также мелкие мастерские, столярные, слесарные, кузнечные и мастерские Курско-Харьковской железной дороги. Во всех этих фабриках и мастерских у нас были небольшие группы рабочих из 4—5 человек, делавших свое дело по намеченной нашей организацией программе». «Организация наша была построена на принципе безусловного равенства всех членов и отсутствия всякой власти в руках центрального бюро организации». Эта организация не стремилась к захвату власти.

Не успели замолкнуть толки, вызванные названным процессом, начался в октябре 1877 и продолжался по январь 1879 года процесс 193 подсудимых. Один из обвиняемых, Ипполит Николаевич Мышкин сказал на суде блестящую речь, из которой приведу одно только место и ее окончание, вызванное постоянными перерывами со стороны мешавшего говорить Мышкину председателя. «Ведь, в нашем распоряжении,—говорил Мышкин,—нет ни тюрем, ни военных команд, ни больших промышленных предприятий, закабаляющих тысячи рабочего люда. Следовательно, мы не имеем никаких средств насиловать народную волю в пользу излюбленных нами идей. Мы можем действовать только убеждением. Все средства насилия находятся в распоряжении, и, действительно, практикуются нашими противниками. Если же, несмотря на крайне неблагоприятные для нас условия, правительство все-таки имеет серьезные осно-

---

[1]) Дикари-сенаторы приговорили ее сначала к каторжным работам, но после пересмотра дела, Бардина была сослана на поселение, откуда бежала и, пробыв полтора года в России, уехала заграницу, где и умерла в Женеве в 1881 году.

вания опасаться, что наша деятельность увенчается успехом, то, значит, мы не ошибаемся, рассчитывая на сочувствие народа нашим идеям; но в таком случае мы не преступники, не злоумышленники, а лишь выразители потребностей, созданных народом...» Постоянно прерываемый председателем суда, Мышкин, не обращая внимания на крик председателя и попытку жандармского офицера физическим насилием помешать ему говорить, кончил свою речь словами: «Это не суд, а пустая комедия, или нечто худшее, более отвратительное, более позорное, чем дом терпимости: там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества».

Любопытно, что из 193 человек подсудимых Сенат оправдал 153 человека и, действительно, все движение того времени носило, по преимуществу, мирный характер. Тем не менее, царь отказался помиловать тех обвиняемых за смягчение наказания которым ходатайствовал сенат, и многие оправданные были административно сосланы на окраины России.

«Припоминая теперь движение 1870—1878 годов, я могу сказать, не боясь ошибиться, писал П. А. Кропоткин, что большинство молодежи удовлетворилось бы возможностью спокойно жить среди крестьян и фабричных работников, учить их и работать с ними, либо в земстве, словом, оказывать народу те бесчисленные услуги, которыми образованные, доброжелательные и серьезные люди могут быть полезны крестьянам и рабочим».

Помимо разных мастерских, о которых говорилось выше, пропагандистами устраивались в селениях мелочные лавочки, где пряталась нелегальная литература и где можно было получить необходимые связи. Сначала пропаганда шла, главным образом, среди городских рабочих, но тотчас же была перенесена в деревню. Была основана в Москве типография Ипполитом Мышкиным, в которой печатались социалистические книги и брошюры, чаще всего ярко анархического характера.

Как заграницей, так едва ли не главным образом в России, появились многочисленные разнородного содержания брошюры. Эта литература была богаче современной литературы для крестьян, если не говорить, впрочем, о прикладных ремесленных и сельскохозяйственных книженках, зачастую изложенных некрестьянским плоховатым языком; нечего и говорить, что литература того времени по политическим и общественным вопросам была честнее и интереснее буржуазной правительственной макулатуры.

Некоторые пропагандисты (например долгушинцы и другие) пользовались евангелием и находящеюся в нем анархической проповедью для того, чтобы подорвать уважение крестьян к царю

там, где они сохранили это уважение. Я помню закат пропаганды 70-х годов, и тогда впервые услыхал, что такие тексты, как „цари господствуют над народами... а вы не так...“ (от Луки 22, 25—26) и прочие производили на некоторых крестьян сильное впечатление. Но евангельская пропаганда занимала не самое важное место. Чаще читались и распространялись такие брошюрки, как «Сказка о четырех братьях», «Хитрая механика», доказывающая тяжесть косвенных налогов и несправедливость податного обложения, «Дедушка Егор», «Внушителя словили» (Иванчина Писарева), «Сказка говоруха», «Сказка о копейке» (С. К. Кравчинского), «Как жить по закону природы и правды» (Флеровского), «Слово на великий пяток», «Заживо погребенные», «Речь Мышкина», «Речь Бардиной», «Отцам и матерям», «Отчеты по процессу 193», «О правде и кривде» (С. Кравчинского), «Рабочие рассказы для народа», «За богом молитва, за царем служба не пропадает», «Паровая машина», «Про богатство и бедность», «Как наша земля стала не нашей», «Правда», «Золотая грамота», «Храбрый воин», «Четыре странника» (Тихомирова). Журналом «Вперед» Лаврова были изданы: «В память столетия Пугачева», «По поводу Самарского голода», «Общественная служба в будущем обществе», «Государственный элемент в будущем обществе», «Хитрая механика», «Мудрица Наумовна», «Пролог к прологу Чернышевского». Издавались революционные журналы в России и за границей.

С 1875 года пропагандисты выставили ряд резких требований и заранее понимая полную невозможность удовлетворения их, при барско-царском и даже вообще при государственном строе общества, энергично призывали народ «бунтовать». Передача всей земли народу, полное уничтожение всех налогов, освобожденная от государственного и кулацкого гнета община — таков был план минимальной программы пропагандистов рассматриваемого времени.

В рядах пропагандистов громадное большинство было в это время анархистами, но им далеко не всегда приходилось развивать до конца свои взгляды. Во всяком случае революционеры мечтали об организации заговоров, с целью поднятия крестьянских бунтов, по примеру бунта Разина. Даже маленький бунт считался важнее пропаганды брошюрами и разговорами. Естественно явились призывы к организации боевых дружин.

Александр Дмитриевич Михайлов указывает, что первые пропагандисты социализма в народе поняли причины неудачи «своего движения в народ» и пишет: «Опыт обнаружил их ошибки, и народники, поставив на своем знамени исторический лозунг «Земля и Воля», чутко прислушивались к говору массы, присматривались к ее обыденной жизни, отыскивая для каждого момента деятельности наиболее могучий рычаг. И их деятельность, сравнительно очень непродолжительная, не пропала без следа. «Народники» имели большой успех в деревне, благодаря

тому, что опирались на желания самого народа. Везде, где они жили, они скоро приобретали друзей, передавали им свои планы и находили в них горячих и деятельных помощников».

То же самое говорит и М. Р. Попов, указывая, что крестьяне угадывали в пропагандистах своих истинных друзей и были о них наилучшего мнения: „Завоевать симпатию крестьян в такой мере, чтобы потом вести среди них пропаганду совершенно откровенно, не составляло большого труда".

В конце 1876 года, чайковцы организуют тайное революционное общество народников, под названием «Земля и Воля». Его члены были социалистами федералистами. Северяне и поволжане примкнули к этому обществу.

Революционное общество «Земля и Воля» ставило своей целью переход всей земли в руки трудящихся—черный передел, отказ от платежа податей, революционную агитацию; побуждало крестьян подавать прошения об улучшении их быта нарезкой земли; настаивало на посылке ходоков к царю и к высшему начальству, что прекрасно выясняло полный разрыв правительства с крестьянством; создавало, где могло, атмосферу агитации. Это общество старалось поднять крестьянские бунты-восстания, оно указывало на необходимость сельского террора, а в городах побуждало рабочих устраивать забастовки. Землевольцы стремились заменить современное государство «строем, определенным народной волей, при непременном осуществлении широкого общинного и областного самоуправления». (А. Д. Михайлов).

Землевольцы делали попытки связаться с плодившимися в народе сектантами и раскольниками, с организациями этих групп населения.

Основной группой «Земли и Воли» была так называемая «деревенщина», пропагандисты и агитаторы, живущие или приезжающие в деревни, под видом торговцев и т. п. Но эти же лица работали в ряде случаев и в городе, так что М. Попов имел некоторое основание сказать, что «никаких ни горожан, ни деревенщиков в действительности не было». Здесь надо отметить, что крестьяне часто сочувствовали революционерам, вполне доверяя землевольцам. Землевольцы работали среди интеллигенции и среди рабочих. Ближайшей практической задачей среди рабочей массы считалась агитация на экономической почве, главным образом, во время стачек. Наконец, в рядах землевольцев, была и так называемая «дезорганизаторская группа», ставившая своей целью освобождение заключенных, самозащиту при арестах и вообще всякую защиту от произвола правительства и месть правительству за его дикое обращение с революционерами. «Земля и Воля» остановилась на способе воспитания в народе протеста на почве злобы дня, на том или ином факте недовольства в той или другой местности, на почве столкновения той или другой деревни с той или иной стороной враждебной инте-

ресам народа, будет ли то столкновение с администрацией, помещиком, кулаком и проч.» (М. Попов).

«Земля и Воля», пользуясь протестующим настроением крестьян, старалась вызвать их активный протест и об'единить разрозненные выступления.

Все землевольцы хотели вызвать народную революцию. Тем не менее они определенно высказывались за террор, хотя и не рассматривали его, как средство освобождения народа. «Мы должны помнить, читаем мы в 1 № «Земли и Воли», что не этим путем мы добьемся освобождения народных масс. С борьбой против основ существующего порядка терроризация не имеет ничего общего. Против класса может восстать только класс; разрушать систему может только сам народ. Поэтому главная масса наших сил должна работать в среде народа. Террористы — это не более как охранительный отряд». Первый номер «Земли и Воли», в котором была помещена цитируемая статья С. Кравчинского, вышел в конце октября 1878 года. Террор «Земли и Воли» рассматривался просто, как защита против вредных личностей. В апреле и мае 1878 года были выработаны программы народников и устав организации. Землевольцы нередко шли в народ чернорабочими, но скоро стали занимать в деревнях такие места, как места фельдшеров, писарей, лавочников, мельников, врачей, кузнецов и т. п. Они постоянно старались привлекать в свои ряды кого-либо из местных жителей-единомышленников.

В 1878 году стало вполне ясно, что главным врагом землевольцев являлось правительство, а не капиталисты. Тем не менее, часть землевольцев полагала, что конституция России ненужна.

В конце 1878 года происходили студенческие волнения в Харькове, где студентов били нагайками и где к студенческой манифестации присоединились приказчики; в Петербурге, откуда выслали 600 студентов; в Киеве, где было выключено 140 студентов, из которых 15 человек было отправлено в Восточную Сибирь и в северные губернии. Московские студенты сделали овацию высылаемым киевским студентам. Студентов москвичей били, по науськиванью полиции, мясники Охотного ряда и дворники. Вообще говоря, студенческие волнения усмирялись саблями жандармов и нагайками казаков. Нелегко жилось в то время и обывателям. Полицейское насилие, отсутствие безопасности, грубый административный произвол, давали себя чувствовать на каждом шагу.

О третьем отделении П. А. Кропоткин писал в своих «Записках революционера» слудующее: «Третье отделение правило и правит под различными именами Россией со времен Николая I вплоть до настоящего времени, и составляет истинное государство в государстве...» «Шеф жандармов стал лицом более страшным, чем сам император». «В России пропала честь и исчезла совесть»—писал Михайловский.

В это время, в конце 70-х годов, начались стачки петербургских ткачей и прядильщиков. В начале 1878 года генерал Трепов явился в тюрьму и увидел арестованного Боголюбова, который не снял перед ним шапки. Трепов обругал Боголюбова, «бросился на него с кулаками», а когда Боголюбов оказал сопротивление, не только велел отвести его в карцер, но, не имея на то по закону права, приказал подвергнуть его еще телесному наказанию.

Вера Засулич выстрелом из револьвера ранила наглого деспота, за что и была предана суду присяжных, оправдавшему ее к величайшему негодованию царя-деспота. Выстрел Веры Засулич прогремел 24 января 1873 года. После оправдания Веры Засулич, жандармы хотели арестовать ее, но студент Сидорацкий начал стрелять в них из револьвера, Веру Засулич увезли и она была переправлена за границу. Сидорацкий тут же застрелился и его похороны сопровождались большой демонстрацией... Французская пресса прославляла поступок Засулич.

В 1878 году революционеры убивают нескольких шпионов—Рейнштейна, Розенцвейга, Фетисова, Никонова. В 1878 году 23 февраля покушается на жизнь товарища прокурора Котляревского Валерьян Осинский. Попко убивает 25 мая жандармского офицера Гейкинга. Сергей Михайлович Кравчинский и Баранников убивают 4 августа начальника третьего отделения Мезенцева. В 1879 году Гольденберг убивает харьковского губернатора Крапоткина, Мирский — (позднее предатель) покушается в Петербурге на жизнь Дрентельна, а 2 апреля 1879 года Соловьев раз пять стреляет в царя. Покушение Соловьева стоит отдельно от вышеперечисленных покушений землевольцев.

30 января 1878 года в Одессе оказывает вооруженное сопротивление Ковалик и его убивает правительство по приговору суда. 11 — 12 октября оказывается вооруженное сопротивление в Петербурге при аресте Малиновской и Федоровой. Оказывает вооруженное сопротивление 14 декабря Дубровин. Защищается при аресте Бобохов. В Киеве на своей квартире защищаются братья Ивичевичи и Братнер.

Летом 1879 года происходит 2 с'езда революционеров. С'езд в Липецке высказывается за завоевание политической свободы, за созыв учредительного собрания, за централистическую организацию и за то, что царь должен быть убит террористами. На с'езде говорилось о бессилии либералов, о том, что главное дело социалистов-революционеров заключается в том, чтобы сломить политический деспотизм. Немного позже в Воронеже происходил с'езд землевольцев, большинство которых отрицательно отнеслось к централизации, к террору и к чисто политической программе Липецкого с'езда. 15 августа 1879 года революционеры разделились на 2 партии—на партию «Народная Воля» и на партию «Черного Передела».

„После окончательного раздела «Земли и Воли» (на «Черный Передел» и на «Народную Волю»),—писал М. Попов—было обещано с обеих сторон не только не мешать друг другу, но по возможности помогать, и это была вовсе не пустая любезность, а братское обещание".

Народовольцы называли себя в своей программе социалистами и народниками. В программе, помимо обще-либеральных требований, говорилось о передаче земли народу и о системе мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы и фабрики. Тем не менее, не замалчивая крупных заслуг народовольцев, энергично боровшихся с деспотизмом, заметим все же, что их политическая борьба почти заставила партию забыть о возможности самостоятельного народного движения.

В начале 1879 года был организован «Северно-русский рабочий Союз». Анархическое движение, в виду увлечения политической борьбой за власть, пошло на убыль.

Вне анархического движения этого времени стояли попытки поднять крестьянское восстание именем царя. Нечего и говорить, что анархисты отрицательно относились к ним. Когда до Бакунина дошли слухи о том, что Дебогорий-Мокриевич и Стефанович хотят поднять крестьян при помощи подложных царских манифестов, он отнесся к этому плану крайне неодобрительно. «Ложь всегда шита белыми нитками»,—говорил он лицу, служившему между нами посредником, писал позже Дебогорий-Мокриевич.

А. Карелин.

Отдельные анархисты и анархические группы 60-х—70-х г.г.

А. В. Долгушин.

Александр Васильевич Долгушин родился в 1848 году в Тобольской губернии. Он был студентом С. П. Б. технологического института и 21 года от роду, в январе 1869 года, был арестован по делу С. Г. Нечаева и предан суду, как принадлежащий к «пятой категории» «нечаевцев». В конце августа 1871 года он был оправдан спб. судебной палатой. Одновременно с указанным обвинением, Долгушина привлекли к судебной ответственности как организатора кружка сибиряков-автономистов. По указанным двум делам Долгушин сидел в Петропавловской крепости год восемь месяцев. Выйдя на свободу, он организовал кружки, называемые кружками «долгушинцев». К основному долгушинскому кружку принадлежали—сам Долгушин, Лев Дмоховский, Иван Панин, Николай Плотников, Дмитрий Гамов, А. Чиков, молодой рабочий Ананий Васильев и другие революционеры.

Долгушин и его товарищи познакомились с В. В. Флеровским (Берви) и просили его написать для народа небольшую книжку, которая заменила бы народу евангелие. Для них Флеровский написал свою знаменитую брошюру — «Как надо жить по закону природы и правды», которую издали и распространяли долгушинцы.

Неподалеку от Москвы, в одном из сел, они поставили типографию и издали две прокламации: одну к народу, другую, менее интересную — к интеллигенции. В прокламации к народу долгушинцы требовали уничтожения оброков; выкуп земли называли насилием и грабежом; требовали передела всей земли, принадлежащей крестьянству, помещикам и казне, по справедливости, так, чтобы «всякому досталось сколько надобно». Прокламация требовала уничтожения рекрутчины, замены ее вольным обучением в школах, настаивала, «чтобы только во время войны собирались войска». Прокламация требовала, наконец, устройства хороших школ, уничтожения паспортов; в ней говорилось о податях, что «мы не хотим, чтобы с нас собирали сколько угодно и тратили все, куда хотят».

Долгушинцы звали интеллигенцию итти «в народ».

В своей прокламации долгушинцы приглашали молодежь итти в народ для того, чтобы «возбудить его к протесту во имя лучшего общественного устройства». Долгушинцы отрицали культурничество.

Долгушин и его товарищи были безусловными анархистами, но вместе с тем были христианами в лучшем смысле этого слова: даже в своей прокламации к народу они цитировали евангелие. Евангелие нередко читалось тогда революционерами-анархистами и производило потрясающее впечатление. О. А. Аптекман пишет: «Я видел не раз, как молодежь, отправлявшаяся уже в народ, читала евангелие и горько рыдала над ним».

Долгушинцы были арестованы в сентябре 1873-го года и в первой половине июля 1874-го года судились особым присутствием сената. 15 июля 1874-го года Александр Долгушин и Лев Дмоховский были приговорены к 10 годам каторги, Д. Гамов — к 8 годам, Панин и Николай Плотников—к 5 годам каждый. Остальные отделались сравнительно легкими наказаниями.

До 13 октября 1880 года А. В. Долгушин был заключен в Ново-Белогородскую центральную каторжную тюрьму в с. Печенеги. По дороге на Карийскую каторгу, он дал в Красноярской тюрьме пощечину смотрителю тюрьмы за ложь, которую смотритель говорил жандармскому офицеру. За эту пощечину он был приговорен к 15 годам каторги; на Кару он прибыл в начале 1882-го года вместе с добровольно следовавшей за ним женой Агриппиной Дмитриевной.

В 1883-м году его увезли в Петропавловскую крепость, а оттуда перевели в Шлиссельбургскую тюрьму, где он и умер в июне 1885-го года.

Д. И. Гамов.

Дмитрий Иванович Гамов принадлежал к числу членов долгушинской организации. О. В. Аптекман, из книги которого мы заимствуем нижеприводимые данные, пишет: «Гамов — в высокой степени вдумчивый человек, с критическим умом, беспокойным, ищущим. Он все хочет предвидеть, предусмотреть, чтобы не было промаха, ошибки». «У него, конечно, евангелие, но рядом с этим «Исторические письма», сочинения Флеровского с обширными выписками как из этих сочинений, так и из его статей в «Сборнике Недели»; начинает он с плана организации революционных сил». Гамов предлагал централистический тип организации. Мечтал о том, что военные и духовенство перейдут во время революции на сторону народа. Гамов предлагал разделить Россию после революции на 29 федеративных областей, принимая во внимание исторические, этнографические и бытовые особенности населения. Тем не менее, федеративный строй был, по мнению Гамова, лишь переходным к анархо-коммунистическому строю. Понимание собственности Гамова резко

расходится с общепринятым: «Всякий человек считает своей собственностью то, что воспроизвел своим трудом, на что приходилось употреблять собственные его физические силы и при этом будет считаться собственностью только в количестве, ограничивающем его жизненные потребности. Всякое исключительное владение чем-нибудь, какой-нибудь частью земли отменяется и земля предоставляется в полное обладание всем, так как земля, как стихия природы, есть достояние всех, как воздух и вода». Гамов говорил: «Нужно выдумать такую религию, которая была бы против царя и правительства... Надо составить катехизис и молитвы в этом духе». «Если нельзя будет обойтись без царя, он должен быть выбран из 29 представителей 29 вольных федераций». «А конечная цель федеративного устроения России—«анархия" т.-е. «естественный союз» людей, основанный на свободе и равенстве, без принудительной силы закона».

Таков идеал будущего общественного устройства России после революции.

Гамов настойчиво требовал детальной разработки будущего общественного строя.

Одно время Гамов был секретарем ссудо-сберегательной кассы в боровичском уезде.

Дмитрий Иванович Гамов был осужден на 8 лет каторги в крепости и умер через два года (в 1876 году) в одиночной камере харьковской каторжной тюрьмы.

И. Г. Прыжов.

Иван Григорьевич Прыжов был привлечен по нечаевскому делу и сослан в Сибирь. С ним вместе пошла и его жена. Она вскоре умерла. Прыжов запил и умер на Петровском заводе Забайкальской волости 27 июля 1885 года.

Отец Прыжова был крестьянского рода и стал дворянином на службе.

«Болезненный, страшный заика,—пишет о себе И. Г. Прыжов—забитый, загнанный, чуждый малейшего развития, я был отдан в гимназию (I-ю Московскую), поистине лбом прошиб себе дорогу и в 1848 году кончил курс одним из первых, с правом поступления в университет без экзамена».

Поступить на словесный факультет ему не удалось, так как царь приказал в то время сократить число студентов. Он все-таки учился в университете. Кончить ему курс не удалось и, написав злую брошюру «Смутное время и воры в Московском университете» (запрещена и не допущена к печати в 1867 г. СПБ Ценз. Комитетом), он оставил университет и поступил служить в московскую гражданскую палату, где получал в течение 14 лет по 23 рубля в месяц. Тем не менее, Прыжов составил прекрасную историческую библиотеку.

Прыжов написал ряд работ, из которых большая часть не увидела света, даже в настоящее время. Им были написаны: «Поп и монах, как первые враги культуры человека» —была запрещена цензурой; «История свободы в России»— сожжена в ожидании обыска. Затем Прыжовым был задуман и частью подготовлен большой труд: «Исследование о русской (славянской) культуре сравнительно с культурой Греко-Римлян, Кельтов и Германцев». Собранный для этого сочинения материал Прыжов распределил на шесть больших томов. Из статей, помещенных в газете «Наше время», образовалась брошюра «Житие Ивана Яковлевича» и в ней описан «целый мир неслыханного фанатизма, невежества и разврата, какого не найдешь и у дикарей и все это на лоне московского православия». Далее им написаны книжки—«Нищие на святой Руси», «Двадцать шесть московских юродивых», „История мещан» (запрещена и удержана цензурой), «История питейных откупов» «История кабаков в России».

О себе Прыжов писал, что «вечно был нищ, вечно боялся завтра умереть с голоду, а отсюда, по милости занятия наукой, испытал миллионы оскорблений, унижений, каких и каторжный подчас не испытывал».

Прыжов страшно бедствовал и ему пришлось продать свою книжку, позже изданную в количестве 2000 экземпляров и распроданную—за 25 рублей. Издатель нажил на ее продаже 1000 рублей. Другую написанную им книжку, отданную за гонорар, равный рюмке водки, издатель продал в количестве 2000 экземпляров по 1 рублю экземпляр. Сочинения Прыжова зачастую запрещались, а из всего, что было напечатано Прыжовым, «целая половина была урезана цензурой, или им самим, другая же половина являлась исковерканной».

Последние годы перед арестом по делу Нечаева и после суда, Прыжова сильно поддерживала его жена, урожденная Мартос, последовавшая за ним и в ссылку.

Прыжов доказывал в своей защитительной, приготовленной для адвоката записке, что он обманывал Нечаева, что он не принимал участия в нечаевском заговоре, что он — Прыжов — не был даже социалистом. Надо, впрочем, иметь в виду, что Прыжов был алкоголиком, и его большая записка, написанная для адвоката, в некоторых случаях кажется составленной психически неуравновешенным человеком.

Н. Д. Ножин.

Николай Дмитрович Ножин родился 8 декабря 1841 года и умер в 1866-м году.

Отец Ножина был управляющим конторой великого князя Константина Николаевича, а мать—светская дама. Ножин получил образование в императорском Александровском лицее, куда был принят по приказу Николая I и где за учение его платил в. к. Константин Николаевич.

«Окончив лицейский курс—пишет Лев Мечников —Ножин, к величайшему негодованию матери и вотчима своего Делагарди, отказался от предлагаемой ему очень выгодной по летам и по чину служебной должности...» Лишенный всяких средств, он отправился за границу, сначала в Гейдельбергский университет, русские студенты которого чуть не поголовно были социалистами и коммунистами, а затем в Тюбинген, потом в Ниццу и еще позднее во Флоренцию, где жил в то время М. А. Бакунин с женою.

Ножин не сошелся с Бакуниным: в то время, он не решил даже вопроса о том, эволюция или революция приведет к коренному изменению устоев общественности и нравственности.

Ножину удалось опубликовать только одну свою работу о нисших морских животных. Эта работа, вместе с работами Ковалевского, легла в основание тех блестящих обобщений, которые сделал Геккель в конце 60-х годов»[1]). Н. К. Михайловский писал, что Ножин «вернулся в Россию ученым в полном и лучшем смысле этого слова».

В начале 1865 года Ножин вернулся в Россию.

В России Ножин напечатал ряд статей, в том числе интересную статью в «Искре», под заглавием: «По поводу статей «Русского Слова» о невольничестве (Искра, 1865 год, № 8). Затем Ножин дает ряд статей в «Книжном Вестнике» 1865—66 г. г. В своих работах он указывает, между прочим, что «разделение труда между индивидуумами одного вида—явление патологическое то-есть, источник болезней, противоречий и борьбы за существование..... Индивидуализм — анархизм — вот условие полной, здоровой, счастливой жизни всех неделимых животного царства». «Что такое труд экономистов?—спрашивал Ножин и отвечал: «насильственный чрезмерный продукт мышечной деятельности эксплоатируемых членов общества. Что такое капитал экономистов? — задержанный в руках эксплуататоров продукт труда рабочих. Что такое собственность?—признанное право неприкосновенности приобретенного эксплоататорами несправедливым путем капитала. Что такое рабочая плата?—оставленная в руках рабочих незначительная часть произведенных ими продуктов»....

Основой учения Ножина, по справедливому замечанию С. Сватикова, были солидарность и взаимопомощь, противополагаемые им разделению и «борьбе, основанной на ненавистном ему разделении труда».

Оценивая теорию Дарвина, Ножин указывает, что Дарвин не видит, что борьба за существование невыгодна для развития, что «она сама по себе есть лишь источник патологических явлений... Вся теория Дарвина поэтому может быть названа теорией гениального буржуа натуралиста». Ножин следующим образом формулировал закон развития организмов: «Вполне

---

[1]) См. Сватиков С. Г. Николай Дмитриевич Ножин. „Голос Минувшего". 1914 г. № 10.

сходные друг с другом организмы не борятся между собой за существование, но стремятся, напротив, сливаться друг с другом, так сказать, связывать воедино свои однородные силы, свои интересы и при этом, вместо разделения труда, замечается в их отношениях только сотрудничество».

Ножин отрицательно относился к социализму, вероятно, потому, что поверхностно был знаком только с одним утопическим социализмом.

От Н. Д. Ножина не осталось большого научного труда. После его неожиданной и внезапной смерти, его научные труды пропали. Возможно, что они были забраны жандармами. Ножин умер 3 апреля 1866 года, как раз накануне 4 апреля, когда Каракозов стрелял в Александра II. Из правительственного сообщения того времени видно, что у Ножина, названного в этом сообщении крайним нигилистом, был какой-то «социалистический» кружок и что Ножин находился «в связи и переписке с заграничными агитаторами». Какова была роль Ножина в каракозовском покушении мы не знаем; знаем только, что он был в это время не только анархистом, но и революционером, верившим в близкую революцию в России. Упрекая Ольхина в том, что он избрал для себя служебную карьеру, Ножин с сожалением говорил ему: «Не долго тебе осталось жить. Скоро будет революция, и тебя, увы! повесят на фонаре».

Ножин встречался с кое кем из лиц знавших о подготовлявшемся Каракозовым покушении на жизнь царя (Худяков, Н. Курочкин). Возможно, что он знал о готовящемся покушении Каракозова, но болтовня о том, что Ножин готовился донести о готовящемся покушении или даже донес на Каракозова, совершенно фантастична.

А. А. К.

С. Г. Нечаев.

(*Из личных воспоминаний*).

На заре моей юности, в начале 70-х годов, в Москве я встретился совершенно случайно с выдающимся революционером и анархистом, Сергеем Геннадиевичем Нечаевым. Это произошло при таких обстоятельствах: в качестве юного конторщика большой купеческой фирмы (Морозовых) я сталкивался со многими купцами, между прочим с Иваново-Вознесенским купцом Зубковым; помнится, ездил даже в Иваново-Вознесенск. Нечаев, бывший учителем одной из школ в Иваново-Вознесенске и репетитором в семье Зубковых, имел на самого Зубкова большое влияние. У Зубковых же мне пришлось познакомиться с Нечаевым. Он присмотрелся ко мне, взял меня, как говорится на зубок, и назначил в одном из медвежьих углов Москвы свидание. Я не замедлил явиться по адресу.

Беседа с С. Г. Нечаевым тянулась часа полтора—два. Он говорил мне о ненормальном состоянии России, ее политическом и экономическом режиме, патриархальном строе; говорил, что молодежь надо встряхнуть, чтобы она поняла, что далее так жить нельзя. Надо созвать немедленно «Земский Собор»—т.-е. собрание тяглых людей, трудящихся. Состав и структура Собора в его характеристике выходили очень похожими на современные «советы рабочих и крестьянских депутатов». Нечаев толковал далее о равномерном распределении благ среди трудящихся, уничтожении паразитов, сидящих на шее народа, необходимости подготовки рабочей социальной революции и переходе всех предприятий к трудящимся. Все это пересыпалось замечаниями: «цели оправдывают средства», «сентиментальности к черту», «нужно действовать с врагами всякими средствами», «ибо враги далеко не этичны», «с ними церемониться нечего».

Из полутора-двухчасовой беседы с Нечаевым я вынес удручающее впечатление. Почва у меня была подготовлена только накануне прочитанными отрывками из Бланки, Лассаля. Картины, нарисованные Нечаевым были ярки и живы. Россия предстала передо мною, как на ладони—страна бесправия, унижения, порабощения. Помню, я ушел от Нечаева с клятвой в душе работать над свержением политического и экономического гнета, висевшего над Россией. Эта встреча укрепила мою революционность. Я решил основательно ознакомиться

с социалистической литературой Запада (за неимением своей), главным же образом, с Лассалем и Бланки, к которым тогда сильно тяготел.

Позже, в начале 71 года, мне пришлось быть однажды на сходке, носившей консипративный характер, на выселках Петровской Академии, где выступал Нечаев. Я был введен одним товарищем, который потом близко сошелся с Нечаевым. Нечаев производил на слушателей сильное впечатление, как своей эрудицией, так и своим ораторским талантом. Он говорил о значении развития трудящихся масс на Западе, о тирании монархизма и капитала, о Международном Товариществе Рабочих Запада. Очевидно, Нечаев только что приехал из-за границы, куда уезжал конспиративно. То, что я слышал на этой сходке, легло могучим впечатлением на мою юную душу.

Известно, что С. Г. Нечаев пользовался всегда и всюду исключительным влиянием на людей, притом людей самых различных слоев. Я помню—он, бывало, писал записки в контору купца Зубкова, спрашивая денег и тот сейчас же отдавал распоряжение о выписке просимой суммы. Так было много раз.

В конце 70 годов пр. ст. я познакомился с двумя братьями — кустарями-гребенщиками из Иваново-Вознесенска. Один из них по делу Нечаева высидел что-то около полутора лет в Петропавловской крепости. О Нечаеве они вспоминали всегда с благоговением. Один из братьев спрятал у себя на огороде данную ему Нечаевым литературу и ни одним звуком не выдал своего отношения к Нечаеву. По словам одного из братьев, Нечаев, бывший одно время учителем в их селе, пользовался всегда большим уважением и любовью.

Односельчане Нечаева относились к нему, как к знающему и уважаемому советчику. Он всегда стоял за обездоленных. «Это наш народный заступник»—говорили они. С. Г. Нечаев, по словам тех же братьев кустарей, был знаком не только с их селом, но и со многими окрестными селами и деревнями Иваново-Вознесенского округа. Как сильна была любовь к Нечаеву простых крестьян, свидетельствует безхитростный рассказ одного из братьев-кустарей про свое заключение по делу Нечаева в Петропавловской крепости: «Возили нас обоих, меня и брата; брата после допроса отпустили, а меня посадили в крепость. В этом узилище я просидел около года. Вышел оттуда седой, с сильно пошатнувшимся здоровьем, все грозили каторгою, веревкою, чтобы я говорил все, что знаю про Нечаева. Держали меня в темном каземате, где был пол каменный, а стены глухие, я чувствовал, что нахожусь в могиле. В течение года все являлись разные люди и все они мне угрожали. Стали морить голодом, питали соленым. Когда вышел из крепости, очутился дома, все думали, что я «помутился умом». По целым дням мое молчание и сильная задумчивость на односельчан производила угнетающее впечатление».

Тем не менее, никакие страдания не могли выжать из него слов, которые могли бы повредить Нечаеву.

Позже мне приходилось встречаться с разными лицами из Иваново-Вознесенска, знакомыми с Нечаевым, из разных слоев населения:—рабочими, мелкими служащими на фабриках и даже стоящими во главе предприятий. Так, помню, как один конторщик с фабрики Зубкова рассказывал, что ему неоднократно приходилось исполнять поручения С. Г. Нечаева к разным лицам, работавшим на соседних фабриках. Несмотря на кратковременное знакомство с Нечаевым, конторщик вынес впечатление о нем на всю жизнь. По его словам, Нечаев был «человек не от мира сего»: когда он говорил, «он смотрел через очки» и «таких я после никаго не видал», «да, может быть, и не увижу».

Когда схваченного Нечаева провозили по одной из площадей около Кремля на позорной колеснице, веяло холодом от встречных московских мещан. Два-три десятка, может быть, и было сочувствующих, а подавляющее большинство—враждебно встречало его и в преступнике с надписью «убийца»—видело определенного злодея. Провозили его рано утром. Фантастическим рассуждениям не было конца. «Он, дескать, десять душ загубил», «он знается с черной магией» и т. п. Из публики один, по виду ремесленник, рассказывал мне: «он кричал с эшафота, стараясь заглушить барабаны—«долой деспотизм!», «Да здравствует земский собор!». Мастеровой просил меня разъяснить эти слова. Когда я удовлетворил его, он весь сосредоточился, перекрестился, взглянул на меня и быстро отошел, потупив голову.

Позднее, уже в Сибири, в 90 годах пр. ст., я встречал ссыльных, бывших караульных солдат «Алексеевского равелина» Петропавловской крепости. Старики, осевшие в Сибири, с любовью вспоминали Нечаева. Он был для них окружен ореолом борца за народ, был легендарным героем, владевшим человеческими душами, наделенным мифической силой. Он — «все может». Нечаев был для них не простым смертным, а избранником.

Анархическое мировоззрение С. Г. Нечаева окончательно сформировалось в его вторую поездку за границу. Нечаев работал в Бельгии на заводах, вращался преимущественно среди рабочих, устраивал активные (до вооруженного отпора) забастовки. Он так близко сошелся с бельгийскими рабочими, что они несколько раз отбивали его от полиции, укрывали в потайных местах, устраивали ему конспиративные квартиры и т. д. Бельгийские рабочие смотрели на него, как на близкого, своего человека.

В 1871 году, будучи во Франции в Марселе, Нечаев пытался поднять социальное движение для поддержки Парижской Коммуны. Он выступал с проповедью федерализма, децентра-

лизма, устранения власти. В конце-концов, потерпев полную неудачу, он уехал в Швейцарию

В Швейцарии Нечаев (нелегально) вращался среди мелких ремесленников, кустарей, часовщиков, переплетчиков, печатников и т. п. Он должен был усиленно конспирировать, скрываться, часто менять квартиру и т. д. Но травля началась и в Швейцарии были пущены в ход всевозможные средства, чтобы убить его политически: что он уголовный, агент русского правительства, правокатор и т. д.

В недавнем исследовании Р. М. Кантора—«В погоне за Нечаевым» [1]) подробно описывается вся эпопея погони, посылка агентов царской власти за Нечаевым, с отпуском им для этого больших сумм. Вся эта история очень характерна и ярко вскрывает значение, какое царская власть придавала такому преступнику, как Нечаев. Ни на Герцена, ни на Лаврова, ни на какого другого из крупных революционеров царское правительство не тратило таких огромных средств.

Когда швейцарское правительство выдало Нечаева русскому правительству, последнее судило его в Москве в Окружном суде, как уголовного преступника, по всем правилам буржуазного холопства и приговорило его на двадцать лет каторжных работ. Его возили по городу в колымаге по главным улицам и площадям с надписью на груди—«за убийство».

Когда Нечаева везли по Красной площади около Спасских ворот, он под заглушенный бой барабанов кричал: «Да здравствует земский собор. Долой тиранов»!

Шедшие вблизи старушенки говорили, крестясь: «Ишь, сердечный, о соборе все печалуется».

На суд публика пускалась по билетам, билеты выдавал лично председатель суда Дрейер, публика была профильтрована. Я, несмотря ни на какие усилия, не мог пробраться в суд, но все же увидел Нечаева у входа в зал суда. Своей наружностью Нечаев, лет 25, небольшого роста, но очень плотно сложенный, производил впечатление человека с выдающейся силою воли. Одевался он без всякой претензии на элегантность, скорее небрежно.

Один учитель, народник, мой хороший знакомый, когда увидел его у здания суда, воскликнул:—«Вот Микула Селянинович».

Комедия суда была полная. Присяжные заседатели, один к одному были типичные мещане, мелкие лавочники; ни одного интеллигентного лица. Мне потом много лет спустя, вспоминался процесс В. И. Засулич в Петербургском окружном суде, под председательством Кони, обвинявшейся в покушении на убийство Трепова. Я невольно сравнивал эти два процесса. Какая разница в обстановке!

---

[1]) Напечатано в „Былом“, 1923 года, книга 22. Есть отдельное издание: „Мысль“, Петербург, 1922 г.

Все двенадцать присяжных заседателей в процессе Нечаева смотрели в глаза Дрейеру и ловили каждый его жест, каждое его слово. Хозяином всего дела был Дрейер и холопству его не было границ. Один судейский чиновник, далеко не сочувствовавший Нечаеву говорил мне: «много раз я был свидетелем сенсационных процессов, но такой постановки, такого отношения к подсудимому со стороны суда никогда не видал». Попиралось всякое человеческое достоинство.

В крепости Нечаев остался тем же героем, что и на воле. Профессор Щеголев в своем докладе о пребывании Нечаева в Алексеевском равелине, на основании архивных документов Ш-го отделения, между прочим сообщает: «из всех узников, содержавшихся в Петропавловской крепости с 1825 года, только один Нечаев проявил к власти и к царю такую непреклонную, железную ненависть и неприязнь, что этим поставил себя в особое положение: его приковали на цепь, законопачивали окна, не топили казематт, делали все возможное для ухудшения его и без того худого положения».

И все это делалось в либеральное время Александра II, когда буржуазно-либеральная печать пела дифирамбы императору.

В Алексеевский же равелин были заключены в конце 70 г. два народовольца—Ширяев и Мирский. К Ширяеву Нечаев отнесся с полным доверием и установил с ним сношения, наоборот к Мирскому с большим недоверием и подозрительностью. Он не ошибся; впоследствии Мирский выдал начальству крепости замысел Нечаева об установлении связи с внешним миром, на предмет организации побега из крепости.

Ширяев вскоре сошел с ума и что-то около двух лет сумасшедшим сидел рядом с Нечаевым, наводя на него ужас своим соседством. Только железная сила воли восторжествовала в Нечаеве над окружающей обстановкой, и он остался до конца дней тем же стойким борцом, как и вошел в равелин.

Малоизвестное стихотворение Огарева — «Молодому другу Нечаеву» дает верную его характеристику:

Он родился в бедной доле;
Он учился в бедной школе,
Но в живом труде науки
Юных лет он вынес муки.
В жизни стала год от году
Крепче преданность народу,
Жарче жажда общей воли,
Жажда общей лучшей доли.
И гонимый местью царской
И боязнию боярской,
Он пустился на скитанье
На народное восстанье—

Кликнуть клич ко всем крестьянам
От Востока до Заката:
«Собирайтесь дружным станом,
Станьте смело брат за брата,
Отстоять всему народу
Свою «Землю и Свободу».

* * *

Жизнь он кончил в этом мире —
В снежных каторгах Сибири
Но до тла нелицемерен
Он борьбе остался верен
До последнего дыханья
Говорил среди изгнанья:
«Отстоять всему народу
Свою Землю и Свободу».

К. Медынцев.

Бакунизм и реакция.

«Мы хотим полного умственного, социально-экономического и политического освобождения народа» — так кратко формулирует свое учение Михаил Бакунин и далее поясняет: «1. Умственного освобождения, потому что без него политическая и социальная свобода не могут быть ни полными, ни твердыми»... «2. Социально-политического освобождения народа, без которого всякая свобода была бы отвратительной и пустозвонной ложью»... и наконец, «3. Вся будущая политическая организация должна быть ничем другим, как свободною федерациею вольных рабочих, как земледельческих, так и фабрично-ремесленных артелей (ассоциаций). И потому, во имя освобождения политического, мы хотим прежде всего окончательного разрушения государства, хотим искоренения всякой государственности со всеми ее церковными, политическими, военно и гражданско-бюрократическими, юридическими, учеными и финансовыми учреждениями». Такова вкратце «наша программа» Бакунина, напечатанная в № 1 журнала «Народное Дело» («La cause du Peuple») в 1868 году.

В следующем году Бакунин в своей прокламации: «Несколько слов к молодым братьям в России» пишет: «Молодые друзья, бросайте скорее этот мир, обреченный на гибель, эти университеты, академии и школы..., в которых стремились всегда вас разъединить с народом. Ступайте в народ. Там ваше поприще, ваша наука. Научитесь у народа, как служить народу и как вести его дело. Помните друзья, что грамотная молодежь должна быть не учителем, не благодетелем и не диктатором-указателем для народа, а только повивальною бабкою самоосвобождения народного, сплотителем народных сил и усилий...»

Этот призыв Бакунина, как и другие идеи его, высказанные в многочисленных речах, воззваниях и памфлетах, не остался без ответа.

«Мы составляем лишь частицу многочисленной в настоящее время на Руси социально-революционной партии, понимая под этим словом всю массу лиц одинаковых с нами убеждений — одинаковых, конечно, вообще, а не только в частностях — лиц, между которыми существует, хотя преимущественно только внутренняя связь, однако связь достаточно реальная, обуслов-

ленная единством целей и большим или меньшим однообразием средств и практической деятельности. Основная задача социально-революционной деятельности»—говорил в своей знаменитой речи в «Деле о революционной пропаганде в Империи», называемом иначе «Процесс 193-х», Ипполит Мышкин, понимая под вышеназванным словом «партия», почти все революционное движение своего времени—«установить на развалинах теперешнего государственно-буржуазного порядка такой общественный строй, который, удовлетворяя требованиям народа в том виде, как они выразились в крупных и мелких движениях народных и повсеместно присущи народному сознанию, составляет вместе с тем справедливейшую форму народной организации. Строй этот—земля, состоящая из союза независимых производительных общин. Осуществлен он может быть только путем социальной революции, потому что государственная власть преграждает все мирные пути для достижения этой цели и добровольно никогда не откажется от насильственно присвоенных ею прав. В этом нам ручается весь ход истории»...

Мы не станем приводить полностью этой речи. Укажем лишь, что она первоначально была напечатана на французском языке в органе анархической секции Интернационала: «Bulletin de la Federation jurassienne de l'Association Internationale de Travailleurs», а затем и на русском языке в № 1 журнала «Община» («La commune») Социально-революционное обозрение. Женева. Январь. 1878 г.

Мы не будем здесь также подробно доказывать мысль, ставшую трюизмом, о том, что почти все революционное движение второй половины 60-х и 70-х годов в России окрашено бакунизмом.

Приведем лишь еще две-три выдержки из памятников того времени. «Уходя с поля битвы пленными, но честно исполнившими свой долг, мы завещаем нашим товарищам по убеждениям итти с прежней энергией и удвоенной бодростью к той святой цели, из-за которой мы подверглись преследованиям и ради которой готовы бороться и страдать до последнего вздоха»... Направляя это свое завещание из Петропавловской крепости в редакцию русской бакунинской газеты «Община», выпускаемой Павлом Аксельродом, Николаем Жуковским и др., осужденные по процессу 193 х добавляли: «Прилагаемое наше заявление должно быть напечатано непременно. Орган партии, к которой мы принадлежим не может нам отказать в этом». Редакция «Общины» свято выполняет пожелание своих единомышленников, воспроизводя присланное заявление факсимиле; в числе подписей под этим заявлением на ряду с подписью Сажина и других, значатся, между прочим, подписи Шишко и Брешковской (стр. 2, № 5—6 «Община», 1878 год).

В другом месте, напечатанном сравнительно недавно, а именно в воспоминаниях Льва Дейча, между прочим, читаем:

«Вследствие настояния товарищей, членов организации «Черный Передел», Г. В. Плеханов в январе 1880 года, вместе со мной, Верой Засулич, Яковом Стефановичем, которых полиция энергично разыскивала, эмигрировали из Петербурга. Мы все придерживались тогда народнических воззрений—были последователями Бакунина» («Дела и Дни». Петербург, 1921 год, кн. 2-я стр. 100).

Итак,—здесь мы хотим подчеркнуть это—Георгий Плеханов, Павел Аксельрод, Вера Засулич, Леонид Шишко, Екатерина Брешковская и немало других незаурядных революционеров своего времени были бакунистами. «Разложение Бакунизма» начинается с первых шагов торжества реакции. «Что касается шпионов рабочих, то ведь у нас из своей среды их вышло довольно: господин Низовкин, плоть от плоти нашей. Над составлением обвинительного акта вместе с слабодушными рабочими потрудились также достаточно господа Рабиновичи, Городецкие и Трудницкие (последний, правда искупил свою виду самоубийством»)—пишет «Община» (1878 год, № 1, стр. 5) о процессе 193-х.»

С течением времени «разложение бакунизма» под влиянием жесткой реакции не прекращается и принимает различные формы.

Одни из прежних бакунистов совершенно отказались от общественной деятельности. Таков например Дмитрий Клеменц, писавший по поводу вышецитированного завещания в «Общине»: «ни казни, ни осадные положения не остановят нас от исполнения завещания наших товарищей и оно будет исполнено» (№ 5—6, 1878 г.).

Другие, впоследствии, дошли до открытого восхваления русского самодержавия, православия, и народности. Таков, например, Лев Тихомиров, выступивший со своей знаменитой книжкой «Почему я перестал быть революционером».

Наконец, третьи, и таких было подавляющее большинство, свернули во многом на путь западно-европейских политических противников, став активными деятелями и основоположниками тех разложившихся бакунистских ячеек, из которых распухли впоследствии такие исторические в России партии, как «Р.С.Д.Р.П.» (Плеханов, Аксельрод, Дейч и другие) и «П.С.Р.» (Шишко, Брешковская и другие).

Правда, Бакунин вообще, по словам Дебагория-Мокриевича, «далеко не льстил себя надеждой на непременный успех.—Мы должны делать попытки, говорил он. Пусть нас разобьют один, два раза, наконец, десять и двадцать раз, но если на двадцать первом народ поддержит... жертвы окупятся» (Дебагорий-Мокриевич «Воспоминания» 3-е издание СПБ, стр. 96—97). Однако, Бакунин, вряд ли мог думать, что следующие его слова, сказанные случайно, за три года до смерти, Дебагорию-Мокриевичу окажутся во многом столь пророческими: «Да что рус-

ские... Всегда отличались они стадными свойствами. Теперь они все анархисты. На анархию мода пошла, а пройдет несколько лет ни одного анархиста среди них не будет» (там же стр. 100).

Но Бакунин конечно не мог не ошибиться, когда утверждал, что не будет «ни одного анархиста».

Неправ также вышеупомянутый Дейч, когда пишет, что «лишь один единственный Кропоткин до глубокой старости сохранил общие с товарищами его молодости убеждения» [1]). (Журнал «Творчество» Москва, № 4—6. 1921 г.).

Анархизм не был преходящим романтическим настроением и для таких людей, как забытый редактор первой русской газеты для рабочих «Работник» — Николай Жуковский (1842—1895) или умерший в Лондоне в 1925 году Вениамин Черкезов, как и для целого ряда других менее известных имен, отдавших анархизму всю свою жизнь. Несмотря на реакцию, воцарившуюся после падения Парижской Коммуны и за границей, на отдельные случаи отхода от анархизма, все же не замечалось разложения бакунизма у таких людей, как Джемс Гильом, братья Реклю, или ныне здравствующий Эррико Малатеста. Для них, как и для множества анархистов, синдикалистов, индустриалистов и иных революционеров всех стран, верных заветам Бакунина, всякие неудачи, недочеты революционного движения и тяжелые, пусть даже массовые, случаи политического самоубийства—ренегатства, есть лишь новый стимул к совершенствованию и углублению методов воплощения антиавторитарной общественности и культуры, совершенно так, как это было для самого великого вдохновителя революционного Интернационала Михаила Бакунина, или для такого бакуниста, каким был анархист-коммунист Петр Кропоткин.

Торжество бакунизма неминуемо. Он шествует по трупам не только борцов за него, но и его неудачных, случайных и разлагающихся носителей вплоть до «полного умственного, социально-экономического и политического освобождения народа».

Т. Пиро.

---

[1]) Но этим исчерпывается отличие Кропоткина от всех остальных его сверстников — продолжает далее Дейч. „Никто другой не играл столь выдающуюся роль в революционном движении всех цивилизованных стран“... (см. там же стр. 27).

Кропоткин.

Петр Алексеевич Кропоткин родился в 1842 году в Москве, в семье родовитых дворян, ведших свое происхождение по прямой линии от Рюрика. Семья Кропоткиных была той средней семьей этого круга, которой быт и нравы достаточно описывались в нашей литературе.

Мальчик был очень живой и очень отзывчивый, глубоко воспринимавший все совершавшееся кругом, обладавший той широтой души, которая позволяла ему вживаться во все события и сопереживать страдания и радости окружающих. Благодаря этому сильно увеличивался душевный кругозор, который вводит в сознание человека богатый опыт сопереживаемых чужих страданий. Глаза души видели у него гораздо дальше и глубже, чем у более старших и противоречия между сущим и должным уже в детстве тревожили его. Конечно, эти противоречия не выростали у него, как философская проблема, но принимались из глубины его детских переживаний, как разногласия самих переживаний, как непосредственное чувство несправедливости, жалости, жестокости, добра, лжи, лицемерия—всевозможных эмоций—связывающих и разделяющих человеческие души, служа для них побудителями поступков. Благодаря углубленной способности сопереживания—его опыт становился все больше и позволял ему легко прозревать сквозь оболочку условностей, сквозь искусственные перегородки социальных неравенств—то общечеловеческое в страдании, что присуще каждой душе, несмотря на все ее индивидуальное и личное своеобразие. Способность к такому переживанию красной нитью проходит через всю жизнь Петра Алексеевича и впоследствии, когда перед ним, уже взрослым человеком, раскрылись гораздо более широкие горизонты, то же свойство позволило ему проникать во внутреннее души—как индивидуальной, так и массовой, легко отделяя все те призрачные формы, которые привносятся схемами и предрассудками. Поэтому же он никогда не мог стать на точку зрения классовой борьбы и т. п. схематизаций... Перед ним всегда был человек—конкретный, живой, в опыте данный, не завуалированный теориями и только его он видел, его прозревал, к нему спешил с вестью об освобождении...

Вообще Кропоткин принадлежал к тому типу людей, у которых крайне сильна душевная восприимчивость, позволяющая создать на ряду с обычным опытом внешних чувств, как бы разновидность его более углубленную и мощную—опыт сопереживания. Обычно такой более углубленный опыт редко встречается и в общем люди не умеют как следует наблюдать и экспериментировать в этой области, а между тем подлинная человечность, подлинный гуманизм, а стало быть и настоящее понимание человека, как существа общественного, возможно только благодаря такому опыту... Ведь иначе и нет у человека средств познать другого человека!.. В известной мере каждый, конечно, обладает способностью сопереживания, но чрезвычайно важна степень интенсивности этого переживания, ибо только начиная с известной степени ее возможно подлинное понимание психической и тем более социальной жизни. Громадное большинство людей, мнящих себя психологами и социологами, имеющие томы и томы сочинений по этим вопросам, на самом деле ровно ничего не знают о подлинных живых людях, оперируя в своих мыслях и действиях с трупами, убитых их схематизмом людей и нагромождая саркофаги всевозможных теорий.

В дальнейшем крайне важно усвоить себе факт своеобразия того, что Кропоткин имел, как опыт, ибо это своеобразие дает ключ к его учению и к его поступкам. Здесь же коренится и та особенность в понимании науки, которая была присуща Кропоткину. Наука есть систематизированный опыт, но разный опыт был у Кропоткина и у официальных представителей науки, у тех которые не имели главного опыта Кропоткина или даже не понимали его и который он сам описывает в «Записках Революционера»: «Наука—великое дело. Я знал радости, доставляемые ею, и ценил их, быть может, даже больше, чем многие мои собратья... Но какое право имел я на все эти высшие радости, когда вокруг меня—гнетущая нищета и мучительная борьба за черствый кусок хлеба? Когда все истраченное мною, чтобы жить в мире высоких душевных движений, неизбежно должно быть вырвано изо рта сеющих пшеницу для других и не имеющих достаточно черного хлеба для собственных детей? У кого-нибудь кусок должен быть вырван изо рта, потому что совокупная производительность людей еще так низка». (Стр, 180—181. Изд. 1924 г.)

Видеть не только физиологию слезоотделения, но и сочувствовать тому горю, которое их вызвало, сопережить это горе—вот путь к тому опыту, которым был так богат всегда Кропоткин и который определило в конце концов все течение его жизни.

Обычный ученый прекрасно знает, что в дровах горящих в его печке, расходуется подлинная, настоящая солнечная энергия и он знает, что та же энергия горит в лампочке на его письменном столе, но он не знает, не чувствует, не пони-

мает, что форма, которая придана этой энергии, чтобы сделать самую энергию полезной, эта форма создана, буквально создана из человеческого пота, крови и слез... Этого он не чувствует... Его наука ему об этом ничего не говорит и он удивлен науке Кропоткина... Он не знает ее—эту науку, науку о горе и страданиях живых людей, а не марионеток классовой борьбы квази—научного социализма и не науку лживых академий, приводящих человека к полному его использованию в горниле производства с помощью научных организаций труда.

Поэтому то и впоследствии, когда Кропоткин приступит к построению своего мировоззрения, он использует свой опыт и получит свою научность не вполне совпадающей с общепринятой.

Как бы там ни было, но до 1857 года, т.-е. до своего поступления в Пажеский Корпус, Кропоткин жил в семье, в обстановке, которая давала много пищи его впечатлительности и раскрывала перед ним изнанку человеческих отношений.

«Ключница Ульяна стоит в корридоре, ведущем в кабинет отца и крестится. Она не смеет войти, ни повернуть назад. Наконец она прочитывает молитву, входит в кабинет и едва слышным голосом докладывает, что запас чая почти на исходе, что сахара осталось всего лишь фунтов двадцать, и что остальная провизия также скоро вся выйдет.—«Воры! Грабители!—кричит отец.—А ты заодно с ними!» Голос его гремит на весь дом. Мачеха послала Ульяну, чтобы на ней разрядилась гроза... Отец не желает угомониться. Он призывает настройщика и под-дворецкого Макара и высчитывает ему все недавние проступки и прегрешения. Макар на прошлой неделе напился и наверное был пьян также вчера, потому что разбил несколько тарелок... Отец продолжает кричать, что хамово отродье заслуживает всяческого наказания.

Внезапно наступает затишье. Отец садится за стол и пишет записку: «Послать Макара с этой запиской на с'езжую. Там ему закатят сто розог».

В доме ужас и оцепенение.

Бьет четыре. Мы все спускаемся к обеду, но ни у кого нет охоты есть. Никто не дотрагивается до супа. Нас за столом десять человек. За каждым стоит скрипка или тромбон, с чистой тарелкой в левой руке, но Макара нет.

— Где Макар?—спрашивает мачеха.—Позвать его.

Макар не является и приказ отдается снова. Входит Макар, бледный, с искаженным лицом, пристыженный, с опущенными глазами. Отец глядит в тарелку. Мачеха, видя, что никто из нас не дотронулся до супа, пробует оживить нас.

— Не находите ли вы, дети,—говорит она по французски—, что суп сегодня превосходный?

Слезы душат меня. После обеда я выбегаю, нагоняю Макара в темном корридоре и хочу поцеловать его руку, но он выры-

вает ее и говорит, не то с упреком, не то вопросительно: «Оставь меня, когда вырастешь и ты такой же будешь?

— Нет, нет, никогда. (Стр. 53—54 ib.)

Заключительный момент этой сцены был возможен только при условии, что мальчик получил из данных комплексов восприятий, одинаковых у него с другими присутствовавшими нечто дополнительное, чего не получили другие и это дополнительное заключалось в том, что мальчик вчувствовался во внутреннюю сторону явлений, а другие нет; для него было открыто еще нечто кроме внешней стороны сцены и он видел то общечеловеческое в Макаре, что было во всех окружающих и в нем самом... Он чувствовал и сознавал в Макаре себя и в себе Макара; он прозревал в страданиях другого и переживал их, как свое собственное страдание. Он видел то, чего не видели другие и это было самое важное...

До пятндцати лет он жил в семье, где характер его развертывался в среде, которая не ломала и не насиловала его, а в то же время сильно влияла, подобно тому, как это происходит с семенем, раскрывающим свои собственные потенции, но воспринимающим все воздействия извне. Обычно человек стоит перед человеком, как неграмотный перед книгою. Редко кто умеет читать эту книгу по складам и чрезвычайно мало читающих и понимающих... Физический опыт человека грамотного и человека неграмотного от раскрытой книги один и тот же, но психический глубоко различен и то, что для неграмотного составляет в опыте все, для грамотного это только незначительная подробность. Один человек в другом воспринимает только его внешнее проявление и не идет слишком далеко за это проявление... Его опыт о человеке ограничивается азбукой физико-химических и механических соотношений, он не достигает чтения этих букв, не разбирает смысла написанного и таковы по большей части представители официальной науки и к ней так или иначе подделывающихся, ищущих тех или других научных обоснований. Но для Кропоткина везде и всюду— в природе и человеке раскрывается нечто, стоящее за явлениями так же, как за буквами стоит смысл написанного. Однако это не значит, что Кропоткин философствовал, искал за явлениями сущность или душу мира за его формами, но не важно то, как можно было бы формулировать тот смысл, который Кропоткин называл научным, который он сознательно и бессознательно искал, находил за буквами жизни человека и природы. И не напрасно, позднее он говорит про себя: «Монолог Фауста в лесу приводил меня в экстаз, в особенности те стихи, в которых он говорил о понимании природы:

Могучий дух, ты все мне, все доставил,
О чем просил я. Не напрасно мне
Свой лик явил ты в пламенном сияньи

Ты дал мне в царство чудную природу,
Познать ее, вкусить ее мне силы дал....
Ты показал мне ряд созданий жизни,
Ты научил меня собратий видеть
В волнах и в воздухе и в тихой роще.
Когда в лесу бушует ураган,
И повергает ближние деревья,
Ломаясь с треском, богатырь—сосна,
И холм ее паденью глухо вторит,—
В уединение ты меня ведешь,
И сам себя тогда я созерцаю
И вижу тайны духа моего...»

И теперь еще это место производит на меня сильное впечатление. Каждый стих постепенно стал для меня дорогим другом»... (ib. 77—78).

И снова цитирует он великого язычника, Гёте, когда говорит об отношении к человеку: «Заходил я также и в протестанскую церковь; но когда я вышел оттуда, то поймал себя на том, что шептал стихи Гете:

«... пожалуй, этим
Вы угодите дуракам и детям,
Но сердце к сердцу речь не привлечет,
Коль не из сердца ваша речь течет...» (85)

Чрезвычайно важно, что Кропоткин всюду находил речь сердца, если она была и только этой речи всегда внимал. Он чувствовал, если речь шла не от сердца и больше всего ненавидел лицемерие, что так великолепно и выявил при разговоре в тюрьме с Николаем Николаевичем. И впоследствии он, будучи в первый раз заграницей, отмежевывается от государственников—социалистов, ведших свою интригу в борьбе за власть и примыкает к юрской федерации, хранившей заветы безвластия, ибо поведение партийных вождей было таково, что: «Я был в ярости... Я не мог согласить этих махинаций вожаков с теми пламенным речами, которые они произносили с платформы. Я был вполне разочарован и сказал Утину, что хочу познакомиться с «бакунистами»..., он долго смотрел на меня и сказал со вздохом: «Да, вы больше не вернетесь к нам, вы у них останетесь». Он был совершенно прав.

Не один Кропоткин обладал, конечно, этим чувством чужого сердца и не он обладал им в наибольшей мере, но в нем это чувство взрастило ясный, призрачный, как горное озеро, несколько рационалистический гуманизм, ибо наряду с мощной способностью сопереживать все общечеловеческое, а в частности—массу и ее психологию, у Кропоткина нет углубления в самого себя... Он на всю жизнь остается ребенком—ласко-

вым, отзывчивым и наивным... Нет у него познания бездны внутренней, той «достоевщины», которая так характерна для русского и отсутствие которой роднит его с европейской культурой и духом... Для него, как и для Н. К. Михайловского, Достоевский остается только «жестоким талантом» и до конца дней остаются ему чужды бездны и провалы человеческого духа, так что г-жа Линд пишет в своих воспоминаниях (Сборник — «Памяти П. А. К.» 1922 стр. 112) о том, какие чувства вызвал в нея образ умиравшего Кропоткина, сиделкой у постели которого она была. «Как-то в порыве нежности я сказала ему, что он прелестное маленькое дитя».

Так и в отношении природы, отвергая цель и телеологию в мире, он в то же самое время глубочайшим образом верит в рациональность мира, в то, что его можно познать, хотя бы только с вероятностью.

«Вероятность, малая, большая, или почти бесконечная», говорит он своему брату Александру (З. Р. 262—263),—основание всех научных предсказаний.—Так можешь ли ты сказать, что вероятность открытия новой силы, не физико-химической, так же мала, как вероятность того, что завтра Венеры не будет в нашей солнечной системе или даже не будет солнца».

— Нет,—отвечал он,—это совершенно другого разряда явления: о них я ничего не знаю.

Так он и остался кантианцем, отрицая материализм, который он называл нахальным невежеством, и даже о боге говоря, что он не может сказать, что такого существа нет. «Если бы я сошел с ума, разве только тогда я мог бы уверовать в бога. Я недавно видел во сне, что уверовал в бога, и проснулся сию минуту, заливаясь хохотом. Но утверждать научно, что бога нет, я не имею права. Наука не может ни доказать существования бога, ни опровергнуть его.

— Но, ведь, ты знаешь генезис этой идеи.

— Генезис плох; но и генезис идеи о круглых орбитах был плох: это ничего не доказывает».

Детская чистота его души позволяла ей быть зеркалом окружающего и глубина ее не была замутнена переживаниями карамазовского толка... Его рацио был прозрачен и чист, совершенно во французском духе... Он был конгениален не с великими немецкими метафизиками, включая сюда, конечно, и Канта, но с французскими рационалистами и материалистами XVIII века. Последнее совершенно правильно подчеркивает Н. К. Лебедев в своих примечаниях к «Запискам», когда говорит в пр. 21, что в России: «...влияние Вольтера было вытеснено немецкой идеалистической философией Шеллинга и Гегеля, так что Бакунин, напр., и Белинский не испытали на себе большого влияния Вольтера. Петр Алексеевич Кропоткин, питавший органическое отвращение к туманной идеалистической философии немцев, напротив воспитывался главным образом, под влиянием французской фило-

софии конца XVIII века и на него Вольтер оказал большое влияние». В своих «Записках» Кропоткин сам говорит об этом (стр. 86): «...по субботам до глубокой ночи я читал энциклопедистов, «Философский словарь» Вольтера, произведения стоиков в особенности Марка Аврелия и т. д. Бесконечность вселенной, величие природы, поэзия и вечно бьющаяся ее жизнь производили на меня все большее и большее впечатление, а никогда непрекращающаяся жизнь и гармония природы погружали меня в тот восторженный экстаз, которого так жаждут молодые натуры. В то же время у моих любимых поэтов я находил образцы для выражения той пробуждавшейся любви и веры в прогресс, которой красна юность и которая оставляет впечатление на всю жизнь».

Последние слова относятся к периоду, когда Кропоткин был в корпусе. Когда он перешел во второй класс, его захлестнули волны движения широко и мощно охватившего тогдашний интеллектуальный мир. «То было время»,—пишет он (Записки, стр. 98), «всеобщего научного возрождения. Непреодолимый поток мчал всех к естественным наукам, и в России вышло тогда много очень хороших естественно-научных книг в русских переводах. Я скоро понял, что основательное знакомство с естественными науками и их методами необходимо для всякого, для какой бы деятельности он ни предназначал себя».

Если до поступления в корпус превалировало развитие эмоциональной стороны характера Кропоткина, причем эта эмоциональность носила сильно познавательную окраску, то в корпусе начинает все более и более оформляться его интеллектуальная сторона и притом при воздействии только что упомянутых рационалистических и материалистических течений, нахлынувших в Россию.

«Никогда не прекращающаяся жизнь вселенной, которую я понимал, как жизнь и развитие, стала для меня неистощимым источником поэтических наслаждений, и мало-помалу философией моей жизни стало сознание единства человека с природой как одушевленной, так и неодушевленной». (Записки, стр. 99).

Ум Кропоткина формировался также ясно и просто в ярких резких линиях французского схематизма и в этой резкости и ясности не оставалось места для странных «ignorabimus», для темных «границ познания», для смутных метафизических пустот и провалов для еще более смутных и призрачных мистических бездн... Все было чисто на безоблачном небе познания ибо если сейчас «ignoramus», то ни в коем случае не «ignorabimus» ...Последовательными приближениями все большей и большей вероятности прогрессирует познание человека и яркий оптимизм его натуры пламенно верил, что «все идет в конце концов к лучшему в этом далеко не лучшем из возможных миров». Французский рационализм, начиная с Декарта ставший

одним из главных творцов механистического мировоззрения, через эпоху энциклопедистов, полный, совсем из него не вытекавших революционных лозунгов, достиг, наконец, в 60-х годах широких кругов русской молодежи и пропитал ее с ног до головы тем, что можно и теперь назвать «нигилизмом», беря это слово со всем тем, свойственным ему ароматом, который от «Отцов и детей» достиг до наших дней. Богом стал разум, разум с большой буквы и как всякий бог вышел из под контроля разума с маленькой буквы. Разум стал непознаваемым, вездесущим и всемогущим... Отныне вера в Разум и в его тело и проявление—Природу стала иррациональной основой рационализма Кропоткина, как и всего поколения тех и многих позднейших годов.

Как бы там ни было, но рационализм в определенных границах есть нечто для человека неизбежное, ибо он позволяет оформить и схематизировать сырой материал опыта и в истории эпохи рационализирования часто представляет из себя блестящие страницы формул, заключающих краткое резюме многих изысканий... Однако рационализм неизбежно приводит к религии человека или человечества в открытой или завуалированной форме —у Кропоткина не менее чем у Конта.

В самом деле, только в человеке ощутим разум и только человек разумен в природе, по крайней мере, в смысле самосознания... Поэтому, признавая Разум и Природу, рационалист любуется на свое собственное отражение в зеркале природы и познает отражение Природы в зеркале своего Разума... В наиболее прекрасном виде религия человечества является, как гуманизм, в самом широком и глубоком смысле этого слова и Кропоткин, несомненно, может считаться основателем нового гуманизма.

А между тем в течение годов учения в корпусе закалялся характер Кропоткина, кристаллизовалась его воля и то, что в ребенке могло подчас сойти за упрямство, постепенно переходило в непреклонную настойчивость, создавало сильную и гибкую натуру. В совокупности с рационалистическим уклоном все это делало из Кропоткина человека с ясным светлым умом, не останавливающимся перед выводами из богатого опыта переживаний, не склоняющего головы перед последствиями, вытекавшими из сознания справедливости того или иного поступка или взгляда. В корпусе же он особенно сильно пережил те чувства, которые присущи личности, когда она чувствует себя тесно связанной, почти слитой в одно целое с массой. Особенно характерный момент переживаний подобного рода Кропоткин описывает в Записках (стр. 102): «Я понял..., что значит колонна, идущая сомкнутыми рядами, возбужденная музыкой и наступлением. Перед нами стоял император, наш военный начальник, к которому мы все относились с благоговением. Между тем, я чувствовал, что ни один из нас не подвинулся бы на вершок и не остановился бы, чтобы дать ему дорогу. Мы составляли

идущую колонну, он являлся препятствием, и колонна смяла бы его».

Вообще года, проведенные в корпусе дали ему почувствовать массу изнутри, ибо только года в детском или юношеском возрасте, проведенные в стенах закрытого военного учебного заведения, могут дать почувствовать всасывающие и нивеллирующие силы человеческой массы, ее стихийность в эмоциях, ее слепоту, если она не дифференцирована. Все время Кропоткину приходилось в корпусе отстаивать свою личность, противопоставлять ее натиску чужих и часто чуждых эмоций, но ни раньше—в семье—ни теперь—в корпусе, все же стихия массы никогда не касалась его чересчур враждебно... Всегда он чувствовал в себе нечто роднившее его с этой массой, говорившее ему, что он сам, со своим особенным «я» затерян среди многих, многих «ты», но все эти «ты» в любое время могли стать для него «я», благодаря его способности к переживанию. Корпусная жизнь дала ему ряд впечатлений кооперации, товарищества, массового действия. Как бы там ни было, но когда в 1862 году двадцати лет, Кропоткин кончил корпус—это была уже вполне оформившаяся в своих главных линиях личность, достаточно крепкая, чтобы тут же, при производстве в офицеры, вопреки всему, настоять на своем и сломать свою всеми ожидавшуюся карьеру.

Но и здесь он не поступает опрометчиво. Недаром его предка, князя Смоленского, умершего в 1470 г. за хозяйственную кропотливость прозвали Кропоткиным... Петр Алексеевич обладал этим наследственным свойством и обстоятельно обдумал и взвесил не только принципиальную, но и хозяйственную сторону своего решения. Поступать обдуманно было его натурой и эта обдуманность «кропотливость» сквозит во всех его поступках и работах.

Так или иначе, но по окончании корпуса он уезжает в Сибирь офицером Амурского конного казачьего войска.

«Пять лет»,—пишет он (Записки, стр. 133),—«проведенные мною в Сибири, были для меня настоящей школой изучения жизни и человеческого характера. Я приходил в соприкосновение с различного рода людьми, с самыми лучшими и с самыми худшими, с теми, которые стоят наверху общественной лестницы и с теми, кто прозябает и копошится на последних ее ступенях: с бродягами и так называемыми неисправимыми преступниками. Я видал крестьян в их ежедневной жизни и убеждался, как мало может им дать правительство, даже если оно одушевлено лучшими намерениями. Наконец, мои продолжительные путешествия, во время которых я сделал более семидесяти тысяч верст на перекладных, на пароходах, в лодках,—главным образом, верхом—удивительно закалили мое здоровье. Путешествия научили меня также тому, как мало, в действительности нужно человеку, когда он выходит из зачарованного круга условий цивилизации. С несколькими фунтами хлеба и маленьким за-

пасом чая в переметных сумах, с котелком и топором у седла, с кошмой под седлом, чтобы покрыть постель из свеженарезанного молодого листвяка,—человек чувствует себя удивительно независимым даже среди неизвестных гор, густо поросших лесом, или же покрытых глубоким снегом...»

Так сам Кропоткин описывает то, что дала ему Сибирь...

Здесь он прошел школу жизни, позволившую окончательно выкристаллизоваться его характеру. Однако уже сейчас необходимо подчеркнуть одну сторону характера Кропоткина, ту сторону, которая в конце-концов быть может в большей части его жизни оказалась почти определяющей.

Дело в том, что пробегая в воображении путь жизни Петра Алексеевича с детства через корпус и в Сибирь, отдавая себе отчет в ситуациях, среди которых он жил и действовал, мы можем уловить одну резкую черту, красной нитью окаймляющую его личность. Чрезвычайно важно, что условия и ситуации жизни все время для Кропоткина складывались так, что не наносили глубоких ран его самолюбию. Ничто в жизни его не унижало, он никогда не был достоин презрения, никогда его не оскорбляли по крайней мере глубоко и мучительно, жизнь не била его, не ставила его в безвыходные противоречивые положения... Нет, ясно и цельно все время идет его жизнь и такой она остается до могилы... Дитя и старик идут в нем рука об руку и он, такой борец прогресса, сам стоит вне его. Ребенком проходит Кропоткин сквозь жизнь, ребенком он сходит в могилу... Старик говорит его устами в суждениях о целях мира и таков он у первых ступеней своей жизни.

Чистый и ясный взгляд ребенка, отзывчивого и всегда готового на всякое дело, где нужна любовь, смелость, которое вызывается требованиями братства или свободы, но все же взгляд ребенка. Правда, это ребенок лучший и гораздо более прекрасный, чем все дети современной культуры — ее мудрецы и создатели, но это ребенок в еще не дифференцированной цельности души которого не зарождается и тени сомнения в самых принципах этой культуры, в ее духовной надменности... Мучительный надрыв и протест «из подполья», протест против «Эвклидова мира», утверждение бытия подлинного зла в мире, зла субстанционального, волевого, а не только формального — интеллектуалистического—все это было глубоко чуждо Кропоткину. Правда, он чувствовал здесь нечто и этим, в сущности, вызываются его позднейшие попытки дать новую этику... В попытке создать новое обоснование морали можно видеть проблески своеобразного бегства Кропоткина из «Ясной Поляны» — его светлого рационалистического оптимизма, попытка убедить себя, что может быть можно уйти из старого, не отрекаясь от него, сохраняя его прежнюю цельность... Как бы там ни было, но у Кропоткина было много Шиллеровского, но не было Гётевского и потому, вероятно, он цитирует именно Гёте.

Отсюда же и философская беспомощность Кропоткина, так характерная вообще для всего поколения 60 годов, но последнее даже и не так существенно. Гораздо более важно то, что благодаря всему сказанному, Кропоткин всегда имеет перед собой не цельную личность, а только ту ее сторону, которая повернута во вне. Для него остается наглухо и навсегда закрыта внутренняя сторона личности, что предохраняет его от многого, делает его цельным, но зато и не дает ему возможности глубже взглянуть на жизнь и самих людей. Сама личность в силу этого истончается перед его глазами, делается прозрачной и сквозь нее Кропоткин видит одну только массу.

Однако беспомощность перед проблемами о глубинах личности и даже простое незнание их, тем рельефнее оттеняет острую ясность ума Кропоткина в решении социальных проблем. Подобно ясному летнему утру воззрение Кропоткина на Природу и только от человека веет печалью, ибо он первый в ряде существ сознал свое неумение в деле общественности, сознал свои стремления и невозможность их удовлетворить. Но зато у человека есть разум, осенивший его и способный, как некий бог, повести человечество в страну исполнения.

И все же отношение Кропоткина к личности настолько бережно, что, в конце-концов, неважно—знает ли он сам, что заключено в сосуде личности — важно, что он его бережет... Последнее существенней и правильней, чем восхищаться глубинами и пропастями, заключенными в личности, божественным достоинством в ней скрытым, а в то же время бить этот сосуд о камни своей глупости и жестокосердия... Для самой личности приемлемей тот, кто не считает ее сосудом абсолютного и в то же время обращается с ней по крайней мере, вежливо, чем тот, кто кричит о неизмеримых драгоценностях ее содержимого и бросает ее в мусорный ящик своего безумия. Все эти монахи различных религий — от теистических до материалистических всегда готовы сжигать сосуды для спасения содержимого и в этом великая ложь, которой избегает Кропоткин и впоследствии, когда он создает свой идеал человеческой общественности; он всегда имеет в виду, что личность должна стоять на первом плане, и что поэтому свобода должна лечь в основу общества, претендующего на подлинную культурность, ибо последняя как раз может измеряться только степенью уважения, которое она возбуждает в людях друг к другу.

Годы, проведенные в Сибири, годы вдумчивого наблюдения позволили оформиться многим мыслям Кропоткина, не оставлявшим уже его более в течение всей жизни.

«Годы, которые я провел в Сибири,—пишет он («Записки», стр. 165—165), «научили меня многому, чему я вряд ли мог бы научиться в другом месте. Я быстро понял, что для народа решительно невозможно сделать ничего полезного при помощи административной машины. С этой иллюзией я распростился

навсегда. Затем я стал понимать не только людей и человеческий характер, но также скрытые пружины общественной жизни. Я ясно сознал созидательную работу неведомых масс, о которой редко упоминается в книжках, и понял значение этой построительной работы в росте общества. Я видел, например, как духоборы переселялись на Амур, видел сколько выгод давала им их полу-коммунистическая жизнь, и как удивительно устроились они там, где другие переселенцы терпели неудачу, и это научило меня многому, чему бы я не мог научиться из книг. Я жил также среди бродячих инородцев и видел, какой сложный общественный строй выработали они, помимо всякого влияния цивилизации. Эти факты помогли мне впоследствии понять то, что я узнавал из чтения по антропологии. Путем прямого наблюдения я понял роль, которую неизвестные массы играют в крупных исторических событиях—переселениях, войнах, выработке форм общественной жизни. И я пришел к таким же мыслям о вождях и толпе, которые высказывает Л. Н. Толстой в своем великом произведении «Война и Мир».

«Воспитанный в помещичьей семье, я, как все молодые люди моего времени, вступил в жизнь с искренним убеждением в том, что нужно командовать, распекать, наказывать и тому подобное. Но как только мне пришлось выполнять ответственные предприятия и входить для этого в сношения с людьми, при чем каждая ошибка имела бы очень серьезные последствия, я понял разницу между действием на принципах дисциплины или же на началах взаимного понимания. Дисциплина хороша на военных парадах, но ничего не стоит в действительной жизни, там, где результат может быть достигнут лишь сильным напряжением воли всех, направленной к общей цели. Хотя я тогда еще не формировал моих мыслей словами, заимствованными из боевых кличей политических партий, я все-таки могу сказать теперь, что в Сибири я утратил всякую веру в государственную дисциплину: я был подготовлен к тому, чтобы сделаться анархистом».

Да, поистине Сибирь была великой насмешкой над государственными тенденциями, ибо в течение нескольких веков государственная власть проявлялась в Сибири только, как наглый, открытый и беспощадный грабеж и издевательство и если население Сибири все же не переело друг друга, не выродилось в сплошных скотов или разбойников, а наоборот, несмотря даже на усиленный поток из Европейской России так называемых «преступных элементов» всякого рода сумело создать свою общественность, то все это служит ярким подтверждением того, что человек не только волк для человека, но может быть и часто бывает братом.

Вообще говоря, человек не слишком хорош, ни слишком плох и, конечно, в очень большой степени зависит от окружающих условий... Поэтому-то и приходится ставить в первую

голову вопрос об изменении этих условий... Ведь не сразу могут воздействовать сознательно единицы, а среда действует бессознательно на миллионы... Поэтому и приходится социалистам—государственникам прибегать к софизмам, утверждая формирующее влияние социалистической среды на отдельную личность и сейчас же аргументируя против анархистов, тем, что, якобы, люди должны стать другими, чтобы стал возможным анархизм. Но если так, то и для социализма необходимо, чтобы предварительно люди стали другими, если же определяющие влияние среды справедливо для социализма—оно на совершенно таких же основаниях справедливо и для анархизма. И для Кропоткина было понятно то, что впоследствии стало непонятным, благодаря непонятной, благодаря вуалирующей агитации социалистических партий, а именно, что вовсе социализм не есть переходная стадия к анархизму—социализм есть социализм, а анархизм есть анархизм и между ними колесо причинности не вертится...

Как бы там ни было, но восстание ссыльных поляков поставило Кропоткину непосредственный вопрос о том—может ли он оставаться на военной службе: «для меня и для брата, пишет он, («Записки», 169) восстание послужило уроком. Мы убедились в том, что значит, так или иначе, принадлежать к армии... Мы решили расстаться с военной службой и возвратиться в Россию ... и весной 1867 года мы поехали в Петербург».

В Сибири Кропоткин прошел серьезную школу научно-исследовательской работы, совершив ряд продолжительных экспедиций и собрав богатый материал. По приезде в Петербург, осенью 1867 года он поступает в университет. «Занятия в университете и научные работы поглотили все мое время в течение пяти следующих лет. («Записки», 170). В течение этих лет он вел интенсивную научную работу, о которой говорит в «Записках» (стр. 172): «Кто испытал раз в жизни восторг научного творчества, тот никогда не забудет этого блаженного мгновения. Он будет жаждать повторения. Ему досадно будет, что подобное счастье выпадает на долю немногим, тогда как оно всем могло бы быть доступно в той или другой мере, если бы знание и досуг были достоянием всех».

В то же время все больше и больше Кропоткин вовлекался в революционную работу, все больше сходился с деятелями освободительного движения, все ближе подходил к подполью. Все это совершалось естественным, само собой разумеющимся образом, ибо, сказав «А» надо было пройти уже весь алфавит вплоть до «Z», и не Кропоткину было останавливаться на полпути ... Из него постепенно выковывался боец, готовый грудь с грудью встретиться с врагом, сразиться с ним в рукопашную, получая и нанося удары ... Он знал и чувствовал массу и, как в случае с колонной кадет, он глубоко переживал в себе весь под'ем и восторг революционного вихря,

когда толпа может превратиться в собрание героев, когда она, как могучий прибой, бьет в берега и рокочет по улицам, на площадях, на баррикадах . . . Он великолепно чувствовал, что в такие моменты пробуждается, хотя бы даже только на мгновение, могучая общечеловеческая мощь, задавленная буднями серого существования, полного насилия и жестокости, пробуждается и развертывается гигантским пожаром . . . О, конечно, он прекрасно знал как много тяжелого несет в себе восстание, но разве в этом тяжелом виноваты те, кто сбрасывает гнет и хочет дышать полной грудью—конечно, нет. За это ответственны только те, которые накладывают гнет—насильники и эксплоататоры, бешено отстаивающие свое право на безнаказанное убийство, называемое судом, на дневной грабеж, называемый капитализмом, на постоянное и всевозможное насилие, называемое государством. Он прекрасно учитывал значение максимы «не борись со злом путем зла», но не менее прекрасно учитывал он, что сплошь и рядом не бороться против большого зла—меньшим является в свою очередь еще большим злом. Путь Толстого не был путем Кропоткина, ибо сама молодость не допускала последнего до ригоризма первого. К этому надо прибавить влияние на Кропоткина тех образов, которые слабее воздействовали на Толстого, а именно революций, пережитых Европой в последнее столетие. Толстой скорей монах. Кропоткин скорей—рыцарь . . . Так или иначе, но события внешней жизни вместе с течением его внутренних переживаний все более толкали его к работе революционного характера и он постепенно сходится с членами кружка Чайковского, а затем и сам вступает в него. Но тут же происходит событие, сыгравшее свою роль в деле оформления его мировоззрения—весной 1872 г. он едет за границу. «По приезде в Цюрих—пишет Кропоткин («Записки», 204—205)—я вступил в одну из местных секций Интернационала и спросил своих русских приятелей», по каким источникам можно познакомиться с великим движением . . . «Читайте,—сказали мне». Кропоткин садится за чтение социалистических газет: « . . . совершенно новый мир социальных отношений и совершенно новые методы мышления и действия раскрываются во время этого чтения, которое дает именно то, чего ни в каком другом месте не узнаешь, а именно об'ясняет глубину и нравственную силу движения и показывает насколько, люди проникнуты новыми теориями, насколько работники подготовлены провести идеи социализма в жизни и пострадать за них. Всего этого из другого чтения нельзя узнать, а потому все толки теоретиков о неприменимости социализма и о необходимости медленного развития имеют мало значения, потому что о быстроте развития можно судить только на основании близкого знакомства с людьми, о развитии которых мы говорим. Можно ли узнать сумму, пока неизвестны ее слагаемые».

Здесь Кропоткин попал в лабораторию грядущего, присутствовал при творчестве нового—новой жизни, новых социальных отношений. Он видел наглядно и непосредственно—перед ним, с одной стороны, стояло то общество, которое сверху до низу было построено на иерархии—общество русской дореволюционной действительности, основанное на насилии, насилием скрепленное и насилием увенчанное. Он видел как бесплодно было это общество, как мертвило оно все окружающее, как убивало все живое и как цепко держалось за старое . . . Тут же было творчество и жизнь . . . И только на мгновение запнулся Кропоткин о государственный социализм, но сразу же узнал знакомые черты власти и с презрением отвернулся. В то время носителем идей безгосударственного социализма, т.-е. анархизма была Юрская федерация, вдохновлявшаяся Бакуниным. Здесь—не среди люмпенпролетариата, но среди высококвалифицированных часовщиков прочно обосновался анархизм, чтобы постепенно охватить всю Европу. Бакунин в то время был в Локарно и Кропоткин не видел его, но это, конечно, не помешало ему примкнуть именно к Юрской федерации.

«Теоретические положения анархизма, как они начали определяться тогда в Юрской федерации,—в особенности Бакуниным,—критика государственного социализма, который, как указывалось тогда, грозит развиться в экономический деспотизм, еще более страшный, чем политический и, наконец, революционный характер агитации среди горцев неотразимо действовали на мой ум. Но сознание полного равенства всех членов федерации, независимость суждений и способов выражений их, которые я замечал среди этих рабочих, а также их беззаветная преданность общему делу, еще сильнее того подкупали мои чувства. И когда, проживши неделю среди часовщиков, я уезжал из гор, мой взгляд на социализм уже окончательно установился. Я стал анархистом. («Записки», 214).

Темперамент бойца не позволил пойти Кропоткину по линии «непротивления» и вместе с умением его прозревать сквозь условные маски в общечеловеческой сущности каждого. предопределили всю дальнейшую тактику его на поле социальной борьбы.

Однако не просто он принял путь революции; «Был, однако, один пункт,—говорит он («Записки», 216—217),—который я принял только после долгих дум и бессонных ночей. Я ясно видел, что великие перемены, долженствующие передать все необходимое для жизни и производства в руки общества,—все равно будет ли то народное государство социал-демократов, или же союз свободных групп, как хотят анархисты—не могут совершиться без великой революции, какой еще не знает история. Больше того. Уже во время французской революции крестьяне и республиканцы должны были напрячь все усилия, чтобы опрокинуть прогнивший аристократический строй. Между тем,

в великой социальной революции народу придется бороться с противником гораздо более сильным умственно и физически: с средними классами, которые имеют при том в своем полном распоряжении могущественный механизм современного государства... Кроме того, я постепенно начал понимать, что революции т.-е. периоды ускоренной эволюции, ускоренного развития и быстрых перемен, также сообразны с природой человеческого общества, как и медленная постепенная эволюция, наблюдаемая теперь в культурных странах. И каждый раз, когда темп развития ускоряется и начинается эпоха широких преобразований, может вспыхнуть гражданская война в более или менее широких размерах. Таким образом вопрос не в том, как избежать революции—ее не избегнуть,—а в том как достигнуть наибольших результатов при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв и, по возможности, не увеличивая взаимной ненависти. Все это возможно лишь при одном условии: угнетенные должны составить себе возможно более ясное представление о том, что им предстоит совершить, и проникнуться достаточно сильным энтузиазмом. В таком случае они могут быть уверены, что к ним присоединятся лучшие и наиболее свежие элементы из самых правящих классов».

И в вопросе о революции Кропоткин так же обстоятелен. Там, где Бакунин бросил просто, что революция мол, зло, но на него приходится итти, потому что насильники находятся в перманентном наступлении и революция просто есть момент, когда насилуемые перестают нести это насилие, так что революцию в сущности производят не насилуемые, а насильники—Кропоткин в дополнение к этому приводит целый ряд аргументов, доказывающих, что без борьбы все равно, хотим мы этого или нет—ничего не выйдет и раз борьба неизбежна, нужно принять это как факт и быть к ней готовым, нужно самим брать оружие в руки.

В приведенных только что словах Кропоткина звучит еще крайне важный мотив, делающий в конце-концов Кропоткина не представителем секты, класса или партии, но всего человечества. Это мотив, который звучал в устах мальчишки из знаменитой сказки Андерсена «Платье короля». Каждая партия имеет своего короля—дворянство, буржуазию, пролетариат, крестьянство, интеллигенцию, духовенство и т. д. и каждая обряжает этого своего короля во всевозможные костюмы—сословные, классовые, партийные, научные и пр. И вот Кропоткин говорит им всем: «Бросьте... Все это чепуха.... Прежде всего вы все просто люди, голые люди и нечем вам чваниться—ни голубой кровью, ни белой костью, ни мозолистыми руками, ни большим черепом... Более отзывчивые и духовно более развитые пойдут за справедливое дело, независимо от кажущегося платья, а кто погрубее и поглупее, ну те, правда,

поверят, что они обряжены в партийное или классовое платье...»

Что может быть нелепее марксистов, кричащих о классовой психологии, определяемой производством, в то время как у самих от Маркса до Зингера, от мелкого ремесленника Бебеля до фабриканта Энгельса—весь командующий состав по своему происхождению ничего общего не имел с пролетариатом... Но ведь так везде, стоит просмотреть любую историю революционного движения любой страны—всюду вместе с обездоленными шли лучшие представители из рядов противоположного класса. Явная наглядная нелепость, как платье короля... Галлерея русских революционных деятелей состоит, главным образом, из представителей, вышедших из рядов привилегированных, а по роли, которую отдельные из них играли в истории революционного движения—почти исключительно. Они были дрожжами, которые не составляют теста, но без которых не может быть теста. Кропоткин ясно понимал роль таких дрожжей и ясно представлял себе тот великий соблазн, который совращает людей, превращая их из дрожжей в вождей. Пока человек идет в массу, чтобы будить ее, чтобы поднимать ее—он подлинно творит народное дело, но как только он начинает там командовать, превращаясь в лидера—он продал черту властолюбия свою душу—он становится отныне гасителем народной свободы.

Последнее, т.-е. большее или меньшее сочувствие самих привилегированных к обездоленным—необходимый и желательный факт, имеющий помимо только что указанной стороны еще и другую: «... Я скоро заметил—пишет Кропоткин—что никакой революции: ни мирной, ни кровавой не может совершиться без того, чтобы новые идеалы глубоко не проникли в тот самый класс, которого экономические и политические привилегии предстоит разрушить. Я видел освобождение крестьян и понимал, что если бы сознание несправедливости крепостного права не было широко распространено среди самих помещиков... освобождение крестьян никогда не совершилось бы так быстро, как в 1861 году. И я также видел, что идея освобождения работников от капиталистического ига начинает распространяться среди самой буржуазии. Наиболее горячие сторонники современного экономического строя отказываются уже от защиты своих привилегий на почве права, а довольствуются обсуждением своевременности преобразования. Они не отрицают желательности некоторых перемен, но только спрашивают,—действительно ли новый экономический строй, предлагаемый социалистами, будет лучше нынешнего? Сможет ли общество, в котором рабочие будут иметь преобладающее влияние, лучше руководить производством, чем отдельные капиталисты, побуждаемые личной выгодой, как в настоящее время?». («Записки», 21б).

Позднее Кропоткин, в силу тех же оснований предлагает в кружке организацию агитации в аристократических кругах Петербурга. Он пишет («Записки», 233): «. . когда террористы были всецело поглощены страшной борьбой с Александром II, я пожалел о том, что кто-нибудь другой не занялся в высших петербургских кругах выполнением плана, который я изложил перед кружком. Если бы почва была подготовлена, то разветвившееся по всей империи движение, быть может, сделало бы то, что тысячи жертв не погибли бы напрасно. Во всяком случае, рядом с подпольной деятельностью Исполнительного Комитета, обязательно должна была бы вестись параллельная агитация в Зимнем Дворце и в верхних слоях общества». Совершенно понятна глубокая тактическая правда этих утверждений Кропоткина, как и в других случаях, обнаруживающая удивительную цельность и монолитность его натуры, в которой не было ничего нарочитого, ничего придуманного на случай . . .

И в той же плоскости вопросов революции, тактики действия масс, общечеловеческих идеалов и непосредственного глубокого сострадания звучат его слова: «Если в развитии человеческого общества,—рассуждал я,—существуют периоды, когда борьба неизбежна, и когда гражданская война возникает помимо желания отдельных личностей, то необходимо, по крайней мере, чтобы она велась во имя точных и определенных требований, а не смутных желаний. Необходимо чтобы борьба шла не за второстепенные вопросы, незначительность которых не уменьшит взаимного озлобления, но во имя широких идеалов, способных воодушевить людей величием открывающегося горизонта.

В последнем случае исход борьбы зависит не только от ружей и пушек, сколько от творческой силы, примененной к переустройству общества на новых началах. Исход будет зависеть в особенности от созидательных общественных сил, перед которыми на время откроется широкий простор, и от нравственного влияния преследуемых целей; ибо в таком случае преобразователи найдут сочувствующих даже в тех классах, которые были против революции; борьба, происходя на почве широких идеалов, очистит социальную атмосферу. В таком случае число жертв как с той, так и с другой стороны, будет гораздо меньше, чем если бы борьба велась за второстепенные вопросы, открывающие широкий простор всяким низменным стремлениям. Проникнутый такими идеями, я возвратился в Россию». («Записки», 217—218).

Так постепенно вырабатывался в Кропоткине тот гуманист, который мощнее старых гуманистов повел борьбу с инквизиторами современности, который так ярко провозгласил человечность среди озверяющей обстановки и зоологических тенденций окружающего. Осенью того же 1872 года вернулся Кропоткин в Россию, став сознательным анархистом в том, часто стихийном анархизме, которым были пропитаны в России семидесятые годы.

Немедленно по приезде он начинает работу в кружке Чайковского и идет к рабочим массам, с которыми он уже сошелся в Швейцарии на почве совместной борьбы за освобождение.

А в России в это время поднималась волна широкого движения в народ, выростал нигилизм, создавались первые зачатки широкой общественности. Нет ничего нелепее, как представлять себе движение в период 70-х годов в виде Каноссы кающихся дворян... Абсолютно никто из шедших в народ не каялся, да и не в чем им было каяться... Вся концепция «кающихся дворян», как ее часто к сожалению понимали впоследствии, представляет из себя полемический трюк и больше ничего... Совершенно просто говорит шлиссельбуржец Морозов в своих воспоминаниях, что ничего похожего на настроение кающихся не было у шедшей в народ молодежи... Правда, это массовое движение сбивает с толку классовые психологии иных прочих, но тем хуже для них и пора освободиться от подобных гипнозов... Михайловский, бросивший крылатое выражение «кающийся дворянин», подхваченное сперва народничеством, а затем марксизмом, имел в виду человека, сознавшего свой долг перед народом. Однако такой долг, если его чувствуют, могут одинаково чувствовать и разночинец, рабочий... Суть же в том, что такой долг просто миф, ибо, идя в этом направлении дальше, можно утверждать, что смерть людей есть следствие их покаяния перед землей, у которой они заняли на время материал для своих тел...

Так или иначе, но хождение в народ было чревато последствиями, ибо здесь впервые была протянута связующая психологическая нить между различными общественными слоями и сквозь них был пронесен единый факел свободы, бросивший свой свет в области разных классов и групп, осветив им углы и щели их жизни, паутину, сор, и неприглядность, в которой они все жили, каждый по своему.

По приезде из-за границы Кропоткин с головой окунулся в революционную работу, не прекращая, однако, и научной деятельности. Так пролетело время вплоть до марта 1874 года, когда он был арестован. Мы не будем останавливаться на подробностях его жизни в этот период—она достаточна известна со всей ее интенсивностью, плодотворностью и романтикой... Знаменитый побег приводит его в августе 1876 года в Англию. Только через слишком 40 лет удалось ему снова попасть в Россию и все эти 40 лет уходят на творчество мирового анархического движения, на создание и выработку анархического мировоззрения.

Когда, вскоре он переезжает в Швейцарию, он вступает там в Юрскую федерацию и отныне окончательно связывает свою работу с историей анархического движения на Западе.

Мы не будем останавливаться на этой стороне деятельности Петра Алексеевича, ибо она принадлежит международной истории анархизма. Нас интересует здесь разработка Кропот-

киным теоретических основ анархизма, то что он внес в анархическое мировоззрение, что он тем самым дал человечеству.

В течение своей жизни Кропоткин написал невероятно много, но наиболее крупные его труды включают: 1) «Речи бунтовщика», 2) «Хлеб и Воля», 3) «В русских и французских тюрьмах», 4) «Записки революционера», 5) «Взаимопомощь, как фактор эволюции», 6) «Поля, фабрики и мастерские», 7) «Современная наука и анархия» 8) «Идеалы и действительность в русской литературе», 9) «Великая французская революция», 10) «Этика», т. I.

Во всех этих этих книгах развертывает Кропоткин свое мировоззрение, уже сложившееся в своих главных чертах ко времени приезда в Англию в 1876 г. С тех пор Кропоткин лишь развертывал в печати и в практике те принципы, которые в нем были и поэтому довольно безразлична хронологическая последовательность его трудов... Цельным сложившимся человеком— не сгибаясь и не колеблясь идет Кропоткин по своему жизненному пути... Те принципы, которые звучат в его «Записке» приложенной к «делу 193-х» суть те же самые принципы, которые раздаются в его речах 1918—20 годов, т.-е. через 45 лет.

Прежде чем итти дальше необходимо ясно себе представить факт, что нельзя искать анархического мировоззрения обязательного для всех... Было бы глубокой ошибкой думать, что можно найти единое для всех, общезначимое мировоззрение... Его не может быть и всякая попытка в этом направлении заранее обречена на неудачу... Взгляните на капли дождя, падающие летом... Каждая капля, раньше чем упадет на землю отразит в себе весь мир, но в каждой капле это будет особый мир, только ей одной присущий. Нельзя поэтому дать и общеобязательного, для всех одинакового и одинаково должного образа желательной общественности... Если бы анархист выработал план построения общества и попробовал бы навязать его другому—он перестал бы быть анархистом. Но, конечно, необходимо такие планы строить, ибо они выясняют детали возможного строительства. Такие планы, в свою очередь, не могут иметь ничего общеобязательного. Раньше чем приступать к постройке, я должен ознакомиться с принципами строительства, я должен знать, как строят дома вообще, любой дом и это не значит, что я обязан следовать в моих постройках единому плану — едины только принципы строительства...

Вообще необходимо твердо помнить, что начало анархизма — в терпимости к чужим мнениям и в нетерпимости к злым поступкам, ибо там, где это наоборот — там и власть.

Чрезвычайно важно для того, чтобы какое-либо мировоззрение добилось успеха в жизни — связать его с основными, господствующими идеями эпохи, ибо только тогда принципы новых воззрений становятся доступными массам. И вот величайшей заслугой Кропоткина было то, что он связал анархи-

ческие принципы с научными, показал, что, стоя на почве науки мы, несомненно, придем по отношению к общественности — к анархизму. Разрывая схоластику интеллектуалистических построений, идя в глубину жизни, Кропоткин находит там элементы для построения анархического мировоззрения и тем связывает главнейшие устои нашей эпохи с анархизмом, как с прямым и неизбежным выводом из них. В наше время можно смело и не боясь ошибиться, сказать, что не анархистом из додумывающих до конца может быть только дурак или лицемер. Каждый думающий до конца, должен быть анархистом!.. Ясно, что в этом нет принуждения, ибо анархизм есть термин, дающий отрицательное определение, которое, как известно, не является определением по существу. Почему же каждый должен быть анархистом?.. Да потому, что это наиболее рационально и целесообразно, наиболее человечно и справедливо... То, что Бакунин с такой мощью делал, Кропоткин доказывал и его доказательства строго позитивны... Культура, построенная согласно принципам науки может быть только анархической и никакой другой...

Самое главное в точке зрения Кропоткина, это утверждение, как позитивного факта существования, не только половой любви, но и взаимопомощи, не только борьбы за существование, но и жертвы существованием!.. Это основной пункт, ибо если бы не было так, то прав был Гоббс с его «homo homini lupus est» и одиночество должно было бы восторжествовать над общественностью. В начале мира был хаос и в нем царила Вражда, говорил Эмпидокл... Но вот все более и более берет верх любовь—Эрос и хаос медленно преобразуется в Космос. Космос возможен только, как Космос любви, взаимопомощи и солидарности... Вопреки, а не благодаря вражде появляется из хаоса мир; вопреки, а не благодаря борьбе за существование совершенствуются существа... Здесь Кропоткин стоит как бы пророком нового воззрения, идущего в далекое будущее... Он утверждает в мире любовь... До сих пор в природе находили только разум, только мудрость и Кропоткин первый указывает на любовь... Конечно, это можно выразить в терминах положительной науки также, как и в формулах немецкой метафизики—важно не это, а самый факт. И понятно, что в данном случае под любовью приходится понимать целый комплекс различно дифференцируемых чувств, что нисколько не противоречит определениям Кропоткина, который термину «любовь» приписывает более ограниченный об'ем. В своей книге «Взаимопомощь», он говорил (стр. 7): «Во всех этих случаях (случаи взаимопомощи при отсутствии личной симпатии) главную роль играет чувство несравнимо более широкое, чем любовь или личная симпатия. Здесь выступает инстинкт общительности, который медленно развивался среди животных и людей в течение чрезвычайно долгого периода эволюции, с самых ранних ее стадий и научил

в равной степени многих животных и людей сознавать ту силу, которую они приобретают, практикуя взаимную помощь и поддержку, а также сознавать удовольствие, которое можно найти в общественной жизни. Важность этого различия будет оценена всяким, кто изучает психологию животных, а тем более—людскую этику. Любовь, симпатия и самопожертвование, конечно, играют громадную роль в прогрессивном развитии нравственных чувств. Но общество в человечестве зиждется вовсе не на любви и даже не на симпатии. Оно зиждется на бессознательном или полусознанном признании силы, заимствуемой каждым человеком из общей практики взаимопомощи; на тесной зависимости счастья каждой личности от счастья всех, и на чувстве справедливости, или равноправия, которая вынуждает личность рассматривать права каждого другого, как равные его собственным правам». К этому в «Этике» (стр. 14) он прибавляет: «Но и это еще не все, в этом же инстинкте лежит зачаток тех чувств благорасположения и частного отожествления особи со своею группою, которые составляют исходную точку всех высоких этических чувств. На этой почве развилось более высокое чувство справедливости или равноправия, равенства; а затем и то, что принято называть самопожертвованием». И далее (стр. 18): «Таким образом оказывается, что природа не только не дает нам урока аморализма, т.-е. безразличного отношения к нравственности, с которым какое-то начало, чуждое природе, должно бороться, чтобы победить его; но мы вынуждены признать, что самые понятия о добре и зле и наши умозаключения о «высшем добре» заимствованы из жизни природы».

Совершенно подобно тому как человек от совокупности фактов тепла, движения, света, химизма и т. п. умозаключает к «электричеству», точно таким же образом от фактов взаимопомощи, солидарности и т. п. он умозаключает к «высшему добру» или любви, как бы разлитой в природе. Конечно, мы не прибегаем к космологическому доказательству бытия бога, но остаемся на чисто позитивной точке зрения, ибо только она может быть принята в наше время и на ней же все время остается Кропоткин.

Из всего предыдущего следует, что те социологи, которые для своих построений рассматривают человека то злодеем, то ангелом, то продуктом классовой психологии, то героем, то эгоистом, то альтруистом поступают так, как поступил бы социолог с гипертрофированным устремлением к математике, когда он просто стал бы каждого человека считать единицей и ничем больше. Ясно, что обобщающая сила его выводов была бы громадна, но ничего кроме тривиальностей в роде того, что толпа состоит из людей, или нелепостей при смешении единиц — людей с единицами — например, ослами, у него не получилось бы.

Чтобы поставить себя в правильную перспективу к точке зрения Кропоткина, представим себе, что муравьи—в обществе

которых абсолютно нет власти, если не брать исключительных и, просто, нам еще мало понятных случаев, постепенно стали бы получать личное сознание и возможность все более полного общения между собой. Стали ли бы они в таком случае поедать и истреблять друг друга, пока не удосужились бы учредить власть. Понятно, что муравьи тут не при чем, ибо разговор идет, конечно, о людях, но мы будем брать то, что мы о них мыслим... Совершенно ясно и то, что муравьи поймут, что им гораздо выгоднее более тесно кооперировать, чем поднимать междоусобную борьбу. Нужна ли власть для учреждения кооперации? Конечно, совершенно не нужна.

Таким образом, Кропоткин показывает, что социологи оперируют с абстрактными, воображаемыми людьми, и что вовсе не только эгоизм и звериная жестокость свойственны людям, но раз так, то тем более, когда мы говорим о человеческой массе, ибо в ней как раз еще более начинают преобладать человеческие силы.

«По мере того, как мы ближе знакомимся с первобытным человеком,—говорит Кропоткин, (Этика, стр. 19)—мы все более и более убеждаемся, что из жизни животных, с которыми он жил в тесном общении,—он получал первые уроки смелой защиты сородичей, самопожертвования на пользу своей группы, безграничной родительской любви и пользы общительности вообще. Понятия о «добродетели» и «пороке»—понятия зоологические, а не только человеческие».

«Кроме того, едва ли надо настаивать на влиянии идей и идеалов на нравственные понятия; равно как и на обратном влиянии нравственных понятий на умственный облик каждой эпохи. Умственный склад и умственное развитие данного общества могут принимать по временам совершенно ложное направление под влиянием внешних обстоятельств: жажды обогащения, войн и т. п.; или же, наоборот, они могут подняться на большую высоту. Но и в том и в другом случае умственность данной эпохи всегда глубоко влияет на склад нравственных понятий общества. То же самое верно и относительно отдельных личностей». И далее он утверждает идею прогресса нравственности, связывая ее с общей теорией эволюции.

«Взаимопомощь, справедливость, нравственность, таковы—«говорит он (Этика, 26),—«последовательные шаги восходящего ряда настроений, которые мы познаем при изучении животного мира и человека. Они представляют органическую необходимость, несущую в самой себе оправдание, подтверждаемую всем развитием животного мира, начиная с первых его ступеней (в виде колоний простейших животных) и постепенно поднимаясь до высших человеческих обществ. Говоря образным языком, мы имеем здесь всеобщий мировой закон органической эволюции; вследствие чего чувства взаимопомощи, справедливости и нравственности глубоко зало-

жены в человеке, со всей силою прирожденных инстинктов; при чем первый из них, инстинкт взаимной помощи, очевидно, сильнее всех, а третий развившийся позднее первых двух, является непостоянным чувством и считается наименее обязательным».

Кропоткин прекрасно отдает себе отчет в том, что прогресс является равнодействующей, интегралом всех отдельных воль, совокупным результатом работы всех личностей. Его задача дифференцировать аморфную массу толпы на отдельные личности и затем эти личности собрать вновь, но уже на началах сознательной кооперации, на принципах свободных договоров.

Совокупность свободных договоров — вот та единственная форма действующего права, которую признает Кропоткин. Большинство и меньшинство или договариваются или расходятся, но не может быть государства, из которого они юридически никогда не могут выйти.

Мы не будем повторять общеизвестной критики государства, к которой вполне присоединяется Кропоткин, добавляя с своей стороны ряд чрезвычайно веских аргументов. Его учение—анархический коммунизм непосредственно вытекает из всего предыдущего.

В самом деле, Кропоткин указал совершенно новые пути для политической экономии, которая до сих пор была метафизикой, особенно ярко проявившейся у марксистов, обосновывавших свою философию на «вещи в себе» — трудовой стоимости. Для Кропоткина политическая экономия есть прежде всего наука о человеческом обществе и его определенных функциях, а не об абстрактных категориях с нелепыми квази-математическими формулами. Он никогда не забывает, что в политической экономии человек должен быть на первом плане. Поэтому политическая экономия дифференцируется из ряда дисциплин, каждая из которой изучает совершенно об'ективно окружающую действительность. Политическая экономия есть наука о наилучшем удовлетворении человеческих потребностей. Она должна решить вопрос о том, как строить жизнь хозяйства, если максимой является, например, требование: лучше беднее да свободнее— найти хозяйственный оптимум, удовлетворяющий этому требованию. Здесь политическая экономия вступает в тесный союз с экономической географией, социологией и т. д. На путях, указанных Кропоткиным, анархистам предстоит разработать обший план мирового хозяйства в связи с особенностью народов, местности и т. д., план, построенный на началах свободного коммунизма и кооперации. Может быть, тысячи планов подобного рода, охватывающих большие и малые области, должен быть разработан и тогда в совершенно конкретных формах предстанут перед человечеством его экономические возможности. Понятно, что из всего этого должно быть изгнано государство как на стадиях достижения, так и впоследствии.

«И вот эту-то гигантскую работу,— говорит Кропоткин (Совр. наука 195),—требующую свободной деятельности народного творчества, хотят втиснуть в рамки государства, хотят ограничить пределами пирамидальной организации, составляющей сущность государства. Из государства, самый смысл существования которого заключается.., в подавлении личности, в уничтожении всякой свободной группировки, всякого свободного творчества, в ненависти ко всякому личному почину и в торжестве одной идеи, которая по необходимости должна быть идеей, посредственности,—из этого-то механизма хотят сделать орудие для выполнения гигантского превращения... Целым общественным обновлением хотят управлять путем указов и избирательного большинства... Какое ребячество».

Так снизу до верху все учение Кропоткина является применением научных методов к изучению социальной действительности и в этом отношении он является основоположником подлинно научной социологии.

Глубоко вникая в сущность социальных отношений, великолепно разбираясь в механизме массовых движений, он говорит о действии двух порядков — творчества масс и формирующей силы идей. Идеи и массы — вот, по его мнению, движущие силы исторического процесса, но при этом масса у него не принимает характера «великого безликого», но всегда является совокупностью творческих воль. «Два главных течения», говорит он (Великая Франц. Революция, стр. 1, изд. 1919 года), «подготовили и совершили революцию. Одно из них, наплыв новых понятий относительно политического устройства государства, исходило из буржуазии. Другое действие для осуществления новых стремлений,—исходило из народных масс: крестьянства и городского пролетариата, стремившихся к непосредственному и осязательному улучшению своего положения. И когда эти два течения совпали и об'единились в виду одной, вначале общей им цели, и на некоторое время оказали друг другу взаимную поддержку, тогда наступила революция».

Учитывая влияние идей и работу личностей, он требует гармонического слияния в человеке борца, воина, с одной стороны, и моральной личности—с другой. Только тогда, когда в народном движении формируется своеобразное рыцарство революции, только тогда люди и само движение могут быть на высоте стоящих перед ними задач.

А. А. Солонович.

Анархическое движение в Одессе.

1.

Не историю, а беглый очерк анархистов в Одессе намерен я дать. Для истории еще не настало время, еще не собраны материалы и не разработаны архивы. В этом очерке мне только хочется наметить основные этапы, через которые прошло движение в течение 1904—1908 г.г.

Одесса сыграла видную роль в истории русского анархизма. Это один из немногих пунктов, где движение стало действительно массовым. В этом отношении Одессу опередил только Белосток и рядом с нею, но за нею идет Екатеринослав. В сущности во всей остальной России анархизм нигде не играл выдающейся роли, ибо нигде он не овладел массами.

Эта характерная черта анархического движения в Белостоке, Одессе и Екатеринославе вызвана была одной общей причиной. В этих городах анархические группы не оторвались от общих интересов масс, а, наоборот, шли вместе с ними и стали в известный момент их авангардом. Вот почему в этих городах анархизм навеки оставил неизгладимую печать.

Дать общую картину движения в Одессе нелегко. Здесь сплелись все течения, все оттенки мыслей, борющихся внутри анархического движения. Не обо всех движениях мне придется говорить одинаково подробно. Многое из того, что когда-то занимало анархические группы и считалось чрезвычайно значительным, потом оказалось никчемным, совершенно забытым не только историком, но и самими участниками дела.

В настоящее время, когда оглядываешь путь, пройденный русским анархизмом, видишь только два принципиальных течения: с одной стороны, безмотивники (они же чернознаменцы), а с другой синдикалисты. Их борьба наполняет собой весь период расцвета русского анархизма 1906—1907 годов. На борьбе и судьбе этих обоих течений русского анархизма мы должны построить наши основные выводы.

2.

Махаевцы.

Анархизм, подобно социализму, не является созданием теории, по крайней мере, одной теории. Нужно, чтобы в соци-

альной среде что-то изменилось и подготовило почву: лишь тогда семена теории падают не на бесплодные камни и дают ценные всходы. Анархизму почву готовит социализм, подобно тому, как социализму подготовляет путь его антипод—либерализм [1]).

Русские социалисты, как истинные государственники, в борьбе с так называемым «экономизмом» перегнули палку. Чтобы доказать «экономистам» и «рабочедельцам», что необходима борьба с самодержавием, они настолько выпячивали вперед политические задачи, что совершенно сливались с либеральными буржуа. Меньшевики и не скрывали этого уродства, а, наоборот, очень гордились им; они на банкетах с либералами, с земцами открыто звали рабочих итти на поддержку либеральной буржуазии. Большевики спорили с меньшевиками и требовали не союза с либералами, а союза с крестьянами. Но и те и другие на первый план выдвигали задачу свержения самодержавия.

Этот крайний политицизм, предвестие парламентского кретинизма и всех предательств, которые за этим скрываются, должен был вызвать реакцию в известной активной части рабочих. И, действительно, к концу 1904 г. в России назревает своеобразное течение, которое получило название от имени его теоретика — Махайского (Вольского). В Одессе создается группа махаевцев.

В чем была сущность ее программы. Она сводилась к трем пунктам: 1) рабочему классу ненужно идеалов; 2) нужна экономическая, революционно-террористическая борьба с капиталом; и 3) интеллигенция — класс эксплоататорский, враждебный пролетариату.

Члены махаевской группы, начавшие работу в Одессе, не были сильны в теории, и выступления их часто носили характер кустарный; их очень легко и очень часто удавалось разбить опытным ораторам социал-демократии. Но теперь спустя много лет необходимо признать, что в этой группе было что то значительное, — не все в ее взглядах было вздорно, как казалось тогда.

Конечно, нельзя утрировать принцип недоверия к интеллигенции. Но последние два десятилетия русской истории, десятилетия богатые надеждами и разочарованиями, показали, что интеллигенция не всегда вела пролетариат по пути его классовых интересов. Было бы гораздо здоровее для рабочего класса России, если бы он больше слушался своего классового инстинкта. Было бы здоровее для русского пролетариата, если бы в нем была сильнее махаевская струнка, столь враждебная социал-демократии.

---

[1]) Смотри прекрасную брошюру А. А. Борового. „Либерализм социализм, анархизм"—изданную в 1905 г.

Группа махаевцев не пользовалась особенным успехом среди одесских рабочих. Но она значительно, кажется, окрепла, когда к ней примкнул приехавший тогда из Николаева Стрига (Владимир Лапидус). Это имя молодого энтузиаста, погибшего в Париже в Венсенском лесу от взрыва собственной бомбы, стало теперь всероссийски известным. Талантливый юноша из еврейской буржуазной среды, он вносил всюду, где ни появлялся, пламя одушевления, буйную стихийность борьбы. Это была беспокойная натура, горевшая ненавистью к буржуазии и к тем, что шли на помощь буржуазии. Он был по натуре махаевцем и, конечно, был сильно обрадован, когда нашел группу махаевцев в Одессе. Жизнь Стриги входит в одесское анархическое движение лишь отчасти. Махаевская группа заметно оживилась с его приходом. Но Стрига не мог спасти группу от гибели. Махаевцы не могли стать авангардом массового движения, так как вся их программа была почти исключительно отрицательной. Здоровое экономическое содержание не могло дать ожидаемые плоды, так как исторический момент был неблагоприятен для отвлечения рабочего движения в сторону чистой экономики. Те самые причины, которые загубили «экономизм», свели на нет зубатовщину, нанесли смертельный удар и махаевщине. Политическая борьба была исторически необходима и махаевцы своим отрицанием политики сами себя поставили вне истории. После первого крупного ареста группа махаевцев была ликвидирована и исчезла.

Однако, махаевцы исчезли не бесследно. Из махаевской группы вылупилось ядро группы анархистов. Когда махаевцам говорили, что они анархисты, они обижались, а через несколько месяцев они стали открыто именовать себя анархистами-коммунистами.

3.

Царская полиция с первой минуты появления анархизма узнала в нем своего заклятого врага. На анархистов полиция обратила особое внимание, за ними установлена была особо суровая слежка.

30 сентября 1904 года на квартире одного рабочего собрались пять анархистов. Среди них был Сергей Борисов. Неожиданно в комнату нагрянула полиция. Впереди ворвался околодочный Янцеловский, крикнув: «Вот они!». Борисов немедленно выхватил револьвер и трижды в упор выстрелил в Янцеловского. Борисов пытался бежать, но был задержан и полицейские связали ему руки. Во время обыска ему удалось развязать руки, он хватает лежавший на кровати кинжал и бросается на шпиона, руководившего обыском. Это новая попытка кончается новой неудачей. Борисов обезоружен и отправлен в тюрьму.

16 марта 1905 года Борисова судила Одесская судебная палата. Его обвинили в покушении на убийство Янцеловского. Это был первый громкий анархистский процесс в Одессе. Сергей

Борисов с достоинством держался на суде, начав собою славный ряд молодых героев, отдавших свою жизнь за анархию.

Когда его спросили признает ли он себя виновным в покушении на убийство, он ответил: «Я стрелял за неприкосновенность жилища и личности. Я на насилие ответил насилием. Но я не признаю за вами права судить меня. Вы слуги и защитники существующего строя. Вам место на скамье подсудимых».

Его прервал председатель, но он продолжал в том же духе, пока его не лишили слова. Суд приговорил его к 4 годам каторжных работ, а он на приговор ответил: «Да здравствует анархизм! Да здравствует братство, равенство и свобода»!

Анархисты ведут свою незаметную, но чрезвычайно важную работу пропаганды. Рабочие прислушиваются к ним все более внимательно. Однако, анархисты в этот период не стали еще достаточно близки к массам. Они еще слишком заняты, часто отрицательной критикой социалистов. Это, между прочим, видно из прокламации, которую они выпустили в ноябре 1904 г. В ней нет конкретных требований. Анархизм рисуется слишком обобщающим, слишком отвлеченным. Так, в прокламации мы читаем:

«Надо ли нам слушать все их (социалистов) рассказы о концентрации капитала и исторических законах, о том, что буржуазия должна развиваться. А рабочие и босяки, умирая с голода, должны валяться в ночлежках. Им до этого дела нет. Пускай же их слушают те, которым хорошо живется и кто может терпеть. Мы же, голодающие на фабриках и заводах, на улицах и в гаванях терпеть больше не в силах. Слишком дорого нам обходится их теория постепеновщины—терпеть, да терпеть. Не будем же откладывать на разные «завтра», а начнем сейчас же борьбу со всем ненавистным нам строем, с буржуазией, нашими хозяевами, которые живут на наш счет, и ее прислужниками попами, которые проповедуют нам смирение и покорность, и с государством, которое посылает на нас войска, сажает нас в тюрьмы, посылает на каторгу, когда мы заявляем о наших требованиях и наших надеждах;—начнем борьбу на жизнь и смерть, борьбу, которая должна окончиться полным уничтожением наших врагов. Не борьбу, под которой подразумеваются мирные стачки и демонстрации, а вооруженные нападения на частную собственность и государство; частные революционные стачки, подготовляющие всеобщую стачку, сопровождающуюся экспроприацией предметов производства и потребления, стараясь вырвать у них все, что по праву принадлежит нам».

Кто помнит конец 1904 года,—великого кануна нашей первой русской революции, тот согласится, что не такие отвлеченные прокламации нужны были в то время. Не в ненависти был тогда недостаток, а в понимании и организованности.

Конец 1904 и начало 1905 года в Одессе ознаменован целым рядом стачек, все более широких и все более бурных.

Бастовали матросы, портовые рабочие, булочники, наборщики, фотографы, прачки, сапожники, шапочники, приказчики. Особенно упорно боролись булочники и мясники. На скотобойнях пришлось работать солдатам и казакам под сильной охраной. Забастовка булочников развертывалась чрезвычайно драматически.

Социал-демократы и эсеры были совершенно не в силах справиться с движением. Они едва успевают обращаться с прокламациями к бастующим. Рабочие с большим вниманием слушают анархистов, когда те находят время и возможность вмешиваться в стачку. Призыв к экономическому террору принимается сочувственно, но вряд ли экономический террор был тогда в интересах широких масс, организованных еще очень слабо. Пропаганда анархистов, призывавших к экономическому террору, тем не менее была ценна тем, что будила в массах боевые инстинкты и тем готовила их к великим событиям великого года.

Социалисты начинают бояться анархистской пропаганды. Они отбирают оружие у своих боевиков, чтобы удержать их от подражания анархистам.

Не дремлет и царская полиция. 20 апреля она делает набег на квартиры анархистов и берет в плен 18 человек, Среди арестованных—студент Владимир Окуджава, Герцфельд, С. Садовский, Кирякова и др.

4.

13 мая 1905 года неожиданно был арестован один из лучших русских анархистов Лев Алешкер, которого во Франции знают под именем А. Даля, как автора маленькой, но яркой брошюрки «Documents socialistes» с предисловием известного французского анархиста Малято. Возвращаясь из Николаева в Одессу, Алешкер был опознан в порту шпионом Федором Мазеповым. Алешкер успел выхватить револьвер системы «бульдог» и несколько раз выстрелил в Мазепова, но без всякого результата. Он был доставлен в тюрьму и предан военно-окружному суду, хотя в это время в городе не было военного положения. Свидетелями были исключительно городовой Терещенко и шпионы—Мазепов и Чеботарев. Тем не менее военно-окружной суд приговорил его к смертной казни через повешение. Этот приговор Алешкер встретил возгласом: «Долой вас всех, негодяев палачей. Да, здравствует анархия!» Смертная казнь, однако, была заменена ему в начале бессрочной каторгой, а потом, после манифеста 17 октября,—20 годами каторги. Алешкер был закован в кандалы и отправлен в Акатуйские рудники.

В лице Алешкера анархистское движение имеет одного из самых энергичных и самых умных работников. Это был вполне

образованный человек с прекрасной теоретической подготовкой. Совершенно больной, после долгих голодных скитаний за границей и после изнурительной работы в русском подполье, он попадает в Акатуй, но и здесь он не сдает оружия. Он продолжает борьбу не на жизнь, а на смерть с каторжным режимом. В ответ на оскорбление надзирателя он ударяет его стеклянной бутылкой, прекрасно зная, что этот ничтожный акт протеста будет стоить ему жизни.

В ожидании суда и неизбежной смертной казни, он пишет исповедь под заглавием: «На пороге смерти». Этот документ, несмотря на некоторую рисовку автора, отражает его большой ум и яркий идеализм. «Я вижу, говорит он, издали предстоящую народную борьбу, хотя знаю, что не доживу до ее появления. Время слишком давит. Борьба неминуема, но она еще не так скоро завершится победой, ибо последняя наступит лишь тогда, когда борцы пошлют к черту власть и бедность. Эти две язвы должны быть уничтожены, а не только изменены их формы. Видеть счастье в перемене хозяев нелепо. Пока существует надежда на доброго начальника, освобождение не может осуществиться. Задача человека быть самим собой. Это значит проявлять себя в жизни и охранять себя от всяких опасностей». Именно, исходя из этого убеждения Алешкер считал необходимым всегда быть на страже своего личного достоинства и всюду на угнетение отвечать отпором, на насилие—насилием.

В этой исповеди есть много прекрасных мест, рисующих нам душевный строй анархиста-борца. Есть места, которые достойны стать эпиграфом всей нашей борьбы за анархию. Вот его слова: «Рабство, бедность, слабость и глупость—вечные оковы человека — будут разбиты. Человек будет центром природы. Земля и ее продукты будут каждому покорно служить. Оружием перестанет быть признаком силы, золото—признаком богатства, силен будет отважный и смелый в борьбе за завоевание новых благ у природы, а богач—тот, кто полезнее. Такой мир называется «Анархией». В нем никакие замки не будут повешены на жизнь рабами и господами, там им нет места. Жизнь открыта всем. Каждый берет ее, сколько хочет — вот наш идеал безначалия. При его осуществлении люди будут жить разумно и прекрасно. Вся масса должна принимать участие в построении рая на земле».

5.

В средине 1905 года во всей России чувствовалось, как назревали крупные события. 9 января словно громом разбудило самые широкие слои рабочих. Одесса, уже давно охваченная стачечной лихарадкой, принимает еще более грозный вид. Назревает грандиозная всеобщая забастовка. Одесская полиция

безумствует: идут аресты за арестами, которые, однако, бессильны остановить растущую волну революционного возбуждения [1]).

13 июня забастовали заводы рабочего предместия Пересыпи. 10.000 рабочих как-то сразу бросили работу. Когда появились казаки, рабочие стали забрасывать их камнями. Казачий есаул ранен. Вызываются войска, которые немедленно открывают стрельбу. Выстрелы и убийства не только не остановили движения, но ускорили его. Теперь бастует вся Одесса. Закрываются магазины, лавки, мастерские. Толпы бастующих ходят по городу и всюду снимают рабочих и служащих с работы. Трамваи прекратили движение.

В это время анархисты делают несколько удачных террористических выступлений. Арестованных зверски избивают, но среди полиции начинается паника.

В Одессе в этот момент было сравнительно мало войска: в уезде были серьезные крестьянские волнения и туда направлены были значительные части гарнизона. Солдаты морского батальона, а также карантинная стража заявили, что они ни в коем случае стрелять в народ не будут. Если я не ошибаюсь, это первое открытое заявление о братании армии с бастующим народом. В пододесском селении Севериновке восстали крестьяне. Пришедшая на усмирение рота солдат была окружена крестьянами и обезоружена.

Вечером, 14 июня, анархисты бросили бомбу в полицейский патруль. Один городовой был разорван осколками бомбы в куски, другой тяжело ранен. Был ранен также помощник пристава. Один из бомбистов был сам смертельно ранен, другой скрылся. Этот террористический акт анархистов вызвал в городе чрезвычайный под'ем настроения.

На другой день в порт прибыл броненосец «Потемкин» и развернулись события, которые знает вся Россия. Анархисты принимали живейшее участие в потемкинских событиях. К сожалению, общий грех анархического движения — неорганизованность помешал анархистам сыграть ту руководящую роль, на которую их назначила история. Известно, что впоследствии многие потемкинцы стали анархистами. Правда, социал-демократы и эсеры оказались столь же мало подготовленными.

---

[1]) Во время одного из набегов полиция попадает в квартиру Шампенуа, французского гражданина. Так как для анархистов, очевидно, не существует законов, полиция жестоко избивает Шампенуа. 18-летний рабочий, Дубинский, возмущенный грубостью пристава Ольшевского, производившего обыск, пытается стрелять, в него, но неудачно. Дубинский предается Одесскому военно-полевому суду. В качестве свидетеля, суд вызывает, между прочим, студента Владимира Окуджава, недавно освобожденного из тюрьмы. Хотя факт насилия пристава над Шампенуа был совершенно установлен, суд приговаривает Дубинского, несмотря на его несовершеннолетие, к смертной казни. Но полиция, суд и палачи не могут остановить колеса революции.

6.

Не стану описывать подробно ход событий в эти исторические дни. Вот что пишет один из участников событий о работе анархистов [1]).

«Погромы явились ответом на манифест. Когда народ узнал о манифесте—все высыпали на улицу, бросились к национальным флагам и принялись срывать национальные цвета, оставляя только красные. С такими флагами толпа целый день расхаживала по улице с радостными криками: «Да здравствует свобода»! Это был настоящий народный праздник. Многие братались с солдатами. Народ так увлекся своим праздником, что совершенно не заметил, что моментально полиция исчезла со своих постов и мобилизовала свою черную сотню. Везде, где отсутствовали войска, самооборона отлично справилась с хулиганами и прогнала их. Но через два или три дня начальство прислало им на подмогу казаков и солдат, и тогда началась страшная резня на Калантаевской, Картомышенской, Средней, Мясоедовской улицах..., где ютится вся еврейская беднота — рабочие и мелкие ремесленники. Все разбито, разграблено. Тайная и явная полиция вдохновляла и подогревала хулиганов—босяков к зверским убийствам, говоря им: «Жиды хотят уничтожить нашу православную веру и поставить своего царя жида. Бей жидов». В участках черную сотню кормили обедами, поили водкой, снабжали флагами и оттуда направляли в город громить. В числе жертв погрома пал и наш товарищ «Яша Портной». На углу Пушкинской и Греческой на него напала толпа хулиганов, шедшая со знаменем и портретом царя. Он бросил бомбу, которая убила и ранила несколько человек. За ним погнались, он хотел бросить другую бомбу, но в это время поскользнулся и упал Разорвавшаяся бомба оторвала ему руку и ушибла грудь. Он умер почти моментально, не приходя в сознание. Еще две бомбы брошены нашими товарищами: одна на углу Екатерининской и Старо-Резничной, другая — на углу Старо-Резничной и Александровской. Первая разорвалась, не причинив никому вреда. Вторая ранила несколько человек. Это навело на черносотенцев такой страх, что они больше не пытались пройти в город в этом пункте».

Это обстоятельство подтверждается наблюдениями, сделанными во многих местах—в Белостоке Екатеринославе и всюду, где анархизм приобретал серьезное влияние: полиция и даже войска с животным страхом обходили районы, в которых по слухам жили анархисты.

«Потемкинские дни» и октябрьские события сделали анархистов известными в городе: о них стали серьезно говорить. Но было бы чрезвычайно легкомысленно думать, что в этой

[1]) „Хлеб и Воля“ за 1905 г. № 24 стр. 8.

славе было много положительного. Об анархистах в рабочих кругах создали себе представление, как о бомбистах, способных на отчаянные террористические акты, но не совсем чистых на руку. Может казаться диким, но это факт: анархистов смешивали с погромщиками и черносотенцами.

7.

В ноябре месяце я приехал в Одессу из Парижа, где приступил к изданию журнала «Новый мир»,—первого анархистского журнала, который на своем заголовке носил надпись—«орган анархистов-синдикалистов». Кстати, скажу это название в то время возбуждало не только недоверие, но и насмешки в русской анархической среде. Издав первый номер летом 1905 года, я решил перенести издание в Россию, как только до Парижа дошла весть об октябрьских событиях.

Когда я приехал в Одессу—еще всюду были следы потемкинских боев и октябрьских погромов. В рабочей и студенческой среде, однако, еще сильно чувствовалось революционное настроение. Аудитории университета были переполнены рабочими и интеллигентами. Шли митинги, на которых выступали представители всех партий и всех течений.

Моим пожеланием было войти немедленно в соглашение с местной группой анархистов-коммунистов и попытаться работать вместе. Состоялся ряд совещаний, которые ни к чему не привели. В группе тон задавал, если я не ошибаюсь, Густав Эрделевский и Лазарь Гершкович. Гершкович считался хлебовольцем, но мало отличался от остальных — чернознаменцев и безначальцев.

Группа произвела на меня неприятное впечатление своей политической малограмотностью и чрезвычайным легкомыслием. С этими людьми мне нечего было делать. Мы разошлись со словами: «Нас рассудит история».

Через несколько дней после нашего разрыва ко мне неожиданно явилась делегатка группы с просьбой выступить на митинге, организуемом группою. Когда я ответил, что нам выступать совместно нет никакого смысла, в виду наших серьезных разногласий, она от имени группы заверила меня, что эти разногласия для внешнего мира не существенны и во всяком случае ораторы группы будут считаться со мною и не вступят ни в коем случае в полемику. Я отказался наотрез. Но когда ко мне прислали другого делегата, я счел неудобным упорствовать и дал согласие на следующем условии: первым выступит оратор группы, и если я найду возможным, я выступлю вслед за ним.

Когда я пришел в университет, аудитория, в которой был назначен митинг, была настолько переполнена, что собрание пришлось перенести в более обширное помещение — в так называемую мертвецкую. Митинг открыл, кажется, Эрделевский

и каково было мое удивление, когда он заявил собранию, что с первым докладом выступит Новомирский. Это было нарушением нашего уговора, но я снова уступил самым настойчивым и льстивым просьбам.

Когда я набросал общий очерк наших воззрений на капитализм и государство и на способы борьбы с существующим строем, из толпы стали раздаваться одобрительные возгласы. Один молодой студент спросил меня: «Неужели у анархистов есть мировоззрение. А я думал, что это разновидность погромщиков». И этот наивный возглас студента поддержали многие рабочие. В толпе слышались восклицания: «Если это анархизм, то я хочу быть анархистом». Между мною и публикой завязался оживленный разговор: меня стали просить указать литературу, засыпали вопросами.

Невероятно, но это безусловный факт: как раз в это время, когда аудитория стала с величайшим напряжением меня слушать и всеми способами выражала мне свое сочувствие, ко мне подошел член группы и сказал: «Кончайте, товарищ, кончайте». Полагая, что я слишком затянул свой доклад и лишаю возможности выступить другим ораторам, я скомкал свои последние фразы и уступил свое место на трибуне. На трибуну вскочил Лазарь Гершкович и сразу завопил истерическим голосом: «Товарищи, то что говорил Новомирский это его собственный взгляд. Он не уполномочен говорить от имени группы. Анархисты-коммунисты резко расходятся с ним, мы говорим рабочим: «Режь, грабь, бей. Не надо никаких союзов, никаких организаций: «Грабь, режь, бей». И захлебываясь собственными словами, он несколько раз с каким то изуверством повторял слова: «Грабь, режь...» В зале раздался настоящий хохот. Над ним буквально издевались. Это предательское выступление надолго отбило у меня малейшую охоту вступать в какие бы то ни было отношения с той публикой, которая прикрывалась чернознаменством.

Я решил действовать отныне совершенно самостоятельно. Это было не легко. Против меня были не только социалистические партии, имевшие за собой долголетнюю историю, но и анархисты. Без всяких средств, без малейшей помощи не легко было создать организацию. Но мне не мало помогли мои старые связи здесь в этом городе, где будучи большевиком, в течение нескольких лет, я вел массовую агитацию во время подполья. Я направил свои усилия на тот район, где некогда работал в качестве организатора: на Пересыпь и каменоломни. Рабочие встречали меня крайне дружелюбно. Рабочие каменоломщики мне наивно сказали: «Как вы, Данила, так и мы».

Чтобы не смешивали нашей зарождающейся организации с местной группой, анархистов-коммунистов, я предложил именовать ее «Союз коммунистов». От имени союза была выпущена прокламация с изложением основных пунктов программы.

Моя задача в этот момент не столько сводилась к пропаганде или агитации, сколько к созданию прочных связей с рабочей массой. С этой целью я принимал деятельное участие в организации различных профсоюзов.

В то время, когда маленький «союз коммунистов» надрывался над своей организационной работой и строил медленно, но прочно массовую рабочую организацию под знаменем анархизма, местная группа «анархистов-коммунистов» сосредоточила всю свою волю на чисто террористической работе, незначительной по размерам и незначительной по результатам. В конце 1905 года осенью полиция нагрянула на квартиру Гершковича, где оказалась вполне оборудованная лаборатория. От неосторожного обращения с огнем произошел взрыв, которым убиты и ранены были 8 полицейских. Гершкович был арестован и судился в январе 1906 года, когда и был приговорен к 8 годам каторжных работ. Этот арест лишил группу самого культурного работника и она совершенно развалилась.

17 декабря группа чернознаменцев, главным образом приезжих из Белостока, организовала террористический акт, надолго сокрушивший влияние анархистов-коммунистов в Одессе. Это знаменитое нападение на кафе Либмана. Чернознаменцы думали дать один из образцовых актов «безмотивного» террора. Нельзя было придумать более неудачного акта для пропаганды этой теории. Кафе Либмана—второклассный ресторан, который посещали отнюдь не крупные богачи, а люди самых различных классов, вплоть до мелких служащих и захудалых интеллигентов. Кроме того и самый акт был исполнен чрезвычайно неудачно: бомбу бросили на улице и она, конечно, ничего кроме шума не произвела.

Рабочие с недоумением спрашивали друг друга: «Что означает это швыряние бомб в обыкновенный ресторан». Никто не верил, что это дело революционеров. Я лично был в толпе, собравшейся после взрыва, и слышал, что говорили рабочие: «Неужели теперь революционерам нечего делать, как только бросать бомбы в рестораны? Разве царское правительство свергнуто, разве власть буржуазии уничтожена? Наверное бомбу бросили черносотенцы, чтобы дискредитировать революционеров».

Известно, что это предприятие обошлось очень дорого анархистам-коммунистам. Шерешевский, Брунштейн и Мец приговорены были к смертной казни, Ольга Таратута к 17 годам каторги. Было грустно думать, что за такое дело были понесены такие большие жертвы.

Конец 1905 года был тяжелым для всего революционного движения России. Декабрьское восстание в Москве и в ряде других мест было подавлено. Несмотря на это в Одессе также готовилось восстание, хотя Совет Рабочих Депутатов был против. Шли переговоры с военными организациями.

Мне лично пришлось иметь дело с группой военно-морских инженеров: офицеры уверяли меня, что, если действовать уверенно и решительно, войска перейдут на нашу сторону. Но очень скоро выяснилось, что в городе нет ни одной достаточно сильной организации, которая могла бы взять на себя инициативу. Мы могли только расчитывать на крупную вооруженную манифестацию, не более. Настроение среди солдат упало, рабочая молодежь также охладела к идее восстания и дело рухнуло.

Полиция в это время оправилась от своей паники и открыла поход против недавно возникших рабочих союзов и легальных организаций. Начались аресты. Только что родившийся «союз коммунистов» стал распадаться за полным отсутствием материальных средств и опытных организаторов. Я вынужден был временно выехать за границу.

8.

Когда я говорю, что чернознаменцы и безначальцы загубили русское анархистское движение, я отнюдь не руковожусь фракционной ненавистью. Нет, в результате очень печального опыта у меня сложилось убеждение, что безначальцы и чернознаменцы в сущности отпрыски чисто буржуазного либерализма: это взбесившиеся либералы. Их мнимый «коммунизм» чисто буржуазный индивидуализм, а их терроризм—ненасытная мстительность обиженных судьбой людей. Оттого на устах носителей этого течения всегда горит слово «ненависть». Чернознаменцы и безначальцы гордились своей ненавистью к буржуазии. В «Черном Знамени», «Бунтаре» и «Анархисте» мы на каждом шагу встречаем это дикое сочетание «святая ненависть». Что может быть святого в ненависти, которая в лучшем случае неизбежна и необходима, но ни в коем случае не достойна поклонения. На ненависти нельзя ничего построить: это закон жизни. Ненависть отталкивает, ненависть разрушает, но увлекать, об'единять и вести на великое дело можно только под знаменем великого, обобщающего и в даль ведущего чувства. Такова любовь к классу или человечеству, такова гуманность.

Но и хлебовольчество никогда меня не удовлетворяло. Меня отталкивала его народническая сентиментальность, как я уже имел случай сказать в предисловии к книге «Из программы синдикального анархизма». Хлебовольчество всегда отдавало филантропией. Это не политическое учение, не политическая программа, а скорее какая-то система социальной морали. В хлебовольчестве не было того, без чего я не мыслю политического движения: не было строго социалистического анализа и конкретной, деловой программы, построенной на данных этого анализа.

Оттого на опыте работы «союза коммунистов» я пришел к выводу, что необходимо предварительно создать небольшой, но солидный подготовительный кадр работников, которые могли

бы взять на себя ответственную работу, работу организации нового течения в русском анархизме, который я первый назвал «анархо-синдикализмом», в отличие от анархо-коммунизма.

В конце 1905 года, ускользнув из рук шпионов, следивших за мною по пятам, я выехал за границу в Америку. Без большого труда мне удалось в Нью-Йорке создать группу, которая приняла название «Новый мир». В группу вошли, между прочим Д. Левенбук, Эндрюс, Шамраевский и др.

Группа «Новый мир» вся решила ехать в Россию при первой возможности. Сигнал к отъезду нам подало восстание матросов в Свеаборге, которое показалось нам второй волной революции в России. Такова же была мысль матроса Матюшенки, который в то время был в Нью-Йорке. Мы разработали общий план действия. Матюшенко должен был предварительно заехать в Париж, но мы условились с ним встретиться в Одессе или в Севастополе. События сложились, увы, не так, как мы рассчитывали.

9.

Конец 1905 и начало 1906 годов ознаменовались в Одессе целым рядом экспроприаций и так называемых «мандатов», т.-е. письменных приказаний, адресованных частным лицам—торговцам, врачам, адвокатам—об уплате известных сумм под угрозой смерти. Постепенно волна мандатов так широко разлилась, что казалось, совершенно потопила анархистское движение. Под флагом анархизма многочисленные группы грабителей и мошенников стали фабриковать мандаты и вымогать деньги.

Случалось, что одному и тому же лицу направляли мандат различные группы, и тогда каждая из них уверяла, что именно она представляет идейный анархизм. Одна группа устанавливала засаду против другой и между ними часто устраивались перестрелки. Нетрудно понять, какой моральный ущерб это наносило престижу анархизма. И все-таки, интерес к идейному анархизму в рабочих массах разростался.

Весна 1906 года была особенно богата террористическими актами анархистов. Как раз в тот момент, когда местная эсеровская организация чрезвычайно ослабла и впала в полную апатию, анархисты произвели ряд политических убийств. Анархистами убит известный палач пристав Погребной, брошена бомба в надзирателя Полтавченко, его главного сподвижника. Сделано покушение на известного охранника Лопату, убит целый ряд шпионов и т. д. Анархисты произвели взрыв жандармского управления, произведший сильное впечатление на население города. Анархическое движение достигло апогея, когда вновь вспыхнуло стачечное движение. Стачечники наперерыв обращались к анархистам с просьбой послать своих агитаторов и руководителей. Рабочие с жадностью слушали анархическую проповедь. В местной группе особенно выделился тогда И. Покотилов,

молодой рабочий-портной, с пламенным энтузиазмом звавший рабочих к светлому царству анархии. Поколотилов не был оратором, но его речи были так искренни и убедительны, что рабочие не уставали его слушать.

В мае месяце вспыхнула забастовка печатников. Рабочие требовали 8-ми часового рабочего дня, изменения расценки и некоторых других мелочей. В ряде маленьких типографий хозяева уступали. Но крупные типографии были в то время об'единены в трест под названием «Южно-русское акционерное общество печатного дела». Во главе общества стоял директор Кирхнер, считавший себя «левым кадетом», чуть ли не социалистом. Он собственно ничего не имел против требований рабочих, но его возмущала дерзость: «Если бы рабочие просили, а не требовали, я уступил бы. Я не признаю за рабочими права требовать». И он не уступал.

Не уступали и рабочие. Борьба завела борющихся в тупик. Вывести из тупика могла только героическая рука и эта рука нашлась. 1 июня, в 5 часов дня, Покотилов встретил Кирхнера на улице и выстрелом из браунинга убил его. Этот акт не был делом мести, а актом самопожертвования.

Беспрерывно стреляя в полицейских, гнавшихся за ним по пятам, он ранил многих и, вероятно, скрылся бы, если бы не несчастная случайность. Один рабочий-грузчик, не поняв в чем дело, напал на Покотилова сзади и выдал его полиции. Когда этот рабочий впоследствии из газет узнал, кого он выдал полиции, он покончил самоубийством.

Выстрел Покотилова решил судьбу забастовки. «Общество печатного дела» немедленно уступило по всем пунктам. Рабочие с восторгом говорили о героическом акте. Группа анархистов-коммунистов немедленно заняла силой типографию и отпечатала прокламацию, в которой об'ясняла смысл убийства Кирхнера. Трогательно было отношение к Покотилову со стороны рабочих: на другой день после его ареста стачечники послали ему в тюрьму букет цветов.

13 сентября военно-окружной суд судил его и признал виновным по 279 статье свода военных постановлений. Хотя суд нашел смягчающие вину обстоятельства и постановил ходатайствовать о смягчении участи подсудимого, командующий войсками постановил привести приговор немедленно в исполнение. В старинной крепости Александровского парка, что близ моря, Покотилов был повешен.

Еще Покотилов не успел сойти в могилу, как одесские палачи получили новую жертву. Анархист Евгений Тарло, встретившись на улице со шпиками и полицейскими, пытавшимися его арестовать, оказал вооруженное сопротивление. В течение долгого времени за ним гнались неприятели, Тарло мужественно отстреливался. Он вскочил на извозчика и заставил его гнать лошадь. Но так как его настигали он соскочил на ходу с дрожек

и вскочил в автомобиль, но шофер ударил его в висок, и Тарло потерял сознание. Он был арестован, весь изрешетенный пулями и предан военно-полевому суду, который приговорил его к расстрелу, так как в то время не оказалось палача. 7 сентября его полуживого вынесли на тюремный двор и на виду у арестантов расстреляли.

Любопытно, что в тюрьме стали рыть могилу еще до суда. Едва произнесли приговор, как через два часа его вынесли на казнь. Говорят, что его мужество глубоко тронуло офицера распоряжавшегося казнью, а из солдат многие стреляли в воздух. Перед тем, как дать сигнал «пли», офицер нагнулся к Тарло и спросил его, что передать на волю. Истекающий кровью Тарло прошептал: «Передайте, что на воле остались люди, браунниги и бомбы». Его смерть вызвала стихотворение «Константина Черного»—«К казни Тарло» [1]). Автор его Константин Тодоров,

---

[1]) Его несли сомкнутыми рядами,
Солдаты шли за ним и впереди,
А он лежал, влачимый палачами,
Бессильно голову покоя на груди.

И взоры всех прикованы к нему,
С тюрьмы друзья глазами провожали,
Последнюю кровавую стопу
И свой привет прощальный посылали.

Вот столб стоит и яма роковая,
И связан он на плахе недвижим.
Ряды штыков в лучах зари играя.
Руками рабскими поднялись перед ним.

Еще лишь миг... безмолвие кругом...
Ужасный миг немого ожиданья,
Какая мысль мелькнула в нем?
Какое страстное желание?

Быть может, он былое вспоминал.
Скорбел о скорби матери любимой,
Иль, гордый, как всегда, он мести лишь искал.
И к ней друзей по делу призывал.

Но слышен свист, и залп раздался
За ним другой и третий... Стихло все.
И пулями к столбу прикованным остался
Лишь только труп, кровавый труп его.

В могилу мрачную рукою загрубелой
Палач толкнул истерзанное тело
И бледные взволнованные мы
В бессильной ярости за казнью наблюдали

И стоном вырвалось из мрачных стен тюрьмы:
Убийцы Палачи! Зачем его терзали!
И снова тишина. Пустынный двор широкий,
И столб стоит—кровавый, одинокий.

Константин Черный.

Одесская тюрьма.

молодой болгарский анархист, также принимавший видное участие в террористической работе одесских анархистов, и осужденный по малолетству (ему было 16 лет при аресте) на 8 лет тюрьмы. Впоследствии Костя Тодоров, освобожденный по амнистии, принял видное участие в общественной жизни Болгарии. Он отошел от анархизма и стал одним из видных вождей болгарского «Земледельческого союза». После убийства Стамбульского, он вместе с Обовым руководил всеми действиями крестьянской партии. В 1906 году это был молодой чрезвычайно искренний и чрезвычайно преданный анархизму юноша.

10.

В сентябре месяце я приехал в Одессу вместе с несколькими товарищами по группе «Новый мир». Чернознаменская группа развивала в то время уже довольно энергичную работу и имела прочные связи среди рабочих, преимущественно среди еврейских ремесленников. Почему-то выходило так, что среди фабричных рабочих, а также и среди матросов и портовых рабочих чернознаменцы не вели работы.

Снова, как и год тому назад, я попробовал столковаться с чернознаменцами. На этот раз особенно соблазнительно было то, что в Одессе был Иуда Гроссман-Рощин, крупнейший теоретик этого течения. Во всяком случае, я не считал возможным отказаться от дискуссии, когда ее предложил Рощин.

На Молдаванке в полупустой квартире рабочего было устроено многолюдное собрание, на которое пришли все активные работники чернознаменской группы. Мне было предложено изложить программу анархо-синдикализма. Вслед за мной выступил Иуда Рощин. За мою программу голосовало только три человека: я и два товарища, приехавшие со мной из Америки.

Конечно, результат этого голосования не мог изменить план моей будущей работы. Первым шагом послужил доклад, прочитанный мною в большой аудитории медицинского факультета. Моими оппонентами были главным образом социал-демократы, и было странно видеть с каким недружелюбием огромная аудитория встречала ораторов самой популярной в городе организации, работавшей там в течение 15 лет.

Первый публичный доклад послужил и первым камнем для постройки организации, которая через два месяца стала самой могущественной революционной группой в городе. После доклада и прений ко мне подошел пожилой человек в очках, который оказался инженером-технологом, носившим польскую фамилию, которую я забыл. Он спросил меня, не угодно ли будет мне зайти к нему поговорить о ряде вопросов, связанных с докладом, только что прочитанном мною. Я выразил свое согласие, несмотря на необычность и на неконспиративность такого предложения. Во время моего разговора с инженером ко мне подошли

также несколько рабочих и просили уделить им несколько времени. Они назвали себя социалистами-максималистами. Но тут же добавили, что мой доклад раскрыл им много недочетов в их политических воззрениях, и они были бы очень благодарны, если бы я согласился в более тесном кружке изложить более подробно свои взгляды. Я и на это согласился.

Через несколько дней эти товарищи, из которых один оказался И. Робинзоном, а другой Имасом («Иван Иванович»), созвали собрание, на котором присутствовало человек 15 максималистов. Изложенная мною программа была ими принята единогласно, и они просили меня об'явить это собрание учредительным. Так как в наш план входило охватить работой не только Одессу, но и окружающие районы, то мы нашу организацию назвали «Южно-русской группой анархистов-синдикалистов».

В течение нескольких недель устраивались собрания в самых различных концах города, и ежедневно целые группы эсеров, максималистов и даже эсдеков входили в состав Южно-русской группы. Через месяц организация была настолько многолюдной, что назрела необходимость выработки более или менее строгого устава.

На общем собрании всей организации был принят мой проект, на основе которого, каждая составная группа пользуется широкой автономией в деле пропаганды и агитации, но всеми делами организации управляет «организационная комиссия», состоящая из представителей всех автономных групп. Делегат в организационную комиссию выбирается единогласно. В случае разногласий внутри автономной группы в организационную комиссию посылаются два делегата от большинства и от меньшинства. Эта организационная комиссия решает все вопросы большинством голосов.

Рядом с автономными группами, но в строгой конспирации, существует боевая дружина, представитель которой входит в состав организационной комиссии. В течение всего периода существования «южно-русской группы» представителем боевой дружины в организационной комиссии был я, так как не хотелось расконспирировать наших боевиков, а мое имя было и без того всем известно. В нашей боевой дружине было не больше 35 человек в самый расцвет ее силы. Об'ясняется это тем, что мы с чрезвычайным разбором принимали в состав дружины.

В группе сразу выдвинулись на первое место, как организаторы И. Робинзон и Д. Левенбук, приехавший также из Америки, а как боевики Порфирий Сулеймовский и Александр Задорожный.

Задорожный вступил в организацию при следующих обстоятельствах. У нас шло заседание организационной комиссии. Присутствовало 26 человек. Неожиданно открывается дверь и в маленькую комнатку, наполненную людьми и дымом, вваливается

целая банда здоровых моряков. Оказывается, что кто-то из членов оргкомиссии сказал по секрету Александру Задорожному, одному из видных моряков, что на Молдаванке происходит собрание анархистов-синдикалистов. Он долго не сумняшеся, взял всю боевую группу моряков эсеров и двинул ее к нам с тем, чтобы коллективно войти в состав нашей организации. Несмотря на странность такого стремительного выступления, организационная комиссия решила принять моряков.

В этот вечер мне пришлось пойти домой с собрания вместе с Задорожным, который рассказал мне всю свою жизнь. Меня глубоко взволновал тогда этот молодой моряк из довольно интеллигентной среды. Он рано бросил семью, чтобы уйти в море и искать приключений. Эсеры привлекли его в свою организацию, но ему там стало тесно и вот, услышав об анархистах, он зажегся какой-то мистической страстью к анархизму. Идя рядом со мной, этот высокий, красивый моряк говорил мне дрожащим голосом: «Если вы меня не примете в организацию, я застрелюсь. Мне жить не за чем. Жить я понимаю — это делать какое то дело. Ради анархизма стоит жить». И его дальнейшая жизнь оправдала его слова. Его преданность была безгранична.

Порфирий Сулеймовский был менее интеллигентен, чем Задорожный. Сын капитана, он ушел в море против воли отца, не желая учиться. В нашей боевой дружине это был самый спокойный, самый выдержанный боевик.

11.

Инженер поляк, обратившийся ко мне на митинге, оказался заведующим южно-областной лабораторией партии соц. революционеров. Когда мы с ним разговорились, он предложил мне снабжать нашу организацию бомбами... из лаборатории эсеров. Это было очень ценное предложение, так как создание собственной лаборатории было делом не только чрезвычайно трудным, но и дорогим, а у нас, конечно, не было тогда никаких материальных средств.

Он же познакомил меня с техником, тоже поляком, по фамилии Козловским, известным под кличкой «Кэк». (Если не ошибаюсь, эту кличку получил он за любовь к танцу кэк-уок, который он часто танцевал с женой в лаборатории, с бомбами в руках). Козловский маленький, худенький и шустрый человек оказался исключительно способным техником, любящим свое дело до самозабвения. Он служил в личной канцелярии командующего войсками Каульбарса, который очень доверял ему. В помещении Каульбарса Козловский и устроил склад бомб. Здесь он, чтобы испробовать свойства изобретенных им запалов, бросал бомбы с кровати на кровать, играя ими с женою, как мячами. Козловский оказал неоценимые услуги нашей организации.

Таким образом, в течение двух месяцев южно русская группа анархистов-синдикалистов выросла в солидную общественную силу, имея собственную лабораторию, боевую дружину и что важнее всего—широчайшие связи с рабочей средой.

Успех анархо синдикалистов был настолько разителен, что вызывал всеобщее удивление не только среди социалистов, но и среди чернознаменцев.

Рощин как-то сострил в моем присутствии: «Я уверен, что бог, если он только существует, наверное синдикалист». Когда его окружающие с недоумением спросили: «Почему?», он с горечью ответил: «Иначе Новомирский не мог бы пользоваться таким успехом».

Конечно, успехи нашей организации об'яснялись гораздо менее мистическими причинами. Сущность всей нашей работы состояла в том, что мы не расстрачивали своих сил на вспышко—пускательство. Мы не тратили драгоценных жизней на мандаты, или грабежи, но мы сосредоточили всю свою волю и всю свою энергию на организации рабочих.

В ноябре месяце мы опубликовали «программу анархо-синдикалистов». Это, насколько мне известно, первый случай попытки краткой, научной формулировки основных принципов нашего мировоззрения и нашей политики. Каковы бы ни были недостатки этого первого наброска, он оказал влияние на наше движение. И наша организация стремительно росла. Кружки, группы и целые районные организации других партий заявляли о своем желании войти в нашу организацию. Получив заявление, мы послали делегата, который подробно излагал и комментировал им нашу программу. И если после этого группа заявляла о своем твердом желании войти в нашу организацию, она принималась и сейчас же избирала своего делегата в организационную комиссию. Не из отдельных личностей, не маленькими камешками, так сказать, строилось здание «Южно-Русской Группы», а словно глыбами, большими нетесанными камнями. Ко времени напечатания нашей программы в организации нашей числилось около 5.000 членов, но сфера влияния ее была, конечно, значительно обширнее. К тому времени мы были самой сильной и самой популярной организацией в городе[1]).

Было, однако, одно обстоятельство, мешавшее нам развернуть работу: это отсутствие материальных средств. В это время один из боевиков социалистов-революционеров, А. Д. Зафириди предложил нашей организации принять участие в организуемом им нападении на «Петербургский Международный Банк». У Зафириди был подробно разработан план, для проведения которого нужно было всего 6 человек. Мы согласились

---

[1]). «Хлеб и Воля» отнеслась очень сочувственно к нашей попытке См. № 5 от 27 декабря 1906 года, стр. 9.

делегировать двух боевиков: Петю и Сеню (фамилий их не помню); оба были портовыми рабочими, из босяков.

Экспроприация в «Петербургском Международном Банке» произвела большой шум, так как произведена была с большим искусством, но нам она стоила дорого: мы на ней потеряли товарища.

Дело было так: согласно плану, один из участников должен был занять пост в отдаленной комнате у телефона. Этот пост выпал на долю Пети. Зафириди (его кличка была «Митрич») конфисковал деньги без малейшей тревоги, так как кассир и все служащие охотно подчинились приказанию людей, державшихся корректно и заявивших, что пришли «конфисковать деньги в пользу русской революции». Всех служащих и случайных посетителей собрали в кладовую и заперли. Затем все вышли из банка по очереди и в полном порядке, как было условлено. Забыли только снять Петю, который продолжал стоять на посту, хотя слышал, как постепенно стихал шум и, наконец, воцарилась странная тишина. Что его забыли, он понял только тогда, когда услышал шаги людей поднимающихся по лестнице и какие то тревожные разговоры. Он выглянул из своей комнаты и увидал, что кругом было совершенно пустынно. Он решил уйти, но на лестнице встретил поднимавшихся дворников и городовых. За ним началась погоня, он стал стрелять. Наконец устав от долгого бега и убедившись, что у него в револьвере остался только один патрон, он забежал в ближайший двор и застрелился.

Эта первая экспроприация была чревата последствиями: мы не только потеряли прекрасного товарища, но и впервые испытали отрицательные стороны экса. В организации появились деньги и сразу худшие элементы выплыли на поверхность. Самые ничтожные и наименее деятельные из работников заявили о своей нужде и стали требовать себе пособия. Любопытно, что Сеня, участник экса, совершенно лишенный всяких средств к существованию, простой босяк, и не подумал просить денег. Когда кто-то намекнул ему, что ему не мешало бы взять небольшую толику, он очень искренно обиделся. Однако, дух дисциплины был тогда еще достаточно силен и первые дурные поползновения были быстро подавлены.

Мы получили на нашу долю около 25.000 рублей, из них большая часть денег была немедленно ассигнована на покупку динамита и оружия и на напечатание моей книги: «Из программы синдикального анархизма». В это время социалисты-революционеры и социал-демократы-большевики получили каким-то образом солидные транспорты браунингов. И так как, как раз в это время в руководящих верхах этих партий решено было распустить боевые дружины, то нам охотно продавали оружие. Таким образом деньги из кассы международного банка благополучно перешли в кассы партий, отвергавших всякие «эксы».

Администрация международного банка опубликовала номера некоторых ценных бумаг, захваченных нами. Сбыть их в обычном порядке было невозможно. Тогда наша организация делегировала в Москву т. Левенбука, где знакомый ему социал-демократ охотно скупил у него ценные бумаги за полцены, конечно. Некоторые из оставшихся бумаг были нами проданы впоследствии в Амстердаме, во время неудавшейся попытки экспроприации за границей.

Деньги дали нам возможность создать подпольную типографию и мы приступили к печатанию собственной газеты.— «Вольный Рабочий». Вышел только один номер: вскоре атмосфера настолько накалилась и организация настолько была захвачена боевой деятельностью что издание следующего номера пришлось на время забыть.

В это время вспыхнула и загорелась забастовка моряков Черноморского флота. Забастовкой руководили эсеры. Очень скоро стачка зашла в тупик: забастовало несколько тысяч моряков, а «Русское общество пароходства и торговли» не шло ни на какие уступки. Надо вспомнить, что акционерами общества состояли члены царской семьи и многие другие влиятельные лица. Они считали несовместимым с их достоинством уступить морякам. И забастовка длилась, к отчаянию моряков, буквально умиравших с голода. Собирались кой-какие крохи путем пожертвований, но нужда росла и забастовка была накануне гибели.

От социалистов-революционеров входил в состав стачечного комитета, между прочим, Сибиряк (П. Витязев), понимавший, что единственное средство произвести давление на акционеров, а также поднять настроение в бастующих моряках—это начать широкую террористическую борьбу. Но против этого плана был комитет социалистов-революционеров, считавший несвоевременным раздражать либеральную буржуазию, как раз накануне выборов во вторую государственную думу.

В виду таких обстоятельств, Сибиряк, с разрешения комитета соц.-рев., предложил стачечному комитету пригласить к участию в руководстве забастовкой «южно-русскую группу анархистов-синдикалистов». Наша организация делегировала в стачечный комитет меня.

В это время готовили к отплытию в Нью-Йорк самый крупный пароход русского общества «Григорий Мерк». Мы решили его взорвать. Однако, нам не хотелось в то же время лишних жертв. Поэтому решено было, что мы дадим «Григорию Мерку» выйти из гавани и произведем взрыв вблизи берега. Это должно было послужить только угрозой и предостережением для администрации парохода.

Чтобы провести этот план, необходимо было проявить величайшую осторожность и изворотливость Дело в том, что все пароходы после первого нашего взрыва, который мы организовали совместно с эсеровскими боевиками на одном большом

пароходе, охранялись особой дружиной черносотенцев из «союза русского народа». Чтобы взорвать «Григория Мерка» надо было добиться того, чтобы наш боевик был назначен на охрану этого парохода. А для этого он должен был раньше стать членом «союза русского народа».

Эту задачу разрешил молодой рабочий Иларион Ларионов, которого мы попросту звали Ларька: круглицый, краснощекий, курносый и светлоглазый, он выглядел таким добродушным русским парнем, что был немедленно принят в состав местного отдела союза русского народа, а через несколько дней попал в качестве дружинника на «Григория Мерка». За несколько часов до отхода парохода Ларька пронес в машинное отделение 20 фунтов динамита и бикфордов шнур. Это было ничтожное количество для такого огромного парохода, но, к несчастью, у нас больше динамита не было и достать его быстро нельзя было, а между тем, забастовка шла на убыль и моряки с нетерпением ждали от нас какого-нибудь акта.

На собрании стачечного комитета многие уже делали мне намеки на то, что они рассчитывали на большую активность с нашей стороны. А социал-демократы ехидно подшучивали надо мной. Каково же было мое торжество, когда однажды во время заседания стачечного комитета, который собирался, кстати, недалеко от гавани, мы вдруг услышали страшный взрыв. Через несколько минут к нам прибежали моряки и восторженно сообщили, что «Григорий Мерк» взорван, что стачечники торжествуют, а в гавани—страшная паника. Члены стачечного комитета меня стали поздравлять и пожимать руки.

Однако один взрыв «Григория Мерка» не мог решить судьбу забастовки. Стояла холодная зима. Многосемейные моряки стали сдаваться. Мы решили начать ряд террористических актов против капиталистов, уводивших в море суда с штрейхбрехерской командой, преимущественно из черносотенцев. Капиталисты эти все состоял членами союза русского народа, и моряки их ненавидели всеми силами за грубость и жестокость. Более порядочные капитаны воздерживались от плавания, не желая сорвать забастовку.

Я должен здесь отметить, что о предпринимаемых нами террористических шагах знал стачечный комитет. Это необходимо было для того, чтобы он чувствовал себя ответственным за наши террористические акты и чтобы в бастующих массах не теряли доверия к его руководству. Мы менее всего хотели узурпировать авторитет выборных стачечного комитета.

Первой жертвой был намечен капитан Сенкевич. Убить его взялся Порфирий Сулеймовский.

В течение нескольких дней Сулеймовский выстаивал в районе российского общества в ожидании Сенкевича, но, словно предчувствуя свою судьбу, Сенкевич не являлся. Однажды к вечеру Сулеймовский его неожиданно увидел, когда он выходил

из дома градононачальника в сопровождении какого то видного чиновника. Суеймовский подошел к нему, снял шапку и поклонился. Сенкевич, ненавидевший матросов, подумал, что у него просит милостыню какой нибудь забастовщик и спросил Сулеймовского грубо: «Чего тебе?». Порфирий вынул браунинг и ответил: «Я к вашей милости» и выстрелил в него три раза в упор. Сенкевич упал замертво. На улице поднялась паника. Полицейские, стоявшие на стражи квартиры градоначальника, разбежались. Сулеймовский побежал и почти уже скрылся, когда некоторые городовые, опомнившись от страха, побежали за ним Он стал отстреливаться.

Сулеймовский был исключительно прекрасным стрелком. Ни один выстрел его не пропадал. Вот почему толпа держалась на почтительном расстоянии. Во время своего отступления он как-то потерял магазинку (обойму), нагнулся, чтобы ее поднять, но не мог найти. В поисках этой магазинки он потерял довольно много времени. Лишь увидав, что полиция начинает настигать его, он бросил смешные искания (магазинок и без этой у него было вполне достаточно) и стал снова отстреливаться. Этот отстрел продолжался более двух часов и Сулеймовский благополучно ушел от преследователей.

Прибежав на заседание организационной комиссии (она собиралась почти ежедневно), он со слезами на глазах просил прощения за то, что потерял магазинку: он считал это большим позором, какими то воинским преступлением, что потерял магазинку, стоившую нам рубль.

12.

Кроме «Григория Мерка» был взорван еще один пароход, если я не ошибаюсь, по имени «Светлана». Было сделано нами покушение на взрыв третьего парохода. Покушение оказалось неудачным. Все эти террористические предприятия произвели эффект на руководителей «Русского общества пароходства и торговли». Нам передавали из достоверных источников, что в верхах готовы были итти на уступки. В массе моряков настроение поднялось.

Делегатское собрание, собравшееся для перевыборов стачечного комитета, приняло предложение анархистов о том, чтобы выразить стачечному комитету доверие, дополнив состав его несколькими новыми делегатами, и просить анархо-синдикалистов поддерживать забастовку всеми мерами.

Главные массы штрейкбрехоров давал союз русского народа. С помощью этих союзников Российское общество пароходства и торговли имело возможность по немногу срывать забастовку. Наша организация решила нанести серьезный удар организации союзников для того, чтобы отбить у них охоту играть роль штрейкбрехеров. Мы стали готовить взрыв помещения на Тор-

говой улице, где собирались члены союза русского народа под председательством графа Коновницына.

Между тем во время одного уличного столкновения с полицией были арестованы два члена нашей организации. Без малейшей вины с их стороны их обвинили в каком-то ограблении и по приговору военно-полевого суда расстреляли. Случайно присутствовавшие на казни лица, кажется солдаты, передавали нам о том, с каким достоинством и героизмом держались эти простые ребята во время казни. Рассказ об этой казни сильно взволновал всех членов нашей организации и решено было—реагировать немедленно. Вместо взрыва чайной, где собирались союзники, решено было совершить массовое террористическое выступление: снять все полицейские посты во всем том районе, где преследовали наших двух товарищей, невинно погибших.

Так как мы имели в виду направить всю боевую дружину—25, среди которых были еще некоторые никогда не выступавшие в террористических предприятиях, мы решили до выступления устроить примерную стрельбу. Вся боевая дружина небольшими кучками была выведена за город: стреляли в одиночку и пачками, чтобы приучить боевиков к собственным выстрелам (Известны были случаи, когда боевики пугались... своих собственных выстрелов).

Для общего выступления назначено было для всех одно время—6 часов вечера. В один и тот же момент в 10—12 местах города должна была раздаться стрельба, которая должна была очистить от полиции целый район. Задача не была разрешена в той полной мере, как она была задумана. Лишь в 6—7 местах наши боевики действительно сняли посты, а три—четыре полицейских были смертельно ранены. На полицию наше террористическое выступление произвело совершенно паническое действие. Городовые на постах дрожали при приближении всякого молодого человека. Посты были усилены вдвое, иногда втрое. По городу раз'езжали военные патрули и арестовывали по малейшему подозрению.

Вечером в один из этих дней я возвращался вместе с Левенбуком на извозчике. При нас были ценные бумаги, взятые в международном банке, а также бомбы и револьверы. Деньги мы носили на заседание организационной комиссии, так как во время отчитывания пред'являлась наличная касса. Револьверы и бомбы мы перевозили на другую квартиру. Когда мы проезжали по Болгарской улице, нас остановил патруль солдат, и нас спасло от несомненной гибели только самообладание. На вопрос начальника патруля, откуда и куда мы едем, мы ответили деланной грубостью, выразив недоумение, что нас останавливают словно каких-то бандитов. Солдат ворчливо об'яснил нам, что не его вина, что так приказано, и, видя, что мы весьма «прилично» одеты, не посмел нас обыскать, и мы благополучно от'ехали.

Город фактически оказался в осадном положении. В день похорон убитых городовых по городу циркулировали слухи, что союзники готовят погром. Мы ответили на слухи прокламацией, в которой обещали, что в случае малейшего покушения на погром, не остановимся ни перед чем. Для напечатания этой прокламации мы силой заняли типографии. Мы вступили в переговоры с эсерами на случай необходимости организовать оборону. Союзники не посмели сделать нам вызов, и погрома не было.

Однако, забастовка моряков осуждена была на гибель с тех пор, как социал-демократы решили во что бы то ни стало сорвать ее. Они добились того, что отдельные группы моряков, находящихся под их влиянием, становились на работу. При таких обстоятельствах можно было бы продлить забастовку только ценою огромных финансовых жертв. Но денег у нас к тому времени уже не было, хотя на содержание бастующих нужно было всего 100 рублей в день.

В это время организатор экспроприации в международном банке А. Д. Зафириди предложил нам другое дело, которое обещало крупные средства: ограбление одного из крупнейших западно-европейских государственных банков Он принес план и дело казалось серьезным.

Так как к тому же слежка за мною и другими товарищами в то время стала чрезвычайно упорной, нам необходимо было выехать из Одессы, дабы совершенно не провалить всю организацию. Я решил поехать с Зафириди заграницу и принять участие в этой экспроприации. Была организована группа кажется в 7 человек (между ними Задорожный, Левенбук, Козловский) и мы выехали в Вену. Средства на организацию дела дал Зафириди.

Не стану рассказывать о всех деталях этого плана экспроприации, так как это вывело бы меня за рамки одесского анархистского движения: скажу только, что план оказался фантастическим и после долгих скитаний нам пришлось отказаться от мысли организовать экспроприацию за границей. Дальнейшая история оправдала наше решение. Когда другая группа анархистов-коммунистов устроила экспроприацию в Монтре, результат ее был самым плачевным, чтобы не сказать позорным, для анархистов.

Когда я уезжал за границу, организация поручила мне создать печатный орган для идейного руководства анархо-синдикалистским движением в России. Имелось в виду привлечь редакцию «Буревестника», если она согласится работать в плане «Южно-русской группы анархистов синдикалистов». В Женеве я действительно начал переговоры с редакцией, в лице Манюэля Даинова, Нины Даиновой, Александра Гроссмана и Николаенко. Эти переговоры, длившиеся месяца три, ни к чему не привели в виду целого ряда разногласий.

Летом 1907 года я решил вернуться в Россию. Когда я приехал в Одессу, я застал совершенно иное положение.

13.

За время моего отсутствия организация значительно выросла. Крестьянское движение, намечавшееся с самого начала, за это время сделало значительные успехи, благодаря Петру Малиновскому (партийная кличка Петро) и его товарищу Петру Грынько (по кличке «Петруня»). Деятельное участие принимал в крестьянском движении еще один сельский учитель по фамилии, кажется, Никитин. Их работа имела большой успех в обширном районе вокруг Одессы, Голты, Тирасполя и Херсона. Не менее 50 крестьянских групп, примыкавших раньше отчасти к партии социалистов революционеров, присоединились к южно-русской группе анархо-синдикалистов. Какова была работа этих групп, кроме террористической, направленной против помещиков, не достаточно известно. Эта часть истории нашего движения чрезвычайно интересная, совершенно не освещена и не расследована.

В Голте, Тирасполе и кажется. Кишиневе и Херсоне создались настоящие филиалы нашей группы. Оттуда приезжали в Одессу за оружием, за литературой и за материальной помощью.

Главное ядро южно-русской группы анархо-синдикалистов постепенно целиком втянулось в террористическую работу. Была организована экспроприация парохода «София». Участвовали в захвате парохода Павел Кулешов, Порфирий Сулеймовский, Александр Задорожный, Давид Робинзон и другие. Руководство делом было в руках Кулешова, бывшего штурмана дальнего плавания. На пароходе взяты были 50.000 рублей денег, которые однако же, принесли мало пользы революционному делу. Деньги расползлись по карманам отдельных участников, начались попойки. Организация стала разлагаться.

Следующим предприятием было нападение на поезд на 14 версте от Одессы. Павел Кулешов и здесь проявил удивительное самообладание. Рискуя быть раздавленным поездом, он стал среди полотна навстречу идущему поезду с красным флагом и заставил машиниста остановить паровоз. Затем с обеих сторон боевики начали обстрел поезда, чтобы удержать пассажиров в вагонах. Целью нападения был захват значительных сумм, бывших в почтовом вагоне. Однако же, когда Давид Робинзон неожиданно увидал жандарма в почтовом вагоне, он стал обстреливать вагон, чем вызвал пожар, от которого погибла вся почта и в том числе все деньги.

Единственное, что успели сделать члены группы — это создание большой лаборатории в Лермонтовском переулке. Во главе дела стоял Козловский («Кэт»). Полиция выследила лабораторию и явилась туда с большим нарядом для обыска и ареста. Искали Кулешова, официально занимавшего квартиру. Вместо него полиция застала какого-то молодого человека, который при виде полицейских открыл стрельбу и меткими выстрелами

уложил на месте нескольких человек, а сам перелез через забор и скрылся. Это был «Кэт», который вскоре выехал за границу и здесь открыл кампанию против А. Д. Зафириди, которого обвинил в провокации.

Порфирий Сулеймовский также был арестован, как говорят, по предательству. Полиция явилась ночью на его квартиру, не разбудив его, и, точно зная, где он хранит револьвер, немедленно обезоружила его, связала и арестовала.

В связи с нападением на «Софию» были арестованы и другие боевики. Таким образом, главное ядро организации распалось. Оставшиеся члены еще недавно сильной организации стали заниматься грабежами и даже «мандатами». Пропагандистская и организаторская работа были совершенно заброшены. Когда моряки, привыкшие видеть в южно-русской группе свою организацию, явились к членам анархо-синдикалистской группы с просьбой о литературе и о посылке организатора, им ответили: «Если вы анархисты, то заботьтесь сами о себе и ни от кого не ждите помощи».

Когда я приехал из-за границы, я с трудом нашел связи с своей собственной организацией. Одним из первых на пути исканий мне встретился Петр Макаров.

Вокруг Макарова создалась группа мало известных мне людей. Помню только Арабачана. На мой вопрос, что они делают, Макаров смущенно дал мне понять, что их единственное дело грабежи, конечно, под фиговым листком общественных интересов: нужны материальные средства, без них невозможно вести пропаганду.

В таком же положении нашел я несколько других групп, образовавшихся на развалинах южно-русской группы анархистов-синдикалистов... А. Д. Зафириди также считал себя теперь анархистом-синдикалистом. У него на квартире я встретил несколько товарищей, между прочим Ржебышевского. Конечно эта группа занималась исключительно экспроприациями. Когда я предложил Зафириди и Ржебышевскому бросить грабительства и взяться за революционную работу, они ответили мне: «Какая работа в сухомятку», то-есть без денег. Для начала работы Зафириди считал необходимым создать фонд не менее миллиона рублей. К этому времени у него, кажется, было около 100.000 рублей. Еще предстояло немало грабежей, чтобы вспрыснуть пропаганду. Мне, очевидно, было не по пути и с ними.

Мне сказали, что из старых анархистов-синдикалистов лишь одна группа, руководимая П. Кулешовым, верна традициям анархо-синдикализма. Встретившись с Павлом Кулешовым, я, однако же, не вынес ожидаемого впечатления. Знавшие его товарищи тепло отзывались о нем, как о человеке в высшей степени бескорыстном, очень отзывчивом и беззаветно преданном делу. Вероятно это и было так, но на меня, мало его

знавшего, он производил тяжелое впечатление. Кулешов мне показался чрезвычайно мелочным и очень озлобленным человеком.

Впоследствии, в тюрьме, на каторге я узнал о вероятных причинах этой исключительной озлобленности: его личная жизнь сложилась до крайности тяжело. Это оправдывает и об'ясняет многое. Но в то время я испытывал органическое отвращение к озлобленным людям и совершенно не доверял им. Кулешов чувствовал мое к нему недоверие.

К своему стыду сознаюсь в этом обманувшем меня чувстве недоверия к человеку, который его не заслужил, между тем как я в то же самое время безусловно доверял человеку, который потом оказался старым провокатором, агентом охранного отделения на жалованьи. Этот провокатор и есть Зафириди.

Уже на первом свидании моем с Кулешовым он заявил мне резко, что А. Д. Зафириди провокатор и что он убьет его, как собаку. Так как обвинение Зафириди в провокации для меня было новым и так как мне не было дано никаких убедительных доводов (кроме: «Я это чувствую»), то подозрение высказанное Кулешовым, и вызвало, быть может, мое недоверие к самому Кулешову.

Встретив Зафириди, я тут же на собрании сообщил ему, что его обвиняют в провокации. Он, к моему удивлению, отнесся к этому чрезвычайно спокойно. Мы пошли к нему на квартиру; он жил со своей матерью, очень интеллигентной старушкой. Помню, что, когда я вошел в комнату и увидел это честное старушечье лицо и чистенькую, белую, уютную комнату, я сказал себе: «В такой комнате не живет провокатор». Увы, и это чувство оказалось обманчивым: в этой беленькой комнатке жил провокатор, много лет служивший в охранке. И его мать также мало подозревала это, как и беленькие занавески на окнах.

Мне стало ясно, что работа при таких условиях невозможна. Я стал подумывать об от'езде. Но куда? В Москву? В Петербург? Одинаково бессмысленно; всюду провалы, всюду разложение. У меня начинала мелькать мысль об от'езде заграницу.

С первого дня моего приезда из-за границы за мной стали следить шпики. Как я впоследствии узнал по материалам к моему делу, за мной следили еще из-за границы. Агент тайной полиции сопровождал меня оттуда. Охранка прекрасно знала о дне моего приезда. Она знала нечто большее. В Одессе провокаторы братья Гринберг открыли кафе на Торговой улице. Это кафе служило как бы центром для всех анархистов и главным местом явки. Меня, конечно, направили туда же и в первый же день агенты охранки, по их техническому выражению, «взяли меня», то-есть, стали за мной неотступно следить.

Первую квартиру (на Софиевской), которую мне наняли, пришлось покинуть, так как шпионы не отходили от ворот

моего дома. Я нанял другую, но во время переезда меня выследили шпионы. Было ясно, что не сегодня-завтра меня арестуют. Мне пришлось бросить и другую квартиру. Мои друзья перевезли мои вещи на третью квартиру, где я стал скрываться. В течение нескольких дней я совершенно не выходил из дому, надеясь замести след. Эта осторожность оказалась тщетной.

Когда я на пятый день вышел, меня догнал мой товарищ (по кличке «Азя») и шепнул: «За тобой следят». Рядом удачных маневров я пытался было скрыться на базаре и выбежал на шумную улицу. Оказалось, что шпики проделали за мной все мои маневры и шли за мной неотступно. Я решил пойти Садовой, очень людной улицей в уверенности, что здесь шпики не посмеют напасть на меня открыто, боясь перестрелки. Это предположение оказалось верным. Укрылся я в квартире одного знакомого мне врача, близ знаменитой кофейни Либмана. Азя, шедший по моим следам, известил моих товарищей, что я осажден в одном доме. Товарищи: И. Раух, Василий Триполка и еще кто-то, вооруженные револьверами и бомбами, пришли на выручку.

Азя зашел за мной на квартиру доктора и мы выработали следующий план: он наденет мою шляпу и мое пальто и выйдет на улицу. Когда шпики бросятся за ним, я воспользуюсь моментом сумятицы, чтобы сесть на извозчика. Если бы шпики, заметив ошибку, бросились за мной в погоню, наши боевики должны были открыть пальбу им в спину, а на крайний случай бросить бомбу.

План был проведен. Я сел на извозчика, но тут же на мои дрожки вскочил один из наших товарищей—Раух, который не пожелал оставить меня одного на случай перестрелки. Мы вынули револьверы и приказали извозчику ехать, в полной уверенности, что нам вслед начнется перестрелка. Наши ожидания были приятно обмануты. Как оказалось впоследствии, шпики испугались, увидев группу подозрительных лиц с какими-то пакетами в руках.

Однако это избавление отсрочило лишь на несколько дней мой арест. Я укрылся в другой квартире, прекрасно снабженной всеми средствами обороны. Но так жить в городе не было никакого смысла: я был лишен возможности вести какую бы то ни было работу. Я окончательно решил выехать за границу. В первый же день, когда я вышел на улицу, на меня сзади напали шпионы, схватили за руки и арестовали.

В тюрьме я застал многих членов нашей организации: Сулеймовского, Ларионова, Робинзона и многих других.

Однажды, когда я вышел на прогулку, меня подозвали к одному окошку. Я увидел за решеткой «Петруню» (Петра Гринько). Я слышал, что Гринько в свое время уехал из Одессы в родную деревню. Я был уверен, что он на свободе. Увидав его за решеткой и взглянув в его глаза, я в них про-

читал: «Меня скоро убьют». И не знал, о чем говорить с ним. Мне чувствовалось, что в гибели этой молодой жизни виноват и я.

Он сообщил мне, что здесь в одесской тюрьме он только временно, что пересылается куда-то на суд, и его ждет смертный приговор. Когда я выразил надежду, что, может быть, еще увидимся на свободе, он сказал: «Что я? Я рад умереть. Больно то, что вы здесь». И в глазах его сверкнули слезы.

До конца своих дней этот голубоглазый крестьянский парень ничего не знал в жизни лучшего и высшего, как служение революции. Не о себе жалел он, не о ранней смерти (ему было лет 20—21), а о том, что полезный для народного дела человек сидит в тюрьме.

Однажды к фортке моей одиночки подошел молодой рабочий-моряк открыл волчок и крикнул мне: «Данила, я—здесь». Это был Ларионов («Ларька»), организатор взрыва на «Григории Мерке». Он об'яснил мне, что арестован по пустячному делу и скоро выйдет на волю. И тут же успел шепнуть мне: «Не долго будете сидеть здесь. Все организуем». Я не сомневаюсь, что он действительно организовал бы.

Но случалось вот что: через несколько дней, идя на прогулку, он снова подошел к моей камере и сказал мне: «Мне «паяют» новое дело—убийство пристава и еще что-то—придется посидеть».

Он ошибся; ему не пришлось долго сидеть. Скоро состоялся суд. Из суда он снова подошел к моей фортке и крикнул мне каким то удивленным голосом: «Смертная казнь без ходатайства..». Его приговорили к смертной казни, но особенно странно—за чужое дело. Его не судили за взрыв «Григория Мерка», за десятки террористических актов, которые он действительно совершил. Его осудили на смерть за дело, в котором он не участвовал и которого даже не знал.

Мы знали, что скоро будет казнь Ларьки, и каждый вечер с трепетом ждали, что раздастся шум шагов, шум открываемой камеры и его поведут... И действительно, однажды ночью мы услышали грустный, но твердый, мужественный голос: «Прощайте товарищи». Мы ответили: «Прощай товарищ». Это шел умирать Ларионов—этот веселый, добродушный, круглолицый курносый парнишка, которого все любили.

Вскоре пришла очередь Сулеймовского. Дело было так: благодаря его несдержанности и даже болтливости в тюрьме очень многие знали о его прошлом. Когда дело дошло до суда, оно было слишком ясно. Он был приговорен к смерти.

Но тут в нем произошел надлом. Не скажу, чтобы он упал духом. Этого собственно не было. Но он загрустил. С отцом он был не в ладах, но теперь написал ему, чтобы тот приехал похлопотать. Отец, верный монархист, отказался приехать. Это очевидно было сильным ударом для Порфирия. И ему тем сильнее захотелось жить.

О чем он думал, сидя в своей одиночке смертника? О чем думал этот молодой человек, не привыкший к чтению, не любивший раздумывать, живший импульсивно, инстинктом; не берусь судить.

Однажды я получил от него записку, в которой он спрашивал меня, написать ли ему свою биографию для печати. Я ответил, что хорошо бы написать, но что это ему может повредить. Он ответил мне, что повредить ему уже ничто не может и послал мне большую рукопись, в которой действительно описывает всю свою жизнь, но в которой рядом с правдой было и много вымысла. Случилось так, что когда он передавал эту рукопись, кто-то заметил. Донесли администрации, сделали обыск в моей камере перерыли все и нашли рукопись. Возможно, что эта рукопись действительно повредила: через несколько дней его судили по новому делу и вторично приговорили к смертной казни. Возможно, что не будь этой новой улики ему заменили бы смертную казнь. По крайней мере так думал сам Порфирий.

Я часто подходил к его камере, когда шел на прогулку. Однажды открыв волчок и заглянув в его одиночку, я понял всю безысходную тоску этого осужденного: так беспомощна была его поза. Я подозвал его к волчку и спросил о самочувствии. Порфирий знал о моем дружеском к нему отношении и потому со мною посмел на то, на что не осмелился бы вероятно с другим: попросить денег на телеграмму царю. «Знаю, что подло»... пробормотал он. Я сказал ему, что сегодня же пошлю ему денег, но добавил, что вряд ли будет какой-либо толк из прошения. «Знаете,—ответил он виновато—теперь перед Рождеством они часто милуют». Он послал прошение по телеграфу, а через день или два его обманом взяли в контору и вместе с другим анархистом Коротковым повесили.

14.

Один за другим сошли в могилу наши славные боевики. Мне остается теперь сказать очень немногое.

22 ноября 1907 года в 4 часа дня Павел Кулешов, идя по Московской улице вместе с Мишей Нехорошим был схвачен шпиками, которые повалили его на землю и обезоружили. Он вместе с Мишей были немедленно отправлены в участок. Товарищи, узнав об его аресте, выработали план побега. Но провокатор Роман Лаевский выдал весь план.

Когда арестованных повели в тюрьму из участка, то Мишу вели впереди, окруженным городовыми, а за ним на расстоянии вели Павла. Когда они подошли к железнодорожному мосту, Миша Нехороший бросился бежать, повалив двух городовых на землю. Однако, он был немедленно расстрелян. Судьба Миши не остановила Кулешова. Дойдя до моста он также бросился

бежать, но тяжело раненый упал на землю. Уже лежавшего на земле полицейские продолжали его расстреливать и избивать.

Кулешов выздоровел от ран, был передан военно-окружному суду и получил 15 лет каторги; затем его снова судили и по новому делу приговорили к смертной казни. Чтобы не отдаться в руки палачей, он принял яд по дороге на эшафот.

Так же трагически умер и Давид Робинзон, когда-то просто уголовный вор, а потом глубоко преданный анархист, целиком отдавший свою жизнь работе. Когда его вызвали в контору, он принял яд, так как знал, что из конторы уже не вернется. Говорят, что на казнь его волокли полуживого.

В Киевской губернии, приблизительно в это же время, погиб один из последних боевиков южно-русской группы анархистов-синдикалистов Петр Малиновский, которого все знали под кличкой «Петро Крестьянский». Это был очень талантливый и очень культурный молодой крестьянин, которого чрезвычайно уважали в деревне. Он завел в селе тайную типографию и буквально наводнял весь округ своими прекрасными прокламациями. Одновременно он принимал участие в террористической борьбе. Он погиб в перестрелке с сельскими стражниками.

Кажется, никого не забыл, кроме молодого моряка (по имени кажется Гриша). Мне жаль, что не могу подробней рассказать об этих светлых бойцах, отдавших народу все, что имели: свою беззаветную преданность и молодую жизнь.

Отсутствие материалов, а главным образом архивных данных лишает меня возможности давать о них точные биографические сведения.

К началу 1908 года революционное движение в Одессе сошло в сущности на-нет. Еще кое-где были отдельные группы «анархистов», но об идейной работе не было и речи.

Вот что пишет в «Буревестнике» корреспондент из Одессы в 1909 г. [1]). «Несколько лет тому назад в нашем городе было довольно большое количество революционеров всех оттенков: были с.-д., с.-р. всех видов, были там и анархисты. В 1906 году последние пользовались влиянием среди рабочей массы. В особенности это влияние было сильно среди моряков и портовых рабочих. За последние полтора—два года у нас все пошло на убыль. Не стало ни с.-д., ни с.-р., об анархистах хотя и слышно было, но анархическое движение здесь окончательно выродилось. При тов. Н. и его последователях велась пропаганда и агитация идей анархизма; за последние же полтора—два года об анархистах и анархизме только можно было слышать в связи с разного рода предприятиями денежного характера. Наряду с действительными революционерами, воодушевленными высоким идеалом, появились и такого рода типы, которым не было дела

[1]) „Буревестник" № 18, ноябрь 1909 года.

ни до каких идеалов, но которые выступали под флагом анархизма с единственной целью нажиться.»

«К сожалению, приходится констатировать, что за последнее время эти господа почти совсем вытеснили идейных работников. Были факты, что к подобного рода господам примыкали и будто бы вполне убежденные люди... Разумеется, что при таком положении вещей связи среди рабочей массы все более и более терялись... Даже среди широкой массы рабочих постепенно создавалось соответствующее этим печальным фактам представление об анархизме; анархистов считали людьми, которым важно кого-нибудь ограбить, но которым совершенно безразличны интересы рабочих.»

«Моряки, служащие в «Русском обществе пароходства и торговли», всячески притесняются администрацией названного общества: уменьшается жалование, увеличиваются часы работы, ухудшается пища, сокращается состав и т. п.; среди моряков замечается острое недовольство, и господа социал-демократы, желая использовать это настроение, повели сильную агитацию за немедленное об'явление забастовки. Часть моряков заявила, что они на мирную забастовку не согласны, что бастовать они будут только тогда, когда они будут вооружены, когда у них будут боевые припасы, когда будет уверенность, что на террор администрации и полиции они смогут ответить тем же. Тогда почтенные одесские социал-демократы предложили морякам внести по полтиннику с человека, якобы на покупку оружия, которое им и будет куплено, а пока все-таки об'явить забастовку.»

«Боясь, чтобы анархисты не помешали проведению подобного сорта забастовки, они в глубокой тайне от нас созвали на одной из барж собрание в 46 человек, которое должно было по их расчетам об'явить забастовку всех моряков «Русского общества» (всего моряков несколько тысяч). Собрание удалось собрать в глубокой тайне от анархистов, но не от полиции, которая задержала всех на месте. Многие побросались из баржи в воду, откуда их вылавливали.»

«Ведется работа по деревням, где крестьяне очень чутко прислушиваются к пропаганде наших идей, но и там условия работы также затруднены по тем же причинам, да и политические условия тоже очень тяжелые; приходится прятаться по оврагам, ходить по 25—30 верст пешком и т. д.»

«Из местной тюрьмы отправлено на каторгу много наших товарищей, в том числе и тов. Новомирский.»

Д. Новомирский.

Чернознаменцы и Безначальцы [1]).

Историки анархизма жалуются на невозможность дать сколько нибудь исчерпывающую картину анархических движений, анархической работы. Целые течения, полные глубочайших ценностей и давшие, быть может, сильнейшие сдвиги и в быте, а потому и в истории народов, часто живут только в формах непосредственной жизни и революционного действия, развиваются только через личное общение, через устную передачу, и, выполнив свои исторические задания, передают легенду о себе и о невыполненных задачах, как живое наследство новым течениям, не оставив ни толстых книг, ни громких теорий. Другие течения расплескиваются в ярких, но недолговечных брызгах летучек, газет и революционных опытов и актов,—которые кто же сумеет собрать и сохранить под ревнивым и беспощадным оком бесчисленных врагов анархизма. Наконец, если, вопреки всем строгостям цензуры, удавалось издавать и книги, так это почти всегда были простые и ясные книги для широких масс, для поднятия их культурного уровня и революционного сознания, а вовсе не для часто праздной любознательности исследователей и изощренного вкуса теоретиков. Всегда свободе и радости угнетенных, а не доказательству своей «умности», отдавали свои силы анархисты.

Самим анархистам обычно почти некогда писать историю: они творят историю. Фактом своей самоотверженной борьбы и смерти они склоняют весы истории все более и более на свою сторону. И лишь в годы затишья, пересмотров позиций, перегруппировок сил, после разгромов со стороны временно сильнейшего противника они улучают минутки и для писания истории.

По случайным материалам, конечно, написать историю нельзя, тем более для движения из такого яркого периода в истории русского анархизма, как 1905—1907 г.г. Я попытаюсь, все же, вызвать, поскольку это будет возможно, перед читателями дух и картины этого движения.

---

1) Настоящая статья построена в значительной мере на основании материалов, имеющихся в книгах: а) „Альманах". Сборник по истории анархического движения в России т. I. Париж 1909 г. стр. 191; б) И. Генкин. „По тюрьмам и этапам". Петербург. 1922 г. стр. 486; в) Гроссман-Рощин. „Думы о былом". „Былое". 1925 г. №№ 27—28.

Убийственно-суровую оценку этому времени дает П. А. Кропоткин:

«Героев, людей отваги личной, наша революция дала немало. Но не дала она людей с отвагой мысли, способных внести революционную мысль в волнующиеся массы, сплотить их и вдохновить на крупные революционные акты, совершающие переворот в строе жизни, в экономическом распределении сил, во всех понятиях бедных и эксплуатируемых масс» [1]). Мы здесь не будем входить в споры между «хлебовольцами», позиция которых довольно ярко выражена в приведенной цитате, и сторонниками т. наз. безмотивного террора, которым посвящена эта статья. Факты пусть говорят за себя сами.

Конец прошлого века и первые годы этого века—золотые были годы для демократических партий. В эти годы определилось их исключительное влияние на судьбы русского рабочего и крестьянского движения, судьбы ближайших революций. «Анархистскую смуту» (выражение с.-д. бундовцев) сеять было некому: не было даже анархистских групп, и, казалось, на спинах рабочих и крестьян открывался «вождям народа» уверенно-спокойный путь к депутатским (а потом и к министерским) креслам.

Государство, как оно было, было видно по жандарму, по казацкой нагайке. Капиталист — по кошельку, по надменно-хозяйскому лицу, по раболепству окружающих. А партийный лидер—ведь над ним сиял ореол обещаемых программой свобод и благ—кто же смел прозреть в нем умелого дельца своих планов и интересов партийной фирмы.

И все же в это время (совсем почти гегелевская диалектика), и именно внутри самих демократических партий с.-д. и с.-р., рабочие партийные массы чувствуют свое, чреватое последствиями, подчиненное положение.., из которого не так-то легко выбраться. Кое-где вырастают внутрипартийные революционные «оппозиции». И чрезвычайно своеобразное, но яркое обнаружение лжи демократизма дает т. наз. «махаевщина»: «под щитом социалистической науки произрастает новейшая форма грабежа».

А. П. Махаев (псевдоним—А. Вольский), сосланный в 90 г.г., как с.-д, в Якутскую область, пришел там к выводу, что за плечами капиталистов вырастает новый класс эксплоататоров и господ: интеллигенция, командующая интеллигенция, выдумавшая и социализм для превращения рабочих в орудие своих целей. Его книга по этому вопросу — «Умственный рабочий» вызвала тогда широкую полемику.

---

[1]) Передовая „Наши задачи“ органа группы анархистов-коммунистов „Хлеб и воля“. Лондон. 1909. № 2 (июль).

«Господа же, заграбив все средства, воспитывают всех своих детей—сколько ни будет тупейших голов в их числе—в высшую расу, призванную править»—так написано в первомайском листке махаевцев в 1902 году.

Перед этим всемирным «заговором» господ и интеллигенции никчемны парламенты и законы,—против этого заговора нужно поставить свой «рабочий заговор» и силой прямого наступления взять в свои руки общественную жизнь.

Естественно, что именно рабочие оппозиции партий и кружки махаевцев дают потом первых «неофитов» для анархических групп. Так в Одессе из махаевцев и анархистов создается группа «непримиримых». Так в Белостоке анархистами и спропагандированными ими бундовцами создается интернациональная группа «Борьба» и т. д.

1903 год—год собого значения для анархистов России. С этого года по широкой Руси начинают появляться анархические группы—и скоро занимают яркое место в фактах рабочего и крестьянского движения. Из-за границы приезжают товарищи-анархисты, направляются в рабочие центры, в центры крестьянских волнений, об'единяют местных одиночек-анархистов и развертывают буйную, по-анархически могучую революционную активность, подлинно выбивая из рук партий их командующую роль и вызывая рабочих и крестьян на свое—прямое действие.

В августе 1903 года, в Женеве, силами русских эмигрантов-анархистов, сгруппировавшихся вокруг Оргейани (Гогелия) и П. А. Кропоткина, издается первый русский орган «Хлебовольческого» направления под названием «Хлеб и Воля», и начинает транспортироваться в Россию. «Анархическая смута» началась и для нее.

«Мы накануне революции»—заявляет уже первый номер «Хлеб и Воля», и развертывает по анархически острое обнажение якобински-деспотических и в то же время глубоко соглашательских замашек революционно-демократических партий, настаивает на иных, анархических, методах организации рабочего движения и революционного наступления. Требование чистоты классовой позиции, обнаружение, что лишь анархисты «были и остаются сторонниками классовой борьбы, но не столько на словах, сколько на деле» («Хл. и Воля» 1903 г.), призыв к высвобождению рабочего движения из пут политической диктатуры партий и к переходу движения на прямое, явочное завоевание—осуществление своих прав и свобод методами анархического «прямого действия»—особо характерны для идейного лица этого органа:

«... важна не декретированная свобода, а свобода внутренняя, разлитая широким морем в самом же обществе, ставшая его неотъемлемым аттрибутом и смело, открыто им осуществляемая» («Заметка об анархической тактике в России», «Хл. и Воля»).

Здесь дело идет уже не об анархических утопиях мыслителей, но об анархизме реальном, непосредственно осуществляемом в поведении и организационных формах людей и масс, об анархизме, вырывающем в своем развитии свободы за свободами, сметающем правительства за правительствами, эксплоатацию за эксплоатацией, пока перед лицом его грозной мощи не посмеет никто больше заявить претензий на власть, экономическую, политическую, какую бы то ни было, словом речь идет о том, социальную ценность чего в ход теоретической мысли неизгладимыми чертами вписал гений М. А. Бакунина.

Но и «прямое действие»—этот анархизм на факте—имеет не меньшее разнообразие форм, чем анархизм теорий: каждому присуща своя форма осуществления своей совести и свободы. Бомбы безмотивного террора и толстовское «не убий», революция и пассивное сопротивление, отказ «Безначальцев» участвовать в производстве, чтобы не быть эксплоатируемыми, и стачка, оправдание «Безначальцами» краж у капиталистов и социальная экспроприация эксплоататоров, я—ческое своеволие Штирнерианства и творческий экстаз социальной анархии и т. д.— это даже несовместимые формы прямого действия, это—дистанция от зверя до ангела. В этой дистанции и развертывается анархическая практика 1905—1907 г.г. Кто боится самоутверждения в прямом действии—иди на поводу у власти.

Гуманистичное направление «Хлебовольцев», высказывавшихся против «распыленного», хотя бы и анти-буржуазного, террора против экспроприаций—не социального характера, а также их попытки заложить федералистические организационные основы для дальнейшего развития анархизма и признание попутной значимости так назыв. «свобод», заявление, что борьба должна итти «во имя широких идеалов, способных воодушевить людей величием открывающихся горизонтов» (слова П. А. Кропоткина),—все это было, однако, некоторыми анархистами оттенено, как отступление от классовой чистоты анархических принципов, как некоторого рода «минимализм» [1]). Даже заявление «Хлебовольцев», что «в деле разрушения, само собой разумеется, перчаток надевать не приходится» [2]) некоторым показалось недостаточно радикальным. Разрушение классовых цепей выростало в революционную стихию и многим стало казаться самодовлеющей ценностью.

И вот в апреле 1905 года в той же Женеве выходит первый номер «Безначалия», а в декабре—«Черного Знамени».

Чтобы ярче охарактеризовать идеологические позиции этих новых направлений, так ярко вспыхнувших и угасших вместе с той революцией, я приведу отрывки из редакционных

---

[1]) См., напр., „Думы о былом"—Гроссмана-Рощина. „Былое", 1925, № 27—28.

[2]) „Хлеб и Воля" № 4, „Террор".

заявлений в первых номерах этих изданий, а затем уже перейду к истории деятельности наиболее характерных для этих направлений русских групп: «Чернознаменцев» Белостока и «Безначальцев» Петербурга.

«Группа «Безначалие» находит, что анархизм, если он только не желает беспомощно топтаться на одном месте, все более и более погрязая в невылазную тину реформистского оппортунизма и самодовольного ученого доктринерства, должен поставить на своем черном знамени:

1) классовую борьбу, признавание и резкое подчеркивание глубокого классового антагонизма,... который может исчезнуть лишь на второй день после социальной революции.

2) Анархию, безначалие, отрицание всяких и добрых и злых властей и правительств и в виду сильной конституционной горячки, охватившей у нас синих и красных представителей буржуазного общества, беспощадную борьбу со всякими зигзагами и увлечениями в эту сторону, поскольку этому увлечению поддаются и действительные революционеры; противопоставление буржуазному возгласу «долой самодержавие» единого пролетарского возгласа «долой какую бы то ни было власть: и самодержавие и земский собор и всякую форму государственности». В организационном деле отрицание явных и тайных центров и централистических партий, торжественно возвещающего или торжественно умалчивающего о своем существовании централизма, под какой бы благовидной маской ни старался он скрывать свою настоящую личину.

3) Коммунизм...

4) Социальную революцию, и ничего кроме нее; борьбу с реформизмом и легализмом...

5) Как способ ее реализации, беспощадную кровавую народную расправу, вооруженное восстание народа, крестьян, рабочих и всякой голытьбы, признавание террора и всяких восстаний: и открытой уличной борьбы во всех возможных видах ее и в какой бы жестокой форме и террор и уличная борьба ни выливались. Революцию en permanence, т.-е. целый ряд народных восстаний до окончательного торжества бедноты. Отрицание борьбы за реформы и частичные улучшения.

6) Нигилизм—борьбу с авторитетами в какой бы то ни было сфере; атеизм, отрицание семьи, борьбу со всеми основами буржуазной морали и укоренившимися в нашей обыденной жизни, предрассудками и суевериями; признавание краж и всяких открытых нападений на лавки и дома, совершаемые угнетенными классами.

7) Работу не только среди крестьян и рабочих, но и среди так называемой «подлой черни», т.-е. безработных: босяков, бродяг и всяких «подонков и отщепенцев общества», ибо все они наши братья и товарищи.

8) Безусловный отказ от совместных выступлений с какими бы то ни было политическими партиями, будут ли они либералы, социал-демократы или социалисты-революционеры: все они политические шулера, буржуи и враги народа, и временные выгоды от совместных действий никогда не окупят той деморализации, которую вносит в ряды товарищей подобное сотрудничество партий.

9) Интернационально-международную солидарность... Вместе с Интернационалом в будущем обществе, признание необходимости создания и в настоящем великой Международной федерации для социальной революции, живой федерации, тысячами живых связей связанных друг с другом боевых товарищеских групп, не признающих никаких национальных и расовых различий и, как нелегальная, крамольная сила, варвары для буржуазного общества, выступающих на завоевание старого мира во всеоружии революционной бомбистики... Было бы величайшим преступлением анархистов не приложить всех усилий к тому, чтобы революция, разыгравшаяся в России, не ограничивалась только ей, а разлилась бы по всей Европе, выливаясь в могучую и непобедимую всемирную и кровавую народную расправу [1]).

«... А анархизм?—Практически—то была единственная сила, развивавшая классовую борьбу, единственная носительница идеи борьбы классов, а не сотрудничества... Но как непозволительно теория отстала от практики! Элементы утопического идеализма, отрывки мыслей XVIII века смешиваются с современными «прогрессивными теориями» и все это только местами пронизано лучами классовой теории... Это, по нашему, факт. Мы глубоко убеждены, что именно анархическая мысль кроет в себе элементы для стройного и гармонического миросозерцания; именно анархизм, давая теоретическую санкцию классовой насильственной борьбы трудящихся, охраняя и развивая бунтовской дух, этот же анархизм может и должен давать свои ответы на все вопросы современности, на все самые сложные и утонченные запросы ума и души... Но это может быть сделано только при двух условиях: 1) чтобы анархизм не только сохранял, но увеличил бы, заострил бы классовую тактику и классовую непримиримость, 2) чтобы велась упорная и непрекращающаяся работа для примирения классовой тактики и теории, вытравления из последней абстрактно-гуманических тенденций...» [2]).

«... возможность пользования демократическими гарантиями кончается там, где начинается систематический отказ

---

[1]) Листок группы „Безначалия", 1905, № 1.
[2]) „К товарищам-анархистам". „Черное Знамя". 1905. № 1.

от выполнения подчиненным классом его функций, переходящий в прямые нападения на собственность...»

«... классовая анархическая борьба характеризуется прекращением функций и активными нападениями на собственность» [1]).

В I томе Альманаха «Сборника по истории анархического движения в России» (Париж, 1909) есть статья некоего «Белосточанина» под названием «Из истории анархического движения в Белостоке». Беру из нее отдельные моменты, для гладкости иногда в слегка измененном изложении:

Весной 1903 года, прибывший из Лондона, товарищ прочел несколько рефератов среди бундовской интеллигенции и рабочих и ему удалось привлечь на свою сторону несколько очень энергичных революционеров. Вместе с Григорием Брумэром («Борис», умерший в Петропавловской крепости) он в самое короткое время успел организовать в Белостоке первую анархическую группу, называвшуюся Интернациональной Группой «Борьба». Началась работа. Устраивали кружки, массовки, посещали собрания других организаций и на них вызывали дискуссии; выпустили несколько гектографированных прокламаций (из них одну о полицейском, тяжело ранившем рабочего). С самого начала стали вести рабочие стачки (из стачек, во главе которых в то время стояла группа, помню стачки портных, ткачей, сапожников).

Появление анархистов вызвало большой переполох во всех организациях, в особенности среди бундовцев, которые стали закидывать их грязью, называть их ворами и так далее в бундовском духе.

С первых же дней своей работы группа «Борьба» начала агитацию среди воров. Из среды последних впоследствии вышли такие видные революционеры, как М. Шпиндлер и др. Этой агитацией бундовцы воспользовались.

Несмотря на это, анархическая работа росла и крепла. Анархисты стали вмешиваться также и в другие области рабочей жизни. Во время демонстративного шествия рабочих в июле 1903 года из леса в город полиция напала на демонстрантов и сильно избила многих из них. На следующий день после этого события анархисты тяжело ранили особенно усердствовавшего старшего городового Лобановского, а через несколько дней они стреляли (неудачно) в полицейместера Метяенко. Оба эти акта еще больше укрепили симпатии рабочих к анархизму. Спрос на литературу возрос. Было издано несколько гектографированных брошюр: Черкезова «Раскол среди социалистов государственников»; Неттлау «О взаимной ответственности и солидар-

---

[1]) „Демократия и анархическая тактика". „Ч. З.", там же.

ности в борьбе рабочего класса» и неизвестных авторов: «Труп», «Симон Адлер», «Воровство».

В январе из за границы был привезен транспорт литературы—фунтов в двадцать. При тогдашнем голоде на книги это показалось насмешкой. Денег на издательство также не было. Товарищ Городовойчик (Ицхох Влехер, казненный 15 ноября 1906 г.) взялся разыскать одесских «Непримиримых» и, связавшись с ними, получил от них немного денег и литературы.

Началась организация безработных для экспроприации хлеба, обуви, платья и т. д.

Тем же летом анархист Нисель Фарбер тяжело ранил владельца крупной прядильной мастерской Кагана. В этой мастерской происходила стачка. Когда бастовавшие рабочие пришли снимать штрейкбрехеров, произошла свалка, во время которой один из рабочих был тяжело ранен железной палкой в голову. Опасаясь мести стачечников, Каган окружил свою квартиру и мастерскую полицией. Дождавшись его у синагоги, Фарбер тяжело ранил его ударом ножа в шею.

Так в организации стачек с экономическими требованиями, в террористических актах—ответах на насилия полиции и буржуазии,—в организации эксов для голодных безработных и, конечно, в усиленной пропаганде, развертывается работа белосточан. Немудрено, что буржуа начинали дрожать и спешили удовлетворять требования рабочих, когда узнавали, что в стачках действуют анархисты. Террор достигал цели и увлек горячие головы. И если революционно-анархическая молодежь, сделавшая потом экономический террор чуть ли не главным методом борьбы и пропаганды, и была удивительно чиста и прекрасна в нравственном смысле, тем не менее она не умела владеть нравственными силами, как орудием в тех же целях, как силами организующими и освобождающими. А между тем это более могучие силы прямого действия, чем силы устрашения. Но продолжаю:

Анархическая работа разрослась и окрепла. Удовлетворяться гектографированной литературой стало совершенно невозможно. Группа вместе с с.-р.-овской организацией организовала нападение на легальную типографию и экспроприировала более двадцати пудов шрифта.

На этом кончается первый и самый тернистый период анархистской работы в Белостоке (1902—1905 г.г.).

Десять—двенадцать человек, составлявшие белостокскую группу в первый период ее существования, должны были обладать железной волей, чтобы при таких условиях создать основу для широкого массового движения. А ведь они, кроме Белостока, создали группы в Гродно, Бельске, Заблудове, Хороше, Тростянах, Волковыске, Орле, Крынках, Ружанах и во многих других местах.

От Бунда и П. П. С. откололись «оппозиции», которые целиком перешли к группе.

В мае 1905 года вся так называемая агитаторская сходка организации с.-р. вместе с большим числом кружков перешла к анархистам. Среди членов этой сходки были между прочим Елин (Глинкер) и Судобичер (Цалька-портной, казненный в Варшаве в ноябре 1906 года).

В мае 1905 года белостокская группа состояла из шестидесяти вполне сознательных анархистов. Чтобы производительнее использовать свои силы, она разбилсаь на пять группок или—как тогда называли—«федераций». Федерации складывались двояко: или по чисто личным привязанностям их членов, такова «С.-Р.-овская Федерация» которую составляли бывшие с. р., или по условиям работы, такова «Польская Федерация», задачей которой была агитация в среде значительно отсталых польских рабочих, где другие члены группы не могли работать по незнанию языка. Каждая «федерация» была вполне автономна: самостоятельно проводила стачки, распространяла литературу, заведывала обслуживанием близ лежаших местечек. Для дел, касающихся всей группы (типография, сношения с заграницей и т. д.) существовали специальные федерации, или, как мы их называли, «сходки». Таких сходок было три: техническая, оружейная (белосточане в шутку называли ее «вооруженная» и литературная. Из них первая заведывала только типографией; «вооруженная» снабжала группу оружием, которое состояло главным образом из бомб; литературная добывала из за-границы литературу и обслуживала типографию рукописями. Неконспиративные дела, касающиеся всех пяти группок, решались обыкновенно на их общих собраниях. Помню, на первом таком общем собрании группы, на котором мне пришлось присутствовать, обсуждался вопрос о типографии. Шрифт был, не хватало только денег на постановку. Сбор дал немного более 200 рублей. На эти деньги и была поставлена первая Белостокская типография «Анархия».

Кроме рефератов для членов группы и кружков для «сочувствующих», устраивались массовки от 300 до 500 человек каждая; почти каждый вечер на Суражской улице («биржа») начинались дискуссии, постепенно переходившие в митинги. Очень часто эти митинги, в особенности, если выступал Стрига или Виктор (Ривкинд, казненный в Варшаве в числе 16), собирали по три и по пять тысяч человек. Из выступавших на этих митингах назову также Вахраха («Нотка», убитый во время погрома).

Среди кружков было также несколько солдатских. Прокламации на злобу дня, обращенные к рабочим, крестьянам или солдатам выходили почти каждые два—три дня.

Для борьбы с анархизмом Бунд стянул все свои интеллигентные силы со всего района. Кончилось дело тем, что они перенесли свою биржу в богатые кварталы.

Из-за границы в большом количестве экземпляров были привезены «Хлеб и Воля», «Безначалие», сочинения Грава, Кро-

поткина и др. Кроме того московская, киевская и петербургская группы присылали нам свои листки (большой успех имела перепечатка манифеста к крестьянам, первоначально изданного московскими анархистами-общинниками). Из Риги покойный Энгельсон, всецело посвятивший себя делу издания анархической литературы, прислал довольно большое количество гектографированных книг и брошюр.

В июне 1905 г. произошла знаменитая лодзинская бойня. Белостокские максималисты предложили тогда нашей группе об'единиться с ними для проведения всеобщей стачки протеста. Предложения максималистов мы не приняли. Было ясно видно, что рабочие настолько возмущены, что забастуют и без нашего призыва. Казалось, что если мы будем настолько энергичны, то движение пойдет куда дальше обыкновенной стачки.

Тут-то Стрига и выдвинул впервые свою идею временной коммуны. Предстояло захватить город, вооружить массы, выдержать тяжелый ряд сражений с войсками, выгнать их за пределы города. Параллельно со всеми этими военными действиями должен был итти все расширяющийся захват фабрик, мастерских и магазинов. Начинать нужно было со сражений, а для них не было оружия. Одна из наших федераций предприняла крупную экспроприацию. Наспех организованная, последняя не удалась.

Здесь определилась высшая точка движения. Переход на высшие позиции оказался невозможным. Отсюда развитие могло продолжиться по инерции только в той же плоскости движения, в тех же формах, какие уже были завоеваны, но лишь в расширенном масштабе. Дальше же движение ожидали спад и крушение, так как вне Белостока и вовсе не было сил, которые смогли бы развернуть движение, поднять его на высшую ступень революционной борьбы, а тем самым дать под'емный толчок и поддержку и Белостоку. Борьба создала организации наступления, но не дошла до той ступени развития, когда создаются новые организационные формы быта. Об этом должна была подумать следующая революция, вернее подготовка к ней. Но об этом за анархистов подумали другие, которые учли их опыт. А анархистов было слишком мало. Слишком короток был период их работы. Не желая командовать, они принимали на себя все первые удары, шли всегда в авангарде, и... гибли. Самые последние оставляли поле битвы и... гибли. Кто осудит их революционную совесть.

В «Думах о былом» бывший выдающийся теоретик черносотенства Гроссман-Рощин так рисует кипучую работу Белостока.

«В городах, селах, местечках возникали, как грибы после дождя, группы. Белосток был организационным центром, сердцем всего движения. Группы сохраняли полную самостоятельность, но всегда делегаты являлись за директивами идейного и тактического характера. Делались попытки установить единство

методов и лозунгов, Откликалась деревня. Белосток кипел. Вскоре слух о Белостокском анархизме прошел по всей революционной России. Приезжавшим представителям других партий местные организации жаловались, что демократические лозунги среди белостокского пролетариата не имеют успеха, и что есть опасность захвата всего края анархистами. Беспрерывный террор против полиции окончательно дезорганизовал последнюю. За последнее время полиция буквально не смела являться в рабочие кварталы, особенно туда, где находилась «ставка» анархистов. Характерно, что даже во время безумного, по жестокости, еврейского погрома в Белостоке полиция и даже армия не посмели явиться на Суражскую улицу, квартал анархистов». «Громадным триумфом было, когда масса работниц пришла на Суражское кладбище, требуя тут же читать им лекцию о классовой борьбе, и клялась не сдаваться и не приступать к работе ни в каком случае».

Октябрь 1905 года со своей всеобщей политической стачкой показал, однако, насколько не глубинны в массовой психологии такие скороспелые успехи. Цитированный выше «белосточанин»[1]) пишет:

«Под влиянием общероссийского движения рабочие и в нашем городе утратили уже начавшееся выясняться представление о единстве политического и экономического угнетения. После целого ряда митингов, массовок и частных собраний нам все-таки удалось добиться того, что рабочие отказались вернуться на работу и выставили целый ряд экономических требований. Хозяева поспешили эти требования удовлетворить, благодаря чему движение на этот раз дальше обычной стачки не пошло.

Перед группой стал вопрос о том, как зафиксировать создавшееся в моменты столкновений с полицией и хозяевами боевое настроение масс. Большинство группы, состоявшее из чернознаменцев, решая этот вопрос, склонялось к тому, чтобы начать усиленную боевую деятельность, которая, по возможности, непрерывно поддерживала бы атмосферу войны. Только несколько человек, незадолго до того вернувшихся из за границы, внесли на этот момент предложение легализации анархической работы. В результате приезжие товарищи откололись в отдельную группу «Анархия». Группа эта выпустила отдельным оттиском статью из «Хлеба и Воли» — «Анархизм и политическая борьба» и, проработав короткое время, прекратила свое существование.

Старшая группа после этого уже оффициально была об'явлена чернознаменской. Сейчас же после раскола был поднят вопрос о реорганизации группы. Все кружки, примыкающие к нашей группе, были разбиты по профессиям и образовали про-

[1]) Гроссман-Рощин, о. с., стр. 176—178.

фессиональные федерации. Предполагалось, что эти федерации, находясь в непосредственной связи с жизнью своего цеха, будут каждый раз брать на себя инициативу стачечных выступлений. Многие из нас надеялись тогда, что деятельность этих федераций ликвидирует, наконец, пассивное настроение массы, выжидавшей помощи от анархистов. Этого, однако, не произошло. В таком маленьком городке, как Белосток, где почти все участники революционных организаций знают друг друга в лицо и живут общей жизнью, от этих федераций очень скоро должно было не остаться ничего, кроме названия. Но попрежнему масса продолжала проявлять очень мало боевой инициативы, по прежнему ее пассивность возмещалась деятельностью анархической группы».

То, что я отметил выше, чернознаменцы почувствовали, но учли по-своему. На вопросе—«как сказать анархическое слово», чтобы услыхала его «многомиллионная народная масса»,—они раскололись на два направления: группу «безмотивников» и группу «коммунаров». Чернознаменский «Бунтарь» (декабрь, 1906) в статье «Недочеты движения», принадлежащей, по словам Гроссмана-Рощина (стр. 174), Леониду Виленскому, так характеризует эти направления:

«Как те, так и другие согласны были в том, что движение принимает нежелательный характер, что теперь (т.-е. тогда) не время заниматься мелкой местной работой и, во всяком случае, не в ней центр тяжести анархической деятельности сейчас. Они находили, что местная работа сдавила, сузила кругозор групп, что группы всецело ушли в нее и из-за нее не замечают общероссийских задач анархизма в данный момент, не в состоянии подняться до них. Согласны были они также в том, что в террористической деятельности групп преобладают чисто политические акты и что акты экономического террора чересчур редки, бледны и мелки. Им казалось, что политические акты теперь играют на руку демократии, что должно отказаться от них, или, по крайней мере, низвести подобного рода акты до возможного минимума, совершая их только в самых крайних случаях. На первый план, полагали они, должны быть выдвинуты акты экономического террора. Его проявления надо участить и усилить. На этом кончалось единогласие «безмотивников» и «коммунаров»; дальше между ними начиналось крупное расхождение по целому ряду вопросов.

Как формулировали «безмотивники» свое понимание момента, в чем видели они свою специальную миссию?—Вскрыть и обнажить грубый буржуазно-демократический обман, проявить протест, сказать сильно и ярко свое анархическое слово можно только рядом крупных анти-буржуазных «безмотивных» актов. Анархисты должны направить свои террористические удары на буржуазию не только за ту или иную частичную, конкретную вину ее перед пролетариатом; надо разить буржуа, как пред-

ставителей и цвет буржуазного общества. Пусть вечная угроза смерти, как страшное напоминание о «вечной вине», висит над буржуа каждый миг, каждый час его существования. Пусть не будет среди них «невиновных». Да не знают они покоя.

«Безмотивные» анти-буржуазные акты внесут смятение и хаос в лагерь буржуазии, быть может хоть «на миг» отвлекут внимание масс от демократических лозунгов, раскроют перед ними новые и яркие горизонты истинно классовой борьбы и, наконец, подымут падающую энергию групп, углубят и расширят их кругозор.

Так думали и верили «безмотивники»; и цельно, беззаветно отдались они своей вере. Была сформирована тесная, небольшая группа, добыты необходимые денежные средства; начались приготовления к актам. Результатом их деятельности было динамитное покушение на отель-ресторан «Бристоль» в Варшаве в ноябре и оглушительный взрыв в Одессе пяти бомб в кафе Либмана в декабре 1905 года.

«Безмотивников» не стало...

Перейдем к «коммунарам».

Будучи вообще горячими сторонниками анти-буржуазного «безмотивного» террора, они, однако, полагали, что индивидуальный террор не в состоянии разрешить стоящей перед анархистами задачи, что он бесследно незамеченный, потонет в колоссально-огромной демократической волне. Они утверждали, что целой исторической полосе нельзя противопоставить индивидуальный протест отдельных террористических покушений.

Пройдет революция, говорили они, и образами героев-борцов, кровью павших жертв, крестами братских могил на многие, долгие годы осветят в глазах масс демократическое знамя. Чем то дорогим, выстраданным станет оно для них. Враждебно и холодно встретят тогда массы всякую критику демократии. Чем то кощунским, святотатственным покажется она им. И надо теперь же на гуманном фоне демократии создать хотя бы одну враждебную всей картине точку. Пусть это будет только точка. Пусть только вспыхнет и угаснет она. Но след она оставит. Многомиллионные массы заметят и запечатлеют ее в своих умах, как нечто идущее вразрез с идеями и лозунгами демократии. Такой «точкой», утверждали «коммунары», может быть только массовый анархический акт — попытки восстания во имя безгосударственной коммуны. Они хорошо сознавали всю колоссальность и трудность такой попытки, всю слабость и несоответствие своих сил такой задаче. Но именно глубокая важность и вся неотложная необходимость в попытке восстания, во имя коммуны, давали им смелость, заставляли взяться за разрешение этой задачи. «Коммунары» стали усиленно готовиться к деятельности. Была сформирована небольшая группа, добыто все необходимое для начала работы и скоро вся группа была в пути по направлению к избранному городу... Внезапный

арест почти всей группы пресек ее начинания в самом зародыше. Попытка «коммунаров» заглохла...

«Белосточанин» об этом говорит так:

«В декабре 1905 г. из Белостока, с целью вызвать об'явление народом коммуны, выехала в Екатеринослав целая группа товарищей. Все они, кроме Струги, были арестованы в первые дни после своего приезда».

Дальше начинает развертываться сначала спад массовой волны, а затем и крушение движения. Кишиневский (в январе 1906) с'езд «безмотивников» не дал ничего нового. Стачки и террористическая поддержка их анархистами окончательно обнаруживают, что сама масса неспособна к самозащите, неспособна к решительному прямому действию, что успех стачек — дело террора со стороны немногих анархистов, а не самой массы. И «Белосточанин» отмечает:

«Сбитые с толку всероссийской политикой и политиканством, рабочие массы Белостока далеко отошли от ими же вспоенного революционного авангарда. Вместо того, чтобы быть застрельщиком движения, этот авангард силой обстоятельств превратился в единственное действующее лицо.

Крах наступил в нашумевшей забастовке нитарей. Первоначально забастовало всего человек 300. Но по условиям производства эта забастовка заставила бездействовать несколько тысяч человек. С самого начала она приняла самый бурный характер. Уже во время снимания с работы на одной из фабрик произошло форменное сражение с полицией. (В этой стачке был тяжело ранен и арестован казненный в июне 1907 г. в Варшаве т. Исаак Гейликман). Хорошо понимавшая положение дела, крупная буржуазия организовала несколько собраний, на которых было решено во что бы то ни стало бороться до конца. Эта стачка, говорили буржуа, должна решить вопрос, кто хозяева Белостока — мы или анархисты. В первые же три дня стачки четыре динамитных снаряда было брошено в квартиры фабрикантов. Три из этих снарядов бросил т. Юзеф Мыслинский, казненный в Варшаве в 1906 году. Владельцы фабрик бежали после этого за границу, но, чувствуя за собой моральную поддержку всего, что было в Белостоке имущего, они твердо стояли на своем и не уступали. Вместо того, чтобы нападать на фабрики, рабочие ждали, что сделают анархисты... Был исход—взять исключительно на себя войну со всей белостокской буржуазией. Только благодаря случайному присутствию одного из редакторов «Бунтаря», который сумел доказать, что в таком единоборстве белостокская группа неминуемо погибнет, ничего не добившись, план этот был оставлен.

Стачка потерпела поражение...

Дальше в удивительно героической борьбе постепенно гибнет почти вся группа. Докончила ее, как и всегда, провокация.

Гроссман-Рощин, бывший чернознаменец, а теперь ленинист, в статье «Думы о былом» сообразно своей новой позиции, пытается представить «чернознаменство», как некоторого рода преддверие к ленинизму. Не вступая в диспут, отмечу, что для «чернознаменцев» существо классовой борьбы было тожественно с прямым действием рабочих масс, а не с централизованной диктатурой орабоченной демократии.

Закончу очерк о «чернознаменцах» яркой характеристикой некоторых из них, данной в цитированной выше неоднократно статье Гроссмана-Рощина.

«Арон Елин — личность почти легендарная. После его гибели—он был убит солдатами, ворвавшимися на кладбище, официозный самодержавный «Варшавский дневник» писал, что погибла громадная боевая единица. Арон Елин один отстреливается и обращает в бегство казацкий патруль. Совершает террористические акты против буржуазии и полиции с поразительным хладнокровием... Арон Елин точно взвешивает все опасности, точнее—заранее предполагает, что враг бесконечно сильнее. В нем нет ни капельки рисовки, авантюризма. Он спокоен, прост и ясен. Он знает: надо сделать то-то и делает. Елин связан с массою, он выполняет определенную функцию. Рядом с ним — Митя. Митя мог бы написать из своей жизни изумительную поэму борьбы и риска. Митя знает только радость кипучей, напряженной борьбы. Митя признает одного врага—спокойствие, размеренность, быт. Бледный, точно изнуренный лихорадкой, он воистину «ищет бури» и подозрительно смотрит и на группу, боясь, что она поддается постепеновщине и благоразумию. А вот — Самуил. Рабочий. Вот сейчас он ложится под деревом и сейчас же разворачивает Зомбарта. Он «материалист», всегда говорит о реальной практике, но на деле это «этический романтик». Вот выдержанный, закаленный, крепко с массой слитый, ровный и заражающий деловым идеализмом Пушель»[1]).

О работе в других городах под руками нет достаточных материалов. Просмотр методов работы, произведенный оставшимися товарищами в тюрьмах, обнаружил в самом направлении работы глубокие недочеты, обнажил в «чернознаменстве» большую однобокость. Но об этом мы поговорим когда нибудь в другом месте.

«Безначальцев» ярко характеризует уже само подчеркивание—в вышеприведенном в выдержках редакционном заявлении— мест, близких знаменитому «Революционному Катехизису» Бакунина Нечаевского периода... Фактически они никогда не имели и не могли иметь такого тесного контакта с движениями масс, какого иногда достигали «Чернознаменцы», «Хлебовольцы» и др. Их значение было не в массах сплоченных, там они терялись, а в массах статистических, распыленных, в значении пропаган-

[1]) Гроссман-Рощин. о. с. Стр. 179—180.

дируемого ими словом и делом «распыленного» террора и в разрушительности их нигилистического отрицания всяких начал, всяких «устоев» общества. Быть всюду, вселяя во властях и в буржуазии парализующий ужас—такова была привилегия «Безначальцев»; быть всюду, хотя бы даже не самолично, а заразительностью «распыленного» террора для обезумевших от безысходности, доведенных до крайности несчастных ограбленных масс. Революции, конечно, и это может пойти в счет, и в большой счет, и в положительный и в отрицательный. Мы здесь не будем производить эту оценку. Отметим лишь, что для такой «тактики» конечно не нужно ни организационных форм, ни предварительной серьезной выработки общественной психологии. Фактически такой анархизм обречен быть или лишь выражением буйного протеста не останавливающейся ни перед чем в своем самоосуществлении личности, которая в этом «обществе» чувствует себя, как в диком лесу затравленной, или же лишь попутным фактом в революционном процессе, обостряющим его. Самодовлеющим творческим социальным принципом он быть не может.

Удивительно героические личности таких анархистов, в силу чистоты своей социальной совести пришедшие (ирония социальной жизни) к террору, зарисованы Иосифом Генкиным в его книге «По тюрьмам и этапам». Последняя представляет для нас тем бóльшую ценность, что автор очерков — марксист-коммунист. Далее я частью излагаю, частью привожу in extenso отдельные его характеристики.

„Каторжанин Романов (судился под фамилией Тер-Оганесова, в книге Генкина от назван псевдонимом-Битбеев. См. стр. 283) невольно обращает на себя внимание уже при первом знакомстве с ним. Маленького роста, худой, с темно-пергаментной кожей и черными на выкате глазами, он по своему темпераменту был необычайно подвижен, горяч и порывист.

Среди каторжан (в Шлиссельбурге), всегда толпившихся вокруг него на прогулке и заранее ожидавших, что вот-вот он скажет что нибудь меткое и едкое, Романов пользовался большим уважением и любовью. Простота его характера, доступность, не наносный и рассудочно книжный, а какой то прирожденный демократизм, искренность и чуткость невольно к нему располагали. Нравился он еще всегдашней готовностью первым начать бунт против тюремного начальства и поддержать малейший (безразлично, по какому поводу и какой важности) протест против приманок и репрессий».

Сын землевладелицы и купчихи, он еще будучи студентом Петербургского горного института принимал участие в студенческом движении в начале этого века, сидел, из-за инцидента с проф. Коноваловым, в «Крестах», а затем был выслан на родину и исключен из института.

В первое время он примкнул к с.-д., проштудировал литературу, пытался сойтись с рабочими (шахтерами), но «пьянобуйная масса шахтеров того времени мало соответствовала тому суждению об авангарде человечества и строителей храма будущего, какое он составил себе на основании отвлеченно-теоретических рассуждений.

Эмиграция в Болгарию, а потом в Париж разочаровала его в европейских порядках. Он отходит от марксизма и знакомится с парижским кружком русских анархистов-коммунистов.

«Однако, учение Кропоткина, окрашенное в цвет коллективизации и, сравнительно, миролюбивого просветительства, скоро потеряло авторитет в глазах нашего бунтаря. С присущей ему склонностью находить во всем черты смешного, Романов рассказывал об отдельных представителях французского анархизма, рисуя их благородными чудаками и шаблонными гуманистами».

И вот, в Женеве, он заостряет свои мысли в формулы и выпускает тот самый «Листок группы Безначалие», который для многих пылких русских юношей стал в то время их боевым знаменем. «С помощью двух-трех сотрудников он сам же и набирал свои статьи и брошюры. В одной из них (привожу полный заголовок: «О революции и о казарменных добродетелях господ Тупорыловых». *Составитель*) он яростно нападает на социалистов, особенно на германских; в другом памфлете (полный заголовок: «О Люцифере, великом духе возмущения, „несознательности", «анархии и безначалии». *Составитель*) он с едким и искрящимся остроумием ополчается против буржуазных добродетелей и прославляет врага всякой морали — смелый и прямолинейный люмпен-пролетариат».

Характерно его поведение на эмигрантских собраниях: «Взойдет на кафедру, так и не снимая пальто, шапки и калош, и при общем шуме и протестах одних, одобрении и смехе других, начнет пускать свои стрелы, смоченные ядом сарказма и иронии. На подобных собраниях он сам же и продавал и и распространял номера своего «Безначалия».

Возвратившись в 1906 г., на родину и не устроившись в Киеве, он пробирается в Петербург, где уже была группа «безначальцев», часть которой составили бывшие «махаевцы».

Из членов этой группы интересен Дивногорский (клички: «Толстой», «Ростовцев»). «Немолодой уже, лет за 30, уроженец Саратовской губ., сын чиновника, воспитанник харьковского университета, откуда он был исключен за участие в студенческих волнениях, Дивногорский, человек подвижной и непоседливый, имел характер непосредственный, темперамент сугубо сангвинический. Вечно носился со множеством планов и проектов. Пламенный грезовидец, он в то же время был и усердным тружеником, способным приложить массу самой бурной энергии и

проявить много изворотливой смекалки, лишь бы осуществить какую-нибудь из своих идей».

«По складу своей души искренний фанатик, отзывчивый добряк, широкая натура, что называется, рубаха-парень, с очень некрасивым, но очень привлекательным лицом, Дивногорский всем своим сердцем был влюблен во все русское».

Увлекшись в университете учением Л. Н. Толстого, он «немедленно же приступил к практическому осуществлению своей новой веры: переоделся в мужицкое платье и лапти и двинулся в деревню пропагандировать царство божие». «Возмущенный крайне антигигиенической, чуть ли не сарайной обстановкой фабричного помещения, в котором жили рабочие», он подговаривает рабочих сжечь казармы, а в другой раз и сам, побитый за то, что голодный открыто жарил картофель из помещичьего огорода, он возмутился и поджег в ту же ночь помещика. Диссонанс между делом и словом в поведении и жизни его родственника-толстовца, также «порядком коробил нашего восторженного и чуткого безсеребренника-демократа».

В Тамбове, где его арестовали по подозрению в бродяжничестве, он познакомился с анархистами и нашел то, что искал. Затем он уехал заграницу, откуда уже возвращается с маленькой типографией и стереотипом от прокламаций, а по дороге разбрасывает из вагона им написанные и им же напечатанные прокламации к рабочим и крестьянам.

В Петербурге «сформировавшаяся группа анархистов печатала и распространяла их по заводам и садам для гуляний в особых коробках-петардах, заряженных динамитными патронами; коробки с треском взрывались и, привлекая публику, целыми фонтанами рассыпали воззвания и листки. Наряду с этим группа энергично распространяла среди рабочих рецепты заготовления македонских бомб» (любопытно, что в «безначальской» и «чернознаменской» прессе большое место занимают рецепты террора, уничтожения сыщиков, способов поджога и т. д.).

К концу 1905 г., когда в группу вступил сам Романов, в ней насчитывалось уже 12 человек: несколько студентов (один из них, по кличке «Адмирал» погиб в Севастополе во время взрыва тюремной ограды), один исключенный семинарист, одна женщина-врач, три-четыре бывших гимназистки. У безначальцев были еще связи с рабочими и матросами, но главной популярностью они пользовались среди интеллигенции, особенно среди учащейся молодежи. Им охотно давали квартиры для собраний и деньги, а когда они, под фиктивным предлогом убийства, якобы Победоносцева, собирались на самом деле экспроприировать главную кассу удельного ведомства и обратились за содействием к сочувствующим, им дали рублей 500 деньгами и предоставили в их распоряжение автомобиль. Затем из типографии одной вульгарно-радикальной газеты безначальцам, передавали шрифт для печатания прокламаций, а один из популярных журналов, в то

время сильно накренившийся в сторону самого махрового максимализма, обещал им место для агитации и пропаганды анархистических лозунгов. Но как раз накануне осуществления одного очень крупного предприятия почти все наши безначальцы были арестованы. Выдал их некий Дмитриев. По указанию Дмитриева охранное отделение арестовало 13 человек, но семерых из них, действительно активных членов группы, Дмитриев знал мало и их волей-неволей пришлось выпустить. Дивногорский и Зильберман, посаженные в Петропавловскую крепость, симулировали душевное расстройство и на время отставлены были от дела. Зато к остальным подсудимым были присоединены еще два анархиста: Соколов и Сперанский (в книге Генкина «Ранский»). Осенью 1906 г. все безначальцы предстали пред судом петербургской судебной палаты.

Нет уже ни «чернознаменцев» ни «безначальцев». Они пали, побежденные, но не смирившиеся. Мне чужд их метод, но я не могу их судить. Нечто прекрасное во всем их лике, в их жизни, метеором вспыхнувшей над родной историей, говорит мне, что сквозь их кровавые жесты говорила прекрасная, обливающаяся собственной кровью среди мук этого мира душа. Прекрасная душа, не нашедшая других слов. Я преклоняюсь перед нею. Пусть в будущем мне удастся положить на их могилу лучший венок, чем эта наспех составленная, статья.

А. С.

В России и заграницей. 1903—1907.

В революционном социалистическом рабочем движении я начал принимать участие с 1896 года. Ко времени моего вступления в ряды РСДРП я уже руководил работой нескольких пропагандистских кружков, состоявших исключительно из рабочих или городских ремесленников гор. Одессы. В это время мне было 16 лет и я со всем пылом неофита учился сам и учил других социалистической теории, принимая непосредственное участие в рабочем движении. Кружки, массовки, массовые забастовки и демонстрации были формами революционной работы. Моими первыми учителями социализма были Борис Лейбович и Лиза Тинтман и непосредственно вслед за ними в 1897 году Л. Д. Бронштейн, теперь Л. Д. Троцкий, который читал «Философию истории» в кружке учеников училища «Труд».

Революционная работа не могла долго оставлять меня на одном и том же месте, в одном и том же городе. Уже в начале 1898 года я должен был оставить Одессу и перебраться в Киев, где снова принялся за учение, продолжая участвовать в рабочем движении.

В 1901 г. за участие в рабочей демонстрации я был заключен под стражу на 4 месяца в моем родном городе Елизаветграде, с лишением права пребывания во всех университетских и портовых городах Российской Империи. После отсидки я переехал в Екатеринослав, исключительно для революционной работы, перейдя одновременно на нелегальное положение. В этом городе я работал весь 1901 год.

После большой рабочей демонстрации 25 декабря, приуроченной к дню чествования восстания декабристов, и многочисленных арестов я был вынужден покинуть Екатеринослав и проехать сперва в Николаев, потом в Херсон и наконец, в Феодосию, где я пробыл до конца февраля. Работа моя велась главным образом среди ремесленного пролетариата и так как постоянная непрерывная работа в этом небольшом городе не могла остаться долго незамеченной для шпиков и скрываться стало трудно, я и мой ближайший товарищ Розенберг задумались над выбором нового города и нового места для работы. Таким была избрана Тверь, куда мы пробрались с большим трудом после многочисленных приключений.

Март, апрель, май и июнь я пробыл в Твери за очень интенсивной работой, проводя иногда до шести кружков в день, то с ткачами Морозовской Мануфактуры, то с рабочими французского машиностроительного завода, устраивая время от времени общие об'единенные массовки в нескольких верстах от города в густых зарослях кустарников. Однако, и здесь скоро мы стали предметом усиленного шпиковского внимания. Пришлось оставить Тверь.

От Московского Комитета я получил новую явку в Нижний-Новгород. По совету товарищей (Пискунов, Яроцкий, Долгополов) я решил начать работу в Сормове, где удалось продержаться целых шесть месяцев. Тут впервые передо мною всплыла властная необходимость пересмотреть ряд пунктов, как моего мировоззрения, так и тактики рабочего движения. В самых недрах РСДРП остро стал вопрос: быть или не быть террору. Появился первый номер журнала «Заря», со статьей Веры Засулич против террора. Вопросы революционных методов борьбы стали вопросами чрезвычайной остроты. Наметилась необходимость поездки за границу, в Швейцарию, где в то время жили Плеханов, Аксельрод, Мартынов и другие. В России я не мог рассчитывать найти ответы на мучившие меня вопросы. В Екатеринославе я нашел средства и нужные мне указания для переправы через границу.

В начале марта я был в Женеве и был принят Плехановым. Я не нашел в Плеханове человека, которого искал. Передо мной был сухой, изощренный в диалектических рассуждениях теоретик. В то время, как в рабочем движении России бурно наростало стремление к революционному вмешательству во взаимоотношения между трудом и капиталом, между трудом и государственной системой, Плеханов все время говорил о необходимости сдерживать назревавшие порывы и думать раньше и больше всего о накоплении сил. Трудно было мне не считаться с авторитетом Плеханова, но, не говоря уже о резком расхождении в вопросе о терроре, целый ряд положений в вопросах программного характера разделял меня с Плехановым. Тем охотнее беседовал я с Мартыновым и Акимовым. С ними я был связан по типографии, где набиралось «Красное Знамя». В то время вся Женева жила бесконечными разногласиями, дискуссиями и столкновениями между представителями различных мировоззрений. В это время конфликт между беками и меками в рядах РСДРП. был в полном разгаре. Появился П. Б. Струве с «Возрождением», оформлялась работа и деятельность партии социалистов-революционеров. На крайне левом фланге маняще, внушительно высилась система анархического мировоззрения. Но и оно раздиралось на части: чернознаменство с одной стороны, синдикализм—с другой. Мучительно было чувствовать себя затерянным и терзаемым этим великим множеством течений, толков, нюансов и систем, особенно после твердой почвы

практической работы, среди настоящей живой массы рабочих наших фабрик и заводов. Меня все больше и больше толкало на крайне левый фланг. Частые беседы с О. И. Таратута, Гогелия, Церетели, Романовым и другими товарищами; чтение Кропоткина, Бакунина, Моста и Реклю; доходящие вести об анархической работе в России все больше и больше останавливали на себе мое внимание. При свете нового учения особенно ярко выявлялась ложь западно-европейского демократизма, нелепость надежд — решать социальные проблемы путем усовершенствования демократических форм, во имя которых звала рабочих бороться и умирать всемирная демократия. Парламентская демократия ясно вскрывала полную безнадежность самого строительства на этих принципах. Мне стало ясно, что только путь непосредственной революционной борьбы за уничтожение частной собственности и государства будет верным и близким. Для меня стало ясно, что эта дорога моя единственная дорога. В это время у нас были идейные попутчики в лице представителей Махаевского движения. Сам Махайский жил в Берлине. Нас об'единяла непосредственная борьба за экономическое освобождение и свержение не только политической системы в лице тогдашнего царизма, но и идейная борьба против всех демократических течений, зовущих к замене монархии демократической конституцией.

В начале мая 1904 г. я уже был в России, в гор. Одессе. Тогдашнее состояние недовольства среди рабочих масс Одессы нельзя было бы определить иначе, как бурным клокотанием, готовностью броситься в бой, способностью преодолеть любые препятствия. Не требовалось длительной агитации, углубленной пропаганды: каждое слово подхватывалось на лету, призыв к активности встречался с неудержимым восторгом. Кружки за кружками росли с неимоверной быстротой. Стачки и забастовки больших и небольших размеров вспыхивали одна за другой. Все рвались в бой. Не дремали и враги: каждый день вырывали они из наших рядов товарищей. Встречи с жандармерией на кружках или массовках сплошь и рядом превращались в сражения. Не легко было арестовать кружок во время занятий; в этих сражениях подчас складывали свои буйные головы то один то другой из наших лучших товарищей. Запросы и задачи рабочих движений становились все острей и острей. Надо было выявить неуклонную революционную энергию. Одиночки рабочие неудержимо рвались к проявлению активности и в этом была опасность распыления и нерациональной растраты сил. Общее же выступление только назревало, но еще не назрело. Мы все мучительно искали тех путей, тех способов, которые могли бы дать общую спайку и повести рабочие массы к общим и массовым выступлениям.

В это время ярко ощущалась потребность не только об'единения усилий в том или другом городе отдельно, но и об'единения

выступлений ряда городов одного района. Так на юге—Екатеринослав, Николаев, Херсон, Севастополь естественно тяготели к Одессе, часто обращались к нам, просили литературы, советов, указаний и общего организационного плана.

Я выехал в Екатеринослав—там та же кипучая атмосфера. Массовки в Монастырском лесу собирали по нескольку сот человек с Чечеловки и Брянского завода. Собрания городских ремесленных рабочих были столь многочисленны, что собираться на квартирах стало физически невозможным. Анархическая мысль все шире и шире прокладывала себе дорогу и завоевывала массы рабочих на фабриках и заводах. Не будет преувеличением сказать, что не было ни одного с.-д. и с.-р. собрания, где рабочие не требовали бы ответа на программные вопросы, выдвинутые анархическим течением.

Необходимость организационного об'единения в более широком масштабе стала совершенно очевидной. Стало совершенно необходимым столковаться с представителями анархического движения из различных городов. Порыв одиночек к выступлениям стал выливаться иногда в уродливые формы. Необходимо было спешить с внесением организованности в движение. Нужна была литература, нужно было завести свой типографский станок, потребовались средства и оружие для непосредственной борьбы.

После долгих размышлений наиболее организованная часть товарищей пришла к решению, что только заграницей, где находились наши старые и опытные товарищи, можно будет раздобыть необходимые средства. Меня отправили заграницу и в октябре того же 1904 г. я очутился снова в Женеве. По дороге я был в Белостоке и в Ковно, где нашел ту же картину, что и на юге России. К миссии, которая была мне поручена южанами, присоединились и товарищи с запада. В ту эпоху много наших товарищей было во Франции и Англии. Нужно было встретиться всем в одном месте и, естественно, что мы остановились на мысли с'ехаться в Лондоне, где в то время жил П. А. Кропоткин. В декабре 1904 г. состоялась конференция русских анархистов в Лондоне. Здесь удалось встретиться с Сашей Шапиро, секретарем Международного Анархического Об'единения; с старым анархистом еще 60 годов—тов. Нагелем; здесь были Николай и Ольга Рогдаевы, тов. Гогелия и целый ряд других товарищей; здесь же я впервые встретился с т.т. Малатестой и Неттлау.

На этой конференции удалось обменяться с товарищами мнениями по целому ряду вопросов принципиального и тактического характера. Само собой разумеется, что главной темой всех наших совещаний были выдвинутые практикой работы в России. Немало было здесь споров и толков, но по основным вопросам были достигнуты более или менее единогласные решения. Особенно резко отнеслась конференция к явлению, именуемому

эксизмом. П. А. с необычайной силой теоретической и исторической аргументации продемонстрировал перед нами все то зло и разложение, которое таит в себе это ненормальное уклонение революционаризма в рабочем движении. Немало вызывало разговоров положение о том, что на практике русским анархическим движением выявлено было стремление резко отграничить себя от всех революционных политических партий, оставшихся на почве политического парламентаризма. Тут весьма авторитетно высказалось убеждение в преимуществе иной позиции, а именно: стремление к максимальной солидарности со всеми революционными партиями, исходя из принципа, что лучше всего итти врозь, но бить вместе. Также немало вызывала толков оценка того факта, что целый ряд товарищей и группировок часто выступали по отдельным частным моментам борьбы отдельными небольшими группами. И тут с большой доказательностью подчеркивалось, что такой метод действий крайне неэкономно распыляет силы без должного эффекта, тогда как все должно быть направлено к тому, чтобы концентрировать силы и экономить их с максимальным результатом, как в каждом отдельном выступлении, так и во главе рабочих массовых выступлений.

На конференции с большой осторожностью и вдумчивостью было выявлено отношение к единичному террору. И в этом случае были обильно документированы те отрицательные результаты, к которым приводил террор в тех случаях, когда им просто «злоупотребляли», прибегали к нему слишком часто. Примеры и факты, которые приводились в защиту этого положения, были столь разительны, что на всех присутствующих произвели глубочайшее впечатление. Не имея возможности здесь остановиться подробно на работах конференции, я должен сказать, что результаты их были, несомненно, чрезвычайно благотворными для всей нашей дальнейшей работы.

Мне нельзя было долго задерживаться за границей. Зная с каким нетерпением товарищи ждали моего возвращения в Россию, я только заехал на обратном пути в Женеву, где швейцарские товарищи анархисты должны были снабдить меня взрывчатыми веществами. В этом отношении много было сделано тов. Гогелия-Оргейяни, который сносился непосредственно с местными швейцарскими анархистами. Они то и раздобыли из швейцарских государственных арсеналов некоторое количество пироксилина и мелинита. Я наскоро прошел курс искусства обращения с этими взрывчатыми веществами, и разместив по банкам и пакетам драгоценную, столь страстно ожидаемую в России, кладь, и собрав все что только можно было получить подходящего из революционной литературы, я двинулся в дорогу.

Но в пути меня ожидал большой удар. Те же контрабандисты, которые меня благополучно перевезли из России, ожидали меня на обратном пути только для того, чтобы подороже получить за выдачу меня в руки жандармов. Я ожидал

с минуты на минуту переправы на русскую сторону в пограничном городке Эйдкунене. Это совпало с событиями 9 января 1905 года.

Из немецких газет я узнал, что в Питере происходят какие-то чрезвычайные события. Из телеграфных сообщений трудно было представить действительную картину происходившаго. Тем с большей силой и нетерпением я рвался поскорей перебраться на ту сторону. Но, очевидно, у предателей не все было готово. Они откладывали мой переезд со дня на день и только 14 января они мне доставили свидетельство на право перехода границы для пограничного жителя на имя Моисея Столяр. Недалеко от границы в Ландверове комедия была закончена. Десятка два солдат пограничной стражи во главе с жандармским полковником окружили меня, тут же обыскали: не раскрывая багажа, стали мне перечислять, что в нем находится. В тот же день я был перевезен в Вильно в военную тюрьму, откуда через два дня, под усиленным конвоем, меня перевезли в Петербург и водворили в Петропавловскую крепость.

Все для меня рухнуло и рухнуло сразу. Я почувствовал себя заживо похороненным. 3 месяца я не мог прийти в себя. К счастью, я своевременно понял, что со мной происходит что-то неладное. Я сумел взять себя в руки и отвести от себя тот удар, который столь многих поражал в подобных условиях. Усиленное чтение и изучение новых языков—вот чем я старался занять свою мысль и время, чтобы укрепить свой дух. Немаловажную роль для меня сыграли в то время мои соседи по крепости: Соня Эфруси, Вера Васильевна Штолторфер и Серафима Георгиевна Кличоглу, Борис Марков. Перестукивание с ними весьма скрасило мое существование.

Мои взаимоотношения с следственными властями были очень упрощенными. После первого же допроса, когда на тонкую дипломатию и уговаривания, я ответил категорическим отказом давать показания—меня надолго оставили в покое. И только через несколько месяцев меня еще раз привели в жандармское управление, где я имел беседу с тем самым жандармским полковником, который меня когда-то арестовал в Ландверове, и который тут же сообщил мне, что мое дело совершенно безнадежное, так как правительство решило всех террористов предавать смертной казни. Мне оставалось только поблагодарить его за любезное сообщение просить меня больше не тревожить. Я был всего два раза вызван на допрос за все время. Так тянулись полтора года: пересидел я октябрьские события 1905 года; был момент, когда, в связи с амнистией, я остался в единственном числе в Петропавловской крепости, в бастионе Трубецкого. Как я узнал впоследствии, обвиняемые в террористической деятельности не подлежали амнистии, и в бастионе Трубецкого в это время, очевидно, кроме меня больше никто не сидел по террористическим процессам. До сих пор мне не удалось устано-

вить, сидел ли еще кто-либо в то время вместе со мной в Петропавловке. Сидение мое в единственном числе в Петропавловке длилось недолго, скоро захлопали затворы на наших дверях, через которые подавали пищу и кипяток. По счету хлопанья этих затворов мы вели счет количества заключенных в нашей крепости. Помню, что тюрьма начала быстро наполняться, скоро нехватило второго этажа, куда сажали в первую очередь, стали сажать в нижний—сырой и темный этаж; среди новых пришельцев были также на недолгое время переведенные к нам Шлиссельбуржцы. На мою долю выпал счастливый случай очутиться через стену в смежной камере с Н. Морозовым. Тут я впервые узнал от чудесного гостя, посредством упорного перестукивания в стену, о всеобщей забастовке, восстании рабочих, о царском манифесте, о конституции, окончании японской войны, о вырванной политической амнистии и пр. и пр. Затаив дыхание, я ловил каждый стук через стену. Вскоре хлопнули затворы в дверях камеры Морозова. Прервался стук в стену. В этот же день Н. Морозова куда-то вывели из камеры и стена снова замолкла.

Так я просидел до 6 мая. Уже в пути, в вагоне, мне жандармы сказали, что в этот день открывается Государственная Дума. Меня везли обратно в Вильно на суд, который был назначен и состоялся 16 мая. Меня приговорили к ссылке и на „вечное" поселение в Сибирь. От весны Святополка-Мирского и медовых дней существования Думы мне тоже кое-что перепало: меня не приговорили к каторге. Просидел я в Виленской тюрьме в Лукашках до начала сентября 1906 года. Несмотря на то, что эта тюрьма была одна из самых отвратительных провинциальных тюрем, я ее не замечал. После полуторагодового изъятия из внешней жизни, я снова встретился с товарищами, узнал от них, как сильно разрослось за это время анархическое движение по всей России. Действительно, не было ни одного маленького города, в котором-бы не было анархистов. Широко развилась и всюду проникла анархическая мысль. В то время, как все демократические партии, соц.-революционеры и соц.-демократы, в том числе, всячески приспосабливались к новой конституции, единственно анархическое течение боролось против всякой и всяческой конституции, как новой еще более утонченной формы политического обмана и экономического грабежа. В это время анархическое течение было первым и единственным течением за социальное равенство, за свободное самоуправление, за безгосударственный коммунизм.

С этого же времени у меня еще в тюрьме востанавливается самая тесная связь с товарищами, как в России так и за границей. Удается вступить в оживленную переписку с друзьями, с некоторыми удается встречаться и на свиданиях. Ждут на воле. Работы масса. Предлагают устроить побег с пути. В сентябре меня отправляют в кандалах по этапу

в Сибирь — в Тобольскую губернию. По дороге останавливаемся в 20 тюрьмах. Всюду масса старых друзей и новые встречи. Всю дорогу до Сибири мы едем под развернутыми черными и красными флагами, развевающимися из окон арестантского вагона. На станции нас встречают толпы рабочих и крестьян. Речи, обещания, угрозы и пожелания. В половине октября я на месте ссылки в деревне Ашлык, Тобольского уезда и губернии.

В ноябре (через 28 дней) я уже „бегу" и в начале декабря я в Киеве. Отсюда спешно еду в Одессу, по вызову для участия в устраивании побега Ольги Таратута, осужденной на 18 лет каторжных работ. Побег удается и в 20-х числах декабря мы обосновываемся для революционной работы в Москве с целым рядом товарищей, приехавших вместе с нами. Особенно нужно отметить тесную связь, установившуюся между анархической организацией в Москве и рабочими брянского завода. Здесь нужно отдать дань глубокого уважения светлой личности юного товарища Евгения Краснощекова, которого панически страшились Брянские власти, для которого они трусливо добивались смерти во что бы то ни стало, и добились ее.... Евгений разбудил многие тысячи рабочих Брянского завода к активной непосредственной борьбе против власти капитала и государства. Под влиянием его страстной агитации рабочие массы целого фабричного района в 1907 году добивались полного свержения угнетателей всякого рода. Впервые заронил Евгений в этом районе семена борьбы за безгосударственный коммунизм.

Время было тяжелое, начало 1907 года — разгул черной реакции, карательных экспедиций, полевых судов. Под бременем бешеных репрессий революционное движение ушло вглубь как в городах, так и в крестьянстве. Несмотря на то, что революционные организации выкашивались одна за другой с чрезвычайной быстротой, на их месте зарождались новые. Перед нашим приездом в Москву, только что произошел большой разгром анархической организации. Тем не менее в одну-две недели— связи были востановлены, работа закипела с новой силой. Пропагандистские кружки проводились нами по 5 — 6 в день. Через рабочих этих кружков беспрерывная агитационная работа шла на целом ряде фабрик и заводов, и среди рабочих городского трамвая и чаеразвесочных. Через кружки распространялась литература, которую раздобывали с большим трудом и в чрезвычайно недостаточном количестве. Недостаточность литературы была органическим недочетом всей революционной работы вообще, а в работе анархистов в особенности. Запросы же и требования на литературу были необычайно многочисленны и настоятельны. Приходилось прибегать как можно чаще к печатанию и распространению прокламаций. Количество примыкавших к анархической организации рабочих росло с замечательной быстротой. Мы были не в состоянии удовлетворять запросы на пропагандистов, агитаторов и на литературу, поступавшие из рабочих районов.

Такая напряженная работа продолжалась около трех с половиной месяцев. Из нас уцелели немногие: к счастью, между уцелевшими от ареста была Ольга Таратута, хотя полиция ее уже настигала. Однако ей удалось вырваться из ее рук и вскоре уехать за границу. Вновь наступила для меня пора сидения по тюрьмам, в каторге, ссылке, и позже в эмиграции. Активная работа непосредственно в рабочей среде надолго была прервана.

А. Таратута

„Свобода внутри нас".

(К истории анархического движения в Севастополе после революции 1905).

В начале 1907 года, в Севастополе появилась Рев. Боевая Дружина под наименованием «Свобода внутри нас».

За давностью лет, мне не удалось отыскать всех листков, издававшихся данной группой; нет также обвинительных актов судебных процессов, имевших место в 1907—8 гг.

В первом выпущенном «Извещении», найденном ныне и хранящемся в Одесском Истпарте (папка лит.—«С»), Севаст. Р. Б. Дружина заявляет следующее: «работать внутри партии Соц.Революционеров мы не можем, директивам С'езда подчиняться отказываемся и нашу самостоятельную, вне партии работу, находим более продуктивной».

Здесь шла речь о том знаменитом с'езде партии Соц.-Революционеров, на котором постановили централизовать боевую работу, обязав периферию информировать Ц. К. о всех начинаниях и проектах. Конечно, теперь мы знаем, что в этом решении видна была твердая воля Азефа, стремившегося держать в своих руках нити замыслов боевиков; таким образом, Центральная Охранка являлась не слепой Немезидой, а карающей по выбору, как своих, им не нравившихся лиц, что показало «дело» Столыпина—Багрова, так и тех, кто имел причастность к революционному подполью.

Рев. Боевая Дружина «Свобода внутри нас» зародилась несколько раньше, чем вступила в партию—с.-р. и задолго до выхода из этой же партии.

История возникновения группы такова:

В Севастопольском «Боржоме»—ночлежном приюте, среди босяков появился некто и золоторотцы дали ему кличку «Джонка». Скоро вокруг него сгруппировалось человек 10 отобранных им товарищей. Эта первоначальная ячейка, после того, как провела насильственную забастовку в Севастопольском порту, по случаю проводов осужденных матросов на каторгу, Севаст. Комитетом партии с.-р. была приглашена работать совместно с боевым отрядом партии. Отсутствие средств и оружия не давали возможности »Джонке» с товарищами организовать

самостоятельную активную единицу. Группа приняла предложение с.-р-, вступила в их организацию, хотя небыла эсеровской идеологии: анархическим духом было пропитана она, боевизмом грезила.

«Джонка», бывший с-демократ, работавший в Киеве и Иваново-Вознесенске под кличками, в первом—«Андрея», а во втором—«Степана», вел среди своих товарищей пропаганду анархизма, был представителем и идеологическим выразителем народившейся группы.

Период работы с эсерами ознаменовался актами, за которые несколько товарищей погибли на эшафоте.

Так между Симферополем и Феодосией была экспроприирована почта, но об этом не было оглашено в отчетах партии; в Севастополе убит начальник охранного отделения «доктор Петровский», скрывавшийся под этим псевдонимом провокатор, за это дело казнен тов. «Машина»; в Феодосии бомба, брошенная в градоначальника Давыдова, не взорвалась, а браунинг дал осечку, тов. «Немец» повешен; в Ялте, снаряд, ударившись о ветку дерева, взорвался в воздухе и известный Думбадзе отделался испугом, из товарищей, «Мастеровой», не желавший скрыться покончил с собой выстрелом, второй—«Иосиф» благополучно ускользнул.

Таким образом, первоначальная группа в 10 человек имела уже свой синодик; была обстрелена и закалена в огне боевого фронта. «Джонка» выехал в Петербург для работы в боевом отряде при Ц. К. партии с.-р.

— Недовольство среди оставшихся, замечавшееся раньше и начавшееся с неудачных террористических актов, плохо организованных, стало выливаться в открытую оппозицию. Роль смертников, нечуткое отношение к товарищам, третирование их иногда как кондотьеров, и в то же время жизнь их в проголодь и в холоде, вызвали к моменту возвращения «Джонки» стремление порвать с партией с.-р.

В апреле, среди белого дня, была совершена экспроприация севастопольского почтамта, давшая в кассу организации 18,000 р., что видно из первого отчета Р. Б. Друж. «Свобода внутри нас», приложенного к извещению, отпечатанному и распространенному в количестве 2 тысяч экз. Боевая дружина, вместе со старыми членами, около 20 чел. вышла из партии с.-р., образовав самостоятельную партию под известным уже необычным наименованием. Выход этот вызвал большой шум не только среди эсеров. Как мне передавали, и Плеханов отозвался статьей, в которой писал, что верно... «Царствие божие... внутри нас» и, правда—«врата адовы не одолеют его», но и т. д. В Симферопольской и Севастопольской тюрьмах на дверях многих камер появились надписи: «Свобода внутри нас».

Первым делом народившейся боевой дружины было улучшение лаборатории взрывчатых веществ и оборудование типо-

графии. Поставленная подпольная типография успела до своей ликвидации издать 7 листков и считалась одной из лучших в России.

Изящество работы с полиграфической стороны, виньетки, заставки, общий тираж до 30.000 экз., не могли допустить мысли, что это—выпуск «подпольной типографии». Под Балаклавой сняли домик в три комнаты, где под видом душевнобольного поселился тов.. наборщик. Специальный письменный стол имел открытую внутри наборную кассу: в диване хранились корректурный станок и вал, экспроприированные в типографии газеты «Крымский Курьер».

Помню заметки в «Биржевых Ведомостях» и «Маленькой всеобщей газете», в которых писалось о появлении в Крыму строго дисциплинированной, неуловимой шайки бандитов, под лозунгом «Свобода внутри нас», на которые боевая дружина ответила информационными письмами, отпечатанными в своей типографии, с приложением всех изданных до того листков. Неудивительно, что на полях «Извещения» Б. Дружины, рукою охранника сделана пометка: «самое главное—захватить типографию».

Вместе с «Джонкой"—он же «Митрофан»—в Б. Дружине находился бывший эсеровский инструктор «Стенька»; они и были главными инициаторами и руководителями работы. «Митрофаном» были написаны все изданные дружиной листки.

Лабораторией в подземной, замаскированной пещере, на хуторе Карабуб в 30 верстах от Севастополя, ведал химик—Карл Штальберг («Дальний»), впоследствии сжегший себя в Симферопольской тюрьме. Это был серьезный, с колоссальной выдержкой товарищ. Хотя я сам прошел лабораторные курсы, но не представлял себе остроты напряжения при контроле бомб во время выемки капсуль с гремучей ртутью. Застав однажды Штальберга за работой, я понял какого нервного напряжения она стоила. Малейшая оплошность или неосторожность грозила мгновенной смертью не только ему, но и всей его семье.

Деятельность дружины расширилась и имела свои филиалы среди крестьян Херсонской губернии, где велась агитация. Полиция терроризировалась, судьи убивались, сжигались помещичьи усадьбы. В этой губернии казнено около 18 человек с Рабоштаном во главе. Дружина имела связь с Таганрогом, Одессой, Елисаветградом, с матросами Черноморского военного флота, портовыми рабочими Севастополя. Но только общим сочувствием масс можно об'яснить сравнительную долговечность дружины.

Последний выпущенный листок «Что же делать», с тиражом в 6.000 экземпляров был найден в 1925 г, при разборке на слом фрезерного станка. Это указывает, что идеи дружины проникали в самую гущу рабочих.

В Севастополе, полиция была столь запугана, что боялась появляться в одиночку и ходила табунами, в особенности это имело место на Корабельной стороне, которую еще Думбадзе хотел снести с лица земли и засеять пшеницей.

Некоторые чины полицейской администрации искали представителей Дружины для предложения своих услуг; в охранке находился бывший жандарм, человек абсолютно надежный, от которого мы имели сведения. Интересен эпизод, когда отставной адмирал, приглашал нас для переговоров, обещая дать средства на убийство столь крупного бюрократа, что не решался назвать его фамилии; дружина, конечно, отказалась иметь с ним дело.

В «извещениях» оглашен первый список из пяти человек контр-революционеров, уничтоженных дружинниками. Позже был издан новый перечень. О каждом своем выступлении боевая дружина оповещала печатно. Адская машина, подложенная в один из домов на Корабельной стороне, после анонимного доноса, что именно там хранится легендарная типография, взрывом уничтожила несколько человек полиции и выбила из колеи власть имущих. Ликвидация шпиков, агентов, стала будничным делом.

Одно время дружина настолько чувствовала свою мощь, что предполагала об'явить Севастополь на военно-революционном положении. Но некоторые потери товарищей отразились на работе боевиков. Так был арестован товарищ Баздырев за письменным столом, в котором хранились снаряды и оружие; он оказал вооруженное сопротивление полиции и уже со связанными руками вырвался и исчез бы, но его указал один из обывателей. Его вновь схватили; в ночь с 26 на 27 сентября 1907 г. Баздырева казнили. С 30 октября на 1 ноября того же года, повесили «Неизвестного»; судьба его трагична до жути: он стрелял в тюремного надзирателя, дежурившего под воротами; за ним устремилась погоня. Устав, и не будучи в состоянии бежать, он присел на землю и выстрелил себе в висок, но пуля скользнула, едва задев кожу. Тогда он другой рукой пустил пулю в противоположный висок; она пошла рикошетом, повредила челюсть, зубы и, залитый кровью, но все еще живой, он был взят. В тюрьме «Неизвестный», бывший чернорабочий, пытался отравиться, но неудачно: резал стеклом вены, покалечил пальцы. Однако палачи зорко берегли его и вылечили. Его вывели на эшафот в белом мешке—как «куль с опилками»; он умер «Неизвестным», незаметным героем. Баздирева и «Неизвестного» казнил палач Жекмаки: их имена он занес в свой дневник, найденный и изданный в период революции.

25 апреля 1908 года повешен Михаил Кучеров, арестованный в 1907 году за групповое вооруженное сопротивление полиции, в котором участвовало шесть товарищей. После этого вооруженного отпора, не было возможности оставаться в Севастополе, сравнительно небольшом городке.

В Таганрогской тюрьме также ожидали своей участи несколько товарищей за другое вооруженное сопротивление при аресте; среди них находился Мефодий Мартынцов, после нескольких удачных побегов, казненный в Новочеркасске за подготовку покушения на Харьковского губернатора.

Решено было свернуться всей дружине и перекочевать в другой город. Типографию зарыли в землю. Часть товарищей перебросилась в Киев; там, благодаря провокатору, многие сразу были арестованы и революционная боевая дружина «Свобода внутри нас», в начале 1908 года прекратила свое существование.

* * *

К какому же идеологическому течению примыкала и что выражала в своих листовках, некогда грозная боевая дружина.

За отсутствием других документов процитирую данные из судебного приговора по делу группы, судившейся в Севастополе 11—12 декабря 1908 года в числе 16 человек:

«Вступили в сообщество, присвоившее себе наименование севастопольской революционной боевой дружины «Свобода внутри нас», заведомо для подсудимых поставившее целью своей деятельности насильственное посягательство на изменение в России установленного законами образа правления, отвергающее власть вообще и всякий государственный строй, требующее от сухопутных и морских войск вооруженного восстания, а от всех граждан насильственного путем террористических актов захвата частной собственности..., призывающее к уничтожению всякой власти, законов и к захвату всего в свои руки, а солдат и матросов к вооруженному восстанию под красным знаменем с надписью: «Наше оружие за народ»...

В цикле листков, под очень резким и для того времени заголовком—«Смерть власти бога», «Смерть власти государства», «Смерть власти буржуазии», боевая дружина была созвучна с анархизмом.

Хотя она не связалась идеологически ни с одной группировкой и не согласилась примкнуть к «южно-русскому союзу анархистов», от которого из Одессы приезжал Петр Черный, но по общим линиям своих настроений, она выявила себя вполне анархической.

В своем последнем листке «Что же делать»? группа призывала к «Всеобщей экономической забастовке, прекращению какой бы то ни было работы на капиталистов и государство.., не для политической свободы, а для уничтожения экономического неравенства».. «Когда сила будет на нашей стороне, то первым долгом захватим все нам необходимое, дабы бороться дальше; необходимо разоружить всех врагов народных и их уничтожить, необходимо уничтожить все акты на продажу и

куплю земли и т. д., уничтожить и запахать все знаки границ собственников земли, уничтожить все документы в банках, казначействах, судах, конторах, чтобы в случае неудачи нашего восстания дезорганизовать их их же оружием»..., «переселить всю бедноту из лачуг в дома богатеев, установить общее питание для всех, ни в коем случае не выбирать представителей в Учредительное Собрание, ни в коем случае не позволять образоваться Временному Правительству...» и т. д.

Нам нужно добавить еще несколько штрихов, чтобы закончить очерк драматической судьбы дружины «Свобода внутри нас».

Куда шли и как распределялись экспроприированные деньги?

Из первого напечатанного отчета, имеющегося у меня под руками видно, что

«Передано в Севаст. к-тет партии С.-Р-ов	5.329 р.
«На оружие	1.412 р.
«Техника (лаборатория А. А.)	800 р.
«Конспиративные расходы (типография А. А.)	378 р.
«Передано в Красный Крест	300 р.
«Помощь семьям арестованных	70 р.

Помню случай, когда налетчики от имени дружины «Свобода внутри нас», вырезав нашу печать с листовки, наклеили ее на письмо с требованием денег и послали крупному купцу. Последний обратился к дружине с просьбой оградить его от шантажа. По этому поводу был выпущен специальный листок, где указывалось что дружина не защитница буржуазии, но будет протестовать и примет меры против высуплений от ее имени.

Из судебного приговора, по 102 ст. Уг. Ул. по делу «16-ти» видно, что трое были оправданы—Елизавета Караваева, Екатерина Штальберг, привлекавшиеся за лабораторию в Карабубе и один слизняк, случайно оказавшийся на этом процессе.

Осуждены по делу «16-ти» следующие лица, из которых некоторые уже имели смертные приговоры и каторгу по другим процессам группы:

1. Агафонов-Мартовский С.—«Стенька», бежавший, бессрочный каторжанин, осужденный за вооруженное восстание. Приговор усилен одиночным заключением с продолжением кандального стажа.

2. Андреев Андрей Н. (он же «Джонка», «Митрофан», иногда «Отец Митрофан», «Николай Богданов», «Филипп Яцышин») с 1902 года принимал активное участие в партийной работе; осужден на 15 лет каторжных работ, потом к смертной казни.

3. Гизер Георгий И., приговорен на девять лет каторжных работ, ранее привлекался за ноябрьское восстание матросов в 1906 году и получил 4 года тюрьмы, бежал.

4. Пыркин Михаил Л., приговорен к бессрочной каторге; раньше судился за отстрел и приговорен к смертной казни.

5. Ященко Филипп Я., к бессрочной каторге; ранее привлекался за отстрел и приговорен к смертной казни.

6. Чесноков Николай Н., на 15 лет каторжных работ.

7. Чесноков Николай П.—на 9 лет каторжных работ.

8, Левченко Фома Л.—на 15 лет каторжных работ, потом к смертной казни.

9. Гордеенко Ф.—на 12 лет каторжных работ, потом с смертной казни.

10. Ткаченко Петр С.—на 10 лет каторжных работ, потом к смертной казни.

11. Соютин Федор А.—на 6 лет каторжных работ.

12. Пеньков Афанасий И.—на 6 лет каторжных работ.

13. Мирошниченко Илья А.—на 5 лет каторжных работ.

По процессам в Севастополе и в других городах—Никиты Скрипниченко, Жени Рожановского и др. было много смертных приговоров. Женя Рожановский, живчик, способный на совершенно неожиданные проявления своих скрытых талантов. В Херсонской губернии он и Никита Скрипниченко после экспроприации почты, окруженные во время отступления сотнями крестьян, охотников с собаками и ружьями, оказавшись в центре большого замкнутого враждебного круга, не желая стрелять в толпу, по требованию преследователей, разделись догола и сдали оружие. Но Женя выступил с речью столь захватывающей, что женщины плакали. Когда стало темнеть, один крестьянин сделал знак глазами, преследователи расступились и пленники прошли свободно сквозь строй. В деревне их спрятали в телеге под сеном и вывезли в Елисаветград, через кордон. Никита Скрипниченко, самоотверженный работник дружины, за отстрел при аресте в Севастополе был судим военноморским судом и казнен; перед смертью он бросил в лицо своим врагам все совершенные им дела. Их оказалось около 30-ти. Такая деятельность, из ряда выходящая, была не всякому по плечу. Помимо того, он взял на себя дело и кличку «Митрофана», выдавая себя за него, желая его спасти; только случай помешал осуществлению этого плана, но карты жандармов он смешал.

Через 9 лет, в 1917 году, часть попавших в неволю была освобождена революцией и приняла участие в новой революционной эпохе. Некоторые погибли, а кое-кто жив и до сего дня.

31 Декабря 1925 г.

Москва.

Андрей Андреев.

Анархические течения накануне 1917 г.

Анархическое движение в России шло волнами, то поднимаясь до наибольшей высоты с ростом революционного движения, то падая и даже исчезая совершенно. Вал за валом идет с многолетними промежутками, каждый раз вовлекая в движение новые поколения людей.

Первая волна анархического движения поднимается в 70-х г.г. и сходит на нет уже в начале следующего десятилетия. Вторая волна поднимается в 1904—5 г. г., причем суровые преследования царского правительства в несколько лет разбивают его. После 1907—8 г. г. наступает временное затишье: одни истреблены, другие заточены в тюрьмы, третьи вынуждены скрыться заграницу. Оставшиеся на воле притихли в ожидании лучших времен. Некоторое оживление замечается после 1912 г., который вообще был переломным годом в русском революционном движении, и третья волна поднимается лишь в 1917 г.

Но если не было преемственной связи между первым и вторым поколением русских анархистов, то этого отнюдь нельзя сказать о третьем поколении, которое унаследовало от второго не только литературу и традиции, но частью и активных работников. В особенности же сильно было влияние второго поколения на анархистов периода безвременья, т. е. накануне революции 1917 г.

Анархическое движение в России после 1912 г. возрождается частью благодаря проявлению активности анархистами, оставшимися на воле или освободившимися из тюрем, частью проникает из-за границы через возвращающихся эмигрантов и доставляемую ими литературу, частью же, благодаря влиянию литературы, изданной анархистами в 1905—7 г. г. Последним путем идет молодежь, выросшая после революции 1905—7 г. г. Но... все дороги ведут в Рим—гласит старая поговорка. Каким бы путем ни возникали новые анархические группы, в дальнейшем они находят друг друга и работают вместе.

В 1911 г. среди студентов Московского Коммерческого Института организуется кружок изучения анархизма. Кружок небольшой, человек 10—12. Изучают анархизм по книгам, оставшимся от революции 1905 г. В это время у букинистов г. Москвы можно было найти кое-какие анархические издания, подчас даже нелегальные, в большом количестве экземпляров.

В библиотеке кружка имелись следующие издания: Кропоткин—«Речи бунтовщика», «Хлеб и воля» (Завоевание хлеба»), «Поля, фабрики и мастерские», «Взаимопомощь, как фактор эволюции», «Записки революционера» и ряд мелких брошюр того же автора; Жан Грав—«Умирающее общество», «Будущее общество»; С. Фор—«Мировая скорбь»; Реклю—«Анархия»; Малатеста—«Крестьянские речи», «Краткая система анархизма»; Маккей—«Анархисты»; Штирнер—«Единственный и его достояние» (двухтомное издание с комментариями Гохшиллера и Гиммельфарба); Тукер—«Вместо книги»; А. Боровой—«Идеалы современного человечества»; Я. Новомирский—«Из программы синдикального анархизма», «Манифест анархистов-коммунистов»; Бакунин—«Государственность и анархия» и ряд других мелких брошюр разных авторов. Кроме того в библиотеке имелась литература неанархических авторов, как например, Л. Кульчицкий—«Современный анархизм», Л. Кульчицкий—«Анархизм в России», Цокколи—«Анархизм», Эльцбахер—«Анархизм», Боргиус—«Теоретические основы анархизма», Штаммлер – «Теоретические основы анархизма» и критическая литература об анархизме разных авторов.

Все это добросовестно прочитывалось членами кружка, давая пищу докладам и бесконечным спорам. Собрания кружка чередовались с вечеринками, благодаря которым ширились связи со студенчеством, росло число сочувствующих и анархическая литература ходила по рукам.

Переварив прочитанную литературу, кружок начал идеологически оформляться. Индивидуализм был отвергнут и коммунистический анархизм стал мировоззрением членов кружка. В 1913 г. осенью было решено преобразовать кружок в «Группу анархистов-коммунистов»[1]).

Приступая к политической деятельности, группа стала вырабатывать программу практических действий и искать связи с анархистами других стран.

В комментариях к книге Штирнера нашли адрес итальянского анархического журнала «Пенсиеро» и написали письмо. Через две недели получили открытку от Луиджи Фаббри, из которой узнали адреса итальянских анархических газет и через несколько недель стали получать «Волонта» и «Аввенире Анаркико». Из «Записок революционера» узнали, что Ж. Грав издает в Париже «Тан Нуво» и написали ему. По прошествии двух недель стали аккуратно получать этот журнал. В эсперантском журнале «Ля Воче де ля Пополо» нашли адрес американского «Голоса Труда» и вскоре стали получать это издание на условный адрес в МКИ, а также письма от Максима Раевского. Родственник одного из членов группы ездил в Германию по коммерческим делам и его упросили привести нам «Фрейе Арбейтер». Честный немец покривлялся, но исполнил просьбу. Из Испании получали «Тиерра е Либерд'а».

Затем попробовали спросить у Ж. Грава, не может ли он дать нам адрес какого-нибудь анархического журнала на русском языке. Он ответил отрицательно, но добавил, что передаст письмо русским товарищам. Вскоре группа получила по условному адресу «Рабочий мир» и письмо от Р. А. (Рабочий Альфа—Аникст Гиттерман). Последний просил группу найти способ отрекомендоваться, чтобы знать, с кем он имеет дело. Тогда группа обратилась к Голубю—с.-д. эмигранту, который одно время скрывался у членов группы после бегства из ссылки, пока не достал заграничного паспорта. Голубь отрекомендовал ее редакции «Рабочего мира», после чего с последней установились прекрасные отношения. Сам же Голубь вскоре перешел в ряды анархистов.

На страницах «Рабочего мира» обсуждался вопрос о синдикализме и антисиндикализме. Ясно, что группа тоже должна была проработать эти вопросы, окунувшись в те споры, которые разделяли в 1906 г. русских анархистов на фракции «хлебовольцев» и «чернознаменцев».

Это разделение группа понимала таким образом. Анархизм—это народное массовое творчество, которое возникает в результате взаимодействия сознательного меньшинства и массы. Сознательное меньшинство выражает наиболее глубокие, основные интересы своего класса, которые вследствие этого являются более удаленными, более общими и менее индивидуальными. Масса же, наоборот, руководствуется в своей деятельности более близкими и понятными повседневными нуждами и интересами, преимущественно экономического характера. Творческое, взаимодействие возникает тогда, когда сознательное меньшинство представляет массе ее основные классовые интересы в простой и наглядной форме повседневных требований, а масса, действием поддерживая эти требования, постепенно поднимается до понимания своих основных интересов и усваивает идеологию сознательного меньшинства. Действуя таким образом, масса перевоспитывается в духе анархической культуры, перестраивая общество по образу и подобию своему.

Взаимодействие между сознательным меньшинством и массой развивается таким образом: сперва оно актами индивидуального протеста привлекает к себе внимание масс и возбуждает недовольство масс теми явлениями, против которых направлен протест; когда же эта цель достигнута—сознательное меньшинство организует акты коллективного протеста, пытаясь вызвать подражание со стороны масс и направить массовое движение по намеченному им руслу; когда же массовый протест принял стихийный характер и протекает в анархических формах, сознательное меньшинство переходит к актам свободного строительства, увлекая массы на путь строительства анархо-коммунистического общества.

Группа анархистов-коммунистов твердо усвоила мысль, что террористические акты анархистов, направленные в 1904—

5 г. г. против власти и капитала, имели целью обеспечить анархизму место среди других политических партий и направить внимание масс на борьбу с капитализмом (в противовес чисто политическому уклону других партий). После революции 1905 г., перед анархистами встала новая задача, разрешение которой разделило анархистов на синдикалистов и антисиндикалистов или, иначе, «хлебовольцев» и «чернознаменцев». Первые считали, что настала пора для организации актов коллективного протеста и попробовали опереться на беспартийное профессиональное движение. Последние же считали, что массовое движение носит характер борьбы за власть и поэтому старались привлечь внимание масс к анархизму организацией актов «безмотивного» антибуржуазного террора и попыткой вооруженного восстания во имя анархической коммуны.

Группа а.-к. считала, что период терроризма уже пройден и возвращаться к нему бесполезно. «Чернознаменство» (антисиндикализм) было отвергнуто группой, как путь, ведущий к отрыву от масс. «Хлебовольчество», начинавшее в 1913—4г. г. превращаться в анархо-синдикализм, отказывавшееся от анархического учения о массовом народном творчестве, тоже не удовлетворяло группу. И группа пришла к выводу, что сознательное меньшинство должно представлять собою анархическую партию, которая организует синдикальное движение в качестве средства массового протеста против власти и капитала и использует кооперативное движение (в особенности —потребительскую кооперацию) для строительства анархического коммунизма. Эта точка зрения нашла выражение в прокламациях, которые весною 1914 г. были разбросаны группой в окрестностях Брянска и Тулы. (Эта прокламация была напечатана затем в американском «Голосе Труда»).

Начиная пропагандистскую и организационную работу, группа стала искать связи со старыми анархистами в России и с другими анархическими группами.

Некоторые члены группы работали в революционном студенческом Красном Кресте, через который удалось установить связь с доживавшим свои дни в богадельне анархистом Григорием Неизвестным (настоящей фамилии его не помню—кажется Кривошеин). Он был приговорен к пожизненному тюремному заключению, но во время одного избиения в Орловской тюрьме ему сломали поззоночник и после этого калеку поместили в богадельню.

Через Григория группа получила связь с бежавшим из ссылки Николаем Романовым (кличка «Стенька Разин»), проживавшим в Кинешме, с Сафьяном, находившимся в ссылке в Иркутской губернии и с двумя ссыльными анархистами, жившими в Туруханском крае.

Григорий организовал в Орле небольшую группу среди учеников Коммерческого училища, при содействии которых под-

держивал связи с группами анархистов в Бежице Брянской губ. и с анархистами г. Тулы. В качестве представителя Орловской группы в Москву очень часто приезжал Иван Хархардин, который доставлял в Москву оружие (наганы Тульского завода), забирая из Москвы анархическую литературу для библиотек Орловской, Бежецкой и Тульской групп и гектографы для печатания прокламаций.

«Стенька Разин» в Кинешме организовал большую группу анархистов среди местных фабричных рабочих. Для связи в Москву приезжал его брат, который получал от Московской группы а.-к. анархическую литературу, гектографы для печатания прокламаций и оружие. Кинешемская группа, не раз руководившая стачками, однажды после сильных волнений на заводах, сопровождавшихся вооруженным усмирением, была арестована почти в полном составе и ее деятельность замерла до начала 1917 г. Все эти группы, связанные с Московской, к счастью, вовсе не разделяли ее синдикалистских заблуждений. Связанные же с ней ссыльные анархисты были террористами-боевиками. Однако, различие взглядов не мешало тесному сотрудничеству групп.

Мировая война внесла раскол в Московскую Группу А.-К. После временной растерянности, группа определила свое отношение к войне. Антимилитаристское меньшинство вышло из группы и кооптировав двух новых членов, образовало Московскую Группу Анархистов-Синдикалистов [2]). Программа М.Г.А.С. только тем отличалась от программы прежней группы а.-к., что она безразлично относилась к кооперации и видела в профессиональных союзах будущие органы управления производством; это ошибка, за которую в дальнейшем пришлось поплатиться. Оборонческая же группа а.-к. вскоре распалась и более активные члены ее ушли к с.-р.

М. Г. А. С., унаследовав связи, имевшиеся у старой группы а.-к., приступила к развертыванию работы в Москве. Прежде всего нужно было наладить печатание прокламаций. Так как все члены М. Г. А. С. были служащими Московского Союза Потребительных Обществ (Центросоюза), то естественно, что первые прокламации печатались на его ротаторе и на его бумаге. Вскоре однако пользование чужим ротатором было признано неудобным и группа, на паях с Замоскворецким комитетом с.-д. большевиков, приобрела свой ротатор Прокламации выпускались несколько раз в год, причем каждый раз в количестве нескольких тысяч экземпляров. Распространительный аппарат был поставлен очень хорошо и, кажется, что в Москве не было такого уголка, в который бы не проникали прокламации М. Г. А. С.

Анархисты, которые не были связаны с группой, отзывались на прокламации проявлением активности. Появились прокламации одной замоскворецкой группы среди рабочих Дани-

ловской мануфактуры. На сходках рабочих Сокольнических мастерских стали выступать анархисты — местные рабочие (Ермолаев, Цыганок). В газетах промелькнуло сообщение об одной неудачной экспроприации, в результате которой была арестована Северная группа анархистов, работавших на зав. Доброва и Набгольц (т. Пучнев и др.). Зашевелились и анархисты на зав. Гужона за Рогожской заставой. Т. о., вся анархическая Москва уже обнаружила себя и М. Г. А. С. оставалось только установить с ними непосредственные связи. Однако, в виду конспиративности группы, связи установить удалось только в дни Мартовской революции 1917 г.

Возрождение анархического движения было замечено общественными кругами Москвы. Один из членов Ц. К. с.-д. меньшевиков говорил в частной беседе об анархической опасности. В одном меньшевистском журнале изд. 1916 г., говорилось о необходимости борьбы с поднимающим голову анархизмом. Замоскворецкая организация с.-д. большевиков предлагала группе заключить соглашение о совместных выступлениях. Однако соглашение не состоялось в виду неуступчивости анархистов, которые никак не хотели принимать демократического лозунга Учредительного Собрания и высказывались за советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Большевики тогда не предвидели, что пройдет не больше года, как они сами выставят этот лозунг, а анархисты еще были молоды и не понимали, что советы, всякие советы, есть форма государства, а не анархия.

В это время группе удалось связаться с рядами старых анархистов. Доброхотов через народников познакомился с Павлом Тырымовым, вернувшимся из-за границы и ввел его в М.Г.А.С. Тырымов познакомил группу с Львом Черным (П. Д. Турчаниновым), тоже приехавшим в Москву, и связал ее с А. А. Карелиным, жившим в Париже. Через одного случайного человека, группа познакомилась с В. Бармашем, работавшим в это время в Москве в Земском Союзе. Группе удалось также связаться с Я. Новомирским, сидевшим в Бутырской тюрьме.

В Москве в течение 1916 г. группой были организованы три новых группы среди рабочих разных профессий: первая среди кожевников, вторая среди железнодорожников и третья среди печатников. Кожевников было в начале человек 10—12, наиболее активными среди них были Михаил Кривошеин, Дмитрий Шехалин, Аня из Белостока (фамилию забыл). Группа называлась «Рабочей группой анархистов-коммунистов Авангард». Они были а.-к., отрицательно относившиеся к синдикализму, но тем не менее не вышли из профессионального союза, членами которого состояли, а решили использовать его для своих партийных целей. При выборах правления профсоюза они провели туда анархистов и сочувствующих им, что дало возможность очень часто устраивать в помещении правления собрания

группы, а равно и собрания сочувствующих, на которые приходило по нескольку десятков человек.

Группа «Авангард» усердно распространяла прокламации М. Г. А. С. и еще печатала свои. Она первая подняла вопрос о необходимости постановки в Москве тайной типографии для издания подпольного журнала. Осенью 1916 г. ждали рабочих демонстраций и группа «Авангард» стала подготовлять массовое анархическое выступление. Было заготовлено черное знамя с лозунгами. Кривошеин провел у себя на квартире ряд сходок, на которых перебывало несколько сот человек. Ряд летучих сходок он провел и у себя на заводе. В результате утром в день выступления большая часть членов группы была арестована вместе со знаменем и анархическая демонстрация была сорвана.

В группе железнодорожников наиболее активным был Казимир Ковалевич. В эту пору он был анархистом-синдикалистом, зачитывался чисто синдикалистской литературой и мечтал об организации подпольного союза железнодорожников. Эта группа усердно распространяла прокламации М. Г. А. С. и активно помогала устройству тайной типографии. Группа же печатников была самой молодой и самой слабой. Идеологически она была неустойчива и растаяла после мартовской революции 1917 г.; общий уклон она имела синдикалистский. Через нее М. Г. А. С. добыла пуда два шрифту для своей типографии.

Через нескольких товарищей М. Г. А. С. поддерживала связи с армией. Через них отправляли на фронт прокламации антимилитаристского характера и получали ручные гранаты и патроны для наганов. Оружие и снаряжение быстро расходилось по группам. М. Г. А. С. только один раз почувствовала особенно острую нужду в оружии, когда подготовлялось нападение на Арбатский полицейский участок в целях освобождения питерского анархиста Федорова. Но Федоров был неожиданно переведен в другое место и нападение не состоялось.

Кроме того, независимо от М. Г. А. С., образовалась группа анархистов среди студентов Московского Университета, среди которых был Долголиков, позже кооптированный М. Г. А. С. Эта группа стояла вне течений анархизма и занималась агитацией среди студенчества. Кроме них был ряд анархистов одиночек, стоявших в стороне от организаций по различным соображениям, чаще всего — фракционных расхождений: Чеботаров, Шарко, А. Хавский, Н. Нерсесьян, Тюханов, Поляновский, Пиро, М. Фишман, Синицын-Пашкевич, Е. Зверева, М. Артыш и др.

В связи с ростом движения и необходимостью обслуживать его надлежащим образом, М. Г. А. С. была реорганизована и проведено строгое разделение функций членов. При группе организован был ряд комиссий: пропагандистская, связи, издательская и редакционная. Первая должна была давать доклад-

чиков для кружков и собраний. Вторая должна была устанавливать связи с массами, подбирать людей для кружков, а также распространять прокламации. Третья должна была поставить тайную типографию. Четвертая—подготовлять №№ журнала, который должен был выйти в марте под названием «Возрождение».

В каждую комиссию входили два-три члена группы, которые имели право кооптировать в состав ее кого угодно. Комиссии имели технический характер. В целях конспирации был принят и твердо проводим старый принцип: посвящать в каждое дело только того, кто в нем участвует и больше никого. Никто из членов группы, входящих в комиссию, не имел права посвящать других членов в общие дела группы, называть ее членов или рассказывать об обсуждаемых вопросах, планах и предложениях. В свою очередь, никто из членов группы, не входящих в данную комиссию, не должен был знать, кто входит в комиссию и как она работает. И, конечно, никто не мог входить во все комиссии, хотя вовсе не обязательно было состоять только в одной. Каждый нарушитель правил конспирации был бы об'явлен предателем.

Итак, нужно было ставить типографию. Шрифт добывали две группы. Типографский станок взяли вооруженной рукой. Понадобились средства, которых ни у одной группы не было. Встал вопрос об экспроприации. Большинство групп давно уже предлагало организовать экспроприацию и стоило большого труда удержать их от возврата на торную дорожку 1905—6 гг. Однако, выхода не было и М. Г. А. С. пришлось уступить. Одна экспроприация была организована несколькими молодыми анархистами, но дала очень небольшие результаты. Другая экспроприация подготовлялась одной из Сибирских групп. Достали оружие, нашли человека, который должен был отвезти оружие и привезти деньги, но... Мартовская революция 1917 г. изменила все планы и предположения.

Когда совершилась в 1917 г. революция и анархисты вышли из подполья, в семи группах, об'единившихся 13 марта в Московскую Федерацию Анархических Групп, было всего около 70 человек, причем большую половину составляла молодежь, пришедшая к анархизму накануне революции [3]). Однако, благодаря преемственной связи с движением 1904—7 г. г., анархическое движение в 1917 г. началось с той ступени, на которой оно остановилось в 1907 г.

Примечания.

[1]) В состав кружка входили: Александр Поль, Алексей Хон, Алексей Чепиков, Леонид Вучетич, Михаил Доброхотов, Александр Хавский, В. Худолей, Н. Богомолов.

[2]) В состав МГАС. входили: Александр Абрамов, Ефим Евдокимов, Алексей Чепиков, В. Худолей, а в 1916 г. вошли еще Иван Хархардин и Павел Тырымов.

[3]) Численность московских анархических групп в это время была такова:

а) МГАС	6 чл.
б) „Авангард“	18 „
в) Группа железнодорожников	10 „
г) Северная группа а-к.	15 „
д) Сокольническая группа а-к.	12 „
е) Рогожская группа а-к.	5 „
ж) Даниловская группа а-к.	7 „
з) Гр. ан. освобожд. из тюрем.	8 „
Итого	81 чл.

Таким образом в Москве, накануне Мартовской революции 1917 г. было всего не более сотни анархистов. Около сотни анархистов было в Петрограде. Несколько человек оставалось в Кинешме. Около десятка было в Бежецке. Человека 3 было в Орле и 4 или 5 в Туле. Но малочисленность нас никогда не смущала, потому что мы считали анархистов тем сознательным меньшинством, сила которого кроется в сочувствии масс и готовности их отзываться активным выступлением на его призыв.

В. Худолей.

Главные течения в анархической литературе XX века.

Начало XX века—расцвет и возрождение анархических идей в России.

Эпоха переоценок и разрушения, органически чуждая застывшим и окоченевшим схемам рационализма, актуально враждебная бесплодному догматизму, тем самым была благоприятной для анархического мировоззрения. Вулкан антигосударственных идей, было окончательно потухший с 80-х годов, неожиданно оказался бурным и пламенеющим...

Этому, несомненно, содействовал рост и классовое развитие русского пролетариата, его безверие к общественному политиканству и неотвратимая вражда к доктринам всех государственников. Умственный нигилизм той эпохи, с его литературным и философским индивидуализмом, русское ницшеанство еще более укрепляли все растущий интерес к анархической идеологии и движению.

Действительно, уже летом 1903 года в Женеве ученики и соратники П. А. Кропоткина при самом тесном и близком его участии стали издавать ежемесячный журнал «Хлеб и Волю». Этот журнал в течение нескольких лет был одинокой и единственной цитаделью русского анархизма.

Только в 1905 году, когда в анархическом движении возникло несколько идейных течений, хлебовольчество (свое название получило от журнала) стало выявлять позицию так называемого анархо-коммунизма. Впоследствии анархо-коммунизм в печати получил несколько оттенков, но, несомненно, в нем главная теоретическая ценность принадлежит хлебовольчеству. Это об'ясняется тем, что во главе этого течения была такая исключительная личность, как П. А. Кропоткин, один из первоклассных теоретиков не только в истории русского, но и международного анархизма.

В этом идейном направлении есть несколько своеобразных, быть может, парадоксальных положений для анархического миропонимания. Несомненно—одно из самых главных—это решительное и определенное противоположение анархизма индивидуализму.

«Анархизм не есть индивидуализм[1]). Анархизм признает для всех равноправность существования и самозащиты от чьих бы то ни было экономических и политических посягательств. Анархист не говорит: «я выше всех»—он говорит: «я равен каждому, но ни отдельной личности, ни многим я не подчинюсь—я хозяин своих поступков». «Анархизм не есть отрицание общественности, отрицание организации, солидарности; он призывает к добровольной организации, солидарности и считает освобождение человечества возможным только при условии освобождения личности» [2]). «Наоборот, коммунизм и безгосударственный социализм теоретики хлебовольчества считают понятиями разнозначущими анархизму. Анархизм для них — программа рабочего класса, которая всегда руководится двумя целями: экономической свободой и свободой личности или образно выражаясь: «борьбой за хлеб и борьбой за волю». Но это может, по их мнению, быть достигнуто только при одновременном разрушении всяких основ государственности и института частной собственности.

Поэтому хлебовольцы утверждали, что первая обязанность анархиста состоит в том, чтобы создавать такого рода организации, в которых рабочие сплачивались бы для успешной борьбы с капиталистическим и государственным произволом посредством стачки, бойкота, саботажа, демонстраций во всех формах. В такой организации рабочий, действительно, воспитывается для социальной революции. Хлебовольчество, резко критикуя парламентаризм и различные формы реформизма, тем не менее, признавало, что анархизм не только не отрицает политической борьбы, но, напротив, только анархисты ведут революционную борьбу с государством и его представителями, а государство, ведь, учреждение политическое.

Анархизм только, по их мнению, против политики легализма, «с присягой современному строю, против политической борьбы с избирательным билетом вместо оружия в руках, ибо такая политическая легальная деятельность не только не революционна, не только не ослабляет современный государственный и политический строй, а напротив упрочивает власть правящих и эксплоататоров». Признавая, таким образом, «политику», хлебовольцы считали, что «единственная почва, на которой можно построить здоровую, целесообразную революционную тактику», является классовая борьба. В основу этой тактики они клали два принципа: 1) непримиримость интересов пролетариата и буржуазии при всяких условиях современном экономическом положении. Отсюда вытекала невозможность союзов, даже временных между этими двумя классами, невозможность

[1]) Курсив всюду мой. *Н. О.*

[2]) См. „Хлеб и Воля“ сборник статей П. Кропоткина, Черкезова, Рекло. Бертони и др. Изд. „Священный Огонь“ Ал. Морского. СПБ. 1906, стр. 24.

примирения; 2) невозможность осуществления принципа социализма без насильственного воздействия на буржуазию.

Проблема «насильственного воздействия» должна была столкнуть хлебовольцев с террором, тем более, что он широко применялся и оправдывался принципиально сильными анархическими направлениями: безначальцами, безмотивниками и чернознаменцами.

Для хлебовольцев террор — неизбежный спутник революционного периода. Но он должен быть антибуржуазным и антигосударственным. Террор имеет, по их мнению, различные формы: он может проявляться в виде индивидуального акта или в виде массового, коллективного: фабричный, аграрный и т. д. Значение его в том, что он часто бывает единственно возможным ответом угнетенных народных масс против угнетателей, во-вторых, он — могучее и плодотворное средство пропаганды и, наконец, он — «изъятие из обращения» наиболее жестоких и талантливых представителей реакции. Но противники индивидуализма, хлебовольцы остались и здесь верными себе: они отдают несомненное предпочтение коллективному террору перед индивидуальным. Мало этого, в своих статьях они пишут: «необходимо заменить личный акт коллективным, даже попытку коллективного акта предпочесть осуществлению личного акта».

Несомненно, на Кропоткина и хлебовольцев оказало воздействие революционное синдикальное движение рабочего класса во Франции. Это относится отчасти к принципу классовой борьбы и в особенности к всеобщей стачке. Как и синдикалисты, хлебовольцы методом борьбы выдвигают всеобщую забастовку. «Всеобщая стачка есть прелюдия к революции», читаем мы в их статьях. «Расстройством, дезорганизацией и частичным обезоруживанием врага она обеспечивает успех революции, в которую она и переходит с того момента, когда рабочие пошатнув, благодаря ей все опоры частной собственности, начнут фактическое разрушение капиталистического режима, конфискуя средства производства и все богатства в общественное пользование».

Не являясь, таким образом, принципиальными противниками террора, хлебовольцы отрицали его, как организованный и тем более подчиненный контролю какой-либо партии.

Но сближаясь с синдикалистами в значении всеобщей стачки хлебовольцы расходились с ними в вопросе о профессиональном движении. Эта проблема особенно заострена в статьях известного и талантливого анархо-коммуниста Оргейани. «Ставить себе организационную работу в рабочих союзах главной задачей значило отдавать силы союза на дело, которое делается и без того, самой жизнью, в ущерб специально анархической пропаганде и революционной агитации, которая есть наша задача и выполнить которую мы не имеем право представить нашим противникам», читаем мы в журнале «Хлеб и Воля»

Наша задача пользоваться существующими организациями, входить в них, вносить в них свое направление, пока эти организации не успели проникнуться духом законности, культом парламентаризма»...

Организационная работа должна быть направлена на создание своих групп. Прежде всего только имея такую группу можно вступать в рабочие организации. «Недаром, Кропоткин в такой ответственной статье [1]) как «Наши задачи» прямо указывает, что для анархической революции, которую будут творить массы, «нужно, чтобы в каждом городе большом или маленьком и в тысячах деревень были свои группы революционного почина». Еще более определенно и настойчиво отстаивает анархические группы Оргейани в своих известных статьях: «Недостатки синдикализма» [2]). «Современный синдикализм представляет собой группировку людей на почве общности их жизненных интересов—в этом его главная сила и заслуга. Но вместе с тем он в целом не реализует полную общность стремлений революционных целей—в этом его недостаток... Он не дает полной принципиальной преемственности движения после поражения».

Критикуя тактику и методы анархо-синдикалистов в России хлебовольцы в общем относились сочувственно и примирительно к этому идейному течению. Позиция анархо-синдикалистов была в этом отношении, несомненно, более острой и резкой. Это об'ясняется тем, что при всем уважении к личности П. А. Кропоткина, теоретики анархо-синдикализма осознавали, что их разногласия и споры лежат не только в плоскости тактической, но, быть может, еще более в философской.

Разнородное, почти противоположное понимание анархизма, как мироощущения и философии жизни разделило эти идейные направления. «Преодоление кропоткинизма» стало почти основным вопросом анархо-синдикалистского движения в России.

И, действительно, хлебовольчество и даже весь русский анархо-коммунизм в целом может быть почти исчерпан учением П. А. Кропоткина. Блестящий теоретик, эрудит, первоклассный ученый и революционер, Кропоткин был не только идейным руководителем, но и «духовной сущностью» этого движения. Его ученики и соратники по существу не внесли почти ничего нового в его учение. Их, несомненно, важная роль—в том, что целым рядом своих статей и работ они освежали и заостряли некоторые проблемы кропоткинского анархизма.

Из них в особенности надо выделить Оргейани. Блестящий полемист и опасный диалектик, вдохновенно поражающий своих противников на словесном турнире, Оргейани оставил целый ряд

---

[1]) См. журнал „Хлеб и воля". Лондон. 1903. № 2.

[2]) См. газету „Голос Труда" 1912 г. изд. русской рабочей группы в Нью-Йорке. № 16.

статей по вопросам анархизма. Некоторые его работы стали почти «классическими» в области полемического жанра. Таковы его известные статьи по анархо-синдикализму, быть может, наиболее продуманные и логические из всех статей идейных противников этого мировоззрения в русском анархизме.

В настоящий момент наиболее известным и авторитетным именем среди анархистов-коммунистов в России, несомненно, является имя А. А. Карелина. Энергичный и неутомимый практик и организатор анархического движения, Карелин выделяется среди всех анархистов особой, исключительной плодовитостью в области анархического слова. Трудно назвать какой-нибудь вопрос в анархической жизни, теории или практики, на который, хотя бы в маленькой брошюрке, не откликнулся автор «Государство и анархисты».

Насколько одиноко от общего «ортодоксального» анархо-коммунизма стоит странный, глубоко своеобразный и во многом загадочный силуэт Солоновича. Весь его анархический путь с большой тягой к мистике и иррациональному, настолько необычаен и сложен, настолько еще не выявлен в литературе [1]), что можно только лишь интуитивно полагать, что в его облике русский анархизм приобрел, быть может, во многом парадоксальную, но, несомненно, талантливую и самобытную личность.

Имеется еще целый ряд других имен в этом идейном направлении. Но ценность их работ и статей, несомненно, лежит в особой плоскости. Популяризаторы основных идей Кропоткина, они, конечно, содействовали тому, чтобы имя их учителя сделалось после Бакунина самым известным среди русских анархистов, а его мировоззрение почти адекватным самому понятию—анархизм.

Иным идейным течением, бурно захватившим русских анархистов было, несомненно, то направление, которое может быть условно названо «анархическим терроризмом». К нему относятся в равной степени—безначальцы, безмотивники и чернознаменцы. Уже в 1905 году заграницей выходят три номера «Листки группы Безначалие» и ряд различных прокламаций, в которых намечаются основные положения этого течения. Бакунин и Штирнер, быть может, в несколько утрированном понимании, являются основоположниками этого мировоззрения. Отрицая парламентаризм, трэд-юнионизм и синдикализм, за то, что все они хотят «продлить агонию умирающего врага», безначальцы утверждают своеобразную философию анархизма. Его основа в том, что не существует никаких начал, норм, принципиальных и обязательных для

[1]) Из статей Солоновича следует в особенности отметить: „Позиции интеллектуального духа". См. „Клич" № 1 и 3—„Квадрига мировой революции", а также „Всероссийская генеральная конфедерация интеллектуального труда". См. „Революционное творчество" № 1, 2. 1918 г. Москва.

человеческой личности. «Человек слишком добр и гуманен по своей природе, чтобы нуждаться в насилии и принуждении. Все должно быть основано единственно на сознании и чувстве данного члена общества. Всякая ссылка на авторитет—преступна».

Какое бы то ни было вмешательство чужой диктующей воли, даже давление общественного мнения самой коммуны есть уже нарушение суверенных прав человека. Никаких регламентов и установлений. Никаких подчинений меньшинства большинству».

Методом борьбы с государством и капитализмом безначальцы выдвинули террор решительный и беспощадный, забастовки и стачки, которые должны быть «буйными» с обязательным уничтожением фабричных зданий, с ограблением съестных припасов, убийством хозяев и т. д. Апофеоз террора встретил особенно горячих адептов со стороны так называемых «безмотивников», наиболее крайней группы в этом течении.

Отрицая политический террор, безмотивники пропагандировали и проводили в жизнь террор социально-экономический. Они явились сторонниками так называемых «безмотивных покушений». «Виноват не какой нибудь строй общества, а каждый, кто поддерживает этот строй, и пользуется им в свою пользу. Конкретный повод к убийству безразличен, лишь бы агитационный и устрашающий эффект был бы налицо. Это и будет террор без мотива, почин без ближайшего и непосредственного мотива. Эта философия безмотивного террора, как известно (взрыв «Бристоля» в Варшаве, кафе Либмана в Одессе и др.), настойчиво проводилась ими в жизнь.

К анархической работе в профессиональном движении безначальцы отнеслись резко отрицательно. Это движение, по их мнению, рассчитано на «ряд длительных и постепенных завоеваний». Оно заражает рабочего гибельным оппортунизмом.

Профессиональное движение изобилует квалифицированными рабочими, оставляя совершенно в стороне люмпен—пролетариат. Оценивая тех и других, безначальцы несомненно возвращаются к истокам бакунизма. «Если первые склонны к примиренчеству и постепеновщине, то вторые свободны от всяких обязательств, и потому легче могут стать носителями идеи социальной революции», пишут безначальцы. Поведение анархиста должно быть непримиримым. «Анархист не должен участвовать в производстве продуктов, не должен своим трудом на фабриках укреплять позицию той буржуазии, которая подлежит истреблению. Удовлетворять свои материальные потребности анархист должен путем ограбления и похищения имущества богачей». К безначальцам примыкает близкое, родственное и мало чем отличающее от него направление «чернознаменцев». Чернознаменцы резко критиковали анархо-синдикалистов. Гроссман, один из видных теоретиков «чернознаменства» считал, что «синдикализм, проповедуемый анархистами, является опасным, роковым для анархизма, так как отвлекает часть наших еще столь мало-

численных сил на дело не только чуждое, но и вредное для анархизма, вредное потому, что фактором революционного восстания, школой активной революционной воли синдикат так же мало служит, как и парламент».

Только через несколько лет эта резкость была несколько сглажена. Чернознаменство было вынуждено признать ценным и важным профессиональное движение, но тем не менее своя чисто-анархическая работа была для них более значительной и существенной. В своих газетах: «Бунтарь» и «Анархист» чернознаменцы продолжают настаивать на том, что их главная задача—организация экономических и политических актов и организация крупных экспроприаций для снабжения русских и заграничных групп деньгами и оружием.

Глубоко противоположным хлебовольчеству и чернознаменству, идейным направлением явился анархо—синдикализм. Наиболее интересным теоретиком этого течения был, без сомнения, Новомирский. Натура глубоко раздвоенная, с повышенно эмоциональным началом, безмерно склонная к эстетизму, наделенная литературным талантом, она внесла в русский анархо-синдикализм богатство своих душевных противоречий и многообразие своих лирических уклонов. Прошедший, как и большинство русских анархистов, через идейную школу Кропоткина, Новомирский органически не мог в ней оставаться. Дух спокойствия, пафос безмятежности и рационализма был без сомнения чужд Новомирскому, с его большим изначальным тяготением к индивидуализму. Естественно, что автор «манифеста анархистов-коммунистов» должен был уже через два года занять своеобразную позицию в русском анархизме, враждебную «Кропоткинизму». Учение Кропоткина кажется «расплывчатым», слишком изобилует остатками чисто народнических предрассудков с их крайним «субъективизмом», пишет Новомирский. «Мы, русские анархисты, прошедшие школу марксизма, не можем удовлетвориться теми туманными, чувствительными фразами, которые у нашего дорогого, старого учителя часто занимают место аргументов. Мы хотим основать наше мировоззрение на твердо реалистическом базисе борьбы классов, а не на туманной «взаимопомощи». Мы хотим свою тактику строго, последовательно выводить из общих принципов нашего учения, а не механически прицеплять к ним. Мы расходимся особенно резко с товарищем Кропоткиным и его сторонниками в России, так называемыми «хлебовольцами» в целом ряде тактических и организационных вопросов».

И, действительно, его книга: «Из практики синдикального движения» является не только «новым словом» в анархизме, но и критикой анархо-коммунизма. На самом деле, в его книге мы находим цельную и сложную философию «анархо-синдикализма». «Революционный синдикализм, пишет Новомирский, «исходит раньше всего из глубокого убеждения, что государство было, есть и будет организацией господства владеющего класса и

потому бессмысленно угнетенному пролетариату стремиться его завоевать». Главная работа анархо-синдикалистов – развитие классового сознания и организация городских и сельских рабочих в один революционный Союз Труда, который охватил бы весь мир, проник бы во все фабрики, мастерские, во все копи, во все лачуги сельских пролетариев, во все светелки кустарей, в казармы солдат». Новомирский в дальнейшем намечает практические задачи, которые стоят перед анархизмом.

«Нам необходимо —пишет он—выработать ясную программу и тактику и на почве общих программных и тактических принципов об'единить все здоровые элементы русского анархизма в единую федерацию —Анархическую Рабочую Партию. Во-вторых, необходимо идейно и организационно отмежеваться от тех подозрительных элементов, которые проповедуют и практикуют теорию краж, как средство борьбы за анархизм. В-третьих, нам нужно поставить в центре нашей работы—участие в революционном профессиональном движении, чтобы превратить его в анархическое; наконец, необходимо выдвинуть практический лозунг: широкий бойкот всех государственных учреждений особенно армии и парламента с превозглашением в городах и селах рабочих коммун с Советами Рабочих Депутатов во главе. Новомирский, однако, не понимает революционный синдикализм, как идеал, он только указывает, что это определенный и правильный путь в революционном движении, ведущий к «рабочему анархизму». Значение синдикатов не только в том, по мнению Новомирского, что они подготовляют и создают успех переворота, торжество социальной революции, но они играют существенную роль и после ее, быть может, более важную и значительную, ибо они сумеют организовать производство и обмен в Анархии. «Федерация революционных синдикатов, «пишет Новомирский», овладеет орудиями труда и организует производство и обмен на коммунистических началах». Критикуя безначальцев, отрицая «безмотивный террор», культ эксов, как анархическую тактику, признавая, что все это не только не содействует сознанию масс, но, наоборот, отталкивает их от анархистов, а в среду последних вносит развращающее и разлагающее влияние, Новомирский тем не менее принципиально не отрицает террор. Он только придает ему второстепенное, вспомогательное значение в революционной анархической деятельности. «Террор—пишет Новомирский,—должен быть отмечен печатью некоторого величия: он должен быть направлен преимущественно против крупных, видных врагов народа, а не против мелких слепых орудий государства и капитала»[2]).

Но критика Новомирского направлена не столько против безначальцев, сколько против анархо-коммунизма. Новомир-

[1]) См. Новомирский. «Манифест анархо-коммунистов» 1905 г.
[2]) См. Новомирский. «Из практики синдикального движения». Изд. Голос Труда. 1907 г., стр. 4.

ский, как теоретик анархизма, главным образом звучит в преодолении и отрицании «кропоткинизма: «Анархизм' не только учение об отрицании государства», пишет Новомирский. «Анархизм — сложная всесторонняя система глубоких идей, захватывающих всю необ'ятную область общественных знаний... Центральная идея анархизма, в которой весь ее смысл, программа и философия,—определяет Новомирский—это—свобода». Здесь, по его мнению, решительное и радикальное разногласие анархизма с социализмом. «Согласно анархической доктрине, человек—не слепое орудие общества, а его основной элемент, его единственный фактор, потому анархизм сводит свою проблему к бесконечному, беспрерывному и всестороннему развитию личной свободы.»

Но как понимает он свободу?

«Свобода—пишет он—как ее понимает анархизм, есть стало быть, полная, абсолютная возможность личного творчества, полная неограниченная автономия личности. Эта автономия, эта свобода личности нарушена не только тогда, когда деятельность ее извращается страхом наказания, но и всякой причиной, становящейся между ней и окружающей средой. Анархизм и стремится к полному разрушению всех социальных учреждений, насильственно отделяющих отрывающих личность от его среды—физической и социальной».

Считая, что «социалистический строй есть общество, в котором интеллигенция организуется в особый класс и сосредоточивает в своих руках власть над классом работников»[2]), Новомирский полагает, что анархо-коммунизм тоже бессилен разрешить проблему свободы личности.

По мнению, Новомирского анархическая коммуна не представляет «никакого скачка, никакого резкого разрыва с прошлым». «Не трудно заметить—пишет он—что анархическая коммуна есть единственная наследница современного общества.»

Но определяя коммуну, как общество, Новомирский приходит к убеждению, что всякое общество, а значит и анархическое немыслимо без некоторых определенных норм, но «там где существует норма, хотя бы основанная на свободном договоре, неизбежно нарушение этой нормы С нарушением этой нормы, с преступлением борется наказание».

Но отрицает ли анархический коммунизм идею наказания, исступленно вопрошает Новомирский, возвращаясь к изначальным истокам философии подпольных людей Достоевского.

«Ни в коем случае», отвечает он на этот вопрос. «Отрицается идея физической кары, но никогда анархисты-коммунисты не отрицали да и не могут отрицать, оставаясь анархистами, нрав-

[1]) См. Новомирский. «Что такое анархизм». Изд. Федерации Союза Русских Рабочих Соединенных Штатов и Канады. Нью-Йорк. 1919 г.

[2]) Здесь Новомирский очень близок к мировоззрению махаевцев. См. Лозинский: „Что же наконец такое интеллигенция". 1907 г.

ственных порицаний, которое обладает уже теперь неимоверной карательной силой».

«Наконец», пишет Новомирский, «остается про запас еще такое ужасающее средство репрессий, как изгнание из коммуны. Нужна непростительная доля легкомысленной наивности, чтобы не видеть в этом изгнании кары, иногда равносильной смертной казни». Анархический коммунизм, резко отрицая современный классовый суд, создает и укрепляет другую форму суда — суд третейский. Но третейский суд, по мнению Новомирского, тот же произвол, ничем не оправданный, тоже нарушение суверенных прав личности. Беспощадно и резко критикуя анархо коммунизм, Новомирский определенно заявляет, что между коммунизмом и анархизмом, между свободой личного творчества и коллективным произволом нет ничего общего. Ибо свобода личности есть прежде всего, по мнению Новомирского, уничтожение всяких общественных организаций, основанных на нормах. Но это вовсе не означает, что Новомирский требует и хочет уничтожения социальной жизни и общественности.

«Пусть в один прекрасный день будут уничтожены все юридические, религиозные и моральные нормы, которые теперь скрепляет насильственно общество», пишет он. Через короткое время перед нами самопроизвольно вырастет новый мир. Отдельные личности начнут искать друг друга и об'единяться в большие или мелкие группы. В основу своей группы они положат не устав, не договор о взаимной помощи, а свое естественное влечение, свое естественное духовное сродство. Такая группа, не ассоциация для производства, а естественное общежитие, которое находит свое основание, оправдание и предел в личных чувствах сочленов. Этот союз не на основе интересов, а на основе сродства».

Общежитие из этих групп по сродству, абсолютно не знающих никаких норм, кроме чувств отдельных личностей, составляющих эти группы называется Анархией.

Но признавая эту Анархию осуществимой только в далеком будущем, признавая ее, как прекрасный маяк—мечту, освещающий трудный и тернистый путь человеческой борьбы и жизни, Новомирский совершенно не отвергает анархо-коммунизма. Это для него ближайшая задача, которую необходимо исполнить и совершить, ибо для конкретной исторической обстановки анархическая коммуна при всех своих существенных дефектах наиболее идеальная организация интересов пролетариата.

Новомирский после этой книги дал еще несколько статей, из которых в особенности любопытна статья о Лаврове [1]). В них, если не считать тех, которые были написаны в период его временного возвращения к «большевизму», автор книги «Из практики синдикального движения» остался верен своему анархическому миропониманию.

[1]) См. Новомирский. Лавров на пути к анархизму. Изд. Колос. Петербург. 1922 г.

Организатор и практик южно-русского анархического движения, настойчиво предостерегающий анархистов от отрыва от масс, в течение многих лет постоянно призывающий к идейному единству и даже к анархической партии своих товарищей по работе, Новомирский тем не менее был и остался истинным индивидуалистом. Мечтатель и эстет анархизма он должен был оставить в антигосударственной литературе свою лирическую философию, насквозь пронизанную пафосом неустанного беспокойства и пытливости, одновременно противоречивую и двойственную.

Проблема индивидуализма, заостренная в личной судьбе и творческом пути Новомирского, не была одинокой в истории русского анархизма.

Индивидуалистический анархизм, сложившийся у нас в России во многом под воздействием Штирнера и Тэкера, дал ряд оригинальных и интересных личностей, которые освежили и углубили эту идейную разновидность в анархизме.

Наиболее ярким из них надо признать имя А. А. Борового.

Профессор Московского Университета, первоклассный оратор и исключительный эрудит, автор двухтомной диссертации, признанной такими авторитетными специалистами, как М. Ковалевский и Н. Кареев, Боровой, тем не менее, не был никогда настоящим ученым.

Блестящая образность, смелая фантастика его стиля и речи скорее обличают в нем облик поэта, художника слова, чем теоретика в обычном понимании. Лирик анархизма par excellence, его вдохновенный проповедник, Боровой, несмотря на все многообразие своих творческих порывов и исканий, автор единой темы, единой Музы.

Действительно, все его книги насквозь насыщены и до конца пронизаны одной, постоянно волнующей и мучительной проблемой, начиная от лирического стихотворения в прозе, как смело может быть назван его ранний этюд: «Общественные идеалы современного человечества», через научную диссертацию: «История личной свободы во Франции», к его «Анархизму» и книге о Достоевском[1]).

Эта проблема — свобода человека, изначальная и непримиримая тяжба, вечный поединок между личностью, которая упорно отстаивает и защищает свое „святое право" на абсолютное и безграничное выявление всех возможностей своего творческого духа и обществом, которое в любых общественных и исторических формах, начиная от восточной деспотии и кончая анархической коммуной, неумолимо вырабатывает свои нормы и обязательства, которых не смеет нарушить дерзающая человеческая индивидуальность.

Эта единственная и кардинальная проблема всех творческих работ Борового. Как бы ни были разнообразны вопросы, какие

[1]) Ненапечатанной и известной мне в рукописи.

ставит и разрешает Боровой в своем писательском пути, какие бы мучительные сомнения не терзали его творческую душу, по существу все они только варианты, экскурсы, опыты для одной и той же проблемы.

Первая работа Борового в анархической области — «Общественные идеалы современного человечества» (либерализм, социализм, анархизм) [1]).

В ней автор — всецело анархист-индивидуалист. Отмечая большое значение в истории общественного развития за коммунистическим анархизмом, Боровой, тем не менее вынужден констатировать его, только как определенную разновидность общей социалистической мысли. «Это—либертарный социализм, который бросил миру новые великие идеи», пишет он, «но который оказался совершенно не в силах наполнить свои соблазняющие формулы конкретным содержанием».

Ибо, утверждает в дальнейшем Боровой, анархический коммунизм бессилен разрешить самую важную и основную проблему творческой личности—полную, абсолютную свободу ее творческих проявлений и действий.

Анархические коммунисты признали принудительные нормы для человеческого индивидуума, но «куда», спрашивает Боровой, «итти анархисту с его свободой самоопределения, изгнанному из пределов общины; и в чем же, наконец, принципиальная разница между таким принудительным удалением и наказанием, которые расточает современный режим. Анархизм обещает дать полный простор индивидуальной воле, но ее там нет, где есть организация, где есть принуждение, где есть общая воля».

Поэтому более продуманной и законченной доктриной представлялся Боровому анархизм индивидуалистический, «но и он вопреки своему названию не может быть назван торжеством индивидуалистической идеи». Действительно, индивидуалистический анархизм принципиально признающий правовые и принудительные нормы, нарушение которых карается чрезвычайно сурово, вплоть до смертной казни, (Тэкер) едва ли может, по мнению Борового, окончательно «разрешить величайшую проблему человеческого духа»—свободу творческой личности.

Таким образом, анализ различных анархических доктрин привел Борового к неутешительным выводам. Тем не менее, он решительно отказывается признать анархический идеал неосуществимым. Последние страницы его лирического этюда посвящены «капитальной» проблеме анархизма: каким образом можно осуществить абсолютную свободу индивида, не прекращая общественной жизни. Боровой намечает ту тенденцию социально-экономической жизни, которая должна благоприятно разрешить этот вопрос.

---

[1]) См. А. Боровой. „Общественные идеалы современного человечества". 2 изд. Петрова. Москва. 1917 г.

«Процесс дифференциации функций—пишет он—разделение труда сменится другим колоссальным процессом, процессом интеграции, процессом обратного собирания функций. Человек будет в состоянии один, собственными силами произвести целиком тот продукт, в котором он нуждается. Ему не нужны помощники, не нужны будут специалисты в отдельных отраслях хозяйства. Он станет самодовлеющей хозяйственной единицей.. Таким образом мы стоим перед разрешением величайшей социальной задачи. Процесс интеграции есть процесс уничтожения всяких внешних организаций, всяких принудительных учреждений". Радостно и бодро, с большим лирическим под'емом заканчивает свой этюд автор. Это, несомненно, самая оптимистическая, «весенняя» книга Борового.

Боровой скоро почувствовал сам хрупкость своих творческих мечтаний, осознал невозможность «подвести социологический фундамент там, где упразднялось «социальное», воздвигнуть штирнерианский купол на марксистской базе».

Начался период страстных исканий. «Новые» истины были вскоре найдены. «Дерзание» и «революционаризм» были об'явлены «абсолютной самоцелью» [1]).

Этот этап тоже оказался быстро пережитым.

Увлечение Бергсоном и близкое знакомство с революционным синдикализмом окончательно оформили анархическое мировоззрение Борового. Критика «традиционного» анархизма, намеченная еще в его первых работах, получает теперь философское оправдание в его книге «Анархизм» [2]). Эта книга посвящена целиком пересмотру основных положений «традиционного» анархизма [3]) и выявлению общей анархической концепции самого автора.

Как же понимает природу и сущность анархизма Боровой?

Анархизм есть прежде всего разновидность, определенная вариация в истории мировоззрений, глубоко коренящаяся в изначальных истоках человеческой души. Анархическое мироощущение, как известный вид философии жизни, также изначально присущ человеческому сознанию, как анархическая психика, «анархический характер». Как мировоззрение, анархизм есть «романтическое учение, враждебное органически «науке» и «рационализму», но тактика его должна быть строго реалистической».

Это, по мнению Борового, кардинально отличает «его» анархизм от «традиционного». «Последний», пишет Боровой, «в лице лучших представителей его—оставляя в стороне частные проти-

---

[1]) См. Боровой „Революционное миросозерцание". Изд. "Логос". Москва. 1907 г.

[2]) См. Боровой. Анархизм. Изд. „Революция и культура" Москва. 1918 г.

[3]) Под „традиционным" анархизмом Боровой разумеет „господствующее в современном анархизме—коммунистическое течение, которое представлено именами Бакунина, Кропоткина, Грава, Малатеста и других".

воречия,—есть рационалистически построенное учение (теория анархизма), из которого делаются романтические выводы (его тактика).» Наконец, в противоположность почти всем теоретикам анархизма, признающим этот последний общественный строй, как символ гармонии, примирения всех социальных противоречий, Борозой выдвигает новое и своеобразное его понимание. «В основу анархического мировоззрения, «пишет он», может быть положен один лишь принцип—безграничного развития человека и безграничного расширения его идеала».

«Анархизм не знает и не может знать того последнего «совершенного» строя, успокаивающего все человеческие запросы, отвечающего на все его искания, о котором грезили и грезят утописты».

«Сущность анархизма—в вечном беспокойстве, вечном отрицании, вечном искании. Ибо в них—свобода и правда. Успокоение — есть смерть анархизма, возведение временного и относительного в степень абсолютного».

«Наконец, для анархизма никогда и при никаких условиях не наступит полная гармония между началом личным и общественным. Их антиномия — неизбежна. Но она — стимул непрерывного развития и совершенствования личности, отрицание всех конечных общественных идеалов».

Определив сущность анархического мировоззрения, его психику, Боровой в дальнейшем дает анализ и решение основных проблем, тесно связанных с анархизмом.

Главная проблема — это личность и общество в анархическом мировоззрении. Ей посвящена одна из самых важных глав книги, а впоследствии даже целый самостоятельный этюд [1]).

Для Борового анархизм утверждает только личность подлинной, неповторимой и вечно движущейся реальностью. Но это основное положение приводит автора «Анархизма» к двум выводам: «к признанию неизбежности принципиального антагонизма между личностью и обществом» и, во вторых, «невозможности «конечного общественного строя», ибо, если антиномия личности и общества неустранима—невозможно и «анархическое общество», как раз навсегда определенный постоянный порядок отношений. Более—ни один общественный идеал, с точки зрения анархизма, не может быть назван абсолютным в том смысле, «что он венец человеческой мудрости, конец социально-этических исканий человека». И тем не менее, для Борового только анархизм может «оправдать общественность».

«Ибо», пишет он, «в ней мы родимся, из нее черпаем питательные соки, ее же обращаем в орудие нашего освобождения... Чувство общественности—нам имманентно. Оно родится и растет с нами. Но общественность есть лишь связность подлинных

---

[1]) См. Боровой. „Личность и общество в анархическом мировоззрении". Книгоизд. „Голос Труда". Петербург—Москва. 1920 г.

реальностей — своеобразных и неповторимых. Поэтому общественность не может быть абсолютной целью личности. Она не может быть безусловным критерием его поступков. Она — есть средство к осуществлению личностью ее творческих целей».

Принципиально и резко расходясь с теоретиками «традиционного» анархизма в понимании общественного и личного начала и их взаимоотношений, настойчиво указывая в своих книгах на изначальную вечную непримиренность самой их природы, Боровой не менее резко расходится с ними и в философском обосновании анархизма. Страстный бергсонианец, Боровой в своей книге дает бичующую критику рационализма, столь типичного для обычного анархического мышления.

Культ разума для Борового несет страшные и суровые последствия. «С внешним освобождением», пишет он, «разум несет «внутреннее рабство»—рабство от законов, рабство от теорий, от необходимости, необходимости тех представлений, которые породил он сам. Обещая жизнь, он близил смерть».

И философией, на которой должен строиться анархизм, для Борового является интуитивизм Бергсона, утверждающий «свободное, радостное постижение жизни». Она по своему существу—полное «признание автономии конкретной человеческой личности».

Но, если в плоскости философии анархизм имеет свое обоснование и оправдание в интуитивной философии Бергсона, то в практической, жизненной деятельности рационализму нанесен жестокий и непоправимый удар со стороны синдикализма.

«Первоначально стихийный, непосредственно выросший из жизни—пишет Боровой—синдикализм в наши дни становится сознательным классовым протестом против рационализма, — против слепой веры в непогрешимость теоретического разума, всеустрояющего силой своих отвлеченных спекуляций. Синдикализм утверждает автономию личности, утверждает волю творческого и потому революционного класса».

«В синдикалисте живут рядом: «страстный индивидуализм», ревниво оберегающий свою свободу и напряженное чувство «пролетарского права». Синдикалист уже не исполнитель только чужих мнений, но непримиримо и героически настроенный борец, своим освобождением несущий свободу и другим».

Здесь необходимо отметить одну существенную психологическую черту Борового. Вопросы анархической тактики и, если можно так выразиться, самая «политика» анархизма меньше интересуют Борового, чем самая философская сущность этого мировоззрения.

На страницах, посвященных синдикализму и вообще практической стороне анархизма, Боровой менее самобытен и оригинален. Конечно, яркость творца чувствуется и здесь, но она, я сказал бы, больше формальная, литературная. Патетика стиля, напряженность лирических эмоций, вдохновенный пафос, смелость и

красота образов во многом, конечно, оживляют идеологическую традицию анархических постулатов.

Впрочем, некоторые проблемы освежены даже и здесь. Террор, некоторые методы анархической работы и кой-какие другие вопросы несомненно трактуются автором оригинально, своеобразно и суб'ективно. Тем не менее не в них, конечно, лежит настоящая значимость книги. Принявший анархизм, как мировоззрение, как веру, слишком интимную и личную, Боровой был естественно обречен итти по творческому пути без соратников и адептов.

Трагически звучат его строки: «Я шел одиноко и своим путем. У меня не было союзников, я боялся их».

Оторванный от практической анархической работы, Боровой менее всего мог стать «политиком» или политическим деятелем. Оправдать и принять синдикализм, как «реальную» тактику анархизма и вместе с тем неразрывно слить его в своей анархической конценции с интуитивной философией Бергсона было несомненно задачей не практика-революционера, но лирика-анархиста.

Книга Борового «Анархизм»—несомненно любопытный парадокс в духовной истории анархизма. Это, конечно, не «система», прочно укрепленная разнородными аргументами и стройными логическими схемами, еще менее —«наука», опирающаяся на многолетний опыт и продолжительные эксперименты,— это лирическая «исповедь», неотразимо вдохновенная, патетически-страстная и эмоционально-взволнованная.

Все «научное», «об'ективное», «рационалистически доказуемое» здесь играет только роль вспомогательную, роль аксессуаров, культурных подробностей и блестящих украшений. Пафос книги, конечно, в «недоказанном» и «недоказуемом», но «суб'ективно достоверном».

И это, конечно, не случайность. Бесстрашный и смелый искатель истины, органически враждебный академизму, чуждый догматизма в своих творческих исканиях и работе, Боровой несомненно был чужд «учительству». Анархизм знает в своей среде целый ряд великих имен, которые жили, горели пафосом проповедничества и духовного наставничества, знает настоящих фанатиков слова и дела, которые властно требовали от своих учеников, конечно, не покорности и рабства, но повиновения, принятия на веру «абсолютных истин» своего учения. И, конечно, это «учительство» глубоко чуждо сущности и природе анархизма.

Анархист не знает и не может знать «абсолютных» истин в своем мировоззрении. Его истина—лична, интимна, поскольку за ними стоит внутренний опыт их творца и пытливые искания его духа. Поэтому ему дороги, ценны «истины» других людей, ибо в них он находит все своеобразие, неповторимость отдельной человеческой личности.

И эта черта безусловно одна из основных в творческом характере Борового. Анархист-индивидуалист, несмотря на все «признание» синдикализма, одна из наиболее оригинальных и ярких личностей в русском анархизме, Боровой всегда—в жизни, в книге, в творчестве умел ценить своеобразие, неповторимость, особенность человеческого духа.

Быть может, эта инстинктивная, врожденная боязнь «личин» и «масок», которые неумолимо-властно одевает суровая и жестокая жизнь, среда, общество на прекрасное и «единственное» лицо человека заставила Борового быть автором единой темы, верным рыцарем конкретной человеческой личности.

Из других теоретиков, несомненно связанных с индивидуалистическим анархизмом, надо назвать еще имя Льва Черного.

Аскет, подвижник анархизма, фанатик-подполья, Лев Черный не был выдающимся мыслителем. Тем не менее его книга «Ассоциационный анархизм»[1]) любопытна и интересна в некотором отношении. Она возникла, как идейный протест против анархо-коммунизма. Черный, не признавая коммунизм за анархизм, находит последний у Прудона, которому дает высокую оценку, Текера и Штирнера. Свобода человеческой личности может быть утверждена, по мнению Черного, только в ассоциационном анархизме. «Анархизм,—пишет он,—разрубил гордиев узел, вводя обассоциированное производство. Благодаря этому производству анархизм дает индивидам полную экономическую свободу. Индивид, вступая в те или другие ассоциации, может удовлетворить свои потребности. Благодаря ассоциационному производству, анархизм уничтожает эксплоатацию».

Октябрьская революция оживила анархическое движение. Целый ряд интересных направлений и течений возник в бурном потоке анархического мировоззрения, под влиянием колоссальных исторических событий. Но они слишком связаны с нашей современностью, слишком злободневны, чтобы можно было хоть с какой-нибудь об'ективностью осветить их. Но, несомненно, будущий историк анархизма должен остановиться перед этим пестрым, разнообразным узором творческих исканий и достижений. Эпоха пестрых переоценок, революционных взлетов и падений, заметно обогатившая анархическую идеологию и движение, конечно, для него неотразимо пленительна и волнующе интересна.

Н. Отверженный.

Библиотека
Института Ленина
при Ц.К. В.К.П. (б.)

[1]) См. Лев Черный. „Новое направление в анархизме". Ассоциационный анархизм. Москва. 1907 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
От редакции	5
П. А. Анархические устремления в русском сектантстве	7
РУСОВ, Н. Н. Анархические элементы в славянофильстве	37
А. С. П. Петрашевцы	44
НЕТТЛАУ. Бакунин	58
БОРОВОЙ, А. А. Бакунин	131
САЖИН, М. П. Воспоминания о М. А. Бакунине	170
КАРЕЛИН, А. Русские бакунисты за границей	185
КАРЕЛИН, А. А. Анархизм в народническом движении 70-х годов	192
А. К. Отдельные анархисты и анархические группы 60—70-х г. г.	209
МЕДЫНЦЕВ, К. Н. С. Г. Нечаев (из личных воспоминаний)	215
ПИРО, Т. Бакунизм и реакция	221
СОЛОНОВИЧ, А. А. Кропоткин	225
НОВОМИРСКИЙ, Д. И. Анархическое движение в Одессе	248
А. С. Чернознаменцы и безначальцы	283
ТАРАТУТА, А. Г. В России и за границей 1903—1907 г. г.	302
АНДРЕЕВ, А. „Свобода внутри нас“	311
ХУДОЛЕЙ. Анархические течения накануне 1917 года	318
ОТВЕРЖЕННЫЙ, Н. Главные течения в анархической литературе XX века	327

16779

ЦЕНА 2 р. 50 коп.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА“
Книжный и писчебумажный склад и магазин
Москва, Моховая, 22.